

12

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

12



1977

1977



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1977 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЕЛИКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ	3
—————	
ЗИЛ — НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
ПЕРЕКЛИЧКА — стихи	11
АЛЕСЬ АДАМОВИЧ, ДАНИИЛ ГРАНИН — Главы из Блокадной книги	25
ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ — Из стихов о Севере	159
ОЛЕГ ДМИТРИЕВ — Город, стихи	160
АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ — Море в ноябре, повесть. Предисловие Виталия Семина	163
Л. ОВСЯННИКОВА — БАМ у костра, стихотворение	198
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ	
АНДРЕ РЕМАКЛЬ — Легенда о КамАЗе, главы из книги. Окончание. Перевела с французского Л. Завьялова	199
ПУБЛИЦИСТИКА	
ЕГОР ЯКОВЛЕВ — Школа на Безымянке	214
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА — В Баболве	230
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЧИНГИЗ АЙМАТОВ, ХЕЙНЦ ПЛАВИУС — Человек и мир. Семидесятые годы, диалог. Перевела с немецкого И. Щербакова	242
АНДРИС ЯКУБАН — Вклад художника. Об Андрее Упите в день его столетия. Перевел с латышского Ю. Абызов	260
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
Литература и искусство	263
Г. Трефялова. Протяженность луча.— С. Овчинникова. Остановиться, оглянуться...	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	270
И. Кирин. Идеиный арсенал американской внешней политики.— Н. Эйдельман. После юбилея декабристов.	
КОРОТКО О КНИГАХ: Арво Метс.— Набережные Челны, Город моей мечты. Стихи и рассказы. ✦ Алексей Овсянников.— Юрий Грибов. Семь домов у Кунь-горы. Повести и рассказы. ✦ Валерий Гейдеко.— Альберт Лиханов. Мой генерал. Альберт Лиханов. Каждый год, в сентябре... ✦ Ю. Кожевников.— Л. И. Куприянович. Биологические ритмы и сон. ✦ Ю. Болдырев.— Алексей Бадаев. Ветер с Байкала, Стихи. Алексей Бадаев, У подножья Саян. Стихи	277
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	281
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1977 ГОД	282

ВЕЛИКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ

Близится к концу год 1977-й. Яркой страницей войдет он в историю нашей Родины, в историю всего человечества как год шестидесятилетия Великого Октября и год принятия новой Конституции Союза Советских Социалистических Республик. Это не просто совпадение во времени двух крупнейших, незабываемых событий в нашей жизни. Связь между ними гораздо глубже. Новая Конституция СССР — это концентрированный итог всего шестидесятилетнего развития Советского государства. Весомо и зримо свидетельствует она о том, что идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь. В новой нашей Конституции, этом величественном документе современности, воплощены вековые чаяния людей труда, отражено все самое заветное и высокое, за что боролись, за что отдавали жизнь рабочие и крестьяне России, поднятые великой революцией к сознательному историческому творчеству.

Почти четыре месяца шло в стране обсуждение проекта Конституции, разработанного под непосредственным руководством и при самом активном участии Центрального Комитета КПСС, его Политбюро, Генерального секретаря ЦК Леонида Ильича Брежнева. Это было в подлинном смысле слова всенародное, грандиозное по масштабам, свободное и по-настоящему деловое обсуждение, в котором приняло участие свыше ста сорока миллионов советских людей — более четырех пятых взрослого населения страны. Такого размаха народной активности наша страна еще не знала. Проект получил единодушное одобрение и поддержку рабочего класса, крестьянства, интеллигенции, всех наций и народностей Советского Союза.

От Москвы до самых далеких окраин — на открытых партийных собраниях и пленумах партийных комитетов, на сессиях Советов и собраниях на предприятиях и стройках, в колхозах и воинских частях, в профсоюзных, комсомольских, творческих организациях, в многочисленных письмах коллективов трудящихся и отдельных граждан в партийные и советские органы, в редакции газет и журналов, на телевидение и радио — советские люди, горячо одобряя проект Основного Закона нашего социалистического государства, свободно и открыто высказывали свои пожелания, вносили дополнения, уточнения, поправки.

Активное, творческое участие широчайших масс трудящихся в обсуждении проекта Конституции, обогащение его коллективным опытом миллионов советских людей — какое это впечатляющее и неопровержимое свидетельство глубокого демократизма советского строя, рожденного социалистической революцией! В ходе всенародного обсуждения с огромной силой проявились идейная убежденность и высокая сознательность советских людей, присущее им чувство хозяина своей страны, их беспредельная преданность коммунистическим идеалам. Еще раз наша партия и наш народ продемонстрировали вели-

чайшее монолитное единство, глубокую заинтересованность в успешном решении главных задач строительства коммунизма.

Обсуждение проекта Конституции во многом вышло далеко за рамки анализа ее текста. Оно вылилось в откровенный, действительно всенародный разговор о важнейших волнующих советских людей вопросах. Оно сопровождалось дальнейшей активизацией всей нашей общественной жизни. Стремление советских людей новыми успехами в труде достойно встретить шестидесятилетний юбилей Страны Советов и тот духовный подъем, который был вызван проектом новой Конституции, слились в единый могучий поток политического воодушевления и трудового энтузиазма, пробудили в народе новые творческие силы, придали еще больший размах социалистическому соревнованию, повысили ответственность каждого за порученное дело. Год принятия новой Конституции, год шестидесятилетия Октября стал годом крупных свершений советского народа на всех участках коммунистического строительства, важным рубежом на пути осуществления исторических решений XXV съезда КПСС.

На всю жизнь запомнили советские люди волнующие дни работы внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР. Телевидение и радио широко раздвинули стены Большого Кремлевского дворца. Вместе с народными избранниками — депутатами высшего органа государственной власти страны миллионы людей с огромным вниманием и радостным волнением слушали доклад, с которым выступил на сессии Председатель Конституционной Комиссии, Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Вместе с депутатами, съехавшимися в Москву, чтобы выполнить единую волю народа, миллионы людей стали как бы участниками великого исторического акта — акта принятия новой Советской Конституции.

Советские люди, многочисленные зарубежные наши друзья, вся прогрессивная мировая общественность по праву высоко оценили огромный личный вклад Леонида Ильича Брежнева в разработку проекта новой Конституции СССР, высоко, как выдающийся программный документ творческого марксизма-ленинизма, оценили его доклад на внеочередной сессии Верховного Совета.

В докладе глубоко проанализированы итоги обсуждения проекта Основного Закона, характер поступивших предложений, уточнений, поправок. «Главный политический итог всенародного обсуждения, — подчеркнул Леонид Ильич, — состоит в том, что советские люди сказали: да, это тот Основной Закон, которого мы ждали. Он правильно отражает наши завоевания, наши чаяния и надежды, правильно определяет наши права и обязанности. Закрепляя достигнутое, он открывает перспективу дальнейшего развертывания коммунистического строительства... Мы с уверенностью и гордостью можем сказать: именно весь советский народ стал подлинным творцом Основного Закона своего государства».

В докладе всесторонне раскрыто международное значение нашей Конституции. Значение это трудно переоценить. Новая Конституция СССР — это еще один исторический вклад ленинской партии, всего советского народа в великое дело строительства коммунизма и вместе с тем в интернациональное дело борьбы трудящихся всего мира за свободу, за прогресс человечества, за прочный мир на земле.

Проникнутый ленинскими идеями, воплощающий в себе ленинские заветы о путях развития социалистического государства, социалистической демократии, доклад Леонида Ильича Брежнева содержит важные теоретические обобщения и выводы, творчески обогащающие разработанную коллективными усилиями КПСС и братских ком-

мунистических и рабочих партий концепцию развитого социалистического общества, характеристику его основных особенностей и закономерностей развития, его места в историческом процессе становления коммунистической формации. В свете содержащихся в докладе теоретических выводов и обобщений во весь рост предстают перед нами смысл и значение тех глубоких, принципиальных перемен, которые произошли в советском обществе за четыре десятилетия после принятия Конституции 1936 года и которые получили отражение и законодательное закрепление в нашей новой Конституции.

Четыре десятилетия... В масштабе истории это совсем небольшой по времени срок. Но какими темпами росла и как неузнаваемо изменилась за эти сорок лет экономика Советского Союза! Сегодня она представляет собою единый, мощный, успешно действующий народнохозяйственный организм, неуклонное и динамичное развитие которого обеспечивается сочетанием достижений научно-технической революции с преимуществами социалистического строя. Не будем забывать, что именно на этот отрезок времени приходятся четыре года тяжелой войны, которая унесла у нас двадцать миллионов человеческих жизней, превратила в руины сотни городов, стерла с лица земли тысячи сел и деревень, причинила колоссальный ущерб нашей промышленности, транспорту, сельскому хозяйству. Какие же гигантские жизненные силы таятся в недрах социалистического строя, если страна наша в невиданно короткий срок сумела залечить страшные раны войны и стремительно двинула вперед свою экономику! Достаточно сказать, что за одно только последнее десятилетие практически удвоился экономический потенциал нашей Родины, созданный за предшествующие полвека. Чтобы получить объем валового общественного продукта, который был произведен за весь 1936 год, сейчас, в условиях 1977 года, требуется менее месяца.

А как существенно изменился социальный облик советского общества, облик нашего рабочего класса, нашего крестьянства, нашей интеллигенции, как упрочился их нерушимый союз! Суть этих изменений заключается не только в значительно возросшей общественной активности всех социальных групп, в возросшем их участии в управлении государством, но и в том, что постепенно стираются различия между ними, растет социальная однородность советского общества. Налицо переход всех слоев населения на идейно-политические позиции рабочего класса. Происходит все большее сближение наций и народностей нашей многонациональной страны. На основе их юридического и фактического равенства во всех областях жизни и братского сотрудничества, на основе сближения всех классов и социальных слоев у нас сложилась исторически новая социальная и интернациональная общность людей — советский народ. Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство стало общенародным государством, выражающим волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.

О чем говорят все эти глубокие изменения в экономике и социальном облике советского общества, равно как и изменения в духовной жизни нашего народа, неуклонный подъем его благосостояния, создание новой, социалистической культуры, утверждение нового, социалистического образа жизни? О том, что впервые за всю историю человечества в нашей стране построено развитое социалистическое общество, являющееся сегодня высшим достижением социального прогресса. Этот важнейший итог самоотверженного, воистину героического труда советского народа и лег в основу нашей новой Конституции, нашел в ее чеканных формулировках свое всестороннее отражение. В условиях развитого, зрелого социализма все полнее раскрываются

созидательные силы нового строя, преимущества социалистического образа жизни, трудящиеся все шире пользуются плодами великих революционных завоеваний.

Но одна из главных особенностей новой Советской Конституции состоит в том, что она не только законодательно закрепляет завоевания революции и успехи социалистического строительства — то, что уже фактически достигнуто, добыто народом, — она вместе с тем освещает народу путь в его завтрашний день, ясно и четко провозглашает цели и задачи на будущее. «Высшая цель Советского государства, — записано в нашей новой Конституции, — построение бесклассового коммунистического общества, в котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление. Главные задачи социалистического общенародного государства: создание материально-технической базы коммунизма, совершенствование социалистических общественных отношений и их преобразование в коммунистические, воспитание человека коммунистического общества, повышение материального и культурного уровня жизни трудящихся, обеспечение безопасности страны, содействие укреплению мира и развитию международного сотрудничества».

Новая наша Конституция предстала перед всем миром как великая хартия развитого социализма, великая хартия демократических прав и гражданских свобод советского человека. Еще в предоктябрьскую пору М. Горький вложил в уста одного из героев романа «Мать» такие слова: «Я знаю — будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда перед другим! Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей... Тогда не жизнь будет, а — служение человеку, образ его вознесется высоко; для свободных — все высоты достигаемы!» Сказано по-горьковски поэтично и прозорливо. «Какие хорошие люди, — говорит о вставших на путь революционной борьбы молодых рабочих другой персонаж горьковского романа, — крепкие, чуткие, полные жажды все понять. Смотришь на них и видишь — Россия будет самой яркой демократией земли!» Так мечталось горьковским героям. В наше время эти мечты стали явью.

Уже первая Советская Конституция — Конституция РСФСР 1918 года, законодательно закрепившая завоевания Октября, установление диктатуры пролетариата, — была самой демократической конституцией в мире. Ее основу составила ленинская «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В ней были сформулированы такие важнейшие задачи советской власти, как уничтожение эксплуатации человека человеком и построение социалистического общества. Не в тиши кабинетов ученых-юристов создавалась наша первая Конституция. Ее творил сам революционный народ в ожесточенных схватках с силами старого мира. Ее строки писались кровью лучших сынов и дочерей народа, отдавших жизнь в борьбе за наше светлое будущее.

Став полноправными хозяевами своей страны, трудящиеся массы России, руководимые ленинской партией, с невиданным энтузиазмом взялись за построение социалистического общества. Последующие наши Конституции отражали успехи, достигнутые на этом пути, знаменовали собой новый этап, новую ступень в развитии социалистической демократии. Конституция СССР 1924 года определила принципы образования, основные задачи и цели нашего союзного многонационального государства, сложившегося в результате свободного саморазделения наций и добровольного объединения равноправных советских социалистических республик. Конституция 1936 года законодательно закрепила победу в СССР социалистических общественных

отношений, привела в соответствие с этим всю систему органов власти и управления, установила порядок выборов в Советы на основе общего для всех граждан равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Наша новая Конституция бережно сохраняет и развивает намеченные еще В. И. Лениным характерные черты конституции социалистического типа. Она вобрала в себя весь конституционный опыт советской истории, научно обобщила его. Она обогатила этот опыт новым содержанием, отвечающим требованиям современной эпохи. Дальнейшее расширение и углубление социалистической демократии — главное направление того нового, что содержит Конституция СССР 1977 года и что составляет одну из ярчайших ее особенностей. Советские люди и до принятия новой Конституции пользовались широким комплексом социально-экономических прав. Построение развитого социализма, сама наша теперешняя жизнь углубили, обогатили содержание этих прав, сделали весомее стоящие за ними материальные гарантии, позволили значительно усовершенствовать соответствующие статьи Основного Закона.

Коренное отличие нашей Конституции от всех буржуазных конституций прошлого и настоящего состоит, как известно, в том, что Основной Закон социалистического государства не ограничивается декларированием, фиксированием на бумаге демократических прав и свобод. Он точно указывает, какими реальными средствами государство эти права и свободы гарантирует, чем их на деле обеспечивает. Так, основное человеческое право — право на труд, право, которого фактически лишены миллионы людей в самых развитых капиталистических странах, надежно обеспечивается у нас социалистической системой хозяйства, неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессиональным обучением, повышением трудовой квалификации и обучением новым специальностям, развитием систем профессиональной ориентации и трудоустройства. Все граждане СССР имеют право на получение гарантированной работы, включая право на выбор профессии, рода занятий в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учетом общественных потребностей. В Советском Союзе не человек ищет работу, а работа ищет человека.

Точно так же широким спектром реальных гарантий надежно обеспечиваются Основным Законом права граждан СССР на отдых, охрану здоровья, материальное обеспечение в старости, права на жилище, образование, на пользование достижениями культуры, свобода научного, технического и художественного творчества, все другие права и свободы советских людей, включая право каждого участвовать в управлении государственными и общественными делами.

Положения нашего Основного Закона о правах, свободах и обязанностях советских граждан привлекли пристальное внимание не только наших друзей во всем мире, что вполне естественно и понятно, но и наших идейных, классовых противников — они подвергли эти положения Конституции СССР особенно яростным нападкам. Что ж, в этом, как говорил Леонид Ильич Брежнев в докладе на внеочередной сессии Верховного Совета, тоже есть своя логика: ведь именно тему «заботы» о правах человека избрали за последнее время видные представители капиталистического мира в качестве главного направления своего шумного, но бесславного идеологического похода против Советского Союза и других стран социализма.

Этих «радетелей» за права человека не устраивают, видите ли, провозглашаемые нашей Конституцией положения о том, что осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения гражданских

обязанностей, что гражданин СССР обязан соблюдать Конституцию и советские законы, уважать правила социалистического общежития, что использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерба интересам общества и государства, правам других граждан. Короче говоря, с точки зрения наших классовых противников, гражданам СССР следовало бы, видимо, предоставить одно-единственное «право» — на радость империализму бороться против Советского государства, против социалистического строя. «Но мы,— заявил Леонид Ильич Брежнев,— должны разочаровать таких «критиков» нашей Конституции: навстречу их пожеланиям советский народ не пойдет никогда!»

На чашу весов истории наша Конституция кладет подлинно великие, достигнутые благодаря власти рабочего класса под руководством ленинской партии завоевания трудящихся, самый полный и реальный комплекс социально-экономических, политических и личных прав и свобод гражданина социалистического общества. Что могут противопоставить этому буржуазные критики новой Конституции СССР? «Право» десятков миллионов людей на безработицу? Или «право» больных обходиться без врачебной помощи, которая стоит огромных денег? Или «право» национальных меньшинств на унижительную дискриминацию в труде и образовании, в быту и политической жизни? Свою так называемую массовую культуру, растлевающую человеческие души? «Право» жить в вечном страхе перед всемогуществом организованного преступного мира и видеть, как печать и кино, телевидение и радио делают все, чтобы воспитывать молодое поколение в духе эгоизма, жестокости и насилия?..

Социалистическое общество по самой природе своей общество гуманистическое. Оно наследует и обогащает лучшие гуманистические традиции человечества. Развитой социализм, законом жизни которого является забота всех о благополучии каждого, все более полно проявляет свою гуманистическую сущность. Это нашло яркое отражение в новой Советской Конституции. Она представляет собою не имеющий себе равных в мировой истории документ социалистического, реального гуманизма.

Реальный гуманизм нашего общества — это последовательное претворение в жизнь программного лозунга Коммунистической партии: «Все во имя человека, для блага человека». Это постоянная забота партии и государства о подъеме благосостояния народа, развитии передовой науки и культуры, создании все более благоприятных условий для всестороннего развития личности.

Реальный гуманизм нашего общества — это неуклонно проводимая Советским государством ленинская политика мира. В новую нашу Конституцию включена специальная глава о целях и принципах внешней политики СССР. В ней говорится, что наша внешняя политика направлена на укрепление безопасности народов, предотвращение агрессивных войн, на осуществление принципа мирного сосуществования государств с различным социальным строем, что Советское государство стремится к достижению всеобщего и полного разоружения, выступает за широкое международное сотрудничество. Эта новая глава нашего Основного Закона с глубоким удовлетворением встречена не только советским народом, но и людьми доброй воли всей планеты.

Не будет преувеличением сказать, что социалистическим гуманизмом пронизано все содержание Основного Закона нашего государства. В полной мере относятся это и к главе «Социальное развитие и культура». В полной мере потому, что в условиях развитого, зрелого социализма все глубже раскрывается гуманистический характер нашей культуры. Социалистическая по содержанию, по главному на-

правлению своего развития, многообразная по своим национальным формам и интернациональная по своему духу, советская культура вдохновляется идеалами высокого, подлинного гуманизма. На память невольно приходят давно уже ставшие крылатыми горьковские слова: «Все — в человеке, все для человека!», «Человек — вот правда!», «Человек! Это звучит... гордо!», «Превосходная должность — быть на земле человеком», «В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя». Творческие заветы великого гуманиста, основоположника литературы социалистического реализма не забыты. Они получили свое развитие в лучших произведениях советской литературы и искусства, правдиво и ярко запечатлевших рождение нового человека, его духовное и нравственное формирование.

На наших глазах происходит удивительный по масштабам и глубине процесс дальнейшего приобщения многомиллионных масс трудящихся к ценностям культуры. Новая Конституция СССР поднимает этот процесс на уровень общегосударственной политики, делает его важным звеном в общей цепи забот партии и государства о духовном росте строителей коммунизма. Советское государство, сказано в новой нашей Конституции, заботится о развитии образования, науки и искусства, об охране, приумножении и широком использовании духовных ценностей для нравственного и эстетического воспитания советских людей, повышения их культурного уровня. Государство ставит своей целью расширение реальных возможностей для применения гражданами своих творческих сил, способностей и дарований. Свобода научного, технического и художественного творчества обеспечивается широким развертыванием научных исследований, изобретательской и рационализаторской деятельности, развитием литературы и искусства. Государство создает необходимые для этого материальные условия, оказывает поддержку добровольным обществам и творческим союзам.

Задолго до наших дней основоположники марксизма, смелыми штрихами рисуя картину будущего, предвидели, что эпоха строительства коммунистического общества откроет невиданно широкие перспективы для расцвета художественного творчества. В том, насколько верным оказалось это предвидение, сегодня можно убедиться воочию. Литература и искусство в нашей стране стали, как об этом мечтал В. И. Ленин, неотъемлемой частью общепролетарского, общенародного дела. В ходе строительства социализма сформировался новый тип писателя, деятеля искусства — тип художника-гражданина, живущего едиными интересами, одной жизнью со своим народом.

Коммунистическая партия и Советское государство создали условия максимального благоприятствования для расцвета литературы и искусства, для плодотворного труда художника. Основу взаимоотношений партии и творческой интеллигенции составляют абсолютное доверие партии к писателям, деятелям искусства и, в свою очередь, их безграничная преданность партии, преданность ее идеям, ее политике. Об этом говорили с трибуны внеочередной сессии Верховного Совета писатели-депутаты Георгий Марков, Расул Гамзатов, Сергей Михалков, Александр Чаковский. «Литература и искусство,— сказал первый секретарь правления Союза писателей СССР Георгий Марков,— живут, движутся, обретают все новые и новые завоевания, черпая свое вдохновение в идеях и политике партии, в опыте всенародной борьбы за торжество коммунизма. Именно поэтому для нас, работников художественного фронта, нет ничего дороже интересов Коммунистической партии и народа!» Творить для народа, активно участвовать своим творчеством в формировании духовного и нрав-

ственного облика нового человека — строителя коммунистического общества, что может быть возвышеннее и благороднее этого!

Вместе со всем советским народом творческая интеллигенция нашей страны всем сердцем и разумом восприняла новую Конституцию как величественный итог героического прошлого, надежную гарантию настоящего, как животворный источник вдохновения и уверенности в будущем.

Вместе со всем нашим народом советские писатели и работники искусства испытывают особое удовлетворение оттого, что в новой Конституции дана развернутая характеристика руководящей и направляющей роли Коммунистической партии, четко отражено ее действительное место в советском обществе и государстве. Всей своей героической историей, своей внутренней и внешней политикой наша партия снискала искреннюю любовь и уважение трудящихся, на деле доказала, что она существует для народа и служит народу.

Нет, разумеется, ничего удивительного в том, что положения нашего Основного Закона о Коммунистической партии как руководящей и направляющей силе советского общества, ядре его политической системы, государственных и общественных организаций очень не по душе буржуазным критикам и комментаторам новой Конституции СССР. Они шумят на все голоса, что это-де «провозглашение диктатуры коммунистической партии». «Что тут можно сказать? — заявил Леонид Ильич Брежнев, выражая единое мнение миллионов и миллионов советских людей. — Причины этой атаки понятны. Коммунистическая партия — это авангард советского народа, его наиболее сознательная, передовая часть, неотделимая от народа в целом. Никаких других интересов, кроме интересов народа, у партии нет. Пытаться противопоставить партию и народ друг другу, рассуждать о «диктатуре партии», это все равно, что пытаться противопоставить, скажем, сердце всему остальному человеческому организму».

Торжественно и радостно отпраздновав шестидесятилетие Октября, Страна Советов вступила в седьмое десятилетие своей истории под знаменем новой Конституции. Конституции развитого социалистического общества. Конституции строящегося коммунизма. Великая страна получила великую Конституцию. Принятая Верховным Советом СССР 7 октября 1977 года, она действует, живет, работает. По ней отныне сверяют советские люди свою жизнь, свой вдохновенный творческий труд.



ЗИЛ – НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ПЕРЕКЛИЧКА

Наш журнал уже печатал (в № 1 за 1976 год) стихи рабочих-поэтов КамАЗа. Ниже мы знакомим читателя с некоторыми новыми именами молодой камазовской поэзии.

Вот уже второй год как установились дружеские отношения между коллективом автозавода имени И. А. Лихачева и редакцией «Нового мира». В этой подборке-переключке рабочих-поэтов двух гигантов советского автомобилестроения мы впервые предоставляем на страницах нашего журнала слово рабочим-поэтам ЗИЛа.

ХАНИФ ХУСНУЛЛИН

Голубое мое ремесло

Есть, должно быть, в тебе поэзия, от какой
на душе светло,
Геодезия, геодезия, голубое мое ремесло!

Щепчет рощами широколистыми всепланетный
зеленый храм:
«Стать велю вам геодезистами, зашагать по
лесам и горам!»

И шагаю я повсеместно, молодой земли новосел,
И на ней выбираю место для больших городов
и сел.

Распевают капеллы птичьи, лес гудит на груди
земной:
Жизни творческое величье раскрывается предо мной.

Потому что земле я внемлю, потому что душою
чист,
Потому что люблю я землю — потому я геодезист!

Ты мой труд и моя поэзия, от тебя на душе светло,
Геодезия, геодезия, голубое мое ремесло!

Я иду по просторам мира мимо фабрик и деревень,
В золотом зрачке нивелира отражая грядущий день.

По лесам, холмам и равнинам уходя в простор
бытия,
Всеи земле прихожусь я сыном, как и прочие
сыновья!

Сиротливые ворота

Мне тесовые ворота,
будто знак иной судьбы,
улыбнулись криворото:
ни забора, ни избы!

К ним дорогу не укажет
хлопотливая родня,
путник больше не привяжет
к ним буланого коня.

А давно ль в тесовой стати,
в свежеструганой красе
те ворота, как полати,
проскрипели по росе?

Нечего давать поблажки
пережиткам старины:
строят девятиэтажки
Набережные Челны!

На заре по камским плесам
в переключке голоса:
из домов, обшитых тесом,
едем в чудо-корпуса!

Для чего б, аллаха ради,
теми створками скрипеть?
Куча дела в автограде,
право, только бы успеть!

Если есть поэт вселенский,
тех ворот ему не жаль —
я ж татарин деревенский,
просто парень деревенский,
мне понятна их печаль.

Одиночество тревожит
разве только потому,
что а все-таки, быть может,
нужен ты еще кому?!

В дни большого разворота,
где подводится черта,
где берется высота,
что нам прежние ворота,
тесовые ворота?

С рощей девятиэтажек
их срастил солнцеворот —
почему ж угрюм и тяжек
жребий зябнущих ворот?

Влажный сумрак отступает,
ночь святые видит сны:
там в грядущее вplывают
Набережные Челны.

Автоград в труде и в росте,
 весь — единая семья,
 а ворота — будто гости
 из иного бытия.

Где ж тот мрак, что над поляной
 льнул к девичьему лицу?
 Где ж тот конь, тот конь буланный,
 что привязан был к кольцу?

Что ж! В душе родится слово:
 ты о прошлом не жалея,
 сердцу трудно без бывшего,
 но грядущее — милей!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

САЛИМА ШАРИПОВА

Короткая песенка о долгой радости

Если песня не обманет, значит, так тому и быть:
 Я хотела бы фундамент этой песенкой скрепить.

Чтоб душа была любима и нежна, как лучший стих,
 Чтоб стоял непоколебимо славный дом друзей моих.

Радостью б я застеклила рамы хрупкого окна —
 Чтоб тоска нас не томила, чтоб душа была ясна.

Чтоб угрюмые печали, отрицающие смех,
 Никогда б не посещали дом такой же, как у всех!

И вновь я за перо берусь...

Любовь и радость или грусть —
 Порой язык немеет...
 И вновь я за перо берусь:
 Оно молчать не смеет.

Передо мной растут Челны
 Батыром в сказке, в чуде.
 Такой отвагою полны,
 Такой душой наделены —
 Где силу взяли люди?

Обилен хлебом Татарстан,
 И нефть ему природа
 Дарит.
 И сердце движет кран
 В цеху автозавода.

Вновь льнет к стеклянному шатру
Заречная зарница,
И тянется душа к перу,
Чтобы в стихах излиться!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

МАХМУД ГАЗИЗОВ

Жаль, что время растянуть нельзя...

Жаль, что время растянуть нельзя,
А не то бы в радости и в силе
Ненаглядные мои друзья
Счастья дни в недели превратили.
Жаль, что время невозможно сжать,
Чтобы поскорее на погосте
Оказались вражеские кости...
Вот бы научиться управлять
Временем!

А впрочем, может статья:
Надо не за флагом оставаться,
А существованье познавать.
Время, это бремя бытия,
Кажется порою легче пуха —
В нем утеха зрения и слуха...
Или же всего лишь жизнь моя!

Перевел АЛЕКСАНДР ГОЛЕМБА.

МИХАИЛ ФЕДОСЕНКО

Комбат

Не спит комбат. Льет лампа медный свет,
Врубаясь сквозь окно в метели пляску.
Багрянец вполонна, тревожно-ласков,
Твердит, что в наступлении рассвет.

Он грянет, оглянуться не успеет,
И ворожбу сметет седых метелей...
Поднимет зуммер всех солдат с постелей —
И батальон уйдет в кипящий снег.

Суровая наука побеждать:
Штурмуя сопки скользкие отроги,
Оставив для вершины вздох глубокий,
Все силы наступлению отдать...

Комбат над картою склонился вновь,
Где стрелки — нервы предстоящей битвы,
Где мужество в решительность отлито,
Где не должна пролиться наша кровь.

Он не дождался сыновей с войны,
И в нас их пульс, он слышит, гулко бьется.
Не спит комбат, страж чуткой тишины,
И спят солдаты на прицеле солнца.

Декабрьский ветер

Бродяга ветер — мой двойник.
Владыка полуночных улиц
Бредет сквозь город напрямик,
Под злым неоном не сутулясь.

Он нарушает торжество
Уюта, чьи глаза незрячи.
Уже вселяется в него
Дыханье зимнее удачи.

Он снега сыплет серебро
С тем неуменьем повторяться,
С каким друзья и домочадцы
Упрямо гнали прочь его

Из сонно-теплых кулуаров,
Спеша захлопнуть окна в мир.
А поутру свои бульвары
Он в сказку света обратил.

Как неподдельно удивленье
Жеманниц, мальчиков, старух —
Увидеть торжество вокруг,
Неповторенье повторений!

Аэродромы плоских крыш —
Как памяти аэродромы...
О ветер, ты, как я, летишь
Над миром снова незнакомым.

И город, что во мне един,
С декабрьским мне твердит акцентом,
Что нет удачного рецепта
От неожиданных седин.

* * *

Как солнечно нам на лугу.
Стать крыльями вдруг на бегу
Июльские ветры велели.
С тобой мы — два сильных крыла.
Любимая, как ты смогла?
Два сердца в едином прицеле.

Один я подняться бы смог
 Над пыльным дурманом дорог,
 Когда так удача пропаша?!
 Теперь я молиться готов:
 Пусть сон облаков и любовь
 Откроются только летящим.

Любимая, как ты смогла?
 С тобой мы — всего два крыла,
 А ветер порывист, отчаян.
 И Тихий порой океан,
 Ты знаешь, в седой ураган —
 Могила для праздничных чаек.

Но мы из апреля с тобой
 В июль прорвались над землей,
 В небесное луга убранство.
 Разлука, ты нас не зови —
 Немыслимым светом любви
 Наполнено это пространство.

РАВИЛЬ БУХАРАЕВ

Из цикла «КамАЗ»

ЭКСКУРСОВОД

В Челнах есть маленький музей.
 Лишь изредка на кафедру зала
 ступает праздный ротозей,
 поскольку ротозеев мало.

В запаснике царит покой:
 клык мамонта, соха, мочало...
 Одной истории начало
 и продолжение другой.

Но тем солидней и свежей
 пополнили реестр куцый
 сто факсимильных репродукций —
 бесценный дар мадам Леже.

Отлакированы прекрасно
 Ван Гог, Моне и Ренуар,
 неистовый Вламинк, Пикассо...

Пусть при дыханье валит пар
 и ветер за стеклянной дверью
 поземку сыплет на крыльцо,
 я странно в будущее верю,
 я помню голос и лицо.

Экскурсовод наш милый Люда,
морозен в январе КамАЗ,
и как нечаянное чудо
я часто вспоминаю вас.

Смущенье ваше, легкий кашель
и ваши восемнадцать лет,
а на полу — холодный кафель
воображением согрет.

И это, право же, не шутки:
перед Моне как на часах,
выстаивая в рыбьей шубке,
рассказывать о чудесах...

Но слышно — линия пропела,
и оживилось полотно...
Так верить в то, что свято дело,
немногим, видимо, дано.

Застенчиво и вдохновенно
нам говорит экскурсовод:
— Ведь это мелочи, наверно;
вы напишите про завод...

...Ведь между строк газетной фразы,
витийством сводок и речей
слагались Братски и КамАЗы
из вдохновенных мелочей!

Тогда лишь дали необъятны
для жизни строек и поэм,
когда и мелочи понятны —
кто за кого и что за чем...

Но как же холодно, однако!
Я рад, что с вами я знаком.
Картины жарко блещут лаком,
синее вьюга за окном.

НОЧНАЯ СМЕНА

Р. Галимову, поэту с Камгэс.

За облачную ватой,
среди речных огней
ликует над брандвахтой
закатный соловей.

Как терпкий запах винный,
вблизи и вдалеке
верлибр соловьиный
в прибрежном ивняке.

Заслушался пичугу
разбуженный Руслан.
И к северу и к югу
над Камою туман.

Да что ж это такое?
Руслан и сам поэт,
но не дает покоя
ликующий сосед.

Пускай ласкали мало
года и города,
пускай жена пропала
неведомо куда,

трудяга не по нормам,
но голубых кровей —
он обеспечен кормом,
беспечный соловей!

Огни ночные строго
над берегом горят.
Руслан, поэт от бога,
идет на земснаряд.

И нынче непременно
(все прочее — труха!)
грядет ночная смена
свободного стиха.

РАССВЕТ

Я видел Время. В наступленье света,
когда над Камой утро восходило,
качнулся голубой цветок заметно,
как будто слабый уловил сигнал...

Раскручивался венчик по спирали,
и лепестки, отклеиваясь, жили
и пробовали воздух увлажненный,
как лапки голубого существа...

Я полагал, что Время — циферблат.
По улицам меня гоняли цифры;
хранилось в голове немое знание,
что утром
распускаются
цветы...

Всего лишь миг раскручивался венчик,
но понял я, что предо мною — Время,
и понял, что опаздываю, ибо
уже без мига Время предо мной.

РОДНИК

Над безмолвием полей,
над овражной степью волчьей
слышен говор неумолчный
серебристых тополей.

Перепутались ветра
в рощице степной колючей.
Здесь, под ивою летучей,
заводь мелкая светла.

Средь ветвей кричат грачи.
В струях родника святого
распускаются ключи,
восходя со дна живого,
как прозрачные цветы..
При сиянье их обманном
в облике судьбы туманном
вижу ясные черты...

Так! Мы отражаем мир,
пролетая над бедою,
как серебряный пунктир
повисает над водою,

и проходят облака
по-над Камой синекрылой,
созданы певучей силой
маленького родника!

НАД КАМОЙ

Когда на потускневшем пианино
играл отец мой тихо, неумело,
отдельные удачные аккорды
переполняли музыкой меня...

В вечерней тесноте сипела гордо
печурка, перепачканная мелом,
и отблески старинного камина
мне виделась в мерцании огня.

А я лежал на узкой раскладушке,
локтями зябко чувствуя пружины,
и, мысленно касаясь белых клавиш,
ноктюрн воображаемый играл.

Но только клавиш я коснулся сам,
как невзлюбил бемоли и диезы
и лезвием нарочно пальцы резал,
чтоб не играть невыносимых гамм!

И как же трудно было вжиться в роль
тогда, в кают-компани над Камой,
где, как река во мгле, блестел рояль,
упрямый, беспокойный, незнакомый...

Я пробовал играть, но по бокам
у инструмента слушатели сели;
их отраженья, словно облака,
за темной полировкой висели.

Попутчики на день или на два,
из ПТУ строители-ребята,
они в каюте пели — трын-трава! —
о Колыме и о судьбе измятой,
беспечно вспоминали, как шпана
по вечерам их ожидала, скалясь...
И молодость унылая шаталась
от теплого дешевого вина.

Суровый полированный рояль,
в негромкий час, когда белели струи,
немилосердно ты меня карал
за лень мою невольную, тупую!

Внутри меня шумела и рвалась
сюда, к ребятам, музыка такая,
что замер бы, услышав, первый класс,
а в третьем классе слушали, вникая...

Но звуки, словно тусклые огни,
не вспыхивая в темноту летели...
Минуты шли томительно, как дни.
Ребята поднимались и кряхтели.

Они хотели музыки. Они
не разговоров — музыки хотели.

ПОЭТЫ ЗИЛА

НИКОЛАЙ АЛМАЗОВ

Горизонты

Исхлестанный солеными ветрами,
Пришел в бушлате на завод моряк.
— Теперь на суше
поштурваль-ка с нами, —
Автозаводцы парню говорят.
— А я в цеху слесарил
и до флота
И вновь пришвартовался на завод...
— У нас не шторм,
а требует работа
Такой же хватки, как на море флот... —
И дни, как волны Балтики, катились,
И годы шли, как в рейсы корабли...

От пота мокрые рубахи
Сушили тут же,
на бревне.

Таскали бревна и пилили,
Мостили весело накат
И жерди тонкие рубили,
Курили крепкий самосад.

Нам не нужна работа легче:
Через болото

стелим гать...
На наши бронзовые плечи
Садится солнце отдыхать.

Тесать —
играем топорами.
Не клуб мы строим,
а дворец!
Нас называют мастерами,
Но мастер был у нас отец.

Свежа водица из колодца.
Налей-ка, мать,
горячих щей!
Тебе, ей-богу, не придется
Краснеть за нас,
за сыновей!



АЛЕСЬ АДАМОВИЧ,
ДАНИИЛ ГРАНИН

★

ГЛАВЫ ИЗ БЛОКАДНОЙ КНИГИ

У этой правды есть адреса, номера телефонов, фамилии, имена. Она живет в ленинградских квартирах, часто с множеством дверных звонков — надо только нажать нужную кнопку, возле которой значится фамилия, записанная в вашем блокноте. Ожидавшая или не ждавшая вашего посещения, вашего неожиданного интереса, она взглянет на вас женскими или не женскими, но обязательно немолодыми и обязательно взволнованно-оценивающими глазами («Кто?.. Почему?.. Зачем им это?»). Проведет мимо соседей к себе и скажет тоже почти обязательное: «Сколько лет прошло... Забывается все...»

Ленинградские дома, квартиры блокадников...

Вообразите себе солдата, который живет сегодняшним мирным бытом, но окружен теми же стенами, предметами, как бы все в той же землянке, в том же окопе. Следы осколков от снаряда на потолке (старинном, лепном), осколков стекла на глянце пианино. Пятно-ожог от буржуйки на блестящем паркете... Тут его, ленинградца, обстреливали, обрушивали на него смерть — снаряды, бомбы. Тут его истребляли голодом. Он потерял здесь столько близких, соседей, здоровье потерял. А сейчас (здесь же!) живет, как все. Как все, только со всех сторон окружен памятью...

И в нем самом она, та память о блокаде, о всем выстраданном, пройденном, пережитом вместе с миллионами других ленинградцев, которых уже нет, за которых тоже надо помнить, а если спрашивают — рассказать...

«Столько лет прошло, забывается все...»

Но ничто не забыто — эти родившиеся в Ленинграде же слова звучат и как уверенность и как надежда, просьба. Да, не забыто — разве может человек такое забыть, даже если бы и хотел, имел право?! Да, все это помнят еще живущие блокадники. Они блокаду выдержали, они переносили ее изо дня в день с поразительным человеческим достоинством. Но мы, мы, не пережившие этого, или сегодняшние молодые, — имеем ли мы право не стараться узнать обо всем, что вынесли, пережили, перестрадали, сделали и ради нас они, ленинградцы?!

И вот сегодня мы пришли к нему, к ней — именно к этому человеку, чтобы «все записать», потому что время все быстрее уносит свидетелей, участников, тех, кто был, кто знал, кто видел...

Откровенно говоря, мы многого не знали, не знали, какие жестокие вещи стоят за привычными словами «ленинградская блокада». Даже мы, прошедшие войну — один в белорусских партизанах, другой

на Ленинградском фронте,— казалось, привычные ко всему, были не готовы к этим рассказам. Они ведь, эти люди, щадили нас все годы, но себя, рассказывая, уже не щадят...

Понять и унести безжалостную был «ленинградской памяти» легче, если видишь этих людей — самих рассказчиков, а не только слышишь их голоса (с магнитофона) или читаешь их воспоминания.

Многое в этих людях удивительно и неожиданно. Но потом все оказывается таким простым, понятным, таким человеческим... и еще более поразительным.

Например, поражает и бесконечно трогает — сколько их, бывших блокадников, писали и пишут... стихи. Не просто и не только дневники, воспоминания, но и стихи. Едва ли не каждый десятый. Что это — влияние самого города с его несравненной поэтической культурой? Или же слишком врезалось в сознание ленинградца, как оно было: голод, блокада и стихи (об этом же) — и все рядом? Он их слышал, слушал по радио, жадно, как никогда до этого, — стихи Ольги Берггольц (да и не только ее).

Можно было бы и не придавать особого значения «непрофессиональному» увлечению стихами взрослых людей, если бы за этим не виделось большее, главное: сквозь годы многое в блокаде светится поэтически, проступает романтика общего подвига. Нет, не в том смысле, что ленинградец опускает в своих воспоминаниях холод, голод, трупный ужас тех дней и ночей. Все это живет в нем как крик боли до сих пор. Но во всем и надо всем — понимание каждым (поразительно!), что это были исторические дни и ночи, сознание, что Ленинград — единственный город, который устоял перед самой длительной блокадой, что образ города этого помог миру, человечеству остановиться на краю страшной пропасти. Отрезанный, заблокированный город был, и это надо понять, силен своим одиночеством, к нему были устремлены внимание, любовь, вера всей страны, ее реальная поддержка, первоочередная, безотказная. Неслыханные жертвы, невыносимые испытания, о которых рассказывает блокадник, просветлены этим чувством признательности и гордости, этим поэтическим чувством: зато Ленинград устоял! мы выстояли! жизнь продолжается!

...Вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй необоримый год,
О, год ожесточенья и упорства!
Лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
Год Ленинграда,
год его зимы,
год Сталинградского
единоборства.

В те дни отхлынул бы т.
И смело
в права свои вступило бы т и е.
О. Берггольц.

Сколько нужно было выстрадать, пропустить сквозь себя блокадного горя, женской тоски, ленинградской надежды, ожидания («Когда, когда же наконец?!»), чтобы вот так поэтически увидеть прорыв блокады, тридцать лет сохранять образ и чувство и вот так рассказать:

«Демобилизовали, и я работала уже с 9 января 1944 года на трамвае, он ходил по Невскому. И вот первый день снятия блокады. Начали военные корабли стрелять. Это такое было зрелище, что я никогда не забуду. Красивое и страшное. Как будто с Невы вся

вода, огненно-красная, поднимается и летит через наши головы, а потом сильный грохот...» (Анна Алексеевна Петрова, ул. Бассейная, 74, корп. 1, кв. 18).

О блокаде Ленинграда, о героических защитниках невольной твердыни, о «наемном убийце» фашистов — блокадном голоде существует обширная документальная литература.

Немало душ, сердец во всем мире потряс зимний дневничок маленькой Тани Савичевой: «Сегодня умерла бабушка... Сегодня умерла мама...»

В драгоценно-подробных дневниках Павла Лукницкого «Ленинград действует» и в записках, дневниках (опубликованных) других свидетелей и участников героической ленинградской эпопеи есть много нестареющей правды, нужной людям.

За последние годы выпущены, особенно в Ленинграде, сборники воспоминаний участников героической обороны Ленинграда и прорыва блокады — генералов, полководцев, рядовых солдат Ленинградского фронта. Изданы воспоминания партийных и советских работников, которые сумели в условиях блокады наладить жизнь осажденного города, поддерживать стойкость в людях, осуществить «Дорогу жизни». Есть воспоминания юных защитников города — школьников, юнг, воспоминания тех, кто создавал в блокированном городе овощную базу, заготавливал лес, торф... Книги об ученых ленинградской блокады, артистах, художниках, врачах, учителях.

Созданы очерки, повести, романы, начиная от «Балтийского неба» Н. Чуковского, «В осаде» В. Кетлинской, книг Н. Тихонова, В. Инбер, В. Вишневского, А. Фадеева... Все они честно, талантливо, страстно изображали увиденное, пережитое, опыт самих авторов и их героев. Это была художественная литература. Многотомная «Блокада» А. Чаковского вобрала в себя и документы и факты, передающие мужество великого города, а главное, то, как связана была история ленинградской блокады с историей всей Великой Отечественной войны, как взаимодействовали не только фронты, но и стойкость ленинградцев со стойкостью всего народа.

Что еще можно поведать людям, миру обо всем этом? И нужно ли это ему, сегодняшнему миру?

Мы хотели дополнить картину свидетельствами людей о том, как они жили. Записать живые голоса участников блокады, их рассказы о себе, о близких, о товарищах. Обыкновенные ленинградцы, работавшие и не работавшие, холостые и семейные, мастера, рабочие, дети, инженеры, медсестры, — впрочем, дело не в специальностях и должностях. Мы ограничивали себя не в силах охватить разные стороны жизни огромного города, показать все отрасли. Нас интересовало пережитое. Мы хотели охватить, понять, сохранить все то, что было пережито, прочувствовано, изведено душами людей, не вообще людей, а конкретных людей с именами и адресами, старых и молодых, сильных и слабых, тех, кого спасали, и тех, кто спасал... Оказалось, что быт и бытие сошлись в тех условиях, когда ведро воды, коптилка, очередь за хлебом — все требовало невероятных усилий, все стало проблемой для измученного, ослабевшего человека...

Откуда брались силы, откуда возникала стойкость, где пребывали истоки душевной крепости?

Перед нами стали открываться не менее мучительные проблемы и нравственного порядка. Иные мерки возникали для понятия доброты, подвига, жестокости, любви. Величайшему испытанию подвергались отношения мужа и жены, матери и детей, близких, родных, сослуживцев.

В рассказах людей вставали те сложные моральные задачи, которые приходилось решать каждому человеку. Мы увидели необычайные примеры крепости духа, примеры благородства, красоты, исполнения долга, но и — неслыханных страданий, мучительных лишений, смертей...

Не всегда было ясно — пришло ли время для этих рассказов такой жестокой беспощадности? А с другой стороны — не ушло ли, не упущено ли время и возможность рассказать об этом так, как это было вживе и въяве, так, как это помнят лишь сами ленинградцы?..

Приходя с магнитофоном к людям, будоража их все еще воспаленную болью и утратами душу, мы не раз спрашивали себя: а надо ли, а имеем ли право? Ответом служат сами же рассказы ленинградцев. В них — в тексте, в интонации — звучит: да, нам тяжело, больно вспоминать, но еще больнее было бы думать, что такое никому не нужно, кроме нас самих.

А ведь действительно, если все это было на планете — тот блокадный смертельный голод, бессчетные смерти, муки матерей и детей, — если так пришлось людям, то память об этом должна служить другим людям и десятилетия и столетия спустя.

Современная литература, документальная и художественная, о второй мировой войне отразила и продолжает отражать жестокую правду XX века: голод, массовый голод, вошел в арсенал, числится в арсеналах недавних и потенциальных убийц народов как важнейшее оружие. Не писать, не помнить сегодня об этом, забыть вчерашний опыт — то же самое, что «забыть» о запасах, складах атомной смерти.

Уже с 1944 года, со дня снятия блокады, когда выставку обороны Ленинграда стали переделывать в Музей обороны, начался, по сути, правдивый, впечатляющий рассказ о героизме девятидней. Один из создателей музея, Василий Пантелеймонович Ковалев, наизусть помнит все экспонаты, он рассказывает так, словно ведет вас из зала в зал: вот зал авиации с бомбардировщиком, который первым бомбил Берлин в сорок первом году, а вот в зале артиллерии миномет братьев Шумовых, несколько залов партизанского движения...

Был там и дневник Тани Савичевой, тот самый, который, бережно сохраняемый, выставлен ныне в центре мемориала Пискаревского кладбища. Записки девочки, погибшей в 1942 году, стали одним из грозных обвинений фашизму, одним из символов блокады. Дневник имеет свою историю.

«Принес его Лев Львович Раков, директор музея. Эта маленькая книжка производила невероятное впечатление. Зал, в котором она была, отличался особенным оформлением: потолок был сделан в виде палатки, были колонны, изображающие лед, и при входе в зал была витрина, покрытая как бы изморозью. За этой витриной стояли весы и на весах лежало 125 граммов хлеба, а напротив была витрина, в которой был сосредоточен материал по пайкам, которые выдавались ленинградцам. Паек все уменьшался, уменьшался, дошел до 125 граммов, потом, с открытием «Дороги жизни», начал возрастать. Посреди зала стояла витрина из старого музея Ленинграда: с одной стороны лежал дневник Тани Савичевой, синим карандашом написанный, с другой стороны лежали ордена погибших в блокаду, в том числе лежали документы погибшего молодого человека. А перед этим залом был зал снайперский.

Я помню, как стояла леди Черчилль у этого экспоната — дневника Савичевой, стояла около витрины, и на глазах были слезы,

когда ей перевели содержание. Стоял у этой книжки Эйзенхауэр (Эйзенхауэр был в музее вместе с Жуковым). Буденный долго стоял, Калинин (кстати, дом, в котором когда-то жил Калинин, был как раз напротив музея, в том же Соляном переулке)...»

Данная наша работа потребовала собрать тысячи страниц дневников и записок блокадников, тысячи страниц, «снятых» с магнитофонной ленты,— что с этим делать? Что отобрать и как выстроить? Без такой, без авторской работы материал сам себя похоронит: кто и когда это прочтет?

А с другой стороны, главными авторами все-таки должны оставаться блокадники. Они рассказывали — мы записывали. Они передали нам свои дневники, свои записки-воспоминания. Теперь это и нашей памяти боль и богатство.

Читателю, конечно же, нужны, интересны прежде всего те, кто сам все это пережил, люди-свидетели, люди-документы. Мы это создавали, да и поневоле немешь перед их правдой и судьбой. Свою авторскую задачу и роль мы видели в том, чтобы дать блокадникам возможность встретиться друг с другом на страницах нашей работы, в главах блокадной книги. У этих сотен столь разных людей судьба одна — ленинградская, блокадная. У них столько общих мыслей, чувств, неуходящих образов, картин — одно потянется к другому, голос отзовется на голос, боль, слеза — на боль и слезу, гордость, что все же выстояли,— на гордость... Что из этого отобрать, оставить? Есть факты явно невыносимые, есть истории легендарные, которые и не проверить... Мы опускаем сотни страниц того, что так старательно искали, записывали, расшифровывали, если эти страницы не выдерживают соседства других страниц, рассказов, судеб. Надо было оставить самое значительное и самое обыденное. Хотелось сохранить и всю индивидуальность и «неправильность» рассказа, «голоса» в ущерб любым литературным соображениям. Литература (и хорошая) уже была. И еще будет. Всему свое время и место. У литературы свои преимущества и возможности. Но и своя ограниченность, если имеешь дело с таким событием и такими страданиями. Пусть на этих страницах выговорится сама память блокадная — ее языком и «стилем». Поэтому мы просим принять неправильности и повторы живого рассказа. Скорее попросим извинить нас за некоторые поправки, сокращения, за наши вторжения и комментарии, за невольные «разрывы» житейских и семейных судеб...

По мере накопления материала становилось ясно, что нельзя ограничиться только рассказом о голоде. Хотя с этого все началось, с этим были связаны муки людей, и потери, и подвиги. Существовало и другое. Люди не только голодали, не только умирали, не только преодолевали страдания — они еще и действовали. Они работали, они помогали воевать, они спасали, обслуживали других, кто-то снабжал ленинградцев топливом, кто-то собирал детей, организовывал больницы, стационары, обеспечивал работу заводов, фабрик. В сущности, это было в каждом рассказе — голод, холод, обстрелы, лишения, смерти и, следовательно, душевные проблемы, порождаемые этими страданиями, и тут же поступки людей, активность их, то, что они делали, как боролись, несмотря ни на что. Три эти стороны жизни появлялись в любом рассказе. Конечно, в каждом рассказе, в каждой судьбе три эти части не расчленены. Разъединять цельное повествование было трудно. Потому что каждый рассказ был рассказом не о каком-то случае. В блокаду люди жили, поэтому и рассказывали они о всей жизни, где сплетались воедино и предвоенные годы, и семья, и послевоенная судьба, там были и фронт, и эвакуа-

ция, и нынешняя жизнь. Из этого цельного, исполненного чувством и настроением изложения приходилось брать только какой-то эпизод, а то всего лишь фразу, мысль, то есть разрывать неразрывное. Приходилось исключать в рассказах фронт, хотя город был неотделим от Ленинградского фронта. Было обидно обходить бойцов Ленинградского фронта, военных, которые несли тяготы голода, не имели сил прорвать блокаду, освободить город, но в то же время не пустили фашистов в город, не позволили им снять войска из-под Ленинграда для других фронтов. Не только враг держал город в блокаде, но и голодные, малочисленные армии Ленинградского фронта лютой хваткой держали гитлеровские армии у стен Ленинграда. Один за другим — ударами Синявинской операции и на Московской Дубровке — срывались немецкие планы захвата города Ленина.

Блокадная книга составлена из записей, рассказов нескольких сотен человек. Мы не могли упомянуть всех, кого записали, не могли использовать всего собранного материала. Но все равно так или иначе они присутствуют в этой книге, в этом отборе. Мы начали с переживаний, может, наиболее заповедных, к которым память рассказывающих (всех) прикасается осторожно, с особой болью и трепетностью, но устремлена она в ту сторону обязательно и постоянно — это голод, это обстрелы, бомбежки, первая осень, первая зима блокады 1941/42 года и весна 1942 года. С этого приходится начинать. Надо прежде всего представить всю меру лишений, утрат, мучений, пережитых ленинградцами, только тогда можно оценить высоту и силу их подвига.

Вот с этой памятью в первую очередь и знакомят читателя предлагаемые главы.

Засланный в город

...Весенний день 1942 года. Две женщины идут по улице, с ними девочка лет пяти — она на ходу пытается поиграть, попрыгать...

В этот момент их и сфотографировал военный корреспондент где-то в районе Невского.

Эту фотографию мы потом увидели в музее Ленинграда, в музее Пискаревского кладбища, в книгах и альбомах, посвященных блокаде. Ее перепечатают в журналах в памятные даты вместе с фотографиями занесенных снегом троллейбусов, саночек с мертвечами...

Присмотревшись, видите: одна женщина постарше, вторая — еще ребенок, девочка, но и лицо и фигура у нее старушечьи. А у прыгающей девочки не ножки — спички, и только колени уродливо раздались...

Мы всматривались заново в эту фотографию, сидя в квартире Вероники Александровны Опаховой. Скоро пришла и ее дочь, Лора Михайловна, такая же невысокая, как мать, такая же приветливая, но более сдержанная, с какой-то неуходящей грустью в глазах.

На столе перед нами лежал семейный альбом. Знаменитая на весь мир блокадная фотография здесь, в этой квартире — семейная память...

Женщины, что сидели перед нами, никак не связывались в воображении, не соединялись с теми, что на фотографии.

Блокадники вкраплены в массу ленинградцев.

Эту женщину, Веронику Александровну, многие, возможно, даже видели, приходя на Мойку в Академическую капеллу. Старая женщина с очень «домашним», добрым лицом проверяет билеты,

предлагает программки. Кажется, что она вам лично благодарна за то, что пришли. Может быть, еще и потому, что вы, не зная того, пришли послушать и ее дочь Лору Михайловну, которая поет в хоре. А живут они тут же, на Мойке, в двух шагах от места работы.

В их непросторной квартире мы долго рассматривали знаменитую фотографию. От нее и начался рассказ — сначала матери, затем и дочери.

«...— Вы не видели людей, которые падали от голода; вы не видели, как они умирали; вы не видели груды тел, которые лежали в наших прачечных, в наших подвалах, в наших дворах. Вы не видели голодных детей, а у меня их было трое. Старшей, Лоре, было тринадцать лет, и она лежала в голодном параличе, дистрофия была жуткая. Как видите по фотографии, это не тринадцатилетняя девочка, скорее старуха.

— Вероника Александровна, вот эта слева — Лора?

— Да... Мне было тридцать четыре года, когда я потеряла мужа на фронте. А когда нас потом эвакуировали вместе с моими детьми в Сибирь, там решили, что приехали две сестры — настолько она была страшна, стара и вообще ужасна. А ноги? Это были не ноги, а косточки, обтянутые кожей. Я иногда и сейчас еще смотрю на свои ноги: у меня под коленками появляются какие-то коричнево-зеленые пятна. Это под кожей, видимо, остатки цинготной болезни. Цинга у нас у всех была жуткая, потому что сами понимаете, что сто двадцать пять граммов хлеба, которые мы имели в декабре месяце, это был не хлеб. Если бы вы видели этот кусок хлеба! В музее он уже высох и лежит как что-то нарочно сделанное. А вот когда его брали в руку, с него текла вода и он был как глина. И вот такой хлеб — детям... У меня, правда, дети не были приучены просить, но ведь глаза-то просили. Видеть эти глаза! Просто, знаете, это не передать... Гостинный двор горел больше недели, и его залить было нечем, потому что водопровод был испорчен, воды не было, людей здоровых не было, рук не было, у людей уже просто не было сил. И все-таки из конца в конец брели люди, что-то такое делали, работали. Я не работала, потому что, когда я хотела идти работать, меня не взяли, поскольку у меня был маленький ребенок. И меня постарались при первой возможности вывезти из Ленинграда: ждали более страшных времен. Не знали, что все пойдет так хорошо, начнется прорыв и пойдут наши войска, пойдет все очень хорошо. Нас вывезли в июле месяце сорок второго года.

— А это ваша младшая?

— Да. Как видите, она пытается прыгнуть, хотя ее колено вот такое было: оно было все распухшее, налитое водой. Ей четыре года. Что вы хотите? Солнышко греет, она с мамой идет, мама обещает: вот погуляем, придем домой, сходим в столовую, возьмем по карточке обед, придем домой и будем кушать. А ведь слово «кушать» — это было, знаете, магическое слово в то время. А дома она, бывало, садилась на стул, держала в руках кошелек такой, рвала бумажки — это было ее постоянное занятие — и ждала обеда. Животик у нее был, как у всех детей тогда, опухший и отекший. Потом, когда мы покушаем, она снова садится на свой стул, берет эти бумажечки и снова рвет, наполняет кошелек.

— Вроде карточек они ей казались?

— Да, она бумажки рвала вроде как талончики на хлеб. Она занималась уничтожением мелких бумажонок. Сейчас она взрослый человек, у нее двое детей.

— Как ее зовут?

— Ее зовут Долорес. Она родилась в тридцать седьмом году. У меня муж был военный. Жили мы тогда в военном городке. В то время вернулись очень многие наши военные, которые были в Испании. Мужу понравилось это испанское имя, и он дал его дочке.

— А где погиб ваш муж?

— Муж погиб в сорок втором году при переправе через Ладогу. Он был человеком мирной профессии. Он музыкант, был гражданским дирижером любительских оркестров. Потом ушел на военную службу и стал военным дирижером. И медиком. Был обучен и как медик. А вторую дочь Бертой зовут, она тоже жива. Все они у меня живы, вся тройка.

— Вы получали иждивенческие карточки?

— Да, иждивенческие, поскольку я не работала. Я была в санитарной бригаде у нас в доме. Но когда врач узнал, что у меня трое детей, меня освободили. А так я ходила заниматься на медицинские курсы; ну, первая помощь: упал раненый, каким-то осколком подбило, надо втащить в дом, в санузел, перевязать. Тогда все ленинградцы занимались этим, не только я.

— Где вы жили?

— Жили на Гражданской улице, в Октябрьском районе, дом девятнадцать. Сейчас наш дом — Мойка, двадцать, квартира семнадцать. Дочь моя работает уже двадцать лет здесь, в Капелле.

— И вы тоже?

— Я работаю тоже в Капелле, с шестьдесят восьмого года, билетером. У нас на Гражданской была двадцатиметровая комната и такая семья — вот дочери и дали эту квартиру.

— Вот здесь на фотографии — куда вы идете сейчас?

— Насколько я понимаю, это Невский проспект. У нас маршрут был такой: мы выходили из дома, шли по Майорова, по Герцена, делали круг сюда, к ДЛТ¹. Я их водила, чтобы отвлечь от мысли, что надо кушать. Мы просто гуляли. Лора только что поднялась. Врач сказал, что ее надо больше тренировать в ходьбе: у нее совершенно была отнята левая сторона. Видите — она идет с палочкой. И врач говорил, что пусть она как можно больше ходит. Так что мы делали очень большие круги. Даже иногда заходили в кино, смотрели, чтобы отвлечь как-то мысли от еды.

— Кинотеатры работали?

— Работали уже. Мы раз в кинотеатре «Молодежный» смотрели кинокартину «Свинарка и пастух», и была тревога. Сеанс прервали, зал затемнили, и мы немножко посидели там. Зимой, конечно, было труднее, потому что, сами понимаете, воды не было, водопровод нарушен. Значит, люди шли с чайниками, кастрюльками, с ведерками, с санками — кто как мог. И вот в этих люках (были люки открыты с чистой водой) брали воду кто чем мог. А потом у нас в доме дали воду в прачечную, и мы в эту прачечную ходили цепочкой, потому что там лежали груды мертвых, которых увозили машины. Подбирали по улице мертвых, складывали в прачечной (потом машина приезжала и забирала). И там же вода была, в прачечной. Так что мы шли рука за руку. Кто боялся, тот не смотрел в ту сторону.

— А цепочкой шли потому, что боялись?

— Во-первых, потому что боялись, а потом потому, что не было света. Первый несет лучину, как в деревне, и последний несет лучину, а остальные все идут и держат в руках кто чайничек, кто кувшинчик. Надо же помыться, надо же попить, надо и приготовить.

— Сговаривались?

¹ ДЛТ — Дом ленинградской торговли, универмаг.

— Сговаривались с соседями по лестнице, по площадке и шли. Если я вот могла взять кого-либо из ребят, давала чайник или кувшин, чтобы шли вместе.

— Вернемся к фотографии. Вы гуляли по улице Майорова, а потом?

— Потом шли по Герцена до Невского, вот здесь, около кино «Баррикада», выходили на Невский. Здесь была открыта масса магазинчиков с канцелярскими принадлежностями, с книжками.

— Это февраль — март сорок второго года?

— Это скорее апрель — май, перед нашим отъездом. Увозили в июле (у меня где-то даже эвакулисток есть). Меня тогда в военкомат пригласили как жену военнослужащего, потому что у меня в мае прекратилась выплата по аттестату. Тут я начала жить на то пособие небольшое, что мне военкомат давал на детей, поскольку их было трое.

— Лора Михайловна, а вы помните вот этот день? Как вы тут идете с матерью, с сестренкой?

— Нет.

— А другие прогулки, подобные этой, помните? Сколько вам тогда было лет?

— Мы с мамой вроде одинакового были возраста. А мне не было тринадцати лет.

— Вы помните свое состояние болезни, голода? Как вы помните свои двенадцать — тринадцать лет?

— По-моему, самое страшное — это когда человек все время хочет есть, а есть ему нечего совершенно. А второе, когда ни руки, ни ноги не действуют и не знаешь, будешь ли ты жить и действовать вообще. Врач приходила каждый день и смотрела, но я понимала, что она только проверяла, жива я или не жива.

— А помочь нечем было?

— Чем врач могла помочь? Она выписала шроты, ну, жмых, выжимки, которые были у нас в детской больнице, шротовое молоко. Но это все было, конечно, несъедобное. У нее было две таких больных, как я, то есть я и еще одна девочка.

— Это был голодный паралич?

— Паралич на почве дистрофии. Однажды она пришла и сказала, что моя «напарница» умерла.

— Она это вам сказала?

— Нет, она сказала маме, но у меня слух хороший, и я слышала, что она сказала за дверями в коридоре. Вроде того что и со мной должно повториться. И когда на другой день она пришла и увидела, что я жива, она даже удивилась. А потом я встретила эту врачиху. Это после войны, наверно, в пятьдесят третьем году было. Мы шли, у меня ребенок уже был, маленький. Она маму спрашивает: «Как вы живете? Как ваша семья, муж? Лора, конечно, умерла?». Я говорю: «Доктор! Я жива, у меня даже ребенок на руках». Она онемела, она не знала, что сказать. То есть это вообще чудо из чудес получилось.

— И что же вас спасло? Мама?

— Мама, конечно, с папой, пока он был. И очень хотелось жить. Вы даже не представляете! Я даже удивляюсь, что у ребят моего возраста была такая большая сила воли. Очень хотелось жить.

— А какой была младшая сестренка, вы помните?

— Ну как же! Я помню, у нее такое состояние было, что она сидела и стригла бумагу. У нее мозоли на руках были от этого. Это, конечно, такое психическое состояние было у ребенка. Маленькая, четыре годика. Ей есть все время хотелось, понимаете? Когда ребенок есть хочет, он просит. А она не просила, потому что понимала,

что взять неоткуда. Она сидела и стригла и рвала бумажки, то есть даже могла сойти с ума на этой почве.

— Стригла до мозолей?

— Да, у нее пальцы были в мозолях. Когда мама отнимала у нее ножницы, она находила новую бумажку и молча начинала ее рвать».

Позже мы встречали похожее и в других рассказах о блокадных голодающих детях. Мальчики и девочки рвали, стригли бумажки, сидели, покачиваясь из стороны в сторону, что-то ковыряли непрерывно, методично, стараясь как-то заглушить сосущее, сводящее с ума чувство голода.

«— Вы говорите, Вероника Александровна, Лора заболела в декабре?

— Да. В декабре. Она пошла первый раз в булочную сама. Стояла в очереди. Пришла и сказала, что у нее ножка слабая, ватная какая-то. Ну, полежала. Ничего. Потом пошла со мной дрова пилить, потому что врач говорила, что тепло— это первое дело, кроме еды, нужно еще и тепло. И вот когда мы пошли с ней пилить дрова, она свалилась окончательно. Навверх ее уже пришлось нести. Она лежала с декабря до мая. Я не могу сказать время точно, конечно, но в начале мая она начала вставать. И врач, которая ходила к нам, говорила, что обязательно делайте прогулки побольше, чтобы укрепиться, потому что был период такой в декабре— январе, когда мы все легли, не было уже сил ни бороться, ни желания встать, ни желания что-либо делать. Двери в квартире были открыты настежь, входил кто хотел. И вот как-то раз пришла врач, я лежала, и все лежали, потому что мы уже потеряли всякие ощущения от такой жизни. Врач на меня так накричала, сказала, что по квартире вы должны ходить. Ух как она меня ругала! Это все-таки был хороший очень доктор. Она ходила к нам изо дня в день, хотя и не надеялась, что мы выживем. В последнее время она мне говорила: «Что я могу? Разве только подписать акт о смерти». Ко мне приходили из ЖАКТа проверять, жива ли Лора. Это потому, что в то время бывало, когда люди умирали, оставшиеся пользовались их карточками. Ну, и всегда удивлялись, что она вот лежит, но живет. У нее было желание что-то иногда делать, что-то почитать, что-то пошить одной рукой, как-то приспособиться. И вот потом (я об этом говорила), когда наступила весна, пригрело солнышко, мы пошли гулять. Мне врач сказала: ходите, ходите, ходите, укрепляйте ноги. Ноги очень болели— после лежания долгого и после цинги.

— Вы говорили, что Лору соседки не узнали?

— Да. Мы вышли, и я думала недалеко с ней идти. Я решила, что мы посидим на солнышке, погреемся и пойдем обратно, все-таки еще на четвертый этаж надо поднять ее. Пусть она и весила всего ничего, но и я весила в то время сорок два килограмма. Вы сами понимаете, что это тоже уже вес одних костей. Мне было трудно поднимать ее. И соседки сказали, слава богу, мол, зиму вы пережили благодаря тому, что старшая девочка умерла, а вы пользовались ее карточкой. Тут Лора заплакала и сказала: «Мамочка! Пойдем отсюда. Не будем слушать этих старух!» Они не поверили, что она жива. Не узнали... Мы начали делать прогулки. Сначала прогулки были не очень большие, а потом больше и больше. Как раз во время прогулки, видимо, я и натолкнулась на этого товарища, на фотографа.

— Когда вы впервые увидели эту фотографию?

— Впервые в Музее обороны. Даже не я увидела. Я была у сво-

ей приятельницы, мы с ней очень давно дружим. И она тоже прожила с ребятами долго здесь, в Ленинграде, и тоже эвакуировалась уже летом. Ее сын был в Музее обороны. А мальчишки, знаете, бегали туда, там были сбитые самолеты, немецкие каски, оружие и так далее. Он прибежал и говорит: «Тетя Роня! А я вас видел!» А я говорю: «Где же ты меня видел?» «А я,— говорит,— был в музее, и там вы, Лора и Доля, все трое. И написано — «Ленинградцы на прогулке»...» Когда у меня гостила с Севера средняя дочь, она была в музее и попросила, чтобы нам отпечатали эту фотографию. Но поскольку она сама уехала, пришлось идти туда Лоре. Вот когда Лора пришла и попросила, чтобы ей выдали эту фотографию, и когда она ее увидела, с ней стало плохо. Вы сами понимаете — увидеть себя в таком состоянии! И вспомнить все это! Снова за какой-то короткий момент пережить весь этот страх и ужас! Мужчина к ней подошел, какой-то тамошний сотрудник, и говорит: «Что вы плачете? В этот год — сорок первый и сорок второй — погибла такая масса народа. Не плачьте! Их уже нету. А вам жить надо». А женщина, которая выдавала фотографии, говорит ему: «Вы видите, это она сама!» Он ужасно смутился, отошел от нее с извинениями. Вот так мы получили эту фотографию. И я храню ее у себя. Все-таки пускай она будет, хотя это ужасно, конечно, и страшно, и всегда вызывает волнение и слезы».

Вот что стоит за одним снимком. Для неизвестного военного фотографа-корреспондента он означал надежду, пробуждение к жизни. Для нас, сегодняшних, он — взгляд издали в ту страшную и легендарную блокадную реальность. Для семьи Опаховых, матери и дочерей, это живая боль памяти ².

И ты, мой друг, ты даже в годы мира,
Как полдень жизни, будешь вспоминать
Дом на проспекте Красных Командиров,
Где тлел огонь и дуло от окна.
Ты выпрямишься, вновь, как нынче, молод,
Лижая, плача, сердце позовет
И эту тьму, и голос мой, и холод,
И баррикаду около ворот.

О. Берггольц.

Надежды эти казались поэтическим образом, мечтой, а не предвидением. Прошло тридцать пять лет, и оказалось, что Ольга Берггольц права. Страшные, голодные годы вспоминаются с ужасом, с тоской, со слезами, но и с удивлением перед стойкостью собственной души, ее достоинством, перед силою подвига ленинградцев.

Только поэзия обладает таким даром пророчества. В пустых, вымороженных, темных квартирах после мерного стука метронома звучал негромкий, чуть запинаящийся женский голос, который узнавали все ленинградцы. Сквозь голодные видения к людям прорывались сострадание и любовь. Они исходили от женщины, которая так же мучилась, голодала, все понимая, все чувствуя.

И вот спустя целую жизнь мы приходим к этим людям и просим рассказать нам о блокаде. Не вообще о блокаде, о ней много написано, а о своей жизни в блокаду. Первое, что они отвечали:

— Это слишком тяжело, это невозможно, я не хочу вспоминать, нет, нет, у меня было чересчур страшное...

² Спустя три месяца после того, как была сделана эта запись, Лора Михайловна Опахова умерла. Блокада, даже отпустив, «своих» находит.

Про других, про отдельные эпизоды — как работала фабрика или как рыли окопы и ставили противотанковые надолбы — пожалуйста. Но только не про свою жизнь. А мы просили именно про это, про себя, про свои переживания. В конце концов они соглашались. За исключением, может, двух или трех человек. Может быть, некоторые рассказывали не все. Иногда они щадили нас. Иногда они боялись за себя. Погружаться в прошлое было мучительно. Рассказывая, плакали, умолкали не в силах справиться с собою. После этих рассказов некоторые долго не могли успокоиться... В последующие дни многие звонили нам, приходили, писали, вспомнив что-то еще и еще или же, наоборот, ужасаясь тому, что прорвалось, прося стереть запись.

Они боялись вернуться в блокадный город, в свою заиндевелую квартиру, в которой человек «у себя на кровати замерзал как в степи» (О. Берггольц). Мы настаивали с жестокостью, которая нам самим была тягостна и даже стыдна. Мы просили, ссылаясь на историю, на новые поколения, которым надо знать все как было. Втайне нас мучили сомнения — стоит ли? Для чего снова спустя десятилетия вытаскивать из забвения невыносимые муки и страдания человеческие? Разве это кому-нибудь поможет?

Но мы видели, что воспоминания, как бы тяжки они ни были, в то же время заставляли людей задуматься, иначе взглянуть на себя. От человека требовалось напряжение всех сил, физических и духовных. Из месяца в месяц. Без передышки. Оглядываясь сегодня назад, люди удивляются, не верят себе, тому, что они могли. Это был особый взлет человеческих способностей: да, в самой тяжелой поре жизни был и взлет. Об этой поре не хочется вспоминать, но когда вспоминаешь, возникает гордость. Это все же была и пора, когда каждый мог свершить, проявить благородство, раскрыть щедрость своей души, ее смелость, любовь и веру.

У каждого оказывался свой рассказ. У каждого было свое. Повторения были неизбежны, но все равно в каждом рассказе была своя, неожиданная история.

Мы слушали, записывали, и не раз нам казалось: вот он — предел страданий, горестей; но другая история открывала нам новые пределы горя, новую вершину стойкости, новые силы человеческого духа.

Насыщение материалом не приходило. Мы так и не дошли до того ожидаемого края, когда следующие рассказы уже ничего существенного не могут добавить к тому, что мы знаем.

Может, этот край где-то впереди, еще через тридцать, пятьдесят рассказов, а может, его вообще нет и такого насыщения не существует.

Когда мы 5 апреля 1975 года делали свою первую запись, приехав к Мари и Гурьяновне Степанчук (ул. Шелгунова, д. 8, кв. 51), мы знали про главную боль ее памяти — про погибшую девочку. Но женщина настойчиво и как-то испуганно уходила от этого... И мы не решились настаивать. Потом оказалось, что именно этим причинили человеку еще большее страдание. Сложное это чувство — блокадная память!

— А знаете, что было после вашего ухода? — позвонила нам женщина, от которой мы получили адрес Марии Гурьяновны. — Прибежала ко мне расстроенная, что не рассказала главного: «Я боялась, что расплачусь, если заговорю о девочке, и не смогу дальше рассказывать, и люди зря приезжали, старались».

Затем, растревоженная, объехала всех подруг и знакомых блокадных (из двадцати семи, как сказала нам женщина, осталось их

у нее четверо). Сходила на могилку дочери, сходила в церковь. И заболела, слегла.

И, кажется, не только потому, что воспоминания расстроили. Но и от какого-то чувства вины перед своей погибшей дочерью, о которой ничего не рассказала: словно бы она пожертвовала ее памятью, чтобы только «не помешать» нам работать — собирать блокадную быль.

А потом Галина Максимовна Горецкая (знакомая наша) показала ей вышедшую в Ленинграде книгу «По сигналу воздушной тревоги», где описана трагедия и того рокового для ее дочери обстрела, и взрыва на заводе (девочка находилась при матери на заводе). Каким-то странным образом это подействовало на женщину не то чтобы успокаивающе, но все же сняло напряжение последних дней. Увидела, убедилась: значит, и без ее рассказа люди будут знать, будут помнить!..

Есть в воспоминаниях блокадников и спор, а точнее, продолжение спора (не повседневного ли?) с теми, кто не только «не помнит», но и сердится, когда напоминают. Это как с ребенком в семье: вы его оберегали-оберегали от жизненных драм (чужих) и горя (чужого) — «пусть окрепнет душа», — а потом обнаруживается...

— Меня спрашивают: блокада, блокада. А что такое на самом деле блокада? Внучка в прошлом году писала, а нынче говорит: у тебя доказательств нету.

Это вырвалось у Таисии Васильевны Мещанкиной с обидой уже под конец ее рассказа. Она пыталась, и не раз, дома, среди своих же детей и внуков рассказать какие-то подробности про блокаду — не верили. А чем она могла доказать?

— Вот я вам говорю и думаю — может быть, и вы не поверите?

Мы сплошь и рядом сталкивались с этим ожиданием недоверия, болезненным опасливым чувством, которое возникало по ходу воспоминаний; по мере того как человек слышал себя, он настоуживался, его история сворачивалась, усыхала, заслонялась общеизвестными фактами.

«— Моя знакомая преподает в техникуме, — рассказал Нил Николаевич Беляев. — У них в семьдесят пятом году состоялась встреча какого-то старого блокадного ленинградца с рассказом для студентов о положении дел в сорок втором — сорок третьем годах. И когда он, значит, рассказывал все эти тяжелые истории, что людям приходилось испытывать во время голода, то многие студенты слушали весьма и весьма, так сказать, невнимательно. А после его рассказа вышла девушка и сказала, что она не понимает, что же здесь такого: подумаешь, человек в день не съел эти сто двадцать пять или сто пятьдесят граммов хлеба, да она сейчас может неделю не есть хлеба и отлично себя чувствовать.

— Причем без всякой иронии это?

— Неизвестно... Ведь сейчас вообще вроде считают, что хватит говорить о блокаде».

То, что они сыты и благополучны — девушка, возражавшая блокаднику, и сомневающаяся внучка, — это, конечно, хорошо. Но вот что эти ребята, кажется, «моральные дистрофики» (ленинградское, военного времени выражение) — это уже хуже.

Но это самое простое — обвинить в глупости, в благополучии, в бездушии. Или же отмахнуться от них, признать исключением. Стоит вдуматься — при намерениях самых благих, при душевной и гражданской чуткости легко ли человеку, никогда не испытавшему

голода, вот так, с ходу, умозрительно представить себе, что это такое. Что такое долгий ленинградский голод и что значит при этом голоде кусочек хлеба в 125 граммов, что значит обломок хлебной корки... Нет, требовать этого от человека, выросшего в сытости, в тепле, нельзя, ему рассказывать надо терпеливо, убедительно, воображение его разбудить. Преемственность поколений налагает обязанность на тех и на других. Новые поколения должны узнать, услышать рассказы людей, которые все это перенесли и пережили.

Во время одной из записей блокадного рассказа возник разговор, поразивший нас. Рассказывала женщина, слушали ее дочь, зять, внуки. Такое бывало часто. Конечно, и нам и рассказчику лучше было обходиться без посторонних слушателей, но это не всегда удавалось. И уединиться было некуда, кроме того, любопытство одолевало и домашних и соседей. Впрочем, иногда реплики слушателей помогали, их недоверие, их сочувствие, ахи, слезы возбуждали память.

Та запись, о которой идет речь, была нелегкой, рассказ был тяжелым, и, видимо, младшим все эти подробности о бедах их семьи были неизвестны. Они хотели все знать и не хотели. Сами они никогда не стали бы расспрашивать, но тут слушали внимательно, напряженно. Первым не выдержал зять. Не такой уж и молодой, не ленинградец, он воскликнул:

— Зачем, ну зачем нужны были такие страдания? Сдать надо было город. Избежать всего этого. Для чего людей было губить?

Так просто, естественно вырвалось у него, с досадой на нелепость, на странность того минувшего.

Поначалу мы не совсем поняли, что он имел в виду. Ему было лет тридцать пять, бородатый, вполне солидный мужчина, казалось, он не мог не знать. Потом мы поняли, что мог. То есть, вероятно, он где-то когда-то слышал, читал о приказах гитлеровского командования, о планах фюрера уничтожить, выжечь, истребить, но ныне все это стало выглядеть настолько безумным, фантастичным, что, вероятно, потеряло реальность.

Время, минувшие десятилетия незаметно упрощают прошлое, мы разглядываем его как бы сквозь нынешние нормы права и этики.

В западной литературе мы встретились с рассуждением уже иным, где не было недоумения, не было ни боли, ни искренности, а сквозило скорее самооправдание капитулянтов, мстительная попытка перелицевать бездействие в доблесть... Они гуманным тоном вопрошают: ну а нужны были такие муки безмерные, страдания и жертвы подобные? оправданы ли они военными и прочими выигрышами? человечно ли это по отношению к своему населению? Вот Париж объявили же открытым городом... И другие столицы, капитулировав, уцелели. А потом фашизму сломали хребет, он все равно был побежден — в свой срок...

Мотив этот, спор такой звучит напрямую или скрыто в работах, книгах, статьях некоторых западных авторов. Как же это цинично и неблагодарно! Если бы они честно хотя бы собственную логику доводили до конца: а не потому ли сегодня человечество наслаждается красотами и богатствами архитектурными, историческими ценностями Парижа и Праги, Афин и Будапешта да и многими иными сокровищами культуры и не потому ли существует европейская цивилизация наша с ее университетами, библиотеками, галереями и не наступило бездонное безвременье «тысячелетнего рейха», что кто-то себя жалел меньше, чем другие, кто-то свои города, свои столицы и не столицы защищал до последнего в смертном бою, спасая завтрашний день всех людей?.. И Париж для французов да и для человечества спасен был здесь — в пылающем Сталинграде, в Ленин-

граде, день и ночь обстреливаемом, спасен был под Москвой... Той самой мукой и стойкостью спасен был, о которых повествуют ленинградцы.

Когда европейские столицы объявляли очередной открытый город, была, оставалась тайная надежда: у Гитлера впереди еще Советский Союз. И Париж это знал. А вот Москва, Ленинград, Сталинград знали, что они, может быть, последняя надежда планеты... Они ни на кого не надеялись.

«Фюрер решил стереть город Петербург с лица земли...» — так гласила секретная директива 1-а 1601/41 немецкого военно-морского штаба «О будущности города Петербурга» от 22 сентября 1941 года. Далее следовало обоснование:

«После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого большого населенного пункта. Финляндия точно так же заявила о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у ее новой границы. Предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и непрерывной бомбежки с воздуха сровнять его с землей. Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты... С нашей стороны нет заинтересованности в сохранении хотя бы части населения этого большого города».

Документ этот напечатан в материалах Нюрнбергского процесса (изд. 3-е, М. 1955, т. 1, стр. 783).

Указание это повторялось неоднократно. Так, 7 октября 1941 года в секретной директиве верховного командования вооруженных сил было: «Фюрер снова решил, что капитуляция Ленинграда, а позже — Москвы не должна быть принята даже в том случае, если она была бы предложена противником...» («Нюрнбергский процесс», т. 1, стр. 784).

Кейтель указывает командующему группой армий «Центр»: «Ленинград необходимо быстро отрезать и взять измором» (В. Ковальчук, «Ленинград и Большая земля». Л. «Наука». 1975, стр. 19).

Москва и Ленинград обрекались на полное уничтожение — вместе с жителями. С этого и должно было начаться широко то, что Гитлер имел в виду: «Разгромить русских как народ». То есть истребить, уничтожить как биологическое, географическое, историческое понятие полностью! Но подвиг ленинградцев вызван не угрозой уничтожения... Тогда, в блокадные глухие дни, в снежных сугробах Подмосковья о ней лишь догадывались, ее представляли, документами она подтвердилась куда позднее. Нет, тут было другое: простое и непреложное желание защитить свой образ жизни. Кто-то ведь должен был. Должен был схватиться с фашизмом, стать на его пути, отстаивать свободу, достоинство людей.

Вот в чем оправдание и смысл подвига Ленинграда, вот от чего ленинградцы и все наши люди спасали себя и человечество, от каких жертв и мук, ради чего шли на любые страдания, мучения, даже не помыслив об «открытых» городах. Кто-то должен был...

Чтобы оценить это, надо ощутить меру испытаний, вынесенных нашим народом.

«Как-то мне задали такой вопрос, — пишет Александра Федоровна Соколова, — почему у вас столько медалей, в том числе и «За победу над Германией»? Вы же не были на фронте? Верно, не были, а видели и перенесли не меньше, чем на фронте: знаю на вкус каждую травинку, вкус торфа, военных ремней, что остались у меня от финской войны...»

Нет, это не обычная склонность старших подчеркнуть преимущества свои и своего времени над людьми и временами нынешними. До поры до времени многим из них вообще не хотелось ни вспоминать, ни рассказывать. Даже казалось ненужной жестокостью.

Но если вчера, может, и стоило щадить израненные войной души соотечественников, то сегодня новым поколениям, наверное, как раз и нужно как можно полнее, подробнее узнать, ощутить, что было до них. Надо же им знать, чем все оплачено, надо знать не только о тех, кто воевал, но и о тех, кто сумел выстоять, об этих людях, не имевших оружия, которые могли лишь стойкостью своей что-то сказать миру. Надо знать, какой бывает война, какое это благо — мир...

Блокадники знают цену миру.

Уж они-то всему знают цену — ленинградцы-блокадники!

«Очень рады, что так теперь хорошо живем, сыты и одеты все, ребятишек заставляем больше есть и все вспоминаем, как Лариса в семь утра в голод просыпалась и просила хлеба вчерашнего! Говорим:

— Лариска, нет хлеба.

— Ну тогда дайте завтрашнего!»

Это из письма Веры Ивановны Павловой, присланного из города Тосно.

Немолодая и, конечно же, как почти все бывшие блокадники, потерявшая здоровье Екатерина Дмитриевна Янковская-Ладыженская, которую мы видели молодой на довоенной фотографии (там красавица, каких мало), заявляет: «Если бы сказали, что вернем здоровье, красоту, молодость и еще раз пережить такое, — не захотела бы, не согласилась бы!»

А М. М. Х о х л о в а (ул. Конторская, д. 18, кв. 83) написала нам:

«В это блокадное время я думала, с каким чувством, если переживем, будем вспоминать страшное время... Осталось у нас с мужем еще до сих пор чувство пережитого голода во рту. Он иногда говорит: «Есть не хочется, но горят зубы, это все блокада, будь она неладна!» И мне есть не хочется, но ноет язык».

Правда о пережитом миллионами людей в годы блокады, правда документальная, рассказанная людьми, которые это все лично пережили, покажется, быть может, жестокой и сейчас. Но зато она (мы надеемся) прорвется к любому сердцу. И к сердцу той девушки, которая и без 125 граммов хлеба прожить может, тоже прорвется.

«Я прошел мимо новостройки, где плотники строгают доски. Я выбрал из кучи две чистые стружки, сунул одну в рот, а другую спрятал про запас.

...Я не пожалел, что ушел из редакции, так и не попросив крону, даже за дверью, когда голод вновь начал терзать меня. Я вынул из кармана вторую стружку и сунул ее в рот. Мне опять стало легче. Почему я не делал этого раньше?»

Это не блокада, это Кнут Гамсун.

С огромной силой Кнут Гамсун описывает, можно даже сказать, исследует чувство голода, физиологию голода своего героя в знаменитом романе «Голод». Измученный, полубезумный от голода, мечется его одинокий герой в благополучной Христиании. И не только ум и сердце наши, читательские, отзываются на то, что происходит с

героем, но как бы и желудок и железы. Читатель словно бы сам переживает разные стадии голодания. Выразить силу голода непросто даже большому таланту. Только собственные переживания художника, память о его голодной юности, о мучительных годах хронического недоедания придали этому роману пронзительную достоверность. Изображение голода у Гамсуна считалось одним из самых сильных в мировой литературе. Любовь и голод правят миром, писал Шиллер, и, не раз повторяя эти слова, М. Горький считал, что это самый правдивый и уместный эпиграф к бесконечной истории страданий человека.

Голод в романе Гамсуна и голод ленинградской блокады — явления разные. Ясно, что массовый голод — ситуация особая. Тем не менее что замечаешь при первом взгляде, это сходство состояний:

«Есть приходилось что попало. Помню, приходила домой и мне так хотелось кушать! Я жила тогда на улице Войтика. У меня там дрова лежали около печки, полено или два. И вот я взяла это полено (сосновое, помню) и стала грызть, потому что молодые зубы хотели что-то кусать. Есть хотелось страшно! Вот грызу, грызу это полено, смола выступила. А этот запах смолы мне какое-то наслаждение доставлял, что хоть что-то я погрызу. Надо было что-то кушать, иначе неминуема смерть от голода, а это еще хуже, чем от обстрела. От голода очень тяжелая смерть» (Елена Михайловна Никитина, проспект Стачек, д. 26, кв. 151).

И снова Кнут Гамсун, литература:

«Еда уже оказывала свое действие, меня сильно тошнило, к горлу подступала рвота. Во всяком темном углу я искал облегчения, старался преодолеть тошноту, от которой снова пустел мой желудок, сжимал кулаки, делал над собой усилие, топал ногами и в бешенстве глотал то, что готово было извергнуться изо рта, — но все напрасно».

Здесь, как во всякой подлинной литературе, есть вызов холодному чистоплюйству — лишь любовь к человеку, а значит, и чувство сострадания, которому ничего не страшно. Человек мучится от неспособности удержать в себе пищу, так дорого ему доставшуюся, и автор страдает за человека и за его бессилие перед той самой «ироничностью жизни», о которой страстно, с болью писал Достоевский в «Идиоте»...

«Голод», роман Кнута Гамсуна, снова и снова как бы вопрошает: что в вас сильнее — человеческое сострадание, понимание другого человека или эстетская брезгливость?

Но куда большее испытание для этих чувств и для нашей способности смотреть не отворачиваясь на человека страдающего — блокадные воспоминания. Да, человек, агонизирующий от лютого голода, куда как «неэстетичен!» К этому нужно быть готовым, если мы собираемся, хотим услышать, увидеть, понять всю правду, а не всего лишь дольку ее.

Нельзя понять всей подлости фашизма, «заславшего смерть» в город (по очень точному выражению Ольги Берггольц), если не говорить о массовом голоде, об этом «наемном убийце» гитлеровцев.

Ведь блокадный голод, так же как голод лагерный (и как освенцимский и прочие крематории), числился в арсенале главных средств, с помощью которых фашисты осуществляли свои планы истребления целых народов, «обезлюживания» целых стран.

Кстати, многие наши самые беспощадные и правдивые рассказчики, это медики — врачи, медицинские сестры, санитарки, те, кто по профессии своей милосерден. Они о человеке голодающем, о мас-

совом голоде расскажут вам, ничего не приукрашивая, потому что в их глазах никакая болезнь (а дистрофия, тем более алиментарная, — тяжелейшая болезнь), никакие проявления болезни человека не унижают. Например, одна женщина-врач рассказала о себе, что ходила по улицам «всегда мокрая», как ребенок: голод сожрал все мышцы.

Врач Г. А. С а м о в а р о в а вспоминает:

«Съели всех кошек, съели всех собак какие были. Умирили сначала мужчины, потому что мужчины мускулистые и у них мало жира. У женщин, маленьких даже, жировой подкладки больше. Но и женщины тоже умирали, хотя они все-таки были более стойкими. Люди превращались в каких-то, знаете ли, стариков, потому что уничтожался жировой слой, и, значит, все мышцы были видны и сосуды тоже. И все такие дряблые-дряблые были».

Алиментарная, третьей степени, дистрофия — это не только скелет без мышц (даже сидеть человеку больно), это и пожираемый желудком мозг.

Кого настигал голод, корчились и мучились так же, как тяжело-раненые...

«Лучше держались девочки, а мальчик двенадцати лет, Толя, очень страдал, уже недоедал изрядно, иногда ложился на скрипучую кроватенку и все время качался, чтобы чем-то заглушить чувство голода, качался до тех пор, пока мать на него не накричит, но опять потом начинал качаться. Потом, через какое-то время, я узнала, что он умер...» (М. М. Хохлова).

Да, голод в литературе «старой», классической и массовый голод (к тому же, как во времена фашизма, организованный, направленный) — явления разного уровня и смысла.

Массовый бывал и прежде, но рассказывали о нем подробно, всерьез, пожалуй, лишь летописи. Да еще (в XIX — первой половине XX века) специальная, научно-медицинская литература.

Один из авторов книги воевал осень и зиму, вплоть до весны сорок второго года, под Пушкином. Он сидел в окопах, и каждую ночь позади, за спиной, полыхали отсветы ленинградских пожаров, багровые их пятна дырявили звездную темноту. Впереди взлетали ракеты, а позади горел город. А днем силуэт города подробно вырисовывался на ясном небе. Многочисленные трубы не дымили, и воздух над городом был чист, лишь в нескольких местах поднимались толстые копотные столбы дыма от пожарниц. В одни и те же часы над передовой проплывали фашистские бомбардировщики, они летели бомбить, а к вечеру, сменяя их, с мягким шелестом невидимые неслись в город тяжелые снаряды.

В его батальоне были случаи дистрофии и голодной отечности, потому что солдатский паек был скудным, пусть не таким, как у горожан, но очень скудным по солдатским нормам. Несмотря на это, надо было стоять на посту, ходить в разведку, разгребать окопы от снега, таскать снаряды, патроны, чистить оружие. Кроме всего прочего, война — это еще и тяжелый физический труд, где нет ни выходных, ни перерывов.

Немцы не жалели ни мин, ни снарядов. Были дни, когда на участке батальона оставалось несколько десятков бойцов. Немецкие окопы у железной дороги были от наших всего метрах в пятидесяти. Наколов на штыки булки, немцы поднимали их над бруствером и предлагали переходить к ним, они обещали сытную кормежку и спо-

койную жизнь в плену. Они доказывали, что солдаты Ленинградского фронта обречены на гибель и если не подохнут от голода, то будут убиты. Не так-то легко было это слушать. Однако за всю зиму из его батальона не было случая перехода к немцам.

И хотя он прошел всю эту долгую войну, где были и наступление, и победы, и штурмы, и разные фронты, и все это не только видел, но и прожил, он затрудняется объяснить, каким образом голодным, промерзшим, ослабевшим воинам Ленинградского фронта удалось защитить, отстоять город, продержаться в обороне в этих мелких, простреливаемых окопах на открытых низинах и мало того — непрерывно атаковать, наседавать, продвигаться на отдельных участках, не позволяя снять немецкому командованию и перебросить дивизии из-под Ленинграда на другие фронты. Теперь, спустя столько лет, непонятным кажется и то, почему, каким образом в декабре, в самое тяжкое время, нашим солдатам стало ясно, что немцам в Ленинград не пробиться, не прорваться.

Голод и триста лет назад и ныне — тот же голод. И мучения те же и ощущения. Но к голоду блокады было особое отношение — это была не твоя отдельная беда и не голод неурожая, это был враг, засланный фашизмом, это был противник, с которым надо было сражаться, воевать, это была война.

Ленинградцам надо было ходить на завод, работать, дежурить на крышах, спасать оборудование, дома, своих близких — детей, отцов, мужей, жен, обеспечивать фронт, ухаживать за ранеными, тушить пожары, добывать топливо, носить воду, возить продовольствие, снаряды, строить доты, маскировать здания.

Вале Мороз было в блокаду пятнадцать лет. Отец ее ушел в народное ополчение. Старшая сестра тоже хотела на фронт, ей это не удалось, она устроилась в военный госпиталь. В декабре 1941 года умер отец, через два месяца сестра, в конце марта мать. Валя осталась одна. Ей помогли устроиться на завод учеником токаря. Она делала детали для снарядных стабилизаторов. Она работала, всю блокаду работала.

Надо понять слово «работала» в его тогдашнем значении. Каждое движение происходило замедленно. Медленно поднимались руки, медленно шевелились пальцы. Никто не бегал, ходили медленно, с трудом поднимали ногу. Сегодня здоровому, сытому молодому организму невозможно представить такое бессилие, такую походку.

«Примерно такое ощущение, что ногу не поднять. Понимаете ли? Вот такое ощущение, когда на какую-то ступеньку ногу надо поставить, а она ватная. Вот так во сне бывает: ты вроде готов побежать, а у тебя ноги не бегут. Или ты хочешь кричать — нет голоса.

Я помню чувство, когда нужно было переставлять ноги (это в то время, когда мама еще была жива, когда надо было выходить), когда надо было на ступеньку поставить, в какое-то мгновение нога у тебя не срабатывает, она тебе не подчиняется, ты можешь упасть. Но потом все-таки хватало сил, как-то поднималась».

Чтобы хоть как-то оценить труд ленинградцев, находившихся в подобном состоянии, чтобы постигнуть, что значило отремонтировать оружие, подняться на чердак для дежурства, что значило расчистить завал, для этого надо прежде всего понять протяженность и силу блокадного голода, протяженность его не только вширь, но и как бы в глубь человека. Надо понять, как сказывался голод на поведении человека, каким испытаниям подвергались и психика, и душа, и вера, причем не вообще человека, а конкретного, этого, по-

тому что у каждого было свое, своя схватка с голодом и протекала она по-разному. Только постигнув голод, представив его силу, изучив его масштабы, его действие, можно почувствовать сделанное ленинградцами. Без этого не понять действительной величины мужества, стойкости защитников города.

Подробности голода проступают в рассказах порой неожиданно, из случайно оброненных пронзительных фраз, не сразу их можно и осознать.

Тамара Александровна Халтунен работала в больнице для дистрофиков, там когда больного в ванну опускали, вспоминает она, больной криком кричал: «...голые кости, он не может ни сидеть, ни лежать, у него нет жира».

«— Три женщины было и я — девочка. Я самая молодая и сильная считалась. Я вроде ничего была,— начала свой рассказ врач-психиатр Майя Иоанновна Бабич.

— А сколько вам тогда было?

— Мне было тогда шестнадцать лет. Я брала их карточки, ходила в очередь, чтобы взять на всех хлеб, каждому отдельно. Я себя ловила на мысли: хоть бы маленький довесочек дали. Когда давали, я иногда от их порций довесочек съедала. Потом приходила, отдавала каждому его порцию. А эта крошечка мне как бы за работу. Иногда стоишь, стоишь — и ничего нет, потому что хлеба не было. Когда я приносила хлеб, они лежали на диванах, на кроватях в этой комнате. Были какие-то тулупы; все в валенках, под ватными одеялами. Все лежали. Коптилка стояла, горело какое-то масло, мерцало. И буржуйка стояла. Рядом с буржуйкой ведро с водой, которая к ночи замерзала до дна. А потом вставали и топориком откальзывали кусочки льда, чтобы вскипятить воду. По очереди вставали. Пили бурду.

...Это было в начале января. Приходит на квартиру ко мне мой школьный приятель Толя. Это такой поэт был, витал в облаках, говорил о проблеме «быть или не быть?». В школе он был таким мальчиком с возвышенными интересами. И вот приходит — лицо серо-зеленое такое. Глаза совсем вытаращенные, и говорит: «У тебя не сохранился твой кот?» А у нас кот был. Я говорю: «Ну что ты! А что?» «А мы хотели бы его съест!» Мама и бабушка у него лежали. И вот он ушел. Он был такой ужасный, такой грязный, тощий. Ушел качаясь! А только год тому назад было совершенно по-другому. Собирались, о высоких материях разговаривали. И вдруг — кошкa! Я хотела через неделю-другую пойти к нему (на другой улице они жили). Я сразу не пошла. Самое страшное было выйти из дому, бессознательно стремились оберегать себя от таких картин. Это как-то интуитивно было. Но я пошла все-таки в этот дом. Вот иду на второй этаж — двери не закрываются, входи куда угодно, в любую комнату заходи, бери что угодно. Это был шикарный дом — добротный, красивый. Дом одного бывшего миллионера. В мирное время на лестницах были ковры. Он жил в комнате в коммунальной квартире. Я захожу к нему в комнату. Темно, так чего-то брезжит. И они все трое лежат мертвые: бабушка, мать и он. В комнате страшная грязь. Холод. Буржуйку топить, видно, сил не было. И все умерли. Мне было страшно. Я в другие комнаты не вошла и пошла обратно».

Блокадную квартиру нельзя изобразить ни в одном музее, ни в каком макете или панораме, так же как нельзя изобразить мороз, тоску, голод...

Сами блокадники, вспоминая, отмечают разбитые окна, распиленную на дрова мебель — наиболее резкое, необычное. Но тогда понастоящему вид квартиры поражал лишь детей и приезжих, пришедших с фронта. Как это было, например, с Владимиром Яковлевым:

«— Вы стучите долго-долго — ничего не слышно. И у вас уже полное впечатление, что там все умерли. Потом начинается какое-то шарканье, открывается дверь. В квартире, где температура равна температуре окружающей среды, появляется замотанное бог знает во что существо. Вы вручаете ему пакетик с какими-нибудь сухарями, галетами или чем-нибудь еще. И что поражало? Отсутствие эмоционального всплеска.

— И даже если продукты?

— Даже продукты. Ведь у многих голодающих уже была атрофия аппетита».

Там, на фронте, думали, что эти ложки пшена, сухари, которые сберегали, откладывали из своего скудного пайка, будут встречены с восторгом, а их принимали порой вот так, уже безразлично...

В конце войны Алексея Дмитриевича Беззубова откомандировали в Германию. Была организована Советская Военная администрация в Германии (СВАГ), и Беззубова как широко образованного пищевода с большим опытом работы назначили начальником научно-технического отдела пищевой промышленности. Ему пришлось вести в Германии лабораториями университетов, научно-исследовательскими институтами, проектными организациями, поэтому не удивительно, что судьба свела его с таким крупным немецким специалистом, как профессор Цигельмайер. Рано или поздно это должно было произойти. Цигельмайер считался одним из ведущих ученых в области питания. Раньше он руководил Мюнхенским пищевым институтом. Итак, они встретились, разговорились, знатоки, казалось бы, одной из самых мирных наук. Что может быть более добрым, добродушным, заботливым, чем наука о питании?

И вдруг по ходу беседы выясняется, что профессор Цигельмайер во время войны занимал высокую должность — заместитель интенданта гитлеровской армии. Поскольку специалист он был выдающийся, его пригласили курировать важнейшую для командования проблему — блокированного Ленинграда. Прямое наступление на город захлебнулось. Наши войска плотно держали изнутри блокадное кольцо, не давая нигде его переступить. Вот тут гитлеровскому генеральному штабу и потребовалась консультация Цигельмайера. Он консультировал, что следует делать, чтобы скорее уморить голодом Ленинград. Именно это имел в виду Геббельс, когда, немного кривя душой, записывал в своем дневнике 10 сентября 1941 года: «Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом».

Цигельмайер вычислял, сколько может продлиться блокада при существующем рационе, когда люди начнут умирать, как будет происходить умирание, когда они все вымрут.

«Цигельмайер рассказывал мне, что они точно знали, сколько у нас осталось продовольствия, знали, сколько людей в Ленинграде. Правда, он сделал ошибку, я потом ему сказал, что у нас положение

было еще тяжелее: «Вы не учли, сколько с армией пришло населения из Ленинградской, Новгородской и других областей». Цигельмайер изумлялся и все меня спрашивал: «Как же вы выдержали?! Как вы выдержали?! Как вы могли? Это совершенно невозможно! Я писал справку, что люди на таком пайке физически не могут жить. И поэтому не следует рисковать немецкими солдатами. Ленинградцы сами умрут, только не надо выпускать ни одного человека через фронт. Пускай их останется там больше, тогда они скорее умрут, и мы войдем в город совершенно свободно, не потеряем ни одного немецкого солдата». Потом он говорил: «Я все-таки старый пиццевик. Я не понимаю, что за чудо у вас там произошло?»...»

Алексей Дмитриевич мог бы ему многое рассказать про свою работу. Витаминному институту, где он заведовал химико-технологическим отделением, горисполком поручил руководить изготовлением хвойной настойки, чтобы как-то предупредить авитаминоз среди населения. Решение было принято 18 ноября 1941 года. Подняты были даже архивные материалы двухвековой давности, когда Россия экспортировала хвою как лекарство от цинги. Нашли документы о том, как сосновой хвоей лечили цингу во время войны со шведами. Вместе со своими сотрудниками А. Д. Беззубов составил инструкцию, как делать антицинготную хвойную настойку в промышленных условиях, как делать ее дома, как витаминизировать этой настойкой продукты. Как раз когда Цигельмайер приступил к изучению данных ему генштабом сведений, Беззубов учил, как измельчать хвойные иглы, как проводить их экстракцию, как фильтровать, расфасовывать настой. Тут же он изучал, как использовать в госпиталях и больницах проросший горох.

Спустя месяц, во второй половине декабря, Беззубов и оставшиеся в живых сотрудники института отправились проверять, как работают установки по изготовлению хвойных настоев. Они ходили по воинским частям, госпиталям, детским учреждениям, стационарам. На сорока шести фабриках работали эти установки, в шести научных учреждениях.

Для борьбы с обморожением они искали способы получения каротина.

В начале января 1942 года в городе начались заболевания пеллагрой. Надо было раздобыть никотиновую кислоту — витамин РР. На чердаках и вентиляционных трубах табачных фабрик собирали табачную пыль. Из нее извлекали никотиновую кислоту.

Он мог бы рассказать Цигельмайеру, как учились лечить алиментарную дистрофию. Наиболее эффективными оказались препараты белковые и витаминные. Полноценным белком были казеин³, дрожжи, альбумин. Беззубов помогал организовать доставку казеина в Ленинград. А еще раньше он сумел использовать остатки горелого сахара на Бадаевских складах. Знаменитый этот сахар, растопленный огнем, залитый водой пожарных брандспойтов, смешанный с землей, песком, — о нем столько нам рассказывали — вот его-то извлекли десятки тонн. Это были глыбы черной сладкой земли, их Беззубов придумал промывать сверху водой и перерабатывать на кондитерской фабрике. До войны он работал главным инженером этой фабрики. Из черного этого творага, который долго еще продолжали копать ленинградцы на горелом пустыре, стали производить леденцовую ка-

³ Основной белковый компонент молока и молочных продуктов.

рамель. По вкусу карамель напоминала известные дореволюционные леденцы — ландрин. Была такая популярная в России карамель с горчинкой.

Его отдел изучал, сколько каротина и витамина содержат одуванчики, крапива, лебеда, что из них можно приготовить...

Ничего об этом Цигельмайер не знал. Да, собственно, вряд ли такого рода мелочи он принял бы во внимание. Будучи специалистом примерно того же профиля, что и Беззубов, он подсчитывал, сколько суток может просуществовать средний ленинградец без белков и жиров. Он вел глобальные подсчеты. Перед ним была задача, эксперимент, огромный эксперимент, единственный в своем роде. Чем больше населения, то есть испытуемых, тем меньше сказываются всякие аномалии, тем точнее должен быть результат.

Энергия не может возникать из ничего. Сто лет назад великий земляк этого Цигельмайера врач Роберт Майер вывел закон сохранения энергии. И Алексей Беззубов и Цигельмайер изучали, как человеческий организм подчиняется этому закону, изучали для диаметрально противоположных целей.

Чтобы обеспечить работу сердца, легких, всех органов, для этого необходимо снабжать организм топливом. Цигельмайер четко знал: тепло не может возникать из духа, из воли, из убеждений; как бы ни хотел человек согреться, организму нужны для этого не мысли, не вера, а калории, нужна пища, минимальное количество которой исчисляется двумя тысячами калорий в сутки.

Этих калорий у ленинградцев не было.

Не видя ожидаемого результата, Цигельмайер на всякий случай вводил еще всякие коэффициенты. Однако Ленинград по-прежнему держался. Цигельмайер сделал еще некоторые последние допущения, ему надо было спасти законы энергетике.

Жители этого города должны, обязаны были умереть, а они продолжали жить, они двигались, они даже работали, нарушая незыблемые основы науки. Рацион ленинградцев был известен, температура воздуха, качество хлеба, все, все было подсчитано, учтено: 125 граммов, 150 граммов, даже 250 граммов при отсутствии каких-либо других продуктов не могли обеспечить физиологического существования организма в условиях такого холода.

Цигельмайер не понимал, в чем он просчитался. Он не мог объяснить генеральному штабу, почему его расчеты не оправдываются.

Теперь он расспрашивал об этом господина советского профессора. Но и Алексей Дмитриевич не мог до конца объяснить этого феномена. Он разговаривал с Цигельмайером, ученым — специалистом по питанию, который «консультировал» голод, вполне учтиво, придушив свои чувства. Он говорил о неучтенной вере в победу, о духовных резервах организма ленинградцев.

Но, откровенно говоря, ему и самому было не все ясно. Он все пережил, все видел сам и тем не менее при всем своем огромном опыте не до конца понимал, откуда брались силы у людей...

...Этого убийцу-«невидимку» вначале не считали самым опасным. Убивали — куда заметнее для всех — другие: бомбы, снаряды. Да и вообще август — сентябрь — октябрь были и без того тревожными до крайности: ожидался со дня на день новый штурм. Враг у ворот! — это кричало в душе ленинградцев, заглушая другие тревоги.

В дом к вам приходят моряки, солдаты и, отодвинув подальше детскую кроватку, закладывают кирпичом окно, делая из него амбразуру, — и вы им помогаете. Танки врага — в четырех километрах от Кировского завода...

О союзнике врага⁴, который через месяц-полтора станет самым главным и страшным убийцей ленинградцев,— о голоде мысль хотя и беспокоила, тоскливо сосала, но все еще не казалась столь опасной.

Вот рассказ Галины Иосифовны Петровой (ул. Фонтанка, д. 39, кв. 3):

«— Довольно быстро ввели карточную систему. Я помню, что мы даже не выбирали ту норму продуктов, которые нам давали.

— Вначале?

— Да. Вначале выбирали весь хлеб, смотрим— стал хлеб дома оставаться; булки были, батоны. Потом уже вспоминали, что вот тогда давали хлеб, а мы не брали, а можно было брать и сушить сухари. А сначала не придавали никакого значения. У меня здесь были папа, мама, сестра и я. Сестра вышла замуж, и в августе они уехали в Сочи, мы с папой и мамой здесь оставались.

— В этом же доме?

— Нет, мы жили тогда на улице Гоголя, семнадцать, в том доме, где жил когда-то Гоголь».

Цепко держалась иллюзия (причем одновременно с ожиданием самого худшего), что скоро каким-то чудесным образом «все станет на место». Психологическое состояние неожиданности растянулось на месяцы. Хотя, казалось бы, это состояние моментальное.

Неожиданность — длилась.

На такую «психологию» первых месяцев войны обращает внимание в своем рассказе ученый-математик Евгений Сергеевич Ляпин (Московский проспект, д. 208, кв. 16).

«— Это был август?

— Да, август. Насчет того, что кто-то специально распространял слухи, я не знаю, не приходилось слышать. Думаю, что люди сами себя старались «успокоить». В частности, был в то время такой неправдоподобный слух: стрельба в городе слышна потому будто, что неприятель выбросил десант, они спрятались где-то на кладбище и вот из минометов стреляют по городу, для того чтобы вызвать панику. Такие представления характерны для того момента. Люди никак не могли освоить всего, что реально происходило. Опыта не было. Тем более что были еще в памяти описания войны на Западе, всякие там фокусы, воздушные десанты во Франции и Бельгии. Вот в таком духе и здесь ожидали. Потом все оказалось не так. Никто на кладбище не сидел, никто из минометов по нас не стрелял, просто фронт продвинулся ближе к нам и дальнобойная артиллерия могла стрелять на расстоянии восемьдесят километров. Я не помню уже точно числа, но это было за Московским вокзалом. И не два-три раза выстрел в день ухнет, а был непрерывный артиллерийский огонь, бой, который велся в двадцати километрах от Ленинграда, в Павловске. Все стало понятно. Мы уже знали, что фронт продвинулся к Ленинграду, подошел неприятель, бой происходит у самого города и, очевидно, с этим связана и судьба города. Тем не менее налетов на город больших не было. Даже отдельные выстрелы к этому времени прекратились. В общем, хотели взять нас паникой, а паники не получилось.

Что нам предстояло впереди? Это стало ясно, по-моему, если не

⁴ «Положение здесь будет напряженным до тех пор, пока не даст себя знать наш союзник — голод», — записывал Ф. Гальдер, начальник немецкого генштаба, в своем дневнике.

ошибаюсь, седьмого или восьмого сентября, когда вечером была объявлена очередная тревога. Тревог уже было много, мы несерьезно к ним относились. Я выглянул из окна (я жил тогда в районе Варшавского вокзала). Мы услышали сперва, что зенитки стреляют особенно рьяно и усиленно. А взглянув на небо, я увидел необычную вещь: шли не отдельные самолеты, которые где-то высоко летят маленькими точками и их даже рассмотреть нельзя. Нет, движется в определенном, явно рассчитанном, сложном порядке большая масса самолетов. Построены они так, чтобы движение их казалось грозным. И оно действительно было грозным. Вокруг них рвутся снаряды, видны разрывы зенитной артиллерии. А они движутся ровно: не петляют, не делают разных сложных фигур, как делали самолеты в августе. И даже если кто-то из них валился в клубы дыма и уходил книзу, остальные продолжали свое движение. Ясно было видно, что это не случайный налет, а это массовый налет. Прошла одна волна, прошла вторая волна, третья волна. Что-то происходит, это было ясно. Вдруг, посмотрев в южном направлении, я увидел растущее большое облако дыма. Такое было в первый раз. Облако разрасталось все выше и выше, достигая десятков, сотен метров. Стало ясно: это результаты появления вражеской авиации. И нам все это потом дорого обошлось.

Тогда еще мы о голоде не знали, не думали совершенно. Снабжение по карточкам было хорошее: хлеба давали столько, что съесть его было совершенно невозможно (шестьсот или восемьсот граммов — кто из ленинградцев съедал столько хлеба за один день?). Так что эта сторона оставалась без внимания. Но забегаю вперед скажу, что как раз поражение и, в общем, уничтожение этого склада — оно стоило жизни многим жителям».

Уточнить эти факты, оценить их последствия — дело историков. Мы изучали не исторические документы, мы вслушивались в рассказы живых людей. Между нами и прошлым была людская память, шаткий мост, источенный временем. У одних их прошлое сохранилось в голове, у других оно заместилось вычитанным из книг, виденным в фильмах и они сами не заметили, как это произошло. Сдвинулись даты. Первая бомбежка Ленинграда была 6 сентября 1941 года, через день, 8 сентября, произошел второй налет, во время которого разбомбили Бадаевские склады. Две эти даты у многих слились в одну, и получилось, что Бадаевские склады сгорели в первую же бомбежку. Таких ошибок много.

Мы выясняли не историческую картину, а скорее состояние людей того времени. И в этом смысле было важно знать, что именно каждому запомнилось из тех лет. Что врезалось в душу, что осталось от блокадной жизни навечно в душе, в сознании, что из пережитого постоянно сосуществует с человеком.

...Голод был уже рядом, в городе.

Ужесточались продуктовые нормы, город собирал все, что можно было собрать, сохранить, пустить в дело. Пошли в ход всякие «заменители» — на хлебозаводах, в столовых.

И каждый сам стал оглядываться, искать: что и где съедобного осталось, что можно использовать?

Голод только еще нащупывал глотку своих жертв, но всем уже становилось тревожно, неуютно: убийца где-то рядом... Вот как рассказывают об этом времени сами ленинградцы.

Художник Иван Андреевич Коротков:

«— Постепенно голод стал поджимать. Что я предпринял? Какие меры? Я стал обходить квартиры всех эвакуированных друзей. Прежде всего к Тае Григорьевне. Не помню, как попал (рядом соседка, кажется, жила). Я вошел, перерыл все шкафы, всякие сухарики, зацветшие, зеленые, подобрал, еще что-то такое. В общем, я такой мешочек забрал. Был крайне доволен, что получил довольно хорошую порцию чего-то. Еще к кому-то я пошел в квартиру, тоже по всем шкафам собирал все кусочки засохшие, которые остались. Потом мне один мой студент принес жмых — вот такие листы. Принес три листа. Это была колоссальнейшая вещь — три листа жмыха!

— А какой тогда месяц был?

— Октябрь и ноябрь, холода, когда уже ничего не стало. Потом дома нашел немножко муки. Потом у меня оказался клей рыбный для грунтовок и несколько бутылочек масла льняного на окне... Каким-то образом я почувствовал, что дело скверно. Я не стал очень-то налегать, а все это плавно распределял».

Бывший работник радио Нил Николаевич Беляев:

«Что характерно было для тех месяцев, когда началась голодовка? Это — сразу же воспользоваться всем, что можно есть. Что к этому относилось? Это вот дуранда — жмых подсолнечный, который можно было кусочками на рынке приобрести. Маленький кусочек, злиточку жмыха можно было за тридцать рублей купить. Цена тридцать рублей почему-то держалась на этот жмых несколько месяцев, пока он не кончился. Квадратный дециметр шкуры животного, с коровы или с лошади (из нее можно было сварить студень), плитки столярного клея — эти вещи на рынке покупались, и приблизительно каждая из них рублей по тридцать стоила. Если студень сварить из маленького кусочка кожи, он не получится достаточно хороший, плотный, а если сюда добавить столярный клей, то сварится, получится хороший, крутой. Есть, конечно, весьма отвратно было, но приправишь горчицей, перцем, уксусом, который выдавался регулярно по карточкам (собственно, только это регулярно и выдавалось), и кое-как ешь, и можно было как-то существовать. Но в сорок втором году этого уже ничего нельзя было достать, ни жмыха, ни клея. Это все пропало. Так что оставалось, как полярным путешественникам из рассказов об Амундсене или Нансене, переходить на ремни. Но это дело нехорошее получалось. Потому что тогда, у тех путешественников, ремни были сыромятные. Это сыромятная кожа, не выделанная химически, не прошедшая, так сказать, обработку. А ремень — что? Ничего! Его вот изрежешь, искрошишь, попытаешься сварить, варишь-варишь — он не разваривается. А если и разварится, съешь это все, то, как говорится, никакой радости от этого нет, ничего нет».

Все самое, казалось, невыносимое голодный пытался «утилизировать». Особенно наивно-беспомощную изобретательность проявляли ребята-ремесленники. Они (по многим рассказам) умирали едва ли не первыми: одни, без родных-близких, что получают, съедят за раз, проедали одежду, обувь.

По мнению опытных блокадников, более сдержанных, излишняя изобретательность тут пагубна. Часто она убивала человека еще до того, как завершал свое дело голод. Но даже зная это, люди не могли удержаться: голод не тетка!..

Рассказывает Зоя Алексеевна Берниксвич, работник Эрмитажа:

«— Конечно, все приходилось есть: и ремни я ела, и клей я ела, и олифу: жарила на ней хлеб. Потом нам сказали, что из горчицы очень вкусные блины. За горчицей какая была очередь!

— Что же, из одной горчицы?

— Надо было уметь делать. Я две пачки положила (взяла-то пятнадцать пачек, думала, запас будет, может, жить буду). Вот надо ее мочить семь дней, сливать воду и опять наливать, чтобы горечь вся вышла. Ну, конечно, я спекла блинчики, два. Съела один и потом я стала кричать как сумасшедшая. У меня были такие рези! Очень многие умерли. Все-таки это горчица: говорят, съела кишки. Когда вызвали ко мне врача, он спрашивает: «Сколько вы съели блинчиков?» «Только один».—«Ваше счастье, что вы съели мало. Ваше счастье!» Вот так я осталась жива... Ландрин покупали, пили сладкий чай; сахарин иногда можно было достать. Правда, весной уже был огород. Я была очень счастлива, что мой огород никто не трогал. Я ела, знаете, какую траву? Лебеду и мать-и-мачеху, может быть, знаете такую? Как принесу полный мешок, у меня была такая большая бутылка, я туда натрамбую, насолю и с солью ем».

Про «бадаевскую», про «сладкую» землю рассказывают многие. Ее продавали на рынках наравне с другими продуктами. Качество (и цена) «бадаевского продукта» зависела от того, какой это слой земли—верхний или нижний. Валентина Степановна Мороз (библиотекарь) и сейчас помнит вкус ее:

«— Потом еще такая деталь запомнилась: когда разбомбили Бадаевские склады, мы бегали туда, или, вернее, добредали. И вот земля. У меня остался вкус земли, то есть до сих пор впечатление, что я ела жирный творог. Это черная земля. То ли в самом деле она была промаслена?

— Сладость чувствовалась?

— Даже не сладость, а что-то такое жирное, может быть, там масло и было. Впечатление, что земля эта была очень вкусной, такой жирной по-настоящему!

— Как готовили эту землю?

— Никак не готовили. Просто по маленькому кусочку заглатывали и кипятком запивали».

В перечне блокадной еды всякое можно найти — конопляные зерна от птичьего корма и самих канареек, и дроздов, и попугаев, собирали мучной клей от обоев, из переплетов, вываривали приводные ремни, ели кошек, собак, ворон, потребляли всякого рода технические масла, использовали олифу, лекарства, специи, вазелин, глицерин, всевозможные отходы растительного сырья. Список этот длинный, удивительный по своей изобретательности, даже по изощренности, с какой испытывалось на съедобность все окружающее.

Есть народы, у которых принято потреблять в пищу, допустим, собак, или змей, или лягушек. Для ленинградца преодолеть эти «предрассудки», все свое воспитание было делом нелегким и многим оказывалось не под силу.

Слово «хлеб» обрело, восстановило среди всего этого свой символический смысл — хлеб насущный. Хлеб как образ жизни, хлеб как лучший дар земли, источник сил человека.

Голод изменял людей не только физически — он менял характер, привычки, он искажал у некоторых людей весь их душевный облик.

«— Чем мне удалось поддержать своих сотрудников? — вспоминает Зинаида Александровна Игнатович (Средний проспект, д. 35, кв. 35).— Перед самой войной мы занимались в лаборатории пищевыми отравлениями и даже бактериями. Для того чтобы выращивать бактерии, варится особая среда. Она варится на мясном бульоне. Ленинградский мясокомбинат готовил нам такую среду, такой концентрированный бульон; готовил его из нетелей. А что это такое? Это когда забивали коров и в утробе у них находили плод. И вот из этих плодов они готовили экстракт Либиха и сушили его. У нас был большой запас его. Это спасло многих сотрудников. Когда начался голод, я как заместитель начальника по научной части, когда приходила, вынимала одну банку, вокруг садились сотрудники, и я давала по столовой ложке мясного экстракта. Его можно было так есть. Тут я хочу вспомнить случай, который до сих пор волнует меня. У нас был в институте сотрудник, культурнейший человек. Он был крупный и здоровый мужчина. И он очень быстро сдал. Когда я утром раздавала этот мясной бульон, он уже первым сидел за столом. И такими горящими глазами провожал он эту ложку! Чувствовалось, что все его помыслы сосредоточены на ней. Очень трудно было представить, что это он же — такой деликатный, такой умница, такой замечательный человек! Когда начали открываться так называемые стационары, нам удалось поместить его в стационар. Но врачи тогда еще не знали, что нельзя сразу после голода давать много пищи. Ему дали двести граммов масла, полбуханки хлеба. Он съел все сразу и ночью умер.

— Неужели врачи не знали?

— Первое время не знали. Потом они уже знали, что человека надо постепенно выводить из голодного состояния».

В той же маленькой лаборатории были другие люди, которые жили эти месяцы и умирали по-другому.

«У нас был такой Соловьев, сидел в вестибюле. Он простой человек, даже не очень хорошо грамотный. Сыновья у него пошли на фронт. Дочка с ним одна осталась (жена умерла перед войной). Потом зятя его призвали в армию, и дочка пошла с ним на фронт. Он у нас был дежурным сторожем, что ли, потому что к нам в лабораторию, поскольку лаборатория была пищевая, приносили анализы и днем и ночью. И он сидел в вестибюле — нетопившемся, холодном. Человек этот был малограмотный, но убежденный, всем малодушным он говорил: «Да неужели мы Ленинград отдадим? Мы никогда не отдадим». А сам затягивал пояс ту же и ту же, худел и худел. Принимал анализы, выполнял свои обязанности и всех ободрял: «Подождите еще немножко! Отстоят Ленинград. И все мы будем живы». И вот однажды сотрудники пришли: что-то Соловьева не видать? А он как сидел на своем посту на табуретке, так и умер. Так и умер, крепко веря в обязательную победу, в то, что Ленинград обязательно освободят».

З. А. Игнатович не сравнивала. Она ни словом, ни тоном, ничем не осуждала память первого сотрудника. Люди понимали, что голод может перебороть человека, каждый на себе ощущал его всеокрушающую силу и втайне боялся — сегодня устоял, а завтра может не хватить воли и что-то хрустнет, сломается...

«Я перенесла всю блокаду. Хуже всего — это голод, — утверждает Лидия Сергеевна Усова, которая была тогда рабочей. —

Это страшнее всего. Наш завод каждый день обстреливался. Но мы не шли в бомбоубежище: совершенно перестали этого бояться. Первое, что мы делали, это хватали кусок хлеба и запихивали в рот; не дай бог если тебя убьет, а он останется! Понимаете? Вот какая психика была. А потом ты в ужасе: ты все съела, а бомбежка кончилась! Это был сорок второй год. Это был самый ужасный год!.. Помню, когда умирала мама, я ей давала сахар по кусочкам, и она все говорила — добренькая, добренькая! А с сестрой поделиться я уже не могла. Она была в больнице, я несла ей что-то, но по дороге начинался обстрел, и я все съедала, я не могла ей донести. Тут я уже была в таком состоянии, я уже ни о чем не могла думать как только о еде. Понимаете? Это совершенно ужасно».

Лидия Сергеевна беспощадна к себе. Она из тех людей, у кого через эту беспощадность видна живая совесть, никакими лукавыми поблажками времени не успокоенная.

То и дело в рассказе о своей работе она возвращается к воспоминаниям о голоде, к ощущениям, очевидно неизгладимым.

«— Работала я в Пятом ПМТ. Затем нас перевели на завод «Красная заря», куда ходить было очень далеко. На заводе мы занимались расчисткой. Было очень тяжело, когда мы на снегу работали. Я упала. Меня перенесли в приемный покой больницы. И когда я приходила в себя, то слышала: ну, здесь полный упадок сердечной деятельности. Вероятно, тогда мне сделали укол. Когда я открыла глаза, мне дали кипятку и опять отправили на работу. Все-таки я была живучая. Может быть, даже то, что меня отправили опять на работу, это и нужно было, потому что тот, кто ложился, тот не вставал.

— А знали тогда уже, что тот, кто ложился, тот не вставал? Или это уже потом, задним числом?

— Нет, мы еще тогда ничего не понимали. Я скажу так: у меня все мысли были направлены только на еду. Это было совершенное помешательство. В сорок втором году я уже не могла донести паек из магазина до дома: если там был сырой горох, я его съедала на улице.. Так прошла зима сорок второго года, и наступила весна. У меня вид был ужасный. Я очень сильно отекала. Я была невероятно худая: при моем росте у меня был вес сорок два килограмма (я взвешивалась в больнице, это интересно было). Ноги были как тумбы, вот такое опухшее лицо, глаза — щелки. Ужасный вид был. И вот здесь нас начали пропускать через усиленное питание. Оно было абсолютно правильно организовано: нас кормили четыре раза в день небольшими порциями, давали полноценные продукты, но мы даже плакали. Нам казалось, что нас ограбили: у нас отобрали карточки и дают очень мало. Это, конечно, психоз был безусловно. Столовая была на углу Невского и Владимировского, где сейчас ресторан «Москва». Было просто ужасно: придешь — и дадут тебе маленькое блюдечко каши. Ужасно хотелось больше. И здесь я помню, как я сидела в садике и смотрела на прыгающих воробьев, и у меня были совершенно кошачьи инстинкты: вот поймать этого воробья и сварить из него суп!

...Было усиленное питание, и была травка, которую мы стали есть. Я по утрам — часа в четыре — вставала и шла на всякие свалки собирать крапиву. И если удавалось набрать носовой платок крапивы, это было счастье! Ну, затем я в Таврический сад ходила, где трава была по пояс. Я просто на вкус пробовала. Это лебеда была, конечно. Я еще поражалась: зачем это люди едят редиску, когда можно есть лебеду, это гораздо вкуснее. Вот этой травой мы дополняли тот паек-кашку, которую получали».

Встретились мы с рабочей семьей Васильевых — Никандром Ивановичем и Зоей Ефимовной (ул. Металлистов, д. 105, кв. 41), записали их рассказы. Муж работал мастером на Металлическом заводе, жена дома спасала детей. Вот ее рассказ об этом:

«— У нас было двое детей. Вот эта, старшая, которая выжила, тридцать седьмого года рождения. Ей тогда было три года с небольшим, а второй — той было три с половиной месяца. Ну, сперва думали, будет так, как финская война прошла — она нас не коснулась; затемнение было, но близко-то не было врага. А здесь он очень быстро стал двигаться на Ленинград. Мы, конечно, ожидали уже, что он сюда подступит. Ну а потом я собралась эвакуироваться, потому что из цеха, у кого были малолетние дети, старались эвакуировать, тем более у меня двое было. У меня няня была. Тогда ведь садиков мало было, а в ясли не очень-то носили детей. У меня уже были посадочные талоны, эвакуационное удостоверение (в Омскую область нас эвакуировали с завода). Многие женщины поехали. Я тоже собралась, думала: что я буду здесь делать, их ведь деть некуда. Няня моя была с Вологды и тоже собралась уезжать. Причем она все паниковала, что голод будет, голод будет, и дедушка у нее был старый, который говорил: если будет война — обязательно будет голод! Ну, я как-то этому не придавала значения.

Ну вот, я сперва собралась. Пришли мы утром в день отъезда. Мы на Кондратьевском жили, в доме сорок, в корпусах. Там линия железнодорожная подходит от завода, и состав был уже подан для посадки. Пришли утром меня провожать работницы из цеха. Я увязала вещи, ну, вроде как на дачу. Знаете, думала: уедем, может быть, там лето проживем и обратно вернемся. Ведь никто такого не ожидал! Собралась, а женщины мне говорят: «Как ты поедешь? Кто у тебя там есть?» Я говорю: «Да никого у меня нет, все в Ленинграде». Тут я подумала-подумала: куда же я с двумя такими малышами поеду? Нас там никто не ждет. И решила, что не поеду, и все! Все распаковала! И осталась! Ну, потом начались обстрелы, еще голода мы не знали. И обстрелы на нас так действовали, и мы так смотрели, что лучше бы нам голодать, только не такие обстрелы страшные, потому что рабочий район, здесь заводы кругом. И ведь они по ночам бомбили, и обстрелы производили, и спустили ракеты осветительные как бы на зонтиках таких. Потом продуктами перестали обеспечивать. Дочка долго в карточки играла, обрезала талончики.

— Это после войны? Ненужные?

— Да, ведь остались неотоваренные карточки. Я уходила в три часа ночи и становилась в очередь за продуктами. Два пальто, еще сверху веревкой завязавшись или кушаком, чтобы поплотнее, потому что уже кожа да кости были. Муж всегда с утра на работу шел, на завод. А я вот эту, старшую, оставляла с грудной малышкой. Она переберется на нашу кровать и смотрит: мокрая — так подстелет ей. А я в очереди за продуктами. И стоишь иногда зря — ничего не получишь, придешь домой пустая. Единственное, что помогло нам выжить, это огороды. Где теперь шоссе Революции, застроенное домами, тогда там поля были. Дали нам две сотки земли. Прислали семена. Там были и морковь, и репа, и брюква, и турнепс. Такие пакеты были защитного цвета, маленькие, плотно так заклеенные. Нам раздавали семена. А потом, как стали мы огороды эти копать, нам дали верхушки — срезы картофеля, на заводе раздали по полтора килограмма, как сейчас помню.

— Глазки?

— Да, глазки, верхушечки. Ну вот, мы три килограмма получили и посадили. Картофель был чудесный — прямо вот такие картошканы, красные, рассыпчатые. И мы рады были этим овощам. И капусты очень много. Вначале, когда я собралась эвакуироваться, мне дали сухого молока на дорогу. Ну вот, я первое время маленькой немножко добавляла. Да и еще сами пока получали продукты, так что хватало. А потом, когда уже совсем голодно стало, она у меня похудела очень. Но она такая румяная была на лицо. У мужа и мать, лет восемьдесят ей было, а она все румяная — такой цвет лица... Как-то несколько дней хлебозаводы, пекарни не пекли хлеб. Ну и давали муку. Я эту муку вместо хлеба получила и наварила такую болтушку, ну, просто две ложки муки на кастрюлю воды и подсолила. Вот этой муки горячее, что называется, похлебали по-русски. А дочке погуще кашку сварила. Ночью я слышу — рвота у нее поднялась. Мы с девочкой старшей на плите спали. Муж на столах, два или три стола было на кухне. А для маленькой внесли стулья на кухню, и она лежала здесь. Я скорей вскочила, коптилку зажгла. Смотрю — ее вырвало и желудок расстроился. После этого я пошла в консультацию и говорю: «Нечем кормить ребенка, хоть что-нибудь выпишите!» Врач говорит: «У нас ничего нет, мы не выписываем». Я говорю: «Вы посмотрите на нее!» А она: «Да нет, румяный ребенок». «Вы не смотрите на лицо, у нее же руки, ноги как плети!» «Не разворачивайте, у нас здесь холодно. И нету у нас ничего». Так мне и отказали. Ну, она вскоре, конечно, и умерла, потому что уже кормить совсем нечем было, ни круп, ни масла, ничего мы в это время не получали.

А потом, после ее смерти, наверно, месяца два прошло. Видимо, тогда через Ладогу стали возить продукты. И приходит медсестра, спрашивает Ирину Васильеву, говорит: «Я из консультации». «А что вы хотите?» — «А вот мы сейчас уколы делаем. Принесите ее, укол надо сделать». Я говорю: «Ей уже ничего не надо. Я к вам приходила, вы сказали, что ничего у вас нет, а теперь ей ничего не надо»... Потом меня вот так раздуло. Как они написали — флегмона правой стороны лица. У меня лицо опухло, мне даже глаз не открыть. Встала утром — ни носа, ни шеи, ничего не было, все сплошь! Потом муж как-то пришел в обед. Я говорю: «Сведи меня в поликлинику. Что же это такое? Температура до сорока градусов доходит». Он меня сvez, вернее, мы пешком дошли. А там кругом носилки — это лежат с поносом дистрофическим, кровавым, лежат, стонут, охают. И тут полумрак такой, в углу маленькая лампочка. Он куда-то ходил, искал дежурного врача, открыл какую-то дверь. Я сперва не видела. А когда услышала оттуда — музыка, патефон играет, вы знаете, ну как-то просто не вязалось. Блокада, затемнение, мы с коптилками, окна все темно-синими и черными бумажными шторами закрыты (продавали их)... Я глаза открыла, смотрю — в легком платье девушка пробежала. Словно виденье. Она за врачом мне бежала. Потом, когда лежала, узнала, что это практиканты были, у них комната была такая отдыха, музыкой спасались.

— А девочка дома одна была?

— Да, одна была. Муж ходил на завод, потом на военный пункт ходил, а она одна оставалась на пятом этаже. А когда бомбили, вы знаете, как бомба упадет, дома вот так и качаются. Я ведь в убежище ни разу не была. Думала — если убьет, то все равно, в подвале или здесь. Иногда приготовишь сумку, держала там кое-что, водички чтобы попить, пеленку держала (это малышке). Мы обычно в передней садились — я и еще из другой комнаты женщина с ребенком. Сидели с сумками и сидим в середине, чтобы стекла не полетели

на нас. И вот когда меня в госпиталь положили, дочка осталась дома. Я там больше месяца лежала. Ну, он утром дочку покормит и идет на завод. В обед прибежит и еще подогреет что-нибудь, тут близко было. А потом я пришла из больницы. Тогда вот и дали участок на огороде. Он меня свел туда и говорит — вот, копай. А я стою. Ветер был сильный, как дунет — я падаю. Сесть не на что — кругом мокрая земля...»

Сначала видели только убитых бомбами, снарядами. Потом стали появляться убитые голодом. Их какое-то время не то что не замечали — боялись понять до конца, что это означает, что надвигается на город.

Галина Иосифовна Петрова училась в мединституте, и она в числе первых увидела умерших от алиментарной дистрофии. Но увидев труп на улице, она, без двух дней врач, испугалась, как девчонка, — не мертвого человека, а массового голода, который вдруг разглядела...

Человек уже видит. Но видеть ему не хочется. Не хочет принимать.

Художник Иван Андреевич Коротков хорошо запомнил эту вот беспомощную хитрость человеческого сознания, для которого правда слишком ужасна.

«— Я стою в очереди за хлебом в булочной. Там горит светильничек такой, и по карточкам нам дают мокрый кусочек. Я чувствую, что я зацепляюсь за что-то и перешагиваю. У меня нет сознания, что это человек. Я думаю: кто это там мешок какой-то бросил? Никак не мог понять, что вообще происходит. Я перешагнул, и другие идут. Когда я вышел, только тогда до меня дошло, что мы через человека шагали, который тут упал! Шагали через него, и никто, так сказать, не осознал этого. Вот это какое страшное состояние!

— А продавцы хлеба охранялись?

— Не знаю, может быть, какая-нибудь тайная охрана и была. Как-то об этом никто и не думал, и у меня никаких таких особых мыслей не было. И вот такие непонятные вещи: я все время где-то ошибался. Вот у жены, Ирины Иосифовны, сестра была — Мария Иосифовна. У нее в одну ночь умерли муж и сын от голода. Каким-то образом меня известили об этом. Я пришел к ним. У них еще был один сын, который служил в это время в госпитале политруком, потому что у него был только один глаз (другой потерял на войне). Ему где-то сделали пару гробов (в то время это была редкая вещь), дали лошадь; и вот мы поставили два гроба на какие-то деревенские розвальни, привязали, сели на эти гробы и поехали с ним на кладбище. Я как сейчас помню это место на Малой Посадской. Хороший такой дом на углу. Они в этом доме и жили, Малая Посадская, десять. Балконы там такие. Я как сейчас помню, как Мария Иосифовна стоит внизу, а мы уезжаем на этих гробах. Картина, я бы сказал, для художника Моисеенко подходящая.

Ну вот, мы поехали. Поехали мы на Серафимовское кладбище. И по дороге все везут, значит, на санках. Кто-то попросился, чтобы мы привязали санки к розвальням, а его посадили с собой. Одного посадили, другого. Потом у нас уже трое санок сзади и сидят еще трое. И тихонько мы едем на Серафимовское кладбище. Приезжаем на кладбище. Там работает экскаватор, роет траншеи. В это время я вижу, где-то вдали пришла машина. Как-то в то время до сознания не доходило. Потом только дошло, что это в траншее возят мертвых и зарывают; и машины все подходят, потому что они собирают по

городу всех кто где лежит, привозят и хоронят. В то время недопонимание у меня было или я так был настроен, чтобы не поддаваться,— я не воспринимал этого».

Дмитрий Михайлович Смирнов был тогда еще подростком. Но он хорошо помнит и все, что было, и чувства свои.

«— Они в декабре месяце еще не лежали и в январе месяце еще не лежали, вначале. Они стали лежать в конце января месяца. Еще в январе месяце их возили даже в гробах. Потом уже без гробов, а потом уже было, через какой-то период, что в основном они, как я вспоминаю, лежали на улицах как-то зашитые, как-то обернутые.

— В простыни?

— Да... Везут много покойников. Что значит много? Если по пути встретишь от одного конца Большого проспекта до другого три, четыре, пять покойников... На саночках, в большинстве случаев на саночках, потому что снег уже был. Некоторые везли на спаренных саночках. Чаще всего женщины тащили. И у меня мать чуть не умерла. Она работала в аптеке, и, может быть, это ее спасло. У нее начался фурункулез, на шее были страшные нарывы. Потом— некоторые не верят,— а хвоя очень помогла ей, мы пили хвойную настойку. Большое потрясение было у меня, когда я однажды видел (это и сейчас перед глазами у меня) где-то на Большом проспекте — не то там было ремесленное училище, не то ФЗУ, не знаю что, может быть, там был пункт, куда свозили трупы. И вот уже весенний день (весенний, потому что уже снега не было), и идет машина, и на ней трупы лежат. Это такое, такое... Я и сейчас вижу то место, где идет эта машина, как она идет. И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу... Причем почему-то, знаете, это была старая довоенная трехтонка, знаете, с такой большой кабиной? Не видели таких? Но мысль: почему, почему не эвакуировались, почему не уехали? Можно было, как говорится, пешком уйти. В конце концов потом был организован конвейер перевозной по «Дороге жизни»: туда людей, обратно продукты, туда людей, обратно продукты».

Очень точно выразил этот рассказчик безжалостную силу «блокадной памяти»: «И здесь нужно только отвернуться. Но теперь уже и отвернуться не могу».

...Муки были страшные, но и радости ведь вдруг появлялись такие, что запомнились навсегда.

Никто из блокадников про себя не думает: мы совершили подвиг, проявили геройство. Нет. Но спустя десятилетия вдруг оказывается, что тяжкие годы эти — как бы оправдание жизни, что это чувство сродни тому самому чувству, какое есть у солдата Великой Отечественной. И еще есть у блокадников знание беспредельных возможностей человека, в том числе и своих возможностей, уважение к себе. Конечно, много противоречивого возбуждает каждое прикосновение к прошлому, у каждого свое: ужас и восторг, стыд и красота, отвращение и любовь — все смешалось столь плотно, что иногда нет сил отщепить какое-либо одно чувство.

Перед нашим приходом Павел Филиппович Губчевский, научный сотрудник Эрмитажа, внутренне готовясь к разговору, размышлял: что же такое была для него блокада? Потом он нам признался в этом.

«— Мне было трудно самому себе на это ответить. Снаряды? Ну так они же всюду. Бомбы? Они всюду. Голод? Ну, он, конечно, не та-

кой, как всюду, а в более страшной форме, но ведь и всюду не так уже сладко жилось. Смерти? Так они всюду были, и еще какие! Ну, может быть, только не в такой концентрированной форме. И мне показалось, когда я сам захотел отдать себе отчет (никогда об этом я нигде не говорил и сам с собой никогда не говорил), что блокада — это раньше всего человек. А человек — он разный. И в силу этого, по-видимому, существует и очень разное восприятие вот этого понятия «блокада» — в зависимости от индивидуальности человека.

И вот что удивительно: после этого я подумал следующее: что ни разу в жизни, ни до, ни после блокады, я не имел такой осознанной и определенной цели в своей жизни. Она, эта цель, даже казалась близкой. Другое дело, что она все время отодвигалась по разным причинам. Но ведь что происходило во мне, в человеке? Я не какой-нибудь руководитель или кто-то, я обыкновенный, простой человек, и я имел четкую и определенную цель, которая всегда до этого (и вот сейчас, сегодня) была растушевана и размыта. А тогда она была определенной. Вот что для меня блокада (конечно, и все остальное, о чем вам уже многие рассказывали). Человек приобретал какую-то удивительную цельность. И как бы вам сказать? Это тоже, наверно, как-то дико звучит — я чувствовал, что во мне что-то снялось, рас-свободилось. Конечно, были тысячи «нельзя» и «не могу». Конечно, я не мог выехать за кольцо блокады или поехать на черноморский курорт. И, конечно, я не мог есть вкусные вещи. Более того, я выполнял множество разных обязанностей — и по моему положению (я был начальником охраны больших зданий) и по моему гражданскому долгу. Мне, конечно, приказывали, я получал инструкции, я знал, что-то я дол-жен, что-то обя-зан сделать, но это «обязан» было для меня свободой. Наверно, вам диким кажется то, что я говорю, но я хочу быть с вами искренним, это так было и это тоже блокада.

— Вот вы говорите, что все время чувствовали цель, видели ее...

— Я сидел в своей комнате и ждал очередного обстрела, который больше выматывал душу тем, что он долго тянется — понимаете? — и думал: и какой же я был чужак, как я жил раньше! Я редко ходил в филармонию, редко ходил в Кировский театр. А ведь как много для этого нужно! Нужно, чтобы в театре было тепло, чтобы его осветили, чтобы собрали более сотни оркестрантов и чтобы они были сыты, чтобы собрали артистов балета, чтобы публика могла п р и е х а т ь туда и тысяча еще «чтобы!» И этого я не ценил, этого не замечал. Я не думал тогда, что вот кончится блокада и я буду есть пшеничную кашу целыми кастрюльками (наверно, вы это слышали, наверно, вам это некоторые блокадники говорят). У меня этого как-то не было. А была такая вещь: появилась цель найти в жизни то большое, если говорить громкими словами, что-то духовное, такое, что раньше мало ценил, мало пользовался, не смог осуществить».

В залах Эрмитажа, всегда переполненных посетителями, звучат на всех языках приглушенные голоса экскурсоводов. Картины, скульптуры, узорчатые паркеты — кажется, что так было всегда и что иначе и быть не могло в этом великом источнике красоты, за которой приезжают из далеких стран... Но в служебной комнате несколько сотрудников музея рассказывают, как они жили здесь в войну. И тут хоть и невпопад, не по теме, а нет сил обойти, отложить на потом одно место из рассказа Павла Филипповича Губчевского. Случай, который чем дальше, тем больше заставлял о себе думать.

«— Тридцать два снаряда попало. Степень разрушения разная: снаряд в Гербовом зале упал где-то в двух метрах от Малого трон-

ного зала. По каким законам баллистики, я не знаю, но осколки рванули сюда, в Малый тронный зал. В Гербовом зале дырка в полу вниз, в Растреллевскую галерею, и больше ничего. А Малый тронный зал весь изрешечен осколками. Сбита люстра, ее не удалось восстановить — хрупкая очень бронза была... Кроме того, осколки буквально изрешетили стены и потолок. Если на стенах ничего не было (вот эти лионские бархаты, шитые серебром, очень стильные, хорошие бархаты, были навиты на валы и увезены, эвакуированы), то роспись там феноменально трудная для реставрирования. Вид это имело ужасный. Или та лестница, по которой вы сейчас поднимаетесь в музей, — Посольская, Иорданская, Главный подъезд, как угодно ее называйте, — она имела тоже ужасный вид. Снаряд сделал пробоину в перекрытии этой лестницы. Если плафон только почернел, стал черным, потому что почти три года непрерывно менявшиеся температуры его сделали таким, то вся околоплафонная роспись и все потолки — это железо (после пожара тысяча восемьсот тридцать седьмого года сделали железные потолки). Железо проржавело, как говорят специалисты, «металл устал». И вот эта роспись, которую вы сейчас видите, все это осыпалось чешуйками чуть побольше этой книжицы. Люди, наши сотрудники, ходили по этим чешуйкам. Вид, конечно, жалкий.

— А картины все увезены были?

— Вообще ведь Эрмитаж вывез миллион сто семнадцать тысяч предметов, но тут уже выступает статистика, а это скучно и неинтересно. В залах картин практически не было. Но нельзя было эвакуировать фреску Анджелико, нельзя было эвакуировать огромный картон Джулио Романо — даже на валу он бы рассыпался, нельзя было эвакуировать роспись лоджии Рафаэля. Осталось и то, что могло само по себе сохраниться, рамы например.

— Какой вид имели залы?

— Пустые рамы! Это было мудрое распоряжение Орбели: все рамы оставить на месте. Третьяковка перепутала, все там спрятали и потом полтора года разбирались, не могли восстановить экспозицию. А Эрмитаж восстановил свою экспозицию через восемнадцать дней после возвращения картин из эвакуации! А в войну они так и висели, пустые глазницы-рамы, по которым я провел несколько экскурсий.

— По пустым рамам?

— По пустым рамам.

— В каком году?

— Это было весной, где-то в конце апреля сорок второго года. В данном случае это были курсы младших лейтенантов. Курсанты помогли нам вытащить великолепную ценную мебель, которая оказалась под водой. Дело в том, что мы не смогли эвакуировать эту мебель. Она была вынесена в помещение конюшен (в первом этаже, под висячим садом). В сорок втором году сверху прорвало воду, и мебель, великолепный набор: средневековые, французский классицизм — все оказалось под водой. Надо было спасать, перетаскать, а как и кто? Эти сорок старушек, которые были в моем подчинении, из которых не менее трети было в больнице или стационаре? И остальные люди — это все инвалиды труда или те, кому семьдесят с лишним. А курсантов привезли из Сибири, они были еще более или менее сильные, их тут готовили на курсах младших лейтенантов. И они переволокли мебель в тот зал, где безопасно сравнительно, и тут до конца войны она стояла. Нужно было поблагодарить их. Выстроили их в зале (вот между этими колоннами), сказали им какие-то слова, поблагодарили. А потом я взял этих ребят из Сибири и повел по Эрмитажу, по пустым рамам. Это была самая удивительная

тельная экскурсия в моей жизни. И пустые рамы, оказывается, впечатляют».

Можно представить себе, как это было — замороженные за зиму стены Эрмитажа, которые покрылись инеем сверху донизу, шаги, гулко разносившиеся по пустым залам... Прямоугольники рам — золотых, дубовых, то маленьких, то огромных, то гладких, то с вычурной резьбой, украшенных орнаментом, рамы, которых раньше не замечали и которые теперь стали самостоятельными: одни — претендуя заполнить собой пустоту, другие — подчеркивая пустоту, которую они обнажали. Эти рамы — от Пуссена, Рембрандта, Кранаха, от голландцев, французов, итальянцев — были для Губчевского обозначением существующих картин. Он воочию видел внутри рам полотна во всех подробностях, оттенках света, красок — фигуры, лица, складки одежды, отдельные мазки. Отсутствие картин для него сейчас делало их еще нагляднее. Сила воображения, острота памяти, внутренне зрение возрастали, возмещая пустоту. Он искупал отсутствие картин словами, жестами, интонацией, всеми средствами своей фантазии, языка, знаний. Сосредоточенно, пристально люди разглядывали пространство, заключенное в раму. Слово превращалось в линию, цвет, мазок, появлялась игра теней и воздуха. Считается, что словом нельзя передать живопись. Оно так, однако в той блокадной жизни слово воссоздавало картины, возвращало их, заставляло играть всеми красками, причем с такой яркостью, с такой изобразительной силой, что они навсегда врезались в память. Никогда после Павлу Филипповичу Губчевскому не удавалось проводить экскурсии, где люди столько бы увидели и почувствовали.

..Враг дожидался, когда Ленинград «выжрет сам себя». И непрерывно напоминал — снарядами, бомбами, листовками, — что пора, что он ждет.

Зоя Алексеевна Берникович рассказывает про злорадно-садистские напоминания фашистов:

«Да, а когда я на окопах была, знаете, какие там частушки были? Немцы бросали листовки: «Съешьте бобы — готовьте гробы!» Это немцы бросали с самолетов. Или: «Чечевицу съедите, Ленинград сдадите!» А мы только кричим: «Мы вам сдадим!»...»

Смерть в городе стала повседневностью. Советские солдаты, моряки, сами полуголодные, бились, истекали кровью на «Невском пятчке», рвались к железной дороге, которая обеспечила бы Ленинграду полнокровное снабжение, вернула бы силу голодающим, истощенным людям, сохранила им жизнь. Ледяная дорога через Ладогу, открывшаяся в конце ноября, в декабре стала давать какие-то продукты и надежду. Снова появилась возможность эвакуировать ленинградцев, хотя для людей истощенных, больных маршрут был тяжелейший, и многие погибали по пути к жизни и даже вырвавшись за кольцо. Вплоть до лета 1942 года голод косил людей, даже когда стало полегче: у многих слишком далеко зашла дистрофия.

«— В загс приходили родственники и регистрировали умерших людей от голода и холода, — рассказывает Елена Михайловна Никитина, учительница. — Это уже декабрь сорок первого и январь сорок второго года. В моей памяти, в моей жизни это были самые тяжелые минуты всей блокады. Мало того что война, обстрелы, бомбежки. Это все было очень тяжело, страшно. Но это было еще не так страшно, как голод, потому что кушать было абсолютно нечего. Мы на обо-

ронных работах еще выкапывали картошку, оставшуюся в земле, питались капустными листьями, и конину нам давали иногда (лошадь покалечит обстрелом, и сразу ее прирежут и нам давали это мясо). А здесь уже кушать было абсолютно нечего, потому что дома все запасы были на исходе, все иссякло; сначала были какие-то сухарики, был крахмал. У меня его было несколько килограммов. Но все иссякло. И вот идешь на работу, у тебя ноги едва-едва идут. Трамвай уже не стали ходить. Воды не было. Света не было. В страшном состоянии были люди: они не могли ходить, не могли даже выносить ведра с грязной водой... И вот я в загсе работала — декабрь сорок первого года и январь сорок второго года.

— Расскажите более подробно, как регистрировали.

— Ну, стояла очередь. Приходит какая-нибудь женщина и говорит, что вот у меня умерла мама, умерла соседка-старушка. Подает их паспорта, документы. Я выписывала свидетельства. Выписывала быстро, торопилась. Чернила замерзали. В здании Кировского райсовета отопления никакого не было. Впоследствии печурки нам поставили, но не помню, чтобы печурки нас грели. Чернила замерзали. Придешь и руками так погреешь, думаешь, что чернила разогреются. Вот и выписываешь им документы. Я помню, как стояли большие очереди в течение декабря и января, чтобы зарегистрировать умерших. Люди стояли истощенные, жалко было их. И мы старались скорей их отпустить. Причем слез у них не было. Я тогда после работы возвращалась домой. А у меня еще семья брата жила (брат был на фронте): жена его жила и ребенок у нее был. Ребенку четвертый год был (сейчас он диссертацию уже защитил, этот ребенок). Приду, бывало, домой, а он лежит на кровати все время, потому что от холода и голода другое что-нибудь придумать и сил не было. На нем такая была одета рубашечка с длинными рукавами, чтобы было потеплее. Вот он встанет в рубашечке и спрашивает: «Тетя Лена, ты хоть кусочек хлебца принесла мне?» Я скажу: «Нет, не принесла». Потому что у меня у самой ничего не было. По карточкам мы получали то, что нам было положено. Я со всей семьи собирала карточки, пойду в булочную и принесу. Ходила всегда только я одна, потому что остальные были не в состоянии ходить, все были старше меня по возрасту. Вот ребеночек каждый раз спрашивает: «А ты мне что-нибудь принесла?» Смотреть на ребенка было жалко. Сравниваешь сейчас вот с детством наших детей, когда яблоки даешь им и они еще не хотят кушать. А тогда даже хлеба не было!

— А брат?

— На фронте был, вернулся. Правда, ранение перенес тяжелое, но ничего. И сейчас он жив... «Ты мне хоть корочку хлебца принесла?» — он спрашивает. Такой тощенький, одни косточки. И в этой белой рубашечке, ну просто как смерть какая! А идешь домой, стучишь (звонки-то не работали) и каждый раз думаешь: ну, сейчас откроют и скажут, что кто-то из семьи умер, потому что тогда смертность была сплошной, поголовной. Напротив нас, на одной площадке, жили артисты из Театра имени Кирова, Никольские. Прихожу домой после работы вечером, и вдруг этого артиста выносят из квартиры мертвого. А тогда ведь уже гробов не делали, просто вот так в простыню завернут человека и выносят на мороз... После этого, в феврале, а может быть, в конце января была переведена райкомом партии комиссия по эвакуации населения. Была техническим секретарем. Выдавала документы, выписывала направления на ту сторону «Дороги жизни», через Ладожское озеро переехать.

— В Кобону?

— Да. И выдавала им карточки или такие талоны на питание.

Чтобы они тут же на берегу Ладожского озера получили уже питание... Были мы там же, в Кировском райсовете, но в другом кабинете, комната двести шестьдесят. Там уже стояла печурка, которую мы немножко отапливали. Но дров не было, так что мы мебель жгли, оставшуюся там, стулья старые, лишние письменные столы, шкафы, ломали мебель, какая была неважная. А после мы дрова добывали сами: ходили ломать деревянные дома. В саду «Девятого января», рядом, помню, я ломала. Для отопления райсовета и вообще для населения района, чтобы немножко люди в тепле были.

— А жителей деревянных домов переселяли, или они были уже пустыми?

— Да. Никого не было. Мужчины на фронт ушли, а женщины какие умерли от холода или голода, какие были уже отправлены на Большую землю. Некоторые были переведены в каменные дома, более теплые. И вот когда я в комиссии по эвакуации работала, не могу забыть такой случай, когда ко мне пришел один мужчина знакомый. Он был близким приятелем моего первого мужа. Помню, когда они окончили Кораблестроительный институт и вместе работали на Адмиралтейском заводе, они очень любили красиво одеваться. Там они зарабатывали большие деньги и одевались хорошо как один, так и другой. И вдруг этот моего мужа приятель приходит ко мне чумазый, страшный, я его вначале и не узнала. Он пришел получить документы на эвакуацию на себя и на свою мать. Мать-старушка, говорит, умирает от голода. А тогда было указание, чтобы всех стариков вообще вывезти из Ленинграда, потому что кормить нечем. Вот стариков и детей в первую очередь вывозили. Я не знаю, по какой причине он не был в армии, может быть, по состоянию здоровья. Но он пришел страшный, весь в коноти, закопченное лицо, в таком женском платке, то есть косынка шерстяная поверх пальто была какая-то завязана, и вот так воротник поставлен, и лицо чуть-чуть видно. Я, когда документы ему стала выписывать, посмотрела и думаю: боже мой, ведь это хорошо знакомый человек, товарищ моего мужа, молодой человек, только что окончивший институт. Ему было лет двадцать семь, наверно, а тут он выглядел как старый-старый старик. Я выписала документы на него и на его мать. Он говорит: «Я сначала маму повезу до Финляндского вокзала на санках, а потом она меня тоже, может быть, немножко повезет». Он был тоже очень ослаблен от голода. Сменяя друг друга, люди себя довозили до Финляндского вокзала, а там их везли дальше через Ладожское озеро, по «Дороге жизни». И вот помню — я уже впоследствии узнала, — что он даже не доехал до Ладожского озера, он по дороге скончался, и он и его мать скончались от голода и холода».

Про то, как умирали рядом самые близкие люди, нам рассказывали мало — или потому что помнят как сквозь туман, или рассказывать слишком больно. Зато много про то, как хоронили.

Выполнить перед умершим последний долг в тех условиях было нелегко. Многим просто не по силам. И не по средствам, если собственных сил не хватало. Похороны были проблемой. Рассказы о похоронах порой мучительней, чем рассказы о смерти. Но одно тут неотделимо от другого.

Все силы любви, горя от потери близкого человека, все уходило в стремление хотя бы похоронить, раз уж нельзя было спасти. Люди оставались людьми.

Людмила Алексеевна Манькина (Невский проспект, д. 130, кв. 13), историк, работник Центрального государственного военно-исторического архива, вот так об этом рассказывает:

«— А потом наступило то, что у всех,— голодный ноябрь, голодный декабрь. Это сорок первый год. Здесь уже начались потери очень большие. Здесь умер Алексей Алексеевич Шилов. Это был один из основателей архивного дела в СССР.

— Как он умер?

— Как умер? Заболел, обессилел. Мы же все получали вторую категорию — карточки служащих. Алексею Алексеевичу в то время было шестьдесят лет. Жил он, как и все мы, на казарменном положении. Он работал в Историческом архиве (это одна система), жил в подвале. И вот он просто заснул, как засыпали почти все, которые умирали от голодной дистрофии. Через некоторое время мы положили его на саночки и, так как не было никакой возможности хоронить на кладбище, свезли его в такое огороженное забором место, где Новая Голландия. Знаете? Туда привозили умерших на санках, с гробами, без гробов — в каком угодно виде. Это было официальное место. Тут сидели, дежурили два-три человека. И потом машинами эти трупы вывозили.

— А у Спаса на крови как хоронили?

— А около Спаса на крови было совершенно иначе. Сюда просто привозили мертвых. Тоже очень много у аптек сажали — полумертвого человека или совсем мертвого.

— Возле аптек? Почему именно у аптек?

— Я думаю, потому, что раньше тут все-таки всегда оказывалась медицинская помощь. Около больниц тоже сажали. Не было сил, не было возможности довезти куда-то еще. Мы вот так Алексея Алексеевича свезли. А где он похоронен? Меня много раз спрашивали ленинградские ученые: «Где похоронен Шилов?» Не знаю... А потом умер Михаил Ильич Ахун. Это был очень крупный военный библиограф. Мы повезли его на Смоленское кладбище, но довезти уже не могли. Так и оставили гроб в снегу на полпути. Это январь. А второго марта умерла мама. Это мое личное, но я вам хочу рассказать, что получилось. Когда умерла мама, у меня была какая-то идея фикс. Мама умерла второго марта. А карточку ей дали накануне. Карточка была иждивенческая. Мама тоже заснула. Мама моя жила очень близко от Военного архива; на улице Герцена, дом один я работала, а на Герцена, одиннадцать жила мама.

— Вы здесь жили? В этом же доме?

— Да. Я приходила часто к маме. Мы сделали чугуночку. Если я выжила, то, конечно, благодаря маме, потому что это она хлеб делила. Ее и мой хлеб она делила на три части, подсушивала на чугунке, заливала кипятком, и три раза в день мы это ели, если это можно так назвать. А второго марта мама ослабела, и когда я пришла, она умерла. Она при мне умерла. Я хотела похоронить маму на Волковом кладбище, где похоронена была моя сестренка. Я пошла на кладбище. Город был совсем пустынный. Это трудно сказать даже, какой был город. Почему-то нам всегда казалось, что это на дне моря, потому что он был весь в огромном инее, все провода были в инее, толстые, вот такие, как когда в холодильнике замерзает. Такой был каждый провод. Трамваи стояли мертвые, застывшие. Это было застывшее царство какого-то морского царя. И кто-то пришел с землей и вот ходит! Пришла я на Волково кладбище. И встретила женщину, которая выглядела хорошо. Она спросила: «Вам...» — нет, она сказала: «Тебе нужно похоронить кого-нибудь?» «Да». — «Я могу тебе это сделать. Но не даром». «Хорошо», — сказала я. «Тогда послезавтра в четыре часа ты придешь. Где мне копать могилу?» Я говорю: «Я бы хотела рядом с сестрой». Мы пошли. Она посмотрела и сказала: «Вот тут рядом и выкопаю могилу».

Мне помогли с работы, сделали гроб, мы взяли санки и поехали по Невскому. Это было седьмого марта, когда уже снега почти не было. Мы повезли эти санки. Около Литейного был такой обстрел! Милиционер кричал: «Что? Я за вас буду отвечать?! Бегите под ворота!» А рабочий и наша уборщица сказали, что никуда не пойдут. И я говорю: я тоже. Мы сели на гроб и подождали, пока пройдет обстрел. Пошли дальше. Долго мы шли — часа два, наверно. Когда мы пришли туда, могила была выкопана только вот настолько, потому что была земля такая, что ее было действительно невозможно копать. Эта женщина сказала: «Ну, подожди, я буду копать». Мои друзья посмотрели и сказали: «Мы пойдем, Людмила Алексеевна». А был такой вечер, такой закат, все пылало. На кладбище все видно. Я говорю: «Вы идите, а я останусь». Ну, они заплакали, и я заплакала. И они ушли. Я осталась. Я чувствую, что замерзаю. А она копает. Она сильная такая, здоровая была. Она мне говорит: «Ты ж замерзаешь?» Я говорю: «Замерзаю». «Я живу в этом доме церковном, вон там вот. Ты пойдй туда», — говорит она мне, — у меня отдохни немножко. Потом, через часик, приходи. Посмотрим, что будет дальше». Ну, я пошла туда. С час я посидела.

— Там было тепло?

— Нет, там было холодно. Но это все-таки не мороз. Я посидела. Потом прихожу — она ничего не сделала, еще, может быть, вот настолько прибавилось. Тогда мы решили: поставим гроб в снег, делаем большой сугроб. Она сказала: «Ну, ты придешь через месяц, в начале апреля, и я тебе все сделаю. Через месяц уже оттает. Я тебе все сделаю». У меня не было чувств никаких. Я говорю: «Хорошо. Я пойду». Она на меня так поглядела и говорит: «Ты, наверно, не дойдешь». «Ну, наверно, не дойду». — «Так останься у меня». (А я принесла ей буханку хлеба, сахар.) И потом она обращается ко мне и совершенно спокойно мне говорит: «А ты не бойся, я тебе ничего не сделаю». Я сказала: «Я не боюсь». «Ну тогда пойдем».

И вот мы пришли в ее комнатушку — маленькая, крошечная, ничего в ней не было. Ничего, только внизу нары, как в поезде в общем вагоне, и наверху нары. Она нарубила чурочек от гроба какого-то, затопила печурку, согрела кипятком, отрезала от моей буханки кусок хлеба, от моего сахара кусок сахара и сказала: «Съешь». Я съела. «Теперь, — говорит, — ложись наверх». Я провалилась. Мне было совершенно все равно!»

А потом человек возвращался к живым — жить. Скучна была радостями внешнего существования та жизнь, но ленинградцы искали и находили в себе (и в других) силу, волю, богатство душевное, и вдруг светлее и теплее становилось им в блокадном кольце...

Вот и Людмила Алексеевна вернулась из той кладбищенской жуты в свой мир... «Мы не просто так жили», — говорит она, как бы споря с ею же недавно нарисованной картиной. И не она, а сама жизнь противопоставила иные картины — картины взлета человеческого духа.

«— Я хочу вот что интересное рассказать. Был такой — вы, наверно, его знаете, он потом работал директором Высших дипломатических курсов — Францев Юрий Александрович. Это был профессор. Он жил тоже на казарменном положении. На Мойке тогда был Кабинет изучения истории партии. И мы были на казарменном положении. Я с ним не была знакома раньше. Однажды он пришел ко мне и сказал: «Я хочу посмотреть, как живут мои соседи». «Пожалуйста». Он очень милый, очень интересный человек был. Однажды, уже

весной, он мне сказал: «Людмила Алексеевна, давайте что-нибудь придумаем. Ну мы же не можем только так. (Он худой-худой, высокий такой был, седоватый.) Мы же не можем все время только так жить?» Я говорю: «Давайте. А что мы будем делать?» «Давайте соберем историков и будем говорить о том, о чем каждый хочет. А собираться мы будем в архиве Академии наук, внизу». Знаете? На набережной, там же пустое место было. И вот он, я, мы собрали тех, кто оставался в Ленинграде. Вот вы обязательно поговорите, есть такая (она, по-моему, сейчас замещает директора Института истории) Сербинова Ксения Александровна. Она всю блокаду прожила в Ленинграде. И она вам много может рассказать... Иногда нас было пять человек, иногда семь человек. Это был очень своеобразный семинар. И каждый говорил, делал такие рефераты, доклады о том, о чем хотел. Я, например, занималась двенадцатым годом, я говорила о партизанской тактике Дениса Давыдова, Ираида Федоровна Петровская, наш научный сотрудник (она сейчас работает в Институте театра и музыки), говорила о московском ополчении, псковском ополчении, о петербургском ополчении. Из Эрмитажа (не помню ее фамилии) говорила об устройстве виноградников в пятом веке в Риме.

— Вот это прекрасно!

— Все прекрасно было. Сербинова рассказывала о греческих иконах.

— Лишь бы подальше от голода?

— Да, это же была отдушина! Мы делали доклады часами, причем слушали так, что я не помню, чтобы когда-нибудь потом так слушали.

— А сколько народу сидело?

— Тут уж больше приходило, начиная с десяти человек и кончая тридцатью. Никто не шевелился, никто не вышел, н и к т о! Вот мы каждую пятницу и собирались. Сегодня мы не смогли, не кончили, тогда говорили: продолжим в следующий раз.

— И что, с удовольствием об этом вспоминаете?

— С огромным удовольствием я это вспоминаю! Это была такая большая отдушина, ты там занимался тем, чем бы ты мог заниматься, если бы всего этого не было... Потом еще так было. Пришел как-то ко мне в Военно-исторический архив журналист Викторов и говорит: «Людмила Алексеевна, я хожу собираю сведения, чем занимаются ученые. Не важно, какой специальности. Чем занимаются, какой научной работой? Дом ученых имени Горького ведет работу по сбору таких материалов. Пожалуйста, опросите историков». Оказывается, почти все чем-нибудь занимались. Потом должна была быть издана книга. Это была бы прекрасная книга. По-моему, Орбели возглавлял это дело. Была даже корректура. Но потом наступили сложные годы в Ленинграде, и осталась эта корректура лежать у нас в отделе рукописей. Ее очень легко посмотреть...»

Блокадный быт

Фашисты пытали Ленинград, ленинградцев голодом. Матерей пытали жалостью к умирающим на глазах у них детям и мужьям, а солдат — жалостью к угасающим матерям, женам, детям, надеясь, что дрогнут ленинградцы, откроют ворота города.

Гитлер так объяснял немцам и миру непредвиденную «задержку» с Ленинградом: «Ленинград мы не штурмуем сейчас сознательно. Ленинград выжрет сам себя».

Штурмы тем временем следовали один за другим. Продолжались. В том числе и самый грозный штурм — голодом.

Потребности человека стремительно сужались, концентрировались, заострялись на хлебе, тепле, воде.

«Голод — все!» — восклицает врач-блокадница Г. А. Самоварова. И проверила она это не только на других — на себе самой. «Знаете, какая самая большая радость была? Это когда прибавили до 300 граммов хлеба. Вы знаете? Люди в булочной плакали, обнимались. Это было светлое Христово воскресение, это уже такая большая радость была!»

Но и 300 граммов (без других продуктов) — это все еще «смертельная» норма. А было и 200 и 125 граммов! Без воды, без дров, без света...

Городские условия мешали приспособиться. Паровое отопление не действовало, а печек не было. Печи, плиты — ведь все это было давно в домах ликвидировано. Ведро воды, равно как и полено, становилось проблемой часто сложной, а иногда неразрешимой. А освещение? Коптилка — казалось бы, просто. Но чем ее заправить? Где достать керосин, лампадное масло? Ведь даже дневным светом нельзя было пользоваться, потому что во многих домах, может даже в большинстве домов, от обстрелов, от бомбежки вылетали стекла и окна были забиты фанерой, завешаны одеялами, заткнуты тряпьем, матрацами. Так что в комнатах была постоянная темь (и слово появилось «зафанерил» вместо «застеклил»).

«Боря придумал хорошую коптилочку — чернильница-невыливайка, в нее вставляют стеклянную трубочку-фитилек», — записывает в дневнике Фаина Прусова. Это было изобретением, это было событием.

Даже на улицах темень: в целях светомаскировки ввинтили на домовых знаках синие лампочки.

«Когда погасли и синие лампочки, то приходилось ходить по памяти. Когда светлое небо, то ориентируешься по крышам домов, а когда темное, то хуже. Машины не ходили, натыкаешься на людей, у которых не было на груди значка-светлячка» (из дневника О. П. Соловьевой, работницы прядильно-ниточного комбината имени Кирова).

Темнота действовала угнетающе. К этой морозной темноте трудно было привыкнуть, приспособиться.

«— Итак, вы вернулись из стационара? — спрашиваем мы Ирину Васильевну Куряеву.

— Да, пролежав там некоторое время, вернулась. Няня была еще жива, но она уже погибала от голода. Помню, что мы ее поднимали. В стационаре нам давали какие-то порошки — на вес золота! — и мы считали, что если эти порошки принесем домой, мы можем спасти своих близких. Помню, что усиленно питали няню, которая, конечно, уже сильно была истощена, настолько, что начался у нее голодный понос. Она скончалась на наших глазах. А до этого умерли наш семнадцатилетний двоюродный брат, и тетя, и дядя. В январе — феврале вымирали прямо семьями. Что тут было — страшно! Тетя — в госпитале. Мама моя лежит со страшной водяжкой (по возрасту она была, наверно, моложе, чем я сейчас). Лежит бабушка. Лежит няня. Воды нету. Темно, холодно.

— Электричества уже не было?

— Электричества не было. Поставлена была времянка, такая печурка. Пришел боец и сложил нам такую времяночку. Тут мне приходилось, поскольку я оказалась самая жизнеспособная и самая старшая из детей (сестра моложе меня была), приходилось ходить за водой. Воду мы брали из люка. Каждое утро выходили — это то-

же был подвиг. Ведро нет. Мы приспособили кувшинчик, наверно, литра на три воды. Надо было достать эту воду. До Невы идти далеко. Открыт был люк. Каждый день мы находили новые и новые трупы тех, которые не доходили до воды, потом их заливало водой. Вот такая это горка была: гора и корка льда, а под этой коркой трупы. Это было страшно. Мы по ним ползали, брали воду и носили домой.

— Видны они были сквозь лед?

— Да, видны. Не разберешь, мужчина или женщина, все были завернуты кто в одеяло, кто в платки, кто как. Людей оставалось все меньше и меньше. В нашей квартире жила еще одна семья, там один человек остался. А в доме было в общем очень немного живых людей. Выходили утром, и считалось подвигом вытащить из квартиры на лестницу труп человека. Это, так сказать, хорошо считалось: в квартире не остался покойник, а дружинники на лестнице подберут».

Клавдии Петровне Дубровиной было тогда двадцать с чем-то лет, работала она токарем, и многое в этой блокадной молодости вспоминается сейчас с улыбкой. Для нас вроде ничего веселого, а она почему-то улыбается тому своему нелегкому быту.

«Перед войной я была такая, что у меня простых чулок даже не было,— знаете, как говорится, модница была: все шелковые чулочки на мне, туфельки на каблучках. И вот когда жизнь так стукнула меня, то я сразу перестроилась. Правда, в Ленинграде в течение, может быть, нескольких дней пропало все сразу. В магазинах, например, раньше лежали, вот как сейчас лежат, шоколадные плитки, и в течение нескольких дней — абсолютно ничего! Все сразу раскупили: запасы стали кое-какие делать. Но карточки были быстро введены. И так же было с промтоварами. Я схватилась: что же я так осталась? Я побежала в магазин и успела еще захватить простые хлопчатобумажные, причем черные чулки в резинку. Сколько там было, не помню, кажется, шесть пар, я купила и все шесть пар на себя надела. И вот так эти шесть пар не снимались. Представляете, черные чулки, шесть пар не снимались — это чтобы от холода спастись! Потом — как я ноги обула. Тоже думаю — что же мне делать? Я пропала. А у меня какие-то старые лисьи шкуры валялись. И тоже я где-то схватила, купила с рук (тогда еще продавали за кусочек хлеба) такие вроде бурочки, они были буквально сшиты на машине из байки, тоненькие такие. Но все же туда можно было всадить ногу. Я что сделала? Я эти шкуры намотала себе вместо портянок и всадила ноги в бурки. Но в них же не будешь ходить по улице, это типа домашних, подошва-то тонкая. Где-то в коридоре нашла старые мужские галоши громадного размера (это был, видимо, самый большой размер), с такими острыми носами. Я бурки свои всадила в эти галоши, проколола дырочки, шнурочками, как лапти, перекрестила, завязала — и вот так я спасла ноги. В тепле я ходила все время. Иначе я пропала бы... Теперь в смысле умывания. Конечно, воды не было. Вот когда я еще выходила из дому, шла на завод, у меня единственно что было — кусочек тряпочки в кармане. Я выходила на улицу — снег. Я беру, немного потру руки о снег, это вместо воды, — и все. Ну, лицо, кажется, тряпкой протирала. А так больше никогда ничего, не умывались, воды никакой не было. Ну, воды в столовой, где нас кормили, было немножко».

Иван Андреевич Коротков, художник:

«Какие тут события происходили? Водопровод работал кое-где, и оттуда можно было ведром доставать воду, но получались такие

большие ледяные горы. На Невском, как раз около Гостиного двора, была такая башня. Почему она образовалась? Потому что когда ведра наполняли, то воду проливали, она скатывалась, лед нарастал, нарастал и на метра два-три поднимался от земли. Потом забраться туда было целым событием. Воду я носил. Заберешься (я был в ботинках солдатских), а как обратно? С ведрами? Ну, иногда сядешь на горку и скатишься ничего, а иногда грохнешься. И опять проливаешь. И гора эта растет без конца. Так и на спусках к Неве, кто ходил за водой на Неву».

Галина Иосифовна Петрова:

«Да, возили мы воду из Невы. Это я помню очень хорошо. Это против Медного всадника. Мы туда ездили через Александровский сад. Там прорубь была большая. Мы на коленочки вставляли около проруби и черпали воду ведром. Я с папой всегда ходила, у нас ведро было и большой бидон. И вот пока довезем эту воду, она, конечно, уже в лед превращается. Приносили домой, оттаивали ее. Это вода, конечно, грязная была. Ну, кипятили ее. На еду немножко, а потом на мытье надо было. Приходилось чаще ходить за водой. И было страшно скользко. Спускаться вниз к проруби было очень трудно. Потому что люди очень слабые были: часто наберет воду в ведро, а поднять не может. Друг другу помогали, тащили вверх, а вода опять проливалась. Около Сената и Синода стоял какой-то корабль. Там, бывало, моряки приходили и помогали пожилым. Да было и не понять, пожилой это человек или молодой, настолько были, во-первых, все закутаны, а во-вторых, были же коптилки, и из-за этих коптилок мы были как черти. Мыться не всегда можно было, вода не всегда была».

На топливо, на дрова разбирались деревянные дома для заводов, учреждений, часть дров давали тем, кто выходил на разборку.

Но каждый искал и что поближе и что по силам ему было.

«У нас центральное отопление было в доме сорок, но его не топили. Холодно в комнатах, а на кухне дровяная плита была. Соседка там у нас одна оставалась, так мы с ней ходили. Заборов-то нам не досталось — все спилили (заборы кругом деревянные были). А мы с ней столбики — вот такие от земли — подпиливали. То я лежа попилю ножовкой такой одноручной (что там силы мои были), то она лежа попилит. Так вот принесем, истопим, иногда и сварим там все» (Зоя Ефимовна Васильева).

Еще ребенком была, но помнит и уже не забудет Г а л и н а А л е к с а н д р о в н а М а р ч е н к о (Приморский пр., д. 55, кв. 11), как это безмерно важно — хлеб, вода, дрова:

«— Потом, как я сказала, мы перестали ходить в бомбоубежище, потому что у нас и сил не было. И как тревога, мы просто ложились и закрывались. Мы жили на втором этаже, окна все намертво были забиты; никогда не уходили. Из квартиры все уехали. Квартира была коммунальная. Там четыре комнаты было. Мы перебрались в самую маленькую комнатку — моей тетки. А во всех остальных комнатах мы потихонечку выламывали пол. Полы — уже не помню: паркетные были или простые, крашенные? И мы жгли. Книг у нас было не очень много, и их жалели жечь. Остались у нас: одна кровать, стулья и диван. На диване три каких-то таких подушечки и валики, их тоже

постепенно сожгли, там была стружка. Откуда появилась буржуйка, кто ее принес, когда мы ее купили? Я не помню. Небольшая буржуйка. Мы так мелко-мелко резали хлеб дольками маленькими и на ней сушили, просто прилепляли. Хлеб-то был клейкий такой. Эти сухарики и жевали.

— Хлеб водянистый, а есть его было лучше сухим? Почему?

— Потому что так дольше сохранялся вкус хлеба...»

А бывшая работница ленинградского радио Александра Борисовна Ден, рассказывая, показывала:

«Вот здесь у нас была времянка, и паркет испорчен до сих пор. А здесь паркет испорчен—это мой муж в последнее время колот мебель. Пока не умер на этом вот диване. Вот здесь. Потому что из этого окна падал свет... Сначала полки с кухни пошли, кухонные столы. А потом пошла мебель вообще».

Владимир Рудольфович Ден, сын Александры Борисовны, тоже вступил в беседу:

«Разговоры о еде, по-моему, считались непристойными. Люди хорошо научились, придя к кому-то в дом, вести себя так, как будто они, ну, совсем есть не хотят. Можно было при постороннем человеке есть, хотя это считалось, в общем-то, дурным тоном. Да, но можно было, и люди очень искусно притворялись, что они не хотят...»

Это наблюдал, подметил, запомнил он, тогда еще мальчик.

«— Еще не касались вопроса, на чем готовили,— напомнила Александра Борисовна.

— Книжки я жег собственноручно, причем я их старался как-то отбирать, сначала что похуже,— продолжает Владимир Рудольфович, поглядывая на мать.— Сначала всякую ерунду—то, чего я даже до войны и не видел. За стеллажом оказалось много всякой ерунды—какие-то брошюры, инструкции по техническим вопросам, случайно, видно, попавшие. Потом начал я с наименее интересных для меня—журнал «Вестник Европы», что-то еще было. Потом спалили сначала, по-моему, немецких классиков. Потом уже Шекспира я спалил. Пушкина я спалил. Вот и не помню, чье издание. По-моему, марксовское, синее с золотом. Толстого—знаменитый многотомник, серо-зеленая такая обложка, и медальон в уголке вклеен металлический.

— А я в основном пихала в печку Шиллера, Гёте—немецких классиков,—виновато и тихо дополнила маленькая росточком Александра Борисовна.

— Жгли мебель,—продолжает Владимир Рудольфович.— Был такой гардероб старорежимный, знаете, с двумя ящиками внизу. Топили им двадцать дней. Отец был человек пунктуальный, он решил посмотреть, насколько его хватит? Заметил. Двадцать дней топили шкафом».

Вот так нам рассказывали мать и сын, а их квартира, уцелевшие в квартире вещи, стены, обожженный паркет тоже как бы участвовали в беседе, «вспоминали».

...В комнате, в которой жила Александра Михайловна Арсениева, не было самого главного—печки!

«Нету печки! Я не знаю, где мне купить печку за хлеб? И как хлеб оторвать? Ведь у меня служащая карточка, а на детскую карточку в столовой ничего не дают. Детская карточка пропадала, а в столовой на одну служащую питались с дочкой вдвоем. Я знала, что не сегодня-завтра упаду. Девочка еще ничего была. Правда, она такая молчаливая была, тихо сидела и ждала, когда мы пойдем в столовую...»

Находили иногда где-нибудь на чердаках буржуйки от первых лет революции. Топили тряпьем, старой обувью, паркетом, матрацами, но главным топливом стали деревянные дома. Ими отапливались учреждения, предприятия. Их распределяли организованно, через райисполкомы.

Но было мало найти, купить, выменять, добыть дрова, надо было расколоть их, принести. И это было проблемой.

«Пошла искать каких-нибудь дров в подвал, нашла полено, которое необходимо расколоть на мелкие щепки для буржуйки, но силы не оказалось, я подняла топор, и он тут же опустился на землю. Я расплакалась, говорила: что со мной, я не больна, здорова, а сил у меня нет?» (из дневника Юли и Т.⁵).

Не было сил разломать комод в собственной комнате. А как трудно да и сложно было ломать дома. Учреждения составляли специальные команды, в большинстве это были женщины. Они часто не знали, как подступиться к дому, с чего начать.

Нам передали немало дневников блокадного времени. Некоторые авторы их нам читали вслух — для записи на магнитную ленту. И сами же комментировали. Галина Григорьевна Бабинская, высокая, красивая, хоть и немолодая уже женщина, специалист по краеведению, научный работник, свою квартиру воспринимает, кажется, как своеобразный «музей» пережитого ее семьей в блокаду. Показала осколки стекла, все еще поблескивающие в поврежденном глянце рояля. Лепной потолок — квартира старая, «петербургская» — был тоже порушен, и это также заметно.

В дневнике Галины Григорьевны есть про баню (ей было тогда восемнадцать лет: «Третьего марта открылась Разночинная баня (это баня на Разночинной улице). Пошли мы туда всей семьей...» И другие вспоминают то редчайшее в зимние месяцы 1941/42 года чудо — горячую баню. И про то, каким себя человек вдруг осознавал, когда заново видел свое и другие нагие тела (ведь жили и спали, не раздеваясь месяцами).

Маргарита Федоровна Неверова запомнила во всех подробностях этот день и как им сказали: «Бегите, девчонки, баню на Казачьем затопили, скорей, скорей!» — и весь исполком побежал в баню». М. А. Сюткина, бывший парторг цеха на Кировском заводе, помогала строить при стационаре баню, строили ее по-черному, как деревенскую; и Елена Николаевна Аверьянова-Федорова во всех подробностях помнит, как в марте сорок второго года им дали талончики в Мытнинскую баню, талончиков было мало, и давали их лучшим работникам, «и какое это было счастье — мыться горячей водой».

Вода, дрова, тепло... И конечно же — хлеб. В первую очередь он, к нему и сейчас стягиваются главные нити воспоминаний, с ним свя-

⁵ Ничего, кроме этого инициала, в заголовке принесенных нам записок нет. Фамилию автора установить не удалось.

заны, может быть, самые острые и жестокие переживания. Граммари хлеба измерялись в те дни шансы и надежды человека выжить, дожидаться неизбежной победы.

И какие драмы — видимые и невидимые миру — разыгрывались ежедневно вокруг кусочка хлеба (ведь он был мерой жизни и смерти!), какие сложные, самые высокие и самые низкие чувства клокотали в очередях, где дожидались хлеба, над буржуйками, где его сушили, делили!

Попадались некоторые истории — неясные, вторичные — о том, как отнимали хлеб (подростки или мужчины, наиболее страдавшие от мук голода и наименее, как оказалось, выносливые). Но когда начинаешь спрашивать, уточнять, сколько раз, сами ли видели, оказывается, все-таки не очень частые случаи. Разное, конечно, в огромном городе бывало.

«Один раз я шла на работу утром, на углу Лесного и Нейшлотского переулкa ехал на лошади старикашка с хлебом. Хлеб был покрыт брезентом. Откуда ни возьмись человек пятнадцать мальчишек в форме ФЗУ. Железными крючками повывергивали хлеб и убежали. Остановить их было некому да и невозможно. Бедный старик плачет: меня, мол, расстреляют! Но тут милиционер подскочил и ряд рабочих-очевидцев, составили акт, оказалось, не хватило пятьдесят две буханки. Что было дальше, не знаю, думаю, что старика ни в чем не винули. Это были не воры, эти ребята. Они были голодные, холодные, невымытые и совершенно, совсем еще дети, у многих уже не было родных, а ведь работали они у станков» (из записок-воспоминаний Екатерины Павловны Янишевской; Гражданский проспект, д. 90, кв. 24).

Или разбило снарядом телегу с бочками, повидло разбросало. Хватают, кто во что собирает! Но опять же не это диво, а совсем другое: машину снарядом разнесло, хлеб лежит, собрали и никто себе не взял!

«Начался сильный обстрел... Я кое-как доползла до булочной, на углу у нас на улице Стачек была булочная, сейчас там кафе. Крик там был, шум. Все бросились. Кто лежит на полу, кто спрятался за прилавком. Но никто ничего не тронул! Буханки хлеба были — и никто ничего» (Евгения Семеновна Козловская работала в блокаду заместителем председателя Кировского райисполкома; ул. Стачек, д. 8/2, кв. 11).

Неполной будет картина, если упоминать про одни рассказы и умалчивать о других. Вот и об этих похитителях хлеба, хлебных довесков. О них рассказывают тоже по-разному. С одной стороны, очень врезались в память такие случаи. Еще бы: женщина, ее дети мечтали об этом «завтрашнем» хлебе еще вчера, ночью видели во сне, как едят его, — и вдруг чья-то рука хватает, запикивает в рот!.. Запомнилось, хотя самые лютые обстрелы могли уже выпасть из памяти. И так этого довесочка жалко — все тридцать лет он в памяти! Даже самим рассказчицам неловко. Но еще более жалко им тех подростков, мужчин, потерявших себя. И тогда, в тот миг тоже их жалели, хотя и кричали на них вместе с возмущенной очередью, даже били.

«Со мной вместе жила жена моего брата с ребенком маленьким, четырех годков, и ее мать-старушка, потом еще карточки ее сестры дали мне и просили, чтобы я пошла получить хлеб. Вот я пошла в бу-

лочную. Я получила хлеб на всю семью. Ну, дали мне такую маленькую буханочку и небольшой довесочек. Не знаю, сколько в этом довеске было, граммов пятьдесят, что ли. И вот только я беру у продавца этот хлеб, и вдруг какой-то парнишка, голодный, истощенный парнишка лет шестнадцать — семнадцать, как выхватит у меня эту буханку хлеба! Ну и стал скорей кусать от голода — ест, ест, ест ее! Я закричала: «Ой! Что же мне делать, я ведь на всю большую семью получила хлеб, с чем же я приду домой?!» Тут женщины сразу же закрыли дверь булочной, чтобы он не убежал, и начали его бить! Что ты, мол, сделал, ты оставил семью без хлеба! А он скорее глотает, глотает. Остатки буханки отобрали от него, и у меня еще этот довесок остался. Я стою и думаю: с чем же я домой-то приду? И в то же время и его так жаль; думаю, ведь это голод заставил его сделать, иначе он так не сделал бы. И так мне его жалко стало. Я говорю: «Ладно уж, перестаньте его бить». Этот случай мне запомнился, думала: надо же, чтобы голод человека на такой поступок толкнул! Ведь из-за голода он выхватил хлеб!» (Ю л и я Т и м о ф е е в н а П о п о в а).

Со слезами смущения, вины, удивления перед тем, что голод с нею сделал, вспоминает Таисия Васильевна Мещанкина (ул. Софьи Ковалевской, д. 9, кв. 97) про такой случай. Подошла она к магазину и там как раз похожая сцена: выхватил парень хлеб, упал и ест, глотает, глотает лежа... Карающий гнев, обида в ней заговорила, она тоже стала его бить, толкать, чтобы спасти чей-то хлеб. Вдруг рука ее нащупала на земле кусок... Но лучше послушать ее, ее рассказ, начиная с тех трех дней в декабре, когда в магазинах совсем хлеба не давали. Не было. Хлебозаводы стали.

«— В эти три дня тяжелые я одну ночь почувствовала — умираю. У меня длинная слюна бесконечная была. Рядом лежала девочка, моя дочка. Я чувствую, что в эту ночь я должна умереть. Но поскольку я верующая (я это скрывать не буду), я стала на колени в темноте ночью и говорю: «Господи! Пошли мне, чтобы я до утра дождала, чтобы ребенок меня не увидел мертвую. Потом ее возьмут в детское учреждение, а вот чтобы она меня мертвой не увидела». Я пошла на кухню. Это было в чужой квартире (мы там жили, мой дом по улице Комсомола, пятьдесят четыре был разбомблен). Пошла на кухню и — откуда силы взялись — отодвинула столы. И за столом нахожу (вот перед богом говорю) бумагу из-под масла сливочного, валяется там еще три горошины и шелуха от картошки. Я с такой жадностью это поднимаю: это оставляю, я завтра суп сварю. А бумагу себе запикиваю в рот. И мне кажется, что из-за этой бумаги я дождала.

— Только бумага от масла? Масла не было?

— Да, бумага. Из-за этой бумаги я дождала до шести часов утра. В шесть часов утра мы побежали все за хлебом. Прихожу я в булочную и смотрю — там дерутся. Боже мой! Что же это дерутся? Говорят: бьют парня, который у кого-то отнял хлеб. Я, знаете, тоже начинаю его толкать — как же так ты, мы три дня хлеба не получали! И вы представляете себе, не знаю как, и вонный хлеб попадает мне в руку, я кладу в рот — чудеса — и продолжаю того парня тискать. А потом говорю себе: «Господи! Что же я делаю? Хлеб-то уже у меня во рту?!» Я отошла и ушла из булочной.

— И не получили хлеба?

— Я потом пришла за хлебом. Мне стало стыдно, я опомнилась. Пришла домой и простить себе не могу. Потом пошла и получила

хлеб. Я получала двести двадцать пять граммов, я была рабочая, и девочка сто двадцать пять».

Но настоящая трагедия была потеря карточек. Особенно если в начале месяца и особенно если карточек лишалась вся семья. Потерявший их мог считать себя убийцей своей семьи. «Я крикнула так, что остановился трамвай», — вспоминает Анна Викторовна Кузьмина. Рука вернулась к карману, а там — ни кармана, ни карточек... Крик был такой, что остановился трамвай, подошла какая-то женщина, сказала ехать с нею. Она-то, незнакомая женщина из столовой, и подкормила четырнадцатилетнюю Аню, ее сестренку и мать несколько критических дней какими-то остатками щей, какими-то крохами.

В воспоминаниях Екатерины Павловны Янишевской есть сцена, кажется вобравшая в себя всю трагедию утерянных карточек и особую нравственность первой блокадной зимы.

«Видела на проспекте Энгельса такое: везет старик полные дровни трупов, слегка покрытых рогожей. А сзади старушонка еле идет: «Подожди, милый, посади». Остановился: «Ну что, старая, ты не видишь, какую кладь везу?» «Вижу, вижу, вот мне и по пути. Вчера я потеряла карточку, все равно помирать, так чтоб мой-то не мыкался со мной, довези меня до кладбища, посижу на пеньке, замерзну, а там и зароят»... Был у меня в кармане кусочек хлеба граммов сто пятьдесят, я ей отдала...»

Конечно же, сужался круг интересов, потребностей человеческих. Но те потребности, что оставались, приобретали значение, силу, каких не имели в другое время. В числе оставшихся и усилившихся не только потребность в пище да в тепле буржуйки. Но и в тепле участия. Никогда так не нуждался ленинградец в помощи, поддержке, и никогда его поддержка так не нужна была кому-то другому, как в дни, месяцы, годы блокады. «У каждого был свой спаситель», — убежденно сказала нам ленинградка. Каждый в нем нуждался и сам был необходим, как хлеб, вода, тепло, другому.

И не только помощь физическая.

Пища духовная, когда так мало было просто хлеба, означала очень и очень много!

«Я думаю, что никогда больше не будут люди слушать стихи так, как слушали стихи ленинградских поэтов в ту зиму голодные, опухшие, еле живые ленинградцы, — пишет Ольга Берггольц в предисловии к сборнику «Говорит Ленинград». — Мы знаем это потому, что они находили в себе силы писать об этом в радиокомитет, даже приходиться сюда за тем или иным запомнившимся им стихотворением; это были самые разные люди — студенты, домохозяйки, военные».

Казалось, хлеб, прежде всего хлеб, ну еще вода и тепло! И все говорили и думали, что все желания сосредоточились только на этом, на самом насущном. Ничего другого. Так ведь нет. В иссушенном организме душа, страдающая и униженная голодом, тоже искала себе пищи. Жизнь духа продолжалась. Человек порой сам себе удивлялся, своей восприимчивости к слову, музыке, театру. Стихи стали нужны. Стихи, которые помогали верить, что не бесполезны и не тщетны его муки беспредельные. И еще многое нужно, просто необходимо было ленинградцу. Живой голос брата по судьбе — осажденного Севастополя. И уверенность, что Москва устоит и отбросит танки Гудериана. И обязательно — больше, чем даже хлеб, вода, тепло! — необходима была надежда, свет победы в конце ледяного тоннеля...

По этому тоннелю люди и двигались, зажав в себе все, что могло казаться лишним, не главным.

Но стоило человеку получить чуть больше тепла, света, как чувства его с невероятной остротой начинали воспринимать простые радости: солнце, небо, краски. Ничего не было вкуснее лепешек из картофельной шелухи. Никогда так ярко не светила электрическая лампочка. Человек научился ценить самое простое и самое главное.

Александра Михайловна Амосова, сотрудник Эрмитажа, рассказывала, как весной 1942 года блокадники снова — но как бы впервые в жизни! — вырвались к зелени, к земле кормящей...

«Набрали мешки лебеды, конского щавеля (считался деликатесом этот дикий щавель), набрали всякой травы. И вот у меня было такое чувство, что хотелось лечь на землю и целовать ее за то, что только земля может спасти человека. Даже вот если бы в тяжелые времена, зимой, была бы эта трава, то, может быть, такой гибели, такого количества мертвых, смертности такой не было бы. Свет. Солнце. Где-то в небесах жаворонок поет. А здесь мы просто этой травы наелись досыта. Конечно, это не пища. Но помню это чувство очень хорошо: хотелось лечь, распластаться и целовать землю! Понимаете?! Землю, которая дает нам все — и хлеб, и все абсолютно, чем может существовать человек».

Малейшего облегчения было достаточно, лишней пайки хлеба, тарелки крапивных щей, чтобы очнулась стиснутая до предела, замерзшая душа. И тогда с небывалым прежде восторгом, благоговением ценились простые радости: сухой чистый асфальт, оконная рама с целым стеклом, нагретая солнцем стена. Чудом была и кровать с чистыми простынями, и цветок, который можно было не рвать, не жевать, не готовить из него салат, а оставить просто цветком, который вырос на газоне.

На работе

Что же можно было противопоставить такому голоду? Довольно скоро многие почувствовали спасительную силу товарищества, старались соединиться, быть вместе. Происходило это и организовано, под руководством партийных комитетов. Происходило и инстинктивно, стихийно, соединялись через работу, переходили на так называемое казарменное положение. Приспосабливали в рабочих помещениях комнаты, ставили кровати, налаживали отопление, быт. Скучивались, собирались по цехам, по отделам, жались друг к другу, ища тепла, помощи. Да и работать так было легче, не ходить из дома и домой пешком в непогоду. Первыми, естественно, переходили на казарменное одинокие и те, у кого семьи были эвакуированы. Хуже приходилось, когда семья жила в городе и нельзя было оставить мать, жену, детей одних.

Многие на казарменном прожили всю блокаду, почти не выходя «в город». Все силы забирала работа, дежурства, восстановление разрушенных цехов. Мир съеживался, как сжимается человек на морозе, втягивает голову в плечи, уходит в себя. Так уходили в спасительное лоно своего предприятия, старались быть среди людей. На миру и смерть красна, миру со смертью тягаться легче.

Но и в городе тоже происходила как бы концентрация. Внутри квартир все сселялись в одну комнату: чем теснее, тем теплее. Согревали друг друга своим дыханием. Переезжали к друзьям, близким. По две, по три семьи собирались вместе из разных районов города. Ожи-

вали родственные связи. Сообща легче было управиться, стоять в очередях за хлебом, носить воду, смотреть за детьми.

Казарменное положение было в той обстановке, может, самой действенной помощью людям. Организованность, воля, ум коллектива изыскивали, казалось бы, совершенно невероятные возможности.

Работники типографии, которая печатала карточки для города, рассказывали: когда на эти карточки стали давать все меньше (с 20 ноября работающим — 250 граммов хлеба, служащим, иждивенцам, детям — 125 граммов хлеба, черного, липкого, как замазка, водянистого, с примесью целлюлозы и опилок, и ничего кроме этого), начали искать, оглядывать, как бы проверять заново все, что было под рукой, в смысле съедобности, пытаться окружающее воспаленными глазами года.

«— Матрицы были. Там папиросная бумага и какое-то количество мучного клея, чтобы смазывать. Матрицы отработанные — свинца, красок нет, только бумага. Так мы мололи их, делали кашу и говорили, что каша ничего. Или столярный клей — это же студень.

— Получается, что у вас было профессиональное блюдо, из матриц?

— Да. Мы эту кашу ели, и ничего! Доля муки там была очень незначительная, в основном была бумага, клей и ряд других компонентов» (Евгений Александрович Тренке; наб. Мартынова, д. 12, кв. 2).

Питание хоть какое-то на производстве организовать было легче.

«Питались мы в столовой,— рассказывает Клавдия Петровна Дубровина и тут же переспрашивает: — Если вам, конечно, интересно? Питались по карточкам...»

Она работала в зиму сорок первого — сорок второго года токарем на заводе. В рассказах ее драгоценные подробности, но она то и дело стеснительно обрывает себя:

— Я кратко... Может, лишнее что, может, короче надо?

«Нам выдали талончики. На них дадут немножко жидкой-жидкой каши, а мы еще подходим и разбавляем кипятком, чтобы ее было побольше, вроде впечатление, что больше поел. Там кипяток стоял в столовой, и мы еще разбавляем. Потом у нас без карточек так называемый дрожжевой суп давали. Ну, в то время что только шло в рот, как говорится, то и ели. Вот потом мужчины, которые у нас остались по возрасту или по броне, потому что было что делать, знаете, вот даже в столовой сидит за столом и, видишь, упал и умер. Такой тихой смертью умирали, так спокойно... На заводе было страшно, конечно. Ну и что? Голодные у станков работали, всюду были выбиты окна, руки примерзали к металлу. Я работала в перчатках, потому что все примерзало. Помогали мне, даже к мастеру не обращалась. Там инженер-технолог один, такой Вася Кириченко, перешел на станок, так он часто подходил ко мне. Придет: «Ну что, не умеешь? Так я помогу тебе». (А его не призывали, потому что он моряк, а моряков не призывали, держали до весны.) И вот он мне все показывал, и я таким образом научилась и работала.

Потом уже мы и так не работали. Придем к началу — нет электроэнергии. Мастер говорит: «Сидите ждите». Сначала сидим по несколько часов, ждем — нет электроэнергии. Потом уже это стало в дни прерываться, уже днями ее не стало. Нам говорят: «Приходите только

дня через три». Мы стали меньше ходить на работу. Вот так примерно мы и работали, с промежутками все работали. Я кратко?»

Мария Андреевна Сюткина, заканчивая свой рассказ, вдруг вспомнила, что у нее есть меню сорок второго года столовой одного из цехов, и прочитала нам названия блюд, которые заменили мясные, рыбные, мучные. Но и это уже весна — лето 1942-го, когда с питанием стало немного лучше:

«Щи из подорожника
 Пюре из крапивы и щавеля
 Котлеты из свекольной ботвы
 Биточки из лебеды
 Шницель из капустного листа
 Печень из жмыха
 Торт из дуранды
 Соус из рыбнокостной муки
 Оладьи из казеина
 Суп из дрожжей
 Соевое молоко (по талонам)».

Чего только не варили, чего не ели, чего не изыскивали! Воистину, как говаривали немцы в старину: «Лучший повар — голод!»

— Деда! А танковый жир? — напомнила вдруг присутствовавшая при нашем разговоре внучка Занькова, и Петр Трофимович сам не без удивления вспомнил, видимо, один из семейных рассказов:

«Во! Танковый жир ел. Боже мой! А знаете как? Одна моя знакомая работала. А до войны я в том цехе работал. Секретарем там был один созов, освобожденным. Да. И вот она говорит: «Знаешь что, Трофимыч? У меня бочка целая жиру — танки что смазывают. Приходи!» И я взял. Какая прекрасная штука! Как мы его ели-то! И домой принес. Понимаете?..»

Главным в казарменном положении, в этой коллективной жизни была взаимовыручка, взаимодействие, которое поддерживало дух.

Часть судостроительного завода имени Жданова была эвакуирована на Выборгскую сторону, там начали делать мины, работали до декабря, пока была электроэнергия. А потом могли разойтись по домам, но многие продолжали оставаться на заводе, жили там.

Чем голоднее становилось, тем труднее было работать, но тем нужнее была работа и для фронта и для города, да и для самого ленинградца. Работа помогала держаться. И за работу держались. В этом вымороженном, безлюдном, обессиленном до предела городе продолжалась деятельность большинства учреждений. Почтальоны разносили письма, типографии печатали карточки, газеты, листовки, работали райисполкомы, детские сады, поликлиники, теплилась жизнь в архивах, в Публичной библиотеке, в симфоническом оркестре. Работа заглушала непрестанные, доводящие до безумия мысли о еде. Через работу люди приобщались к жизни страны, от которой они были отрезаны.

Г. А. Князев и его сотрудники продолжали писать «Историю Академии наук СССР». Эта работа в первую очередь нужна была им самим. Они исполняли свой долг, они, архивисты, историки, делали что могли, что умели.

Большинство же занималось куда более насущными делами — для того чтобы поддерживать жизнь города, а главное, для того чтобы обеспечивать Ленинградский фронт, и, кстати говоря, не только Ленинградский. Делали оружие, мины, снаряды.

Мария Андреевна Сюткина вспоминает, как на Кировском заводе жили в комнатах технологического бюро, как топили деревянными пашками, которыми выстланы были полы в цехах.

«Ну, значит, когда началась у нас весна, мы решили — так как каждый день сбрасывали на нас листовки: мол, все равно вы погибнете, помрете от голода, от холода, — мы решили, что должны народ как-то морально поднять. Вы понимаете, если каждый день такое! Надо как-то дух у людей поднять. Вот решили мы восстановить меднолитейный цех. Часть женщин у нас были стерженщицами. Нам дали задание — пятидесятидвухмиллиметровую мину делать. Делали по силам, чтобы можно было трамбовкой в ящиках-то трамбовать. Основной медный участок пустить нельзя — у нас не было металла. А для вагранки у нас был металл. Мы решили пустить вагранку. Но как пустить вагранку? У нас остался только один вагранщик из семи. Вагранщики были здоровые такие мужчины, высокие, и от голода они погибли. Остался один Чагинский. Он знал хорошо вагранку. Но что делать? У него зубы выпадали — цинга! Многие заболели тогда цингой, к весне-то. Решили обучать женщин на вагранщиков. И вот этому Чагинскому мы пеленали ноги (!), чтобы его на ноги поставить и вести к вагранке (от стационара метрах в пятидесяти этот цех был). И туда его под руки водили. Он давал инструкцию, как пустить вагранку. Вагранку мы пустили. Женщины стали работать на вагранке. Участок этот у нас заработал. Как только заработал участок, вы представьте, народ ровно воскрес, у него какая-то живость появилась, даже улыбка появилась. Стал он верить, что все-таки мы победим».

Сложнейшие обязанности были у работников партийных комитетов — городского, районных, райисполкомов. Надо было распределить между предприятиями крохи электроэнергии, вывозить продукцию, размещать заказы. Дела вроде бы само собой разумеющиеся кто-то должен же был делать. Кто-то должен был определять на слом деревянные дома. Кто-то должен был расселять людей из разбомбленных квартир. Кто-то должен был, наконец, организовать захоронения, свозить трупы, собирать их по городу. Сил становилось все меньше, а обязанностей у городских организаций прибывало. Но об этом лучше, пожалуй, будет рассказать в отдельной главе.

Внутри самой работы все изменилось. Блокада и голод сделали особенным все, начиная от движения транспорта вплоть до, казалось бы, незыблемой технологии станочников.

Работа связалась с бытом, с семьей, связалась как никогда прежде. Рассказы о работе необычны даже среди всего этого невероятного быта. Сместились понятия возможного. В обыденной привычной обстановке цехов появились вещи, казалось бы немислимые для производства. Темень. Женщины, не знающие самых простых приемов работы. Мальчики и девочки, совсем дети. Все слабые, неумелые...

Федор Устинович Козодой (ул. Тракторная, д. 13, кв. 11), начальник цеха, а потом партработник, секретарь райкома, например, сейчас, спустя три с лишним десятилетия, начисто не может понять, каким образом они сумели без лифта, без крана втащить на четвертый этаж тяжелые станки, когда налаживали производство мин на Выборгской стороне.

Все рассказы о работе поразительны.

«— В каком же году это? Это в сорок первом году, значит, — старается припомнить Вера Антоновна Гаврилова (ул. Ка-

симова, д. 14, кв. 22).— Завод пластмасс эвакуировался в Боровичи. Оборудование у нас было очень неплохое, очень дружный коллектив, как я вспоминаю. На заводе остались почти пустые цеха. Станки самые лучшие увезли. Все цеха уже стояли — пластмассового сырья не было. И вот мы начали осваивать гранаты Ф-1 и РГД. У нас шло это хорошо. Работала половина женщин, половина мужчин. Ночная смена в двенадцать часов, диспетчера нету, смотрю, там два станка стоят — людей нету. Иду искать. А мы перед этим приняли на завод по разверстке из детского дома ребят — ремесленников. Иду к ним в общежитие (общежитие рядом было). Смотрю: Петька живой лежит спит, а сверху-то него мертвый...

— Постойте! Я не понял. Где они лежат?

— Да в общежитии! Ну, ребята истощенные, голодные, подкормить-то ведь нечем — кроме карточек, ничего не было. Это позднее догадаться есть казеин. Ну, прихожу: «Господи, Петька! Ты чего?» «Да я проспал!» — «А Витька что?» — «А Витька ну чего — он уже мертвый!» И вот мальчишка пришел и начал работать. Не спрашивайте, как он стоял! Но все равно дырочки и все что надо в гранатах лучше вот этих мальчишек никто, конечно, не делал.

Работали по-всякому. Электроэнергии не было, не давали, если и включали на несколько часов, то в первую очередь тем производством, которые делали оружие. А работать надо было и остальным. И тогда где можно работали вручную. На фабрике имени Бебеля было так, что крутили машины руками. Шили гранатные сумки, ремонтировали полушубки, чинили ремни.

«Летом будет легче, там свет будет, а зимой самое трудное время. В цеху холодно, не топят. Цех большой, окна с двух сторон. На улице мороз 30°. Руки, ноги отмерзают. Машины вертим руками, машины замерзшие».

Это из дневника Елены Николаевны Аверьяновой-Федоровой. Она читала нам свои записи, поясняла их. Читала, поясняла и плакала.

«26.I.1942 г. Сегодня так перемерзла на работе, несмотря на то, что тепло одета! Но когда в желудке пусто, то хоть что надевай — тепло не будет...

27.I.1942 г. Нигде не было хлеба. Очереди стояли с пяти утра. Открыли булочные — и пустые. Приходилось ждать, пока выпекут да подвезут. Шура стояла с семи утра и только в семь вечера получила хлеб. Двенадцать часов простоять на воздухе! А мы этот хлеб моментально съели. Ведь за целый день ничего во рту не было: конечно, если принесли хлеб, то не удержаться. Вот раньше могли его делить на какое-то время, а тут не до этого было.

Сегодня я работала один час, потом отпустили домой, чтобы достать хлеб.

Второй день иду на работу и ничего не ела. Как работать в таком холоде и что делать? Так и пошла.

Но хуже всего то, что сегодня только надежда на хлеб. Ведь продуктов опять ничего не дают. Дали крупки по 50 граммов, и опять ничего. А тут уже хуже быть не может! Хлеб — это же жизнь. Одним словом, держаться! Как трудно пережить эти тяжелые дни!

28.I.1942 г. Сегодня с работы не отпустили, несмотря ни на какие угрозы и просьбы отпустить домой. Но что толку? Все равно работать никто не может. Машины все замерзли. Мы все как кочерыжки. И не мудрено замерзнуть, если в цеху кипяток сразу превращается в лед.

Стены все покрылись снегом, а стекла все покрылись толстым слоем льда. Да разве можно работать в таком цеху, где мороз минус 25, если на улице 30,— только что нет ветра!

Кончили работу в 3 часа. Пошли домой. Опять плохо, опять ничего нет. Я пошла искать, где дают хлеб на 29-е. Ведь гибель без хлеба».

Вернемся к семье Васильевых. Рассказ Зои Ефимовны мы приводили раньше, теперь обратимся к тому, что поведал нам ее муж Никандр Иванович, мастер Металлического завода. Если можно было бы не прерывать повествование, не возвращаться назад, не располагать рассказы один за другим, а как-то показать одновременно, что происходило с детьми Васильевых, и с людьми на его заводе, и дома с женой, а потом с ней в больнице, и сравнить, как в это же самое время работали и жили другие семьи, как работала почтальон Наталья Сидоровна Петрушина и трамвайщица Анна Алексеевна Петрова, и как работали в своих разбитых цехах кировцы, краснозаревцы...

В разных частях огромного города боролись, страдали, одолевали эти страдания и не одолевали их, и всё в одни и те же дни, и все это сливалось в единую картину и не сливалось, потому что каждая судьба имела свою особую историю, неповторимые подробности, и память сохраняла их тоже по-разному.

Хотелось передать эту множественность жизни, не возвращаясь всякий раз назад. Хотя бы так: «А в это время». Или: «А в этот же час»... Но все равно приходится возвращаться. Возвращаться же значит повторяться. И нам немало приходится повторяться. Речь идет о том же — и все же о другом. Потому что каждый рассказ таит в себе новый, хотя бы небольшой поворот жизни. Потому что бесчисленные эти повторы в рассказах людей не были повторами. Они открывали новые и новые обстоятельства, казалось бы, достаточно известного. Они подтверждали и вели вглубь, придавали тем же событиям всеобщность, закономерность, объемность.

Вот рассказ Никандра Ивановича Васильева:

«— Мне сейчас шестьдесят один год, значит, в войну мне было двадцать шесть. В армии я не служил, потому что меня сразу взяли на броню. Когда война началась, я был старшим мастером: у меня было около восьмидесяти человек ребят и мужиков. И конечно, сразу же все — я сам призывал идти защищать родину,— все ребята, конечно, пошли в армию. А меня сразу за рукав: «Ты что? (Я был, конечно, комсомолец.) Не только на фронте воевать надо. Надо здесь воевать, цех надо готовить, вооружение делать». Короче говоря, получилось, что от меня ушли лучшие люди, квалифицированные, а мне дали, конечно, женщин.

— А ремесленников?

— Ремесленников тогда мало было. Были, но они были настолько слабые от голодухи... Два-три человека их у меня было. А в основном, конечно, женщины. Женщин забирали из столовых, отовсюду... Вы понимаете, что такое мастер? На заводе, в цеху? Ему нужно выполнять задание и работать с людьми. А люди, понимаете, голодные, холодные. Я вот не забуду, мы выполняли такой заказ. Уже «катюша» пошла, а нам дали задание: мы снаряды точили, женщины на операциях. Как сейчас помню, тридцать семь операций (меня даже наградили орденом Красной Звезды) и на всех — женщины. Вначале даже плакали, а потом освоили. Холодина — минус двадцать два — двадцать пять градусов в цеху. А нам дали такие трубы длинные, с «Большевика» привезли. Диаметр миллиметров сто восемьдесят —

двести, стенка толщиной миллиметров двадцать. Сталь такая вязкая (специально для вооружения). Трубы метров восемь длиной, а нужно нарезать заготовки по восемьсот миллиметров. И резать на строгальных станках, на больших. А делается это очень долго, потому что нужно поливать, а вода замерзает на ходу. Стружка не вылетает. Резец ломается. А резцы в то время где ты возьмешь? Кузница там была тогда — три-четыре молотка. Я потом, значит, мужиков своих взял, которые были более или менее ничего, и сами резцы ковали. К чему я это говорю? А к тому, что этот холод, мороз нам с трубами помог. И на «Большевике» тоже мучались с этой резкой, самая тяжелая была операция. (Я сам токарем в прошлом был, до ма́стерства. Я стал мастером в тридцать восьмом году.) Мы стали делать так. Начинаешь надрезать, примерно миллиметров десять надрежешь, потом тюк по кольцу — все, готово, труба обламывается. Потому что она хрупкая на морозе. Короче говоря, мы удивили всех.

— И ровно?

— Ровно, как ножом. Короче говоря, все это шло до тех пор, пока основные люди у меня не умерли. Вот помню такой случай. У меня до войны был один шлифовщик, единственный! Это такой мужик был! Ну, добротный наш русский мужик. Выпивал, закладывал, конечно. Ну, это не важно. Вы поймите, как он работал!.. И его настолько хвалили на заводе! Ну, везде плакаты, ну, герой, понимаете? Я его подерживал по-всякому. У меня были моряки, но и они голодали. Кое-что нам давали, а мы все ему совали. И вот этот мужик приходит ко мне и говорит: «Знаешь, Васильич (он так меня звал), я умру сейчас». Я говорю: «Да ты что! Ты один шлифовщик, ты что?!» «Умру!» И он ушел из кабинета. Что вы думаете? Приходит ко мне женщина минут через двадцать и говорит: «Умер!» Жил он где-то на Васильевском острове, ходить было далеко. У нас конторка была у механика, у ее утеплил, но, конечно, там особого тепла не было. Он там спал. Семья? У него жена умерла, двоих парней в армию взяли, вот он один остался. Этот человек точно знал, что он через несколько минут умрёт. И он до самой смерти тянул, понимаете?»

То ли это особенность гибели от дистрофии, от голода, то ли обострившееся чувство смерти, которой так много было кругом, но известно было в то время, что многие точно ощущали момент ее приближения. Как будто слышали ее подход, видели ее.

«— К чему я это говорю? Люди в таких тяжелых условиях работали и действительно безотказно. До войны были указания: за двадцать минут опоздания — увольнение, потом судить. Чуть ли не каждый обеденный перерыв собирали людей: такой-то прогулял! А вот в тяжелое время блокады не было случая, чтобы человек, который еще может двигаться, чтобы он не работал. Не было таких.

— Так что, тогда не нужно было приказов?

— Никаких приказов! И я не забуду никогда. Я вижу, что народ валится от голода, а больше от холода. Я решил буржуйку сделать. Был у нас такой красный уголок, и в нем я сделал вместе с работягами буржуйку. И решили: полчаса работать — десять минут обогрев. И я потом пришел к такому заключению, что они у меня за эти полчаса дают больше, чем за два часа... Назначили нового директора. Он в шинели начал ходить. Я и не знал, что он директор. Он до этого раз был у меня. Ничего не сказал. А потом приходит и говорит: «Где твои люди?» Я говорю: «Греются». «Фронт требует оружия, задания надо выполнять, а тут у тебя люди сидят!» Я говорю: «Не сидят, а обогреваются. Они больше потом сделают». В общем, короче говоря, взыскание

на меня наложил. Пришел курьер, принес мне выговор. А через две недели, когда он лучше познакомился, пришел извинился передо мной и издал приказ: везде буржуйки сделать! Вот так... В силу того что моя семья жила рядом, я, понимаете ли, в неделю раза два-три дома бывал. Тут быстро пробежать, минут пять. У меня две дочки были и жена. Мы жили тут, в доме сорок. И одна дочка умерла. Я ее сам схоронил. Потом жена свалилась. Ее положили не в стационар, а в госпиталь. Вот у меня одна дочка умерла, а вторая одна дома. А ей три, четвертый годик. Так я что? Натоплю плиту (мы не в комнате жили, а на кухне). Я дочку на плиту, тряпками накрою, а сам на завод. Потом прихожу. Бурдой накормлю, чтобы она не умерла. Так и бегал. Прибегу, накормлю ее, переодену, понимаете? И убежал. А она опять одна! Я думал, что она озверевает. Я другой раз прихожу, открываю дверь, а она стоит — маленькая девочка одна в квартире. Ведь все там умерли.

— А какая часть работников умерла?

— Бóльшая. Хорошие, квалифицированные люди были. Ну, что же сделаешь?! Если взять, допустим, ноябрь — декабрь сорок первого года, меньше чем половина, нет — одна треть осталась. Если взять сорок второй год, так я прямо вам могу сказать: в целом по заводу примерно тысячи полторы-две осталось из восьми.

— И на фронт ушли многие?

— Да, на фронт многие ушли, очень многие».

На место ушедших на фронт становились подростки и женщины. Так было на всех предприятиях. Город, который остановил у своих стен фашистские армии и устоял перед штурмом, продолжал снабжать своих защитников оружием. Даже на Большую землю попадала его продукция в самые трудные для Москвы месяцы. Сейчас кажется непонятным, как могли ослабевшие от голода детские руки поднимать, закреплять в станки тяжелые заготовки.

«Привязывались к станкам... Чтобы в станок не упасть. Не просто боялись упасть, а в станок чтобы не упасть, не искалечиться, — вспоминает Михаил Петрович Плевин, который пятнадцатилетним мальчиком работал на заводе имени Кулакова. — Нас, мальчишек, использовали на подсобных работах. Берегли металл, и доверить его порой нам, бывшим ученикам-ремесленникам, было не всегда возможно. В те дни брак исключался. И конечно, когда на время кое-кого из нас и ставили за станок, главной нашей заповедью становилось — не спешить!».

Нечего скрывать и того, что на завод такой мальчишка тянулся из последних сил еще и потому, что там можно было в заводской столовой на один крупяной талончик в 12,5 грамма получить сразу три тарелки горячего дрожжевого супа и бутылку соевого молока. Это молоко только-только начало появляться. Его изобрели тут, в блокадном городе.

Была у нас встреча с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко. Ее военная (да и послевоенная) судьба связана была со знаменитой «Дорогой жизни» через Ладогу (об этом будет ниже). Но было в ее рассказе и такое вот отступление:

«— Я никогда не забуду, что видела на Кировском заводе. Я случайно попала туда. Как раз мы оттуда возили дрова. Там много деревянных домов было. Это для госпиталей везли. И случайно я туда забежала. Смотрю — подростки, мальчишки по двенадцать — тринад-

цать лет, девочки по четырнадцать лет стоят у станков и работают. Они заменили своих отцов или своих старших братьев. Этим подросткам подставляли скамейки или ящики, для того чтобы они могли работать. Рассказывали, что одна девочка, работая на станке, еще играла в куклы. Это неправда! Это она брала куклу, идя на работу. Она должна была брать с собой какую-то, знаете, дорогую вещь, то есть для нее дорогую. Она куклу брала с собой, потому что считала ее такой ценной вещью.

— Это оттого, что дом могут разбомбить?

— Да. Она не играла, а это просто ее личная вещь. О какой игре в куклы можно говорить, когда она недоедала, недопивала, когда знала, что нужно деталь сделать. Она куклу брала, чтобы сохранить; дом может разрушиться, а эта ее дорогая вещь сохранится.

— А сколько этим девочкам было лет?

— По тринадцать — четырнадцать... Другой раз бежишь куда-нибудь, смотришь: стоит подросток. Говоришь: «Что ты стоишь? Давай выходи, уже всё, обстрел кончился». Подойдешь к нему, а он мертвый! Он, конечно, от голода умирал. И вот стоя, прислонясь к стене, умирал!»

Рассказывает Петр Трофимович Заньков, бывший мастер Кировского завода:

«— Я двадцать пять дней пролежал в больнице, в стационаре... Потом поправился. Пришел в цех. Начальником был Иван Иванович Плотников. Он сейчас жив-здоров. Плотников и говорит мне: «Заньков, расчищай у цеха снег. Надо начинать работать». А с кем работать? Вот у меня один был слесарь Маникин, а остальные все женщины. И девочки были по шестнадцать — семнадцать лет, слабые были, разный народ. Никто ничего не умеет. Сам я и мастер, и настройщик, и рабочий, что угодно! Сверло заточу, резец заточу, резец установлю, пуцу станок. А Нарышкина была у меня, так она посмотрит на меня и плачет — почему-то она меня боялась, сам не знаю почему, и станка боялась и меня.

— Это девочка была?

— Женщина! Пожилая. У нее муж старый большевик, еще с дореволюции. На Жданове работал. Ну, я стал набирать народ. Стал этих людей обучать. Интересно — сварка. Сам я никогда сварщиком не был. А нужно опоки делать. Это по нынешним временам преступление, но я делал опоки алюминиевые, чтобы женщинам большим поднимать, выколачивать мины было легче. Вот делал алюминиевые опоки, и туда три мины ставили. И одна сторона все как-то приваривалась. Жалко же — одна мина не выходит, она приваривается, брак получается. Вот думал-думал, что сделать. Придумал: пятимиллиметровую шайбу сделал отсюда, а тут контргайку внутри затягивал... Получилось у меня. Начальник говорит: «Ну и молодец же ты!» Стало выходить три мины — во!!! Ну и делал я эти алюминиевые опоки. И втулочки заливали там, и всё с этими бабками. Ну, все сами обрабатывали. На карусельном станке обрабатывали. Нашел карусельный станок заброшенный. Установил. Думаю, по-хозяйски это будет, хорошо будет. Мины-то нужны. И ДОТ сделал — там прятались, когда сильный обстрел.

Однажды такой обстрел был! А у меня была украинка Кормилицина. У нее муж на Кировском работал. Ушел на фронт и погиб. Ну вот, обстрел, а я там около строгального ковыряюсь. Я говорю Кормилициной: «Сходи-ка послушай, где снаряды ложатся?» Она пошла.

Идет. «Хо-озья-ин! За фасонкой!» Только она сказала — как ахнет у меня над головой снаряд! Меня контузило. Я ничего не помню. Я эту Кормилицину, тоже раненную, веду через весь цех и не чувствую, что у меня человек в руках. А когда подошел, зацепился за опоки, опомнился — человек в руках. Припел. Кровь тут у меня течет, ну — смерть! Значит, нужно, наверно, было живому остаться: у меня тамбур был, двери двойные. Я в этом тамбуре повалился и думаю — вот уже смерть! Тут кусак стоял у меня как раз перед дверью. И в это время как ахнет снаряд по этому кусаку! Если бы я шагнул два шага — мне бы смерть! А потом я уже без памяти летел, снаряды — жжи-жжи! Я прилетел в подвал, в медпункт. Пришла жена. Брат прибежал. Плачут. Я говорю: «Чего плакать? Жив-здоров». «В больницу!» — «Никуда не пойду. Работать некому. Работать же надо. Кто будет делать все это? В больницу я не пойду». После стал немец так бить! Один раз я вышел, смотрю — самолеты. Считаю — семь, восемь. Ну, думаю, наши летят! Как он тут стал бомбиты! Боже мой! Вот так стою, и земля подо мной ходуном. Все дрожит. Он много тогда побил у нас. Цех один положил, буквально положил!.. Потом — труба стояла у нас. Громадная труба. Как стал бить по этой трубе! А у нас как раз печки тут.

— Это в каком цехе?

— В медночугунолитейном. В эту трубу попал и пробил. Несколько пробоин сделал. Валить ее надо, иначе может упасть, нас убить. А моя мастерская рядом — между столовой и меднолитейным, меня тоже эвакуировали с народом. И положили эту трубу, она как струнка упала. Перестал стрелять по этой трубе. У нас померло больше, чем на фронт ушло наших кировцев. Вот я не знаю, как я остался живой! Голодали здорово. Но я пил соевое молоко и ел шроты. У нас там никто не пил соевое молоко, а я пил. Я воду не пил. Пил соевое молоко и шроты ел... Потом стали давать нам рационы — пятьсот граммов хлеба. И потом давали рационы и на рабочих и на нас. Водку давали. Пиво давали — по талончикам нам как рабочим. И тут стало положение все лучше».

Валентина Степановна Мороз, которая как раз была одной из тех девочек четырнадцатилетних, что должны были на заводах, в мастерских заменять не просто мужчин, а квалифицированных мужчин-рабочих, это же помнит «со своего места»:

«Смерть матери на меня подействовала угнетающе. Я не могла вообще дома находиться. Я несколько дней провела у соседей, а потом меня отвели на завод там же у нас, на Петроградской стороне. Я устроилась на заводе и перешла на казарменное положение. Завод стал оборонным. До войны выпускал кассовые аппараты или что-то вроде. Теперь, в блокаду, он стал оборонным заводом. Оборудование вывезли в Свердловск, но кое-что оставалось. Ну, я пришла, ничего не зная. Стала ученицей токаря, так как надо было очень быстро что-то осваивать. Я делала такие, знаете ли, маленькие эксцентрики. Это когда стабилизатор приваривается к снаряду, маленькие эксцентрики на эту заточенную часть. Работа была по микрометру, очень хлопотливая и точная работа. У меня не было сменницы. Потому что не получалось у пожилых тетенок. А у меня эта работа каким-то образом получалась более или менее, и я над этими эксцентриками работала...»

А еще была работа — убирать трупы, свозить к траншеям, спасти город от эпидемий. Работа повседневная, постоянная, даже «привычная» уже. И все равно страшная для человека.

В блокадной памяти она «записана» наряду с другими заботами и делами ленинградцев. Но когда эта «запись» звучит сегодня — не только слушающему, читающему, но и рассказывающему, пишущему, помнящему такое не по себе. А ведь ее, эту работу, необходимо было выполнять. Притом часто женщинам, женскими руками!

Какие сложные функции обретали, казалось бы, самые незаметные, вроде самые простые профессии, какую значительность и действительность они получали! Например, почтальон. Уже упомянутая нами Наталья Сидоровна Петрушина (Большой проспект, д. 51/9, кв. 17) и сейчас еще очень подвижная женщина, несмотря на годы (она 1914 года рождения). Так и представляешь ее с тяжелой сумкой, а в блокаду сумка эта казалась куда тяжелее, и дом от дома стоял дальше, и лестницы были круче. Тогда ведь носили письма прямо в квартиру, в каждую квартиру, да еще лично адресату старались вручить.

«— Конечно, я и сама-то была еле-еле. Когда блокада началась, мы жили в Новой деревне, там было общежитие. Бомбили рынок — там какие-то объекты были, — и наше общежитие, конечно, разбомбили. Ну, нас перевели сюда, на Большой проспект, дом тридцать один. Мы тут, значит, жили. Нас было шестьдесят человек. А я работала в сто двадцать девятом почтовом отделении. Это Каменный остров. Ну, кое-кто у нас уехал, а большинство, конечно, умерло от голода. Муж у меня на заводе погиб от артобстрела. Пошел туда и не вернулся. Дети во время войны тоже умерли, двое. Начался основательный голод: уже на карточки мы ничего не получали приблизительно с половины декабря.

— Вы продолжали работать?

— Работать я продолжала. Я как раз обслуживала улицу Академика Павлова, а там экспериментальный институт медицины и вакцин-сывороток. Когда я туда приходила, это уже когда голод начался, мне работники медицинских объяснили: «Ни в коем случае, товарищ почтальон, как бы вы ни чувствовали плохо себя, не ложитесь и старайтесь работать».

— Это вам ученые сказали?

— Да, как раз там был профессор Гуревич (ему было много корреспонденции), он мне сказал: «Я, говорит, эвакуируюсь, потому что меня заставляют. Но я вам объясняю: вы никогда не ложитесь. И не падайте духом. Сколько можете, столько и ходите». Ну вот, я эти наставки и от многих других слышала и не падала духом! Корреспонденцию, пока возили нам, мы, значит, разносили, это пока морозов больших не было. А потом уже не стало у нас машин. Нам приходилось, значит, вот так делать: в четыре-пять часов два-три человека сами ехали с санками на почтамт. Там корреспонденции другой раз неделю не бывало, две, а потом она вся прорывается. Тогда мы ее забирали в мешки и везли. Но везли как? Друг друга подталкивали и в течение дня привозили. В отделениях почты не топили, но нас, правда, пускали в ЖАКТы. А в ЖАКТе были дежурные, там топили (как раз в доме семьдесят дробь семьдесят пять).

— Вы помните, как ходили в дома?

— Мы корреспонденцию разбирали в течение дня, потому что шло писем по двадцать в квартиру. Это надо было разобрать. Вы себе представляете, мешки какие?! А разбирать? Рукам холодно, хотя и топили. Один разбирает, один несет. А лестницы эти! Несешь приблизительно часа два, потому что приходишь — темно. На лестницах темно, скользко, отходы, кто мог, сюда выливали, потому что туалеты не работали (воды не было), люди все на лестницу! Другой раз идешь, упадешь и обратно скатишься, потому что скользко, особенно темно

когда. Ну, приходишь в квартиру: комнаты открыты, квартиры не заперались, темно, спотыкаешься. Другой раз придешь — человек лежит. Думаешь — мертвый! Потрясешь его немножко: вам письмо! Человек, если в сознании, так он, конечно, начинает шевелиться. А другому безразлично, письмо или что. Ну, начинаешь тормошить его. Если просит — прочтешь. Иногда даже такое сообщение читаешь, что такой-то без вести пропал или раненный, отправлен в госпиталь, — не плачут. «Ну, — говорят, — хорошо». А другой раз придешь — человек уже мертвый лежит на кровати... Идешь по улице, конечно, людей почти не видишь. А если идет человек, то его не узнаешь: это ребенок, или старуха, или девушка, или кто?! В таком все были состоянии.

Было у меня два таких случая. Отец ждал письма от сына. Пошел в столовую за питанием. Ну а питание какое там? Вода да две крупинки! И то не всегда давали. Постоишь в очереди и уйдешь, потому что не хватало и этого. Я пришла, а он сидит на лестнице. Я назвала его (забыла уж имя-отчество), говорю: «Вам письмо!» Он говорит: «Прочтите, пожалуйста». Я прочла. Сын пишет, что бои тяжелые, наступление как раз было, — и все. Он взял это письмо, поблагодарил. Потом говорит: «Знаете что? Помогите мне встать». Представьте себе — встать! Мужчина! Ну, правда, он худой был. Я начала поднимать — и сама уселась на лестнице. И нам было не встать, ни тому, ни другому. Вот такой ужас! Тут, правда, шел еще другой мужчина, видать, более сильный. И вот мы друг за друга так и поднялись. Ну, пошел он еле-еле домой. Потом еще такой случай: письмо тоже по дороге вручила одному мужчине (большинство так вот) на улице Академика Павлова. Так он это письмо даже не прочитал. Был обстрел, и волной его как отбросит. И он ударился об дом. Тут как раз работники Дома пионеров, дворники были. Они его и подобрала. Так что человек даже письмо не успел прочитать.

— А почему вас просили читать письма? Такие слабые были?

— Слабые, конечно. Уже не может человек даже рукой шевелить. Вот как тот мужчина, что на лестнице сидел, сеточку держал на руке. Он сел и уже не мог встать. У него руки заоченели уже. А сколько человек не шевелится, с ним уже все.

— А ваши детишки дома были, когда вы ходили?

— Нет. У меня сын умер в начале войны. А дочка умерла в конце ноября. Мы все в бомбоубежище ходили, она простудилась, воспалением легких заболела и умерла. А тот, маленький, в яслях был, и его хотели эвакуировать в яслями, но он простыл и то же самое умер от простуды. Так что дети у меня умерли оба почти в один год, и муж погиб на заводе от артобстрела... Было так, что вот видишь, человек сидит без сил, а ты ему помочь не можешь — не можешь, потому что ему дашь руку и сама садишься. И не можешь подняться. Не было ни страха, ничего. Ходили, конечно, один раз в день, корреспонденцию носили. Кое-как забираешься, а уж с лестницы считаешь что как на санках едешь, лед, за перила держишься... Приходишь — квартиры совершенно пустые, людей нету: или на казарменном, или у родственников — съезжались тогда в одно место. У меня рост сто пятьдесят один. Сейчас во мне пятьдесят два килограмма, а вы представляете, когда было тридцать шесть килограммов? Потом, когда уже пришла весна (ранняя, правда, весна), пошли раз на Каменный остров. Там много деревьев. Подходишь к дереву молодому, маленькие листочки зеленые рвешь и прямо ешь. Потом в сумку наберешь. Когда корреспонденцию разнесешь, наберешь этих листьев, нарвешь крапивы, лебеды. Приходишь, сомнешь мокрые — и на буржуйку! Напечешь и ешь! Вставала я в пять часов, чтобы взять свои двести пятьдесят граммов хлеба».

Это почтальон. А вот другая профессия — печатник. И она получила непредвиденную значительность, даже более того...

Евгений Александрович Тренке работал в типографии имени Володарского в цехе, который печатал карточки. Цехом этим, разумеется, интересовались разного рода жулики и фашистская агентура. Старались дезорганизовать работу цеха, выведать, какие карточки выпускаются на следующий месяц. А в типографии менялся и цвет карточек и размеры их.

«В конце месяца нам давали указание: цвет такой-то, сетка такая-то, размер такой-то. Мы за каких-нибудь шесть дней, работая, конечно, круглые сутки, не уходя, должны были их отпечатать. Это как деньги... Счет был строжайший. Бумага была специальная. Были карточные бюро на каждый район. Они должны были у нас за день-два принять эти карточки по счету, строго. На прикрепление карточек населению давали два дня. Все это делалось, чтобы не успели изготовить фальшивые карточки».

Как же сами они обеспечивались, те, кто изготавливал карточки для Ленинграда? Да никак, на общих основаниях. Голодали. И сам Тренке голодал и его семья. Сын его пятнадцатилетний, а за ним и жена Евгения Александровича умерли в начале 1942 года.

Люди работали, и работа их была необходима. Правда, зачастую связь ее с судьбами войны, города, других людей угадывалась смутно.

Но была работа, были при той работе люди, которые сознавали, видели: от того, что они сделают или не сделают, сумеют вопреки всем трудностям или не сумеют, от них непосредственно зависит, умрут еще тысячи и тысячи сегодня-завтра или же продержатся...

Это пекари, работники хлебозаводов.

В квартиру Николая Антоновича Лободы (Новосибирская, д. 4, кв. 9) мы попали к обеду. Вера Николаевна, хозяйка, согласилась с нами, что раньше работа, а угощение можно и потом, и охотно, даже весело нам рассказывала о блокаде, о себе, о школьных своих годах. Муж ее угрюмо, как нам показалось, отмалчивался. «Ну, из этого человека много не вытянешь», — профессионально прикидывали мы. Так, кажется, и ушли бы, не попадись нам на глаза в ворохе семейных документов старая газета, в которой сообщалось про подвиг Лободы Н. А., который отремонтировал горячую печь, и благодаря этому хлебозавод смог к утру дать продукцию. Дать хлеб Ленинграду.

Тут Николай Антонович впервые улыбнулся, виновато так, и стал, чтобы отвлечь внимание от своей особы, усаживать нас за обеденный стол...

Рассказ его нам все-таки записать удалось. Николай Антонович по службе моряк, механик.

«— Это был первый месяц войны. Ну что же? Пришел я на завод. Никого нет: директора нет, главного энергетика нет. Главный механик Михайлов (теперь он уже на пенсии) был за месяц до войны взят на сбор, и обязанности главного механика исполнял я. Пекли мы круглый хлеб. Проходит месяц. Это уже в сентябре. Муки нет. Говорят: надо переходить на формовой хлеб, а не то закрывать завод.

— А почему формовой хлеб?

— Разница между формовым и круглым в припеке. Больше припек в формовом. В форму вы можете долить воды или чего хотите, а в круглый — он на под кладется — не можете, потому что все расплывется... Был у нас начальник управления Смирнов. И был тогда

(его уже нет) директором Мочаловский. Вот вызывают они меня и говорят: «Вот что, поедем в горисполком». «Ну что ж, поедем». Приезжаем. Попков и Кузнецов говорят: «Товарищи! Надо хлеб, только не круглый, а формовой и с добавками». (Целлюлозу добавляли.) «Но мы выпускаем круглые хлеба». — «А сколько потребуется времени для того, чтобы вы переделали? Вот даем вам двадцать дней — подумайте и доложите!» Приехали мы обратно. Я, значит, прикинул. Нет материалов, не из чего делать. Я говорю: так и так, мне надо полосу двести миллиметров любой толщины, чтобы люльки выкинуть, а формы поставить по тринадцать штук — чертова дюжина (так и по сей день называется). Вот, значит, я написал, что мне надо — и время и людей. Мне дали с «Вулкана» десять человек, и мы за семь дней переоборудовали. А материалы? На Каменном острове были какие-то склады. Мне дали пропуск. Я туда приехал на машинах, нагрузил одну, нагрузил вторую. Приехал с третьей. Приходят два товарища в штатском: «Кто вам разрешил брать?» Я говорю: «У меня есть бумажка». «Это только Москва может разрешить». — «Я не знаю, вот у меня есть». Тут меня в машину и повезли в «Большой дом». Там, видать, созвонились и говорят: «Извините! Вы здесь ни при чем. Вышшая власть дала указания». Вот мы первое кольцо переделали. Когда выпускали первый хлеб формовой, так я вам скажу — вот так в руку взять, сдавить, так там половина воды. И вот такого — сто двадцать пять граммов! И ничего сверх... Когда началась бомбежка, воды стало не хватать. Так мы построили на Малой Невке (это уже в декабре) насосную станцию, протащили туда провода. А труб-то нет! Что мы сделали? Взяли шланги пожарные и эти шланги протянули вместо труб. Тут мороз стал припекать: как два-три дня, так шланги все промерзают. Что делали? Изоляцию накрутили на них... А сперва когда воду отключили, то пытались носить ведрами с Невки на седьмой этаж».

Вот так, вручную воду таскали для целого хлебозавода. По лестнице да на седьмой этаж! А какое здоровье, силы у людей были, мы уже знаем.

«Рядом был лесопильный завод Калинина. Энергии не было. У нас имелась своя маленькая блок-станция, но она не обеспечивала. Так вот на территории лесопильного завода было огромное количество бревен (доски они делали) и разных отходов. Они три месяца этими бревнами топили и давали нам энергию. Сначала мы построили насосную станцию на льду; потом уже, когда город стал давать воду, то этот завод Калинина нам давал электроэнергию. Мы протянули оттуда кабель, а машины-то ходят и перерубили кабель. Машины еще ничего, а танк, видать, прошел — гусеницами кабель разрезал. Тогда мы вынуждены были поднять кабель на два с половиной метра, чтобы сверху он был. И так жили уже до мая месяца. Стали нам давать более стабильную электроэнергию с Волхова, а топить печи нечем было. Так вот на Каменном острове разбирали дома. Нам говорят: вот вам десять домов. А там всё — мебель, одежда, всё. Разбирали, естественно, днем: тот, кто работает в вечер, выходит в день, и кто в ночь — идет также в день.

Дала нам воинская часть два трактора «Сталинец». Так вот трос стальной пропустим через верх (а там все дома были деревянные, одноэтажные и двухэтажные) и тросом раздергиваем. Воинская часть нам дала три машины. На машинах возили на территорию хлебозавода дрова, для того чтобы топить и печь хлеб. И давали по одному метру тому, кто разбирает дома (квартиры топить тоже нечем было).

Однажды работница прохлопала — и забило печь. Я примерно прикинул, что на семь метров от того места, где посадочный механизм ходит, там и садит формы. Отмерил и говорю: долбай! Вот продолбили, чтобы можно было влезть туда. А температура двести сорок градусов! Погасил печь, все! Сначала полил туда водой. Пар идет вверх. Сбил температуру. Наверно, уже было примерно сто шестьдесят — сто восемьдесят градусов. Обвязал голову, ватник намочил, валенки, ватные брюки, двое рукавиц. Влез туда. За первый раз я так и не смог. И уже чувствую, что я теряю соображение. Я тогда вылез, минут десять посидел — и второй раз. Вот за второй раз выдернул все. Я говорю: «Ну, теперь закладывайте». И поехали! Стояли примерно около двух с чем-то часов — и пустили, то есть мы не сорвали снабжение хлебом. Меня за это правительство отметило: наградили за эту работу орденом Трудового Красного Знамени...»

Исполнение обязанности

Улицы, засыпанные снегом, заваленные обломками порушенных домов.

Снег то девственно, не по-городскому белый, то густо присыпанный копотью пожаров.

Тропинки между сугробами, заледелыми троллейбусами, тропинки к домам, к прорубям, к магазинам, тропинки через Неву, через площади, тропинки к райкомам, райсоветам.

На щитах, закрывающих от осколков витрины магазинов, объявления: «Продается гроб», «Делаю печки-временки», «Меняю кубометр дров на пшено»... Объявления той поры — удивительные документы жизни. Они сохранились лишь на редких, случайных фотографиях да в чьей-то памяти, и то не буквально. И нет никакой возможности воспроизвести поразительные их тексты-свидетельства.

А ленинградские двory, а ленинградские лестницы...

А столовые, где двигались безмолвные очереди людей с кастрюльками, котелками.

Можно без конца приводить красочные, поражающие воображение картины разрушения, голодного быта блокадников, картины города заколоченного, парализованного, обессиленного...

Куда труднее высмотреть за всем этим железные скрепы воли — энергичную, целеустремленную деятельность, которая поддерживала жизнь города в страшных условиях. Кому-то ведь приходилось распределять крохи электроэнергии, давать задания заводам, изыскивать сырье. Нужно было убирать трупы, хоронить, нужно было создавать стационары, собирать комсомольские бытовые отряды, набирать девушек в МПВО...

Ничего не делалось само по себе. Те же печи-временки: надо было наладить их производство силами местной промышленности, найти для этого железный лист или прокатать металл, а для этого выделить металлокомбинату электроэнергию... Открылись бани. Но для этого надо было выделить им уголь, а уголь этот надо было привезти... Все было проблемой почти неразрешимой и требовало прежде всего огромных усилий организаторских.

Уже в январе бюро Ленинградского горкома потребовало от исполкомов: отогреть замерзшие водопроводные сети и по графику начать подавать воду в верхние этажи домов для промывки фановой канализации. Выделяли керосин и бензин, чтобы отогреть замерзшие трубы. В свою очередь, для этого надо было снабдить домохозяйства паяльными лампами. И в это вникало бюро Ленинградского горкома, потому что в условиях блокады изготовить пятьсот паяльных ламп было серьезной проблемой.

Постановления, решения тех месяцев, жесткие, категоричные, кажутся порой нереальными (а тогда и вовсе выглядели непосильными), и тем не менее они выполнялись, и выполнялись большей частью в срок, без отговорок и ссылок на обстоятельства. Без ссылок на обстрелы, на смерти исполнителей, на пожары, на отсутствие материалов. Причин хватало, решали не эти причины, решала настоятельная нужда, исполнение каждого пункта спасало жизни людей, спасало город.

Работа райкомов и райисполкомов проходила в условиях непривычных, даже невероятных. Город был тот же — те же районы, те же кварталы, домохозяйства, те же учреждения, те же склады, те же мостовые, школы, магазины. Но речь шла уже не, как прежде, о нуждах района, о планах улучшения быта, о ремонте — речь шла о жизни и смерти жителей.

Впервые на плечи рядовых партийных и советских работников легла такая тяжкая ответственность.

А возможностей у них становилось все меньше. Не было транспорта, фронт забирал врачей, милиционеров, строителей — физически крепких мужчин, — да они и сами рвались на передовую. Других забирала дистрофия. Голод не различал профессий — он косил милиционеров и прокуроров, водопроводчиков и композиторов.

Число мест в стационарах было ограничено. Иногда сами секретари райкомов распределяли эти спасительные места. Но перед этим надо было еще организовать эти самые стационары. Наладить там отопление, питание, уход.

А организация эвакуации с ее бесчисленными сложностями доставки людей, погрузки, регистрации. Одних надо было уговаривать, другим помогать, надо было устанавливать очередность, собирать детей, выделять сопровождающих.

Каждому из городских районов каждодневно приходилось заниматься множеством подобных проблем, среди которых, оказывается, не было мелких. Их невозможно ни перечислить, ни восстановить в живых подробностях. То, что нам удалось собрать, — всего лишь отдельные факты, они совсем не дают полной картины, но представление об этой работе они дают.

Сергей Михайлович Гастеев был одним из тех районных руководителей, которые непосредственно и занимались всем этим. Он работал в Ленинском районе начальником жилищного управления, заместителем председателя райисполкома. Вот он рассказывает про деревянные дома, которые давали на слом для дров. Людей оттуда надо было переселить в дома своего района, а для этого найти площадь, приготовить ордера, прописать.

«—...за два-три дня, помню, мне надо было чуть ли не пятьдесят домов на слом срочно распределить госпиталям, детским садам и что останется — столовым, баням, прачечным. Нужно срочно было топливо, а топлива не было никакого. Стульями топили. Я видел сам — после бомбежки крышками от пианино и роялей топили... Войдешь в квартиру — ничего нет, пусто, сидеть негде. Поэтому очень строгое распоряжение было горисполкома — срочно ломать. «Даешь топливо!» Люди замерзали. Разбомбят дом, или снаряд разорвется — все раскрыто, стекла выбиты, фанеры нет, закрыть нечем — люди уходят в другой район. К родным, к близким. Квартиры оставляют пустыми... Как снаряд разорвется — стекла все летят. Люди бегут, потому что страшный мороз. Куда — неизвестно. Потом их разыскивают. Мне приходилось при бомбежке срочно переселять людей, которые остались живы... Вызываешь нескольких управдомов, ближних от разбом-

бленного дома, и спрашиваешь: «Какие у тебя комнаты, квартиры свободны?» — и сразу по списку срочно переселял. Тут уж не до ордеров было. Люди на улице стоят, дрожат, негде же греться. Это моя обязанность была — бомбоубежища, газоубежища, квартиры, переселение и дома деревянные ломать. Мне давали, например, для района около Кировского завода сотню домов (Правая Тентелевка, Левая Тентелевка и другие), и я должен был в короткие сроки переселить людей в свой район.

— Как они перетаскивали свои вещи?

— На салазках, конечно. А было еще решение горисполкома каждому району приготовить помещение-склад и, прежде чем дома ломать, составить опись вещей жильца, который отсутствует. И вещи по описи на склад... И в этих складах заведующие должны были по углам расставлять мебель, вещи такого-то дома, такой-то квартиры... После этого только можно дома разбирать».

Трудно представить, каким образом ухитрились в тех условиях соблюдать эту хлопотную юридическую процедуру во всех районах города.

В рассказе председателя Выборгского райсовета А. Я. Тихонова повторяется та же история.

«На всех деревянных домах мелом вывели «ПС» — «подлежит сносу»... Многие не хотели уезжать, особенно те, кто имел возле дома клочок земли. Были такие моменты: дом ломают, а бабушка сидит, не уходит: «Я туда не поеду». Люди ей доказывают: «Все равно нужно. Сама погибнешь тут без топлива, и люди погибнут»... А некоторых людей, которые переезжали, потом разбомбило, и им приходилось переселяться еще раз.

Была и другая тяжелая задача. Вот, например, был такой Дом специалистов. Мы там, как и всюду, проводили инвентаризацию имущества всех эвакуированных. Сами инвентаризировали имущество, которое у них осталось, и хранили его на складе завода «Красная заря». Никакой техники у нас не было. Это сейчас можно сказать: «Приготовьте двадцать машин». А тогда были люди ослабевшие, попробуйте с их помощью вывезти ценные вещи на склады. Долго на этих складах потом вещи хранили, специально отопление устроили, подобрали кладовщиков, зарплату им платили, и они сохраняли имущество граждан. Это казалось несколько фантастическим: город в блокаде, немцы обстреливают — и в этот момент райком, исполком занимаются не только сохранностью государственного имущества, но охраняют имущество уехавших граждан. Смотрели и чтобы квартиры не разрушались после бомбежки — фанерой заделывали окна, двери забивали.

Когда произошел прорыв блокады, были и такие эпизоды. Допустим, пишет гражданин: «Пришлите мне опись, как сохранилась моя квартира». Пишут из Средней Азии, из Свердловска, все запросы шли на райисполком. Надо было дать ответ. Создали специальные группы депутатов, актив, ходили на этот склад, шли на квартиру, если вещи сохранялись там, и составляли ответ».

Деревянные дома, которые сгорали в котлах, в буржуйках, в плитах, не могли обеспечить всех теплом.

«Всем дать дрова мы не могли, — говорит А. П. Борисов, — но кто приходил, давали немного топлива. Нам выделили деревянные строения в Новой Деревне. Во многих домах все равно оставалось холодно. Вот на улице Рубинштейна, 17 большой дом был, в нем жил:

до пяти тысяч человек. Придешь в квартиру — открыта, люди полуживые, некоторые лежат, некоторые бродят, матери умирали, дети оставались живыми. Страшные случаи были. Как руководство исполкома мы должны были обходить дома».

Александра Петровича Борисова война застала на должности заместителя председателя исполкома Куйбышевского района, одного из центральных районов города.

«— И что же вы могли сделать в такой квартире?»

— Некоторым помогали. Чаще удавалось спасти людей, которые как-то были связаны с производством, с учреждениями. А так только успевай трупы собирать. Груды трупов были при больнице Куйбышева. И в других пунктах сосредоточивали трупы, чтобы потом свозить на кладбище. Специальные машины были выделены, они ежедневно трупы собирали и увозили на кладбища... На Пискаревском кладбище много хоронили из нашего района. Рыли рвы. У нас были тракторы, мы мобилизовывали людей из районных организаций. Набирали человек двести и туда направляли, чтобы они рыли рвы и зарывали. Картина ужасная. Трупов — глазом не окинешь! Особенно на Богословском и Пискаревском кладбищах. Трупы были всякие. И дети и старики, кто в сидячем положении, у кого руки подняты, у кого нога согнута...»

Александр Петрович Борисов уже много лет слепой. По тому, как внешне легко несет этот человек свою тяжелейшую беду, стараясь не удручать близких, можно догадываться, каким он был там, в блокадном своем районе, как много чужого горя брал на себя. И сейчас он иногда бывает на Пискаревском кладбище. Слушает вечную музыку и за ней тишину, покой зеленого мемориала и видит...

«Мне представляется только та картина, которую я видел сам. Это не теперешнее кладбище, облагороженное, особенно там, где памятник Матери Родине. Но в то время эти трупы, эта траншея метров в сто длиной!.. Туда закладывали тысячи трупов, зарывали тракторами, лопатами, как только могли. Боялись, чтобы весной не было эпидемии, но все обошлось благополучно, потому что в какой-то степени удавалось соблюдать санитарное состояние».

Память его удерживает многое уже в масштабе не только своего дома или завода, а в масштабе района, а район этот и по населению и по размеру — целый город.

«— Мне пришлось проверять хлебозавод один. Люди как будто полностью обеспечены были хлебом на том заводе, однако большой процент рабочих не выходил на работу — болели цингой. Что спасало? Настой хвои. Это очень помогало. В первые дни, когда голод начался, смотрим — люди идут с ветками хвои. В чем дело? Оказалось, они хвою настаивали на воде и эту воду пили... А надо сказать, что наш район — район служащих, самый голодный район был: получали хлеба сто пятьдесят граммов. Ну, конечно, это не такой хлеб, который мы сейчас едим... Утром мы всегда объезжали район. Едешь — тут трупы выброшены, тут оставлены. И не знаешь, откуда трупы. Это являлось гоже формой обеспечения живых — смерть не регистрировали, чтобы карточки оставались... Если придешь, спросишь: когда умер? — не скажут, что умер полмесяца назад, скажут, что сегодня умер, вчера.

— Карточки изымали в таких случаях?

— Нет, оставляли карточки».

Ученые города изыскивали возможность изготовить какие-то полноценные заменители продуктов, чем-то помочь населению. Каждый район стремился участвовать в этом деле, выявляли сырье на своих предприятиях, предлагали оборудование.

Выборгский райком во главе с секретарем райкома Кедровым налаживал производство белковых дрожжей из древесины. Эти знаменитые в блокаду белковые дрожжи спасли, наверное, немало ленинградцев. Белковые дрожжи выдавали как дополнительное питание. Во многих рассказах мы слышали о тарелках супа из белковых дрожжей. Но ни рассказчики, ни мы как-то не задавались вопросом, откуда появились эти белковые дрожжи. И лишь случайно в разговоре с А. Я. Тихоновым, председателем Выборгского райсовета, возник рассказ про профессора Широкова из Лесотехнической академии, который вместе со своими сотрудниками разработал технологию производства этих дрожжей, и про то, как налаживали их изготовление:

«Все делала промышленность нашего района. Было распределено, кому сделать эту часть к машине, кому сделать кузов, кому — контейнер, кому достать мотор, кому перемотать мотор. Все до малейших деталей распределили. Коллективно участвовали все организации. Быстро пустили цех. Производительность (в тоннах) была большой. Использовали для этого березу».

Тут же, при фабрике, и затем при хлебозаводах стали гнать витамин из хвои для хвойного экстракта.

«Некоторые сами приходили и спрашивали: «Чем я могу помочь в решении этой задачи?» Чувство локтя было необычайно высоким, может, выше, чем чувство желудка.

Остро стоял вопрос: как обогреться? Распределили силы членов исполкома и создали утепленные чайные, чтобы ослабевшие люди, у которых не было отопления дома, могли попить кипятку. Установили кипятильники. Отапливали их дворники. Снабдили их топливом. Бытовые комсомольские отряды носили кипяток тем, кто по слабости не мог спуститься с верхних этажей. Часть депутатов раскрепили по квартирам, они слабым носили по карточкам хлеб. В чайных проводили беседы о положении на фронтах.

Мы наладили изготовление буржеек для населения, налаживали подвоз дров, создали склады».

Чем только не занимались районы. Вот, например, зимой 1942 года пускали трамвай через Ленинский район, и С. М. Гастеев вспоминает:

«Все пути заморожены, все рельсы залиты водой. А решено было пустить трамвай под Новый год, 1943-й. На моей обязанности было расчистить участок от Нарвских ворот до Калинин моста. Мне дали сто женщин с «Красного треугольника». Целую ночь мы работали, пока не закончили. Лом, лопаты, кирки...»

Районным руководителям приходилось бывать там, где было особенно тяжело, где происходил обстрел, где горели пожары, где шла бомбежка, где лопнули трубы, где надо было мобилизовать людей где что-то случалось... Память их поэтому вобрала немало событий чрезвычайных, историй впечатляющих. Так, у А. П. Борисова запечатлелась бомбежка Гостиного двора:

«Была в Гостином небольшая меховая фабрика. Женщины приходили с детьми, фабрика женская была, по сути. Началась тревога. Часть спустилась в бомбоубежище, а часть осталась на производстве. Здание обрушилось, и одна девочка с матерью попали в промежуток между сейфами. И дочь утешала мать. А дочери было семь лет. «Мама, нас спасут»,— говорила она и поддерживала мать. Мать потом, когда мы вытащили их, говорила: «Вот моя спасительница». Другая женщина оказалась между балкой и кирпичами. Ее зажало балкой так, что она пошевелиться не могла. Осторожно разрывали ее, потому что если быстро разбирать завал, то могли обвалиться стены. Трое суток по кирпичику разбирали. Пришел муж и все время находился возле нее. У нее единственная мысль была: спасут или нет? Мы в щель разговаривали с ней, и она говорила, что ее окружает смерть и, наверное, ей не вырваться. Все же спасли...»

Он был сначала инструктором Дзержинского райкома партии, Дубровский Анатолий Иванович.

Через комсомольскую работу, через спорт, учебу искал он свое место в жизни. Тут началась война, он вернулся из Каунаса в Ленинград, его направили работать инструктором в райком партии, и он сразу же уехал на оборонные работы— в первые дни, недели войны сооружение оборонительных рубежей было главной заботой райкомов, райисполкомов. Необходимо было обеспечить «ежесуточное количество работающих на оборонительных укреплениях до 500 тысяч человек»⁶.

Все было впервые, и все было неожиданно, трудно, и не только людям молодым и неопытным, таким, как А. И. Дубровский. Опыта такой войны, таких испытаний и трудностей ни у кого не было. Зато была огромная самоотдача, преданность делу. Первые оборонительные рубежи ленинградцы строили за Новгородом. И уже там получили первое боевое крещение. Анатолий Иванович Дубровский, один из рядовых участников напряженной работы по организации населения на отпор врагу, и сегодня волнуется, когда вспоминает свои первые «инструкторские задания». В его рассказ о бомбежках, которым подверглись ленинградцы «на окопах», о раненых, которых ему пришлось эвакуировать в Ленинград, врываются такие картины войны:

«А тот эшелон под Шимском был с лошадьми, и там же были бензобаки. Бомбы попали в бензобаки и в сам эшелон, эшелон загорелся, и помню впечатление, как горящие лошади выскакивали из вагонов и бежали... горели и бежали...»

Война сразу обжигала душу, но обстановка требовала хладнокровия, повседневной напряженной деятельности. В октябре, вспоминает Анатолий Иванович, двухсотпятидесятикилограммовая бомба попала в здание Дзержинского райкома, пронизала его насквозь. Запомнился красный столб пыли... С особенной остротой и человеческой болью помнится ему тот день, когда погибли сразу трое его инструкторов (он уже заведовал оргинструкторским отделом райкома).

«Эти женщины — три их — всегда уходили с утра по делам на свои предприятия... Немцы к этому времени мало что фугасными и зажигательными нас забрасывали, так еще и шрапнельными стали бить. Чтобы побольше окон высадить. А зима, а мороз — дома без окон, понимаете? Под такой шрапнельный снаряд они и попали сразу все три.

⁶ «900 героических дней». Сборник документов. М.—Л. «Наука». 1966, стр. 47.

Шли по Чайковского, и там, где у нас 17-я пожарная команда и военкомат, там их и убило. Парамонова, Поздняк, а третья была новенькая, я даже фамилии не помню...»

Как все, погибали и голодали, как все... Анатолий Иванович не подчеркивает этого. Но рассказ его содержит в себе эту оценку — высшую для него! Жили, работали, боролись, голодали, погибали как л е н и н г р а д ц ы...

Нет, не просто было это для каждого в отдельности, какой бы пост человек ни занимал,— достойно делить, нести судьбу ленинградца-блокадника. Зато, если ты оказался на высоте, сегодня это помнится, сознается с гордостью: как все!

«— Районный комитет в это время у себя не имел ничего. Я говорю о продовольствии. Работники райкома партии, так же как и все работники других организаций и те лица, которые остались в эту первую зиму охранять помещения после эвакуации или вообще не выехали,— они были в равном положении. Поэтому чем-то прямо помочь в этой части я, например, никому не мог. Единственно что... Нам вот давали эту похлебку — дрожжевой суп, ну, иногда вот придет секретарь партийной организации, знаешь, что он голодный, и вот у нас была столовая так называемая, ну, его пригласишь: «Пойдем». Только так, ничего другого не было. И для себя и для других правило у нас было: не ложиться, как бы трудно ни было, не ложиться! Потому что практика показала: как ослабевший человек залег, так он уже большей частью не вставал... Ну, потом немножко оздоровило, разрядило обстановку с питанием, когда открылась Большая дорога через Ладогу. И особенно когда мы весной стали организовывать подсобные хозяйства. Сначала стали вывозить людей, как говорится, на травку. И там они ползали, рвали и ели что можно и чего нельзя. И потом, когда стали покрепче, стали копать огороды, заводить хозяйства. Каждая организация имела свои участки.

— И райком ваш?

— Что касается самого райкома партии, то нам были отведены грядки в Михайловском саду, и мы старались за ними ухаживать. Старались посеять такую культуру, которая побыстрее дала бы плоды.

— И мужчины тоже?

— Все, все! Начиная с первого секретаря и кончая техническим работником. Все копали, все сеяли, ухаживали... Как правило, нажимали на огурцы. У кого они получались, у другого вообще ничего. Выгорело, не взшло. Ну, тут делились... Ну а большая часть организаций выведена была за пределы района и там осваивала участки. И в последующем это были крупные, хорошо организованные подсобные хозяйства, с хорошей урожайностью. Мы даже выставку устроили готовой продукции. Многие и сегодня могли бы позавидовать тому, что мы получали. Потому что люди, которые наголодались, они стали понимать, что и как растет и что с чем едят. Ухаживали, как за своими родными...»

Работники райкомов, райисполкомов, всех организаций, которые направляли жизнь блокадного города, сами поставлены были в условия, которые исключали всякую деятельность для профформы, для видимости.

Силы, энергия, ум, чувство, совесть направлялись на самое главное и неотстраняемое, без чего завтра в магазины не поступит хлеб, без чего насмерть замерзнут тысячи людей, навалятся эпидемии...

В овощах, которые удалось собрать, запастись для Ленинграда, за-

велся опасный грибок. Каждый понимал: грибок сожрет не просто картофель, а тысячи и тысячи человеческих жизней, если немедленно не принять меры в масштабах всего города... Это заболевание фитофторой, которое появляется на пятнадцатый день после копки: начинается гниение, картошка «плачет», делается мокрая и хранить ее уже нельзя, никакая сила не поможет.

Высокий, уже поседевший человек — Станислав Антонович Пржевальский, который работал до войны и в годы блокады управляющим Лензаготплодоовоща, рассказывает о своей отрасли, о служащих своего учреждения, о своем «продукте» с не меньшим пафосом, чем любой военачальник о своих победах и поражениях. Еще бы: от того, сохранят его люди эту плачущую картошку или нет, реализуют или загубят ее, зависело очень многое. В блокадном Ленинграде, на всем Ленинградском фронте это понимали все, и поэтому решение принималось очень ответственно и на самом высоком уровне.

«— Я доложил в Смольный... Попков и Лазутин со мной поехали на комбинат. Я им сделал пробную закладку и сказал, что приезжайте через неделю — посмотрите! Приехали через неделю, разрежали сусек: клали хорошую, разрежали — худая! Вот тогда они убедились, что эту картошку надо съесть. И было решение Военного совета: запретить потребление крупы.

— На какое время?

— На определенное время, и пустить весь картофель в расход. Так что мы граммма не испортили картофеля. Все было использовано, но в очень короткий период времени. В данном случае овощи стали заменителем крупы. Овощи были съедены.

— Что, вся картошка урожая сорок второго года, которая поступила в Ленинград, была заражена?

— Вся, абсолютно вся. Вот какая была трагедия. До зимы мы не могли ее держать, до зимы мы все съели. Если бы оставить до зимы, мы похоронили бы полностью все запасы».

На обстреливаемый, голодный, замерзающий город наступал и еще смертельный враг — цинга. И с ним борьбу нужно было организовать. Заведовавший химико-технологическим отделом Витаминного института Алексей Дмитриевич Беззубов рассказывал, как готовились научные рекомендации «по извлечению витамина С из хвои». Об этом у нас уже шла речь.

Но инструкцию-рекомендацию «по получению антицинготной хвойной настойки в промышленных и домашних условиях» необходимо еще было реализовать, добыв или приспособив какую-то технику. Для нескольких миллионов жителей и солдат нужно было готовить спасительное средство. И надо было еще добраться до той хвои. И доставить ее в Ленинград... Только представив себе всю сложность в тех условиях, казалось бы, нехитрого дела — приготовить настой из хвои, — можно понять, почему Станислав Антонович Пржевальский назовет эту работу ученых, руководителей, ленинградских женщин эпопеей!

«— И вот эта эпопея нигде не описана. Причем в литературе она зыглядит, что вот, мол, хвойный настой... Слез было в достатке, женщины приходили со стертymi пятками... Могу вам рассказать, как это было. Это на Дегтярном, пять. У нас там была небольшая плодоовощная переработка. Вот там мы организовали переработку этого хвойного настоя. Использовали мы наши шинковальные машины.

— Это те, которые капусту шинкуют?

— Да, да, те же самые машины. Мы использовали их для дробления хвои. Но для того чтобы сделать хвойный настой, надо было хвою заготовить, причем ее немало шло на это дело. В Парголовском лесу мы заготавливали эту хвою силами нашей погрузочно-разгрузочной конторы, где были только женщины.

— На это шла сосна?

— Да, сосновая хвоя. И вот каждый день группа женщин, голодных, шла в Парголово. Потом кое-как мы сумели организовать доставку их на лошадях (машин-то нам ведь не давали).

— А вначале просто волокли на себе?

— Да, на себе, даже без лошадей. Это от Калининской конторы, от Пискаревки, примерно что-то километров шестнадцать было.

— Шестнадцать километров эту хвою на себе вначале носили?!

— Сначала на себе. Потом мы организовали доставку на лошадях (у нас было несколько лошадей на нашей пискаревской базе) и доставляли ее на Дегтярный, пять. Там ее дробили. Добавляли туда уксус. Этот настой фильтровали. И я вам должен сказать, что мы этот настой делали в таких количествах, что обеспечивали все госпитали полностью, все столовые. И больше того: мы даже организовали для гражданского населения выпуск хвои в пакетах, с инструкцией, как приготавливать. Сами хвойные иглы мы освобождали от сучьев, закладывали в пакет и давали инструкцию, как приготавливать хвою. Если мне память не изменяет, в день мы давали в аптеки что-то до двухсот тысяч доз. Причем торговали мы ими через аптеки ежедневно, бесперебойно. И, таким образом, как мне потом медики говорили, все-таки цинготных заболеваний в том виде, как они ждали, не было. Вот это хвоя. Трудности ее заготовки были колоссальнейшие... Ну, Военный совет нам помог. В каком плане? Мы все-таки этим женщинам дали третью категорию армейского пайка, так что они были наравне с бойцами (не фронтовыми бойцами, а тыловыми — тыловой паек). Это в какой-то степени дало возможность заготовить хвою...

— А настаивали ее в бочках?

— В бочках.

— И сколько она должна стоять?

— Ну, если мы утром делали, к вечеру она была уже в госпитале. Оттуда приезжали к нам, в очередь становились и сразу забирали и пили настоем».

И так в большом и малом. Впрочем, ничто не назовешь малым, если от него зависит жизнь стольких людей. Когда мы вспоминаем, говорим про легендарную «Дорогу жизни», про хвойный настой, про топливо, воду, захоронение трупов, стационары, посильную помощь голодающим на дому, которую оказывали работники МПВО или комсомольские «бытовые группы», — за всем этим видим, ощущаем сложнейшую организаторскую работу.

Был такой лозунг: «Ленинграду помогает вся страна!» — и это действительно осуществлялось, несмотря на смертельное кольцо блокады. Участвовали в этом тысячи и тысячи людей вне кольца. Вот один из характерных примеров, который мы берем из рассказа Станислава Антоновича Пржевальского:

«— По «Дороге жизни» и овощи поступали?

— Да, поступали, в большом количестве. Северо-восточные районы нам дали в те годы большое количество сушеного картофеля. Что мы сделали? Ведь эти северо-восточные районы были бездорожные. Это сегодня можно говорить о каких-то поездках на машинах. Мы ор-

ганизовали там производство сушеного картофеля, чтобы из этой глубинки вытащить картофель. У нас работали на дому. Одних надомников у нас было десять тысяч колхозников.

— Они сами сушили в печках?

— Колхозникам раздавали заготовленный картофель, и они его сушили. А часть мы сушили в своих сушильных печах, которые нам удалось как-то слепить.

— Десять тысяч надомников работало?

— Да, работали надомники, сушили картофель для города Ленинграда...»

Мы уже много приводили рассказов, где люди вспоминают, как голод заставлял каждого тревожно и с надеждой снова и снова осматривать, изучать углы и ящики в своей квартире — не завалилось ли что съедобное. Того, что прежде и не считалось съедобным... Но и целый город в голодной осаде вел себя почти так же, как и отдельный человек. Сгорели Бадаевские склады 8 сентября, а землю на том месте копали еще долго сами жители. Но так же и организация — тот же Лензаготплодоовощ...

«— Семьсот тонн там сторело сахара?

— Но я же его переварил весь на варенье, — возражает Станислав Антонович. — Правда, оно было с хрустом песочным. Осталось какое-то количество сторевшего, который не поддавался обработке. Но тот сахар, который спекся, мы его пустили в дело».

И далее он рассказал историю, которую многие сегодня вспоминают с удивлением даже веселым. Как блокадный город обнаружил у себя под ногами огромные «залежи» квашеной капусты.

«— Мне секретарь горкома партии звонит, Капустин: «Что ты сидишь? Знаешь, что у тебя на комбинате творится?» Я говорю: «А что?» «Там, — говорит, — больше десяти тысяч народа копает весь твой комбинат». Ему об этом доложили. Я сел, поехал.

— А когда это было? Осенью?

— Это было в сорок втором году. Ну, приехал. Действительно, одних лопат там директор комбината насобирав пятнадцать тысяч. Они копают, лопаты бросают и капусту берут. Кто-то знал, что был перезавоз в Ленинград в тридцать пятом году (это еще до моего прихода на работу) квашеной капусты и ее не съели.

— В каком году?!

— В тридцать пятом.

— С тридцать пятого года она лежала?

— Прямо в бочках. А закапывали ее в песчаный грунт, причем в такой, я бы сказал, грунт, который создал хорошую среду для сохранности. И кто-то об этом знал. И вот пошла раскопка этого дела. Ну, этой капусты там было пять тысяч тонн. Разнесли ее в течение суток!

— Ну и какая она? Вы пробовали эту капусту?

— Прекрасная.

— Серьезно? С тридцать пятого года!

— Законсервированная квашеная капуста с сохранившейся консистенцией, вкусом. Все как надо!

— Брали бочку, а лопаты бросали? Пятнадцать тысяч лопат собрали, вы говорите?

— Пятнадцать тысяч лопат мы собрали. Их бросали люди.

— Значит, пятнадцать тысяч человек пришло?

— Да, выходит, так. Не останавливать же их, пусть продолжают и дальше. Так очистили территорию».

Условия сложились так, как сложились. Были, конечно, и просчеты в завозе и хранении продовольствия, эвакуации населения на том первом этапе, когда имела место растерянность, непонимание масштабов происходящего, того, как и куда разворачиваются события. Даже великий положительный фактор, сыгравший огромную роль в стойкой защите Ленинграда, — страстная привязанность ленинградцев к своему городу, патриотизм — обернулся неожиданными последствиями. Не уехали из города, не эвакуировались даже те, кто мог, кто должен был уехать не только в своих интересах, но и в интересах активных защитников города.

Достаточно напомнить, что смертельное кольцо блокады замкнулось и вокруг 400 тысяч детей. Остались матери, бабушки, а с ними и дети... Летом и осенью сорок первого не было достаточной настойчивости, твердости, последовательности в эвакуации населения, это пришло позже, в условиях несравненно более трудных, зимой, когда пришлось вывозить (и даже выводить пешком на сотни километров!) около миллиона женщин, детей, ослабленных голодом людей, в морозы и все под теми же бомбежками и обстрелами.

Обо всем этом говорят, пишут самокритично многие, оценивая сложную обстановку тех лет.

«Надо сказать, и это не новость, — напоминает И в а н А н д р е в и ч А н д р е е н к о, — что у нас до войны не была разработана система нормированного снабжения продовольственными и промышленными товарами на случай войны. У нас было разработано, как бороться с зажигалками, с пожарами и т. д., а как тут — нет... Я еще хочу сказать про одно тяжелое обстоятельство. Оно заключается в том, что в блокированном городе осталось 2 миллиона 544 тысячи человек и плюс еще в пригородных районах Ленинграда в кольце блокады 38 тысяч. Причем стариков много, детей более 400 тысяч, иждивенцев больше 700 тысяч. И вот в первую эвакуацию, которая у нас началась с 29 июня (Ленинградский Совет принял решение), мы фактически эвакуировали всего 636 тысяч. Причем даже разговор такой был, что обстановка накалилась, а ленинградцы не бегут, никто не бежит, никто не уезжает. Из районов поступали такие сообщения в Ленинградский Совет, что, так сказать, население настроено никуда не уезжать и защищать город Ленинград. Видите, с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо, потому что нам нужно было не 636 тысяч вывезти, а в полтора-два раза больше, а может быть и в три раза больше. Тогда мы не терпели бы такого положения, какое терпели, — ведь осталось 2 миллиона 544 тысячи.

Вот потом, когда было специальное постановление Государственного Комитета Обороны об эвакуации народа по Ладоге и приехал Алексей Николаевич Косыгин, в один конец стали завозить продовольствие, а в обратный людей вывозили. И надо сказать, что с января сорок второго года по октябрь сорок второго вывезли более 900 тысяч. У меня где-то была точная цифра... Вот она: с января сорок второго года по октябрь сорок второго включительно всего эвакуировано 961 тысяча 79 человек. Осталось около 700 тысяч к сорок третьему году. Да, в ноябре — декабре 1943 года было уже только такое количество населения».

Фамилия Ивана Андреевича памятна блокадникам. Трепетно ожидаемые всеми сообщения о нормах выдачи продуктов *скреплялись его* подписью: «Андреев И. А.». Он рассказывал нам:

«Андрей Александрович Жданов говорил: «Использовать надо «Ленинградскую правду» и радио. Кто у нас несет персональную ответственность за снабжение? Андреевко Иван Андреевич... (Я заместителем председателя Ленинградского городского Совета работал, заведовал отделом торговли.) Пусть,— говорит Жданов,— он и сообщает народу...»»

Была горькая необходимость сообщать о всех новых снижениях и без того голодных, а в конце уже и смертельных норм. Иван Андреевич в те дни и недели (октябрь — декабрь 1941 года) отнюдь не жазался блокадникам добрым гением. И он это сознавал. Вознаграждением были дни, когда началось улучшение обстановки, с организацией «Дороги жизни». И можно было подписывать своей фамилией совсем другие сообщения...

«— Я помню, как в декабре я был вечером у секретаря горкома партии Алексея Александровича Кузнецова. Еще раз мы просмотрели наличие запасов продовольствия. Снижать хлебную норму населению уже некуда было, нельзя уже было, народ и так умирал. Разбирали-разбирали, прикидывали. Алексея Александровича я до войны знал, встречался с ним. Он был волевым человеком, много сделал для того, чтобы сохранить больше жизней ленинградцев, но таким мрачным я его еще не видел. И все-таки он потом говорил (об этом записано у меня): «Знаешь, мы не можем опускать руки, нельзя!» И привел он такой пример: «Знаешь, что мне на Кировском заводе сказал один рабочий? «Камни будем грызть, но Ленинграда не сдадим!»...» Пошли мы к товарищу Жданову, доложили. И снизили мы тогда нормы продовольственные не населению, а военным, морякам и солдатам. В декабре месяце плохо было дело. Что дальше делать? Снижать некуда.

— А завоз? Через Ладогу?

— А завоз сначала был такой, знаете,— по капле. Тогда у нас были неприкосновенные запасы — сухари в армейских соединениях и мука, рассредоточенные на военных кораблях в Кронштадте. Это были неприкосновенные запасы. Военный совет Ленинградского фронта принял решение использовать эти сухари и эту муку для снабжения моряков, солдат и населения, потому что дальше нельзя было никак снижать».

Вот наконец! Перелом наконец наметился...

«Когда с 21, 22, 23 декабря завоз муки стал превышать расход, тогда мы все у Андрея Александровича Жданова собрались. Потом перенесли рассмотрение этого вопроса на заседание Военного совета. И приняли там решение: с 25 декабря сорок первого года рабочим прибавить 100 граммов, значит, вместо 250 — 350 граммов, а остальным группам населения прибавить по 75 граммов.

Я должен вам сказать, что прибавка, конечно, была небольшая, но как народ, понимаете ли, это встретит?! (Тогда занимались тоже тем, как народ на это реагирует.) Потому что люди не знали (это было вечером сделано), что они придут в булочную, в магазин, а им не 125 граммов будут давать, а 200 граммов. Люди почувствуют в этом деле силу не столько оттого, что человек стал наедаться этими добавочными 75 граммами, нет, а веру в то, что дело идет все-таки к тому, что мы одолеем этого фашиста и справимся с вопросами, связанными со снабжением».

У каждого руководителя, хочет он того или нет, есть репутация в народе. От этого суда не уйти никому. А тем более человеку, кото-

рый сообщал вам приговор: жить или не жить, будет повышение или, наоборот, снижение скудной хлебной нормы... Спрос с такого человека особенно большой. Тем более что был в тех условиях не был отделен от работы. Все просматривалось насквозь. Большинство жило на казарменном. Можно представить, с какой требовательностью к себе старался относиться всякий честный работник. К себе и к другим... О «щепетильности того времени» говорит Станислав Антонович Пржевальский, приводя такой случай, пример:

«Командующий фронтом Говоров заболел. И адъютант приехал ко мне, зная о том, что у меня по распоряжению Павлова в совхозе Мяглово было оставлено пять живых дойных коров, причем с запиской врача приехал, что требуется молоко. Я Андреенко докладываю, что вот совершил такое действие: выдал пять литров. Ну и что я от него получил? Он говорит: «Понимаешь, что в военное время за такие дела расстреливают? Какое ты имел право без разрешения продовольственной тройки давать? У нас есть продовольственная тройка». Я говорю: «Я дал не кому-нибудь, а командующему, которому продовольственная тройка подчинена». Он говорит: «Независимо ни от чего. Раз есть порядок, значит, он не должен нарушаться». Я говорю: «Вас-то ведь не было, все равно вы бы не отказали». «Нет. В следующий раз таких вещей не делать!» Вот вы понимаете отношение человека к тем порядкам, которые были установлены?»

Все еще энергичный, собранный и не потерявший в жизненных испытаниях, невзгодах скорую, живую улыбку, Иван Андреевич хранит в памяти как большую награду себе такой случай:

«Однажды на одном заводе — я не помню теперь на каком — после выступления я шел с директором и секретарем парткома. Идем. И вот кто-то басом так говорит: «Ну вот он какой, Андреенко! Сам себя-то накормить не может, куда же ему общим котлом управлять?!» А я был очень худой. Если бы я был полный, конечно, сказали бы: «Ясное дело!» Но за меня вступились женщины, они назвали этого: «Боров ты! Значит, он не заедает твое, а заедал бы твое, то он во какой был бы!»...»

Когда изучаешь условия жизни, работы в блокированном городе, когда размышляешь о людях, которые должны были принимать непростые, трудные решения, неизбежно приходишь к этому — взаимным оценкам руководителей и руководимых. Руководишь людьми так, как понимаешь, как видишь, как ценишь их. У Ивана Андреевича Андреенко взгляд на ленинградца-блокадника отнюдь не упрощенный, не отвлеченно-романтический — обращались люди разные в самые критические моменты жизни, спасая себя и близких...

В рассказах Ивана Андреевича много хорошего о людях тех лет, он понимал цену проявлений — притом массовых проявлений — сознательности, дисциплины, доброты человеческой. В условиях, которые, казалось бы, должны были развязать самые эгоистические и грубые инстинкты: массовый голод — состояние критическое!..

«— Был такой случай. Это было что-нибудь в ноябре или декабре сорок первого года — в самое трудное время. В одну из булочных в Володарском районе (ныне это Невский район) зашел мужчина крупного такого телосложения. Он не похож был на всех покупателей и продавцов (они тоже мало чем отличались от покупателей). Он, значит, посмотрел так и сразу пошел к полке и сказал: «Слушайте, что я вам

скажу. Нас хотят уморить голодом!» И стал эти батоны хлеба, эти самые кирпичики швырять. «Берите,— говорит,— и ешьте!» Понимаете? Но народ не брал. Присутствующих там было человек двенадцать. И было три продавца. Они сообразили, и хотя они не особо сильные были, но количеством его взяли — они его свалили. И еще школьники участие приняли в этом деле — побежали в отделение милиции (телефона-то не было). Пришли, его забрали. Он оказался провокатором.

— А вообще была все-таки дисциплина?

— В Ленинграде в то время, я помню, в этом отношении было хорошо. Ну, вначале народ привыкал. Я уже об этом говорил: как мы привыкали, так и остальные привыкали. Случаи ограблений были единичные. Ну, тогда можно было что? Вы же знаете, что за килограмм хлеба можно было золотые часы купить.

— А кто же на рынке занимался этой торговлей?

— Разные люди приходили туда. Я могу такой пример вам привести. Тоже на толкучку, понимаете, парень пришел. В семье осталось только два мальчика — один постарше, другой помладше. Карточки у них есть. Отец на фронте. Мать погибла от голода. И они пошли на рынок продать бушлат. Они пришли туда. У них мужчина купил бушлат за триста граммов хлеба. Ну, вот пришли домой и хлеб съели. А на другой день проснулись — бушлат-то, значит, они проели, а карточки где? А карточки остались в бушлате. Парень, который продавал, запомнил покупателя по бородке. И этот мужчина с бородкой пришел к ним. По карточкам — там адрес был написан — нашел, принес и отдал. Видите?

— Удивительно! А как вы узнали про этот случай?

— Ну как, донесения же были. По Ленинграду всегда собирались всякие проявления и отрицательного и положительного характера. Отрицательных было мало, но были, а положительных, конечно, было больше.

— А вам шли донесения по какой линии?

— В Ленинградский Совет. Насчет продажи продовольствия у меня есть еще такой случай. Вот какое население наше было! Машина с хлебом шла. В машину попал снаряд. Шофера убило. Это действительно так было. Темно. Народ собрался — хватай и беги! Но ведь этого не сделали, все сохранили до крошки. Вызвали милицию, все погрузили и повезли... Или, понимаете, такой случай с двумя школьницами (у меня это записано, где-то это дома). Загорелся магазин... Нет, их четыре школьницы было. Так вот четыре школьницы бросились в этот магазин и стали таскать вместе с работниками сахар и еще крупу, что ли. И одновременно одна побежала и доложила, чтобы приезжала, значит, пожарная команда. Так спасли очень много продовольствия, предназначенного для выдачи. Такой случай... Но я вам еще не сказал, что, как это ни странно, хотя было очень туго, а все-таки Ленинградский Совет, наш исполком при поддержке Военного совета Ленинградского фронта, городского и областного комитетов партии приняли решение об организации школьных елок с первого по десятое января сорок второго года. У меня есть один документ. Вот он: «Устраивать новогодние елки в помещениях, обеспеченных бомбоубежищами». Ленглавресторан организовал обслуживание участников на празднике новогодним обедом без вырезки талонов из продовольственных карточек и елочными подарками. Вот пришли ленинградцам мандарины из Грузии. Тогда решили, что эти самые мандарины надо доставить в Ленинград к Новому году, и доставку эту поручили шоферам Триста девяностого автобатальона. И они были доставлены. Когда новогодние елки проводили, давали детям эти подарки».

Эти фантастические в тех условиях мандарины помнят сотни людей. Память эта теплой волной связывает тех, кто добывал, доставлял их в Ленинград, кто их получал, брал детской ручкой, прятал, прижимая под одеждой, уносил домой — маме...

Эти рассказы мы приводим в главе «Ленинградские дети».

Особая большая тема ленинградской блокады — организация «Дороги жизни». По литературе хорошо известно, кто и как участвовал в осуществлении, реализации спасительной идеи, каких усилий, трудов, самоотверженности от руководителей и от работников ледяной трассы это потребовало. Но это особая тема. Скажем лишь, что браться за такую невиданную по смелости и сложности задачу — организацию ледяной дороги через Ладогу — можно было, лишь веря в то, что люди наши способны на невозможное...

Не удивительно, что у многих бывших блокадников и поныне такое чувство товарищества и долга друг перед другом. Чтобы понять, почему Емельян Сергеевич Логуткин, генерал-майор, получивший боевую закалку еще в Испании, до сих пор озабочен судьбой ветеранов МПВО — неотступно добивается, чтобы наконец приравнены они были к «полноценным бойцам, участникам Великой Отечественной войны», — надо послушать рассказы его об этих «девочках семнадцати-девятнадцатилетних», которые, заменив ушедших в окопы мужчин, вынесли и смогли все...

«— Я рассказывал о тяжелом периоде блокады, я имею в виду первую зиму. Это была, я бы сказал, самая страшная схватка с врагом у стен Ленинграда. Кроме защиты непосредственно города, перед нами часто стояла задача помогать фронту.

— Вы говорите, восемь тысяч отправили на фронт?

— Да, восемь тысяч.

— В какие дни?

— В самый трудный момент, и оказалось, что у нас, если не ошибаюсь, осталось всего две с половиной тысячи личного состава. Я поставил вопрос: а что дальше? И доложил командованию, в частности начальнику штаба фронта генералу Гусеву Дмитрию Николаевичу: «А что дальше будем делать? Не с кем город будет защищать». Он мне сказал: «Емельян Сергеевич, не беспокойтесь, мы вам поможем». Через некоторое время меня вызвал командующий фронтом Говоров. Командующий выслушал и тоже сказал мне: «Мы вам поможем». Через некоторое время меня вызвал начальник штаба фронта генерал Гусев и сказал: «Радуйтесь, Емельян Сергеевич, к вам идет пополнение!» «Какое? Кто? Откуда?» «К вам придут женщины-ленинградки». А потом я спросил: «А что вы так смотрите на меня?» «Женщины к вам придут!» Я говорю: «Слушайте! Из армии?» Он мне сказал тихим голосом: «Вы поймите, поймите, товарищ Логуткин, дорогой! У нас мужского контингента в Ленинграде не осталось. А теперь вы сделайте выводы сами, сделайте все, чтобы они были солдатами!» Через некоторое время к нам пришли около семнадцати тысяч женщин-ленинградонок, молодых женщин и девушек. Это был замечательный контингент... Знаю хорошо историю вообще, нашу военную историю: пожалуй, никогда не было такого случая, чтобы кадровые части войск комплектовались женщинами. Я вообще этого не встречал. И поэтому первое время мы растерялись... пока поняли, что и с этим составом нужно уметь воевать, тем более что враг готовил наступление на город. И мы стали их обучать.

— Это начало сорок второго года?

— Начало сорок второго года, если не ошибаюсь, март сорок второго. И мы стали их обучать, личный состав обучать. Сейчас,

вспоминая прошлое, я бы прямо сказал: перед нашими женщинами мы, солдаты, офицеры, мужчины, должны снять шапки, поклониться. Ведь это они сбрасывали зажигательные бомбы с крыш домов, со зданий, тушили пожары, откапывали заваленных, помогали голодным, умирающим, хоронили мертвых, спасая город от эпидемий... После прорыва блокады, вернее после снятия ее, наши части — подчеркиваю, все те же девушки — по заданию командования Ленфронта помогали частям фронта громить противника. В тяжелых зимних условиях, часто на заминированной территории наши полки, двигаясь за наступающими войсками, восстанавливали железные дороги на главнейших направлениях. Они восстановили двести два километра железных дорог, пятнадцать железнодорожных мостов и семнадцать мостов деревянных. Они разминировали много площади, для того чтобы наши войска прошли. Когда я был на одном из направлений и по этим дорогам, которые восстанавливали наши бойцы, двигались эшелоны войск, то из вагонов солдаты и офицеры так кричали «ура», так они приветствовали со слезами на глазах этих замечательных бойцов-девушек, благодарили! Дальше. Нельзя списать со счетов и такие мероприятия, как разминирование пригородов Ленинграда. Вот взять Пулковские высоты, Пушкин, Колпино, Петродворец и много, много других. Ведь там были миллионы мин и снарядов! Кто их разминировал? Большинство из них разминировали солдаты МПВО.

— То есть девушки?

— Девушки. Они обезвредили на большой территории более семи миллионов взрывоопасных предметов. Что это? Разве это не героизм? Разве это можно забыть? Они же восстановили почти все основные здания города. Ведь из них подготовили тысячи штукатуров, электромонтеров, шоферов, плотников и других необходимых специалистов... Это же они восстановили набережную Фонтанки, они проложили трамвайный путь по Старо-Невскому, они восстановили сотни зданий школ, больниц и т. д. ...Вот передо мною сейчас встает картина, как мы отправляли людей после демобилизации. Но они не ушли! Ведь раз демобилизованы — можно домой! Так нет! Этого нельзя забывать. Они не ушли домой, они пошли по разнарядке восстанавливать промышленность на заводы, фабрики и во многие другие места...»

Добавим: с помощью МПВО делалось и великое дело, чрезвычайно важное для обороны всей страны — вывозили из Ленинграда зимой 1941/42 года уникальное оборудование, броневую сталь, цветные металлы, необходимые для промышленности Урала.

Люди, с которыми мы встречались, которых расспрашивали, записывали, называли нам десятки имен своих коллег и товарищей по работе, им отдавая все заслуги, говоря о труде и подвиге известных и забытых руководителей блокадного фронта, которые вносили в жизнь города волю и спокойствие, распорядительность и смекалостный поиск выходов из положений зачастую безвыходных. О тех, кто сначала в уме, а затем на карте и по не ставшему еще льду Ладоги прокладывал дорогу к спасению, кто нашелся и распорядился, когда стали хлебозаводы и город замер в предсмертном забытьи, дать электроэнергию с военных кораблей, кто добыл и снабдил горожан семенами и картофельными глазками весной и летом 1942 года, когда ленинградцы сделались еще и земледельцами, — всего и всех не перечислить и не назвать.

Нас поражали неиссякаемые резервы душевных сил людей. Но также поражало и другое: чего можно добиться организованностью, какие возможности создавала та работа, которую называют таким

холодным словом — организационная. Сколько еще можно, оказывается, сделать, когда ничего уже сделать нельзя, какие можно найти слова, какие чувства извлечь, как много можно (спокойно!) потребовать от других и от себя самого, когда, кажется, никто и ничего уже не может...

Подсчитано, что за неполных шесть военных месяцев 1941 года рабочий Ленинград сдал Красной Армии и Флоту 713 танков, 480 бронемашин, 58 бронепоездов, 2405 полковых и 648 противотанковых пушек, около 10 тысяч минометов, выпустил свыше 3 миллионов снарядов и мин, более 80 тысяч реактивных снарядов, авиабомб. Кроме того, на Кировском заводе, на заводе «Металлист» и других было отремонтировано около 500 танков и более 300 орудий. Адмиралтейский, Балтийский и другие заводы перевооружили, отремонтировали 186 кораблей разных классов.

Эвакуировано более полутора миллиона человек...

И все это, и все это в тех условиях, в таких условиях!..

Изо дня в день

Для живых жизнь продолжалась: работа, тревожные мысли о последней радиосводке, заботы о еде, тепле, близких, — в сутках были все те же двадцать четыре часа, каждый день проходил сквозь человека и ни один мимо. В рассказах, в сегодняшних воспоминаниях блокадников много точных фактов, состояний, деталей. В них и повседневная жизнь запечатлена: память (особенно женская) цепко, резко зафиксировала невероятную реальность тех дней и ночей.

Но именно дневники особенно полно передают дыхание того времени, знобщей повседневности, когда жизнь и смерть сошлись предельно близко, склонились вместе с блокадником над его чуть теплой буржуйкой...

Как ни странно, многие вели дневники. Некоторые по старой привычке, по давней привычке к бумаге, перу. Нередко в этих дневниках не только умение фиксировать факты и переживания, но и стремление осмыслить заново и человека, и историю, и вообще целый мир: война, блокада давали для этого предостаточно и поводов и «материала». К такому типу дневника относятся «подневные записки» директора Архива Академии наук СССР Георгия Алексеевича Князева «В осажденном Ленинграде», которые передала нам его вдова Мария Федоровна Князева. Документ этот (в нем более 1200 машинописных страниц!) заслуживает специального подробного изучения и разговора. Пока приведем лишь некоторые места, раскрывающие саму «идею» дневника Г. А. Князева.

«Ухожу на службу⁷. Стараюсь думать о работе, об истории культуры... Пишу о себе не как о субъекте, а как объекте. Все, что я пережил, переживают и многие, многие другие... Многие переживают то же, но все и кончается «трепыханием» сердца, смутно отражаясь, без ярких образов, без ясной мысли в мозгу. Сколько переживаний! И все они забываются, затухают, испаряются. Потом все кажется по-иному, как надо после. И какими героями, умниками становятся многие на самом деле обыкновенные люди. Котурны, ходули являются на сцену, лишь когда смотрит зритель. Но никто не знает, что делается в душе человека, когда он сам с собой, со всеми своими противоречиями, подъемом и упадком духа. Вот мне и хочется запечатлеть такого чело-

⁷ Г. А. Князев жил неподалеку от Архива АН СССР, на 7-й линии Васильевского острова, д. 2 — дом Академии наук. Он ездил в инвалидной коляске, ноги были парализованы.

века... Самое позорное для война — малодушие, трусость. То же и для нас — невоенных. Но 24 часа в сутки «обывателю» никак не удастся остаться в натянутом, как стальная струна, положении. Всякую струну нужно настраивать».

Вот человек, автор дневника, и настраивает себя и через дневниковый самоконтроль также. Чтобы не позволить голоду сожрать вместе с мышцами и душу. Записывая то, что наблюдает на «малом радиусе» (дом, улица по дороге к Архиву, работа), старается выходить на «большой радиус». О «невоенных» защитниках Ленинграда, о погибших и погибающих от голода, обстрелов говорит с уважением, но поскольку это и о себе, формулирует так: «пассивные героические защитники Ленинграда», «героические пассивные защитники» (имея в виду, что не видят врага и не могут нанести ему прямого урона).

«Интеллигентщина! Да, да, чем мы были, тем и останемся... У нас есть еще стыд, совесть. Это старые, «смешные» интеллигенты создавали великую русскую гуманистическую культуру и предпосылки Великого Октября... Я все силы напрягаю к тому, чтобы сохранить в отношениях с людьми предупредительность, мягкость, чтобы легче было. У меня нет хлеба, но есть покуда слово, бодрое и доброе слово. Оно не заменит хлеба... Но как противно, когда другие, не имея хлеба, швыряются камнями...

1941.X.12. Воскресенье. Сто тринадцатый день.

Целый день приводил свои папки с бумагами в порядок. Запаковал в три папки — одну в другую — свои записки. Сохранятся ли они или пропадут: сторгят, взрывная волна развеет их? Что бы там ни случилось, сложил их, а также и все ранее написанное в книжный шкаф на нижнюю полку.

Среди разных предположений ему ни в ноябре, ни в декабре, ни позже не приходит мысль, что записи его могут достаться вошедшим в город фашистам. Ни разу в дневнике, который в любую минуту мог оборваться смертью, следовательно, в документе искреннем, думается, исповедально откровенном, — ни разу Князев всерьез не представляет себе падения Ленинграда. Он не то чтобы гонит эту мысль как слабость, но просто не представляет себе этого не может.

Дневник свой он вел не для того, чтобы занять время. Архив АН СССР продолжал работать. Под руководством Г. Князева продолжалось создание «Истории Академии наук», сотрудники ходили на работу, собирали документы, часть документов, наиболее ценных, эвакуировали. Это был дневник рабочего человека. Каждодневные записи по несколько страниц производились после рабочего дня. В них не только описание тревог, бомбежек, голода, в них — работа Архива, быт учреждения, сотрудников, общественная жизнь города.

Интересно по дневнику следить, как менялись взгляды и оценки самого автора и на войну, и на голод, и на назначение человека. В такого рода подлинных документах драгоценны подробности городского быта, вид улиц, зданий, запахи, краски, звуки — все, с помощью чего можно представить себе Ленинград того времени. Детали такого рода уцелели большей частью лишь в дневниках. Там они сохраняются в подлинности, независимые от капризов памяти.

«Сфинксы, мои древние друзья, одиноко стоят на полупустынной набережной...

Напротив них мрачно глядит заколоченными окнами массивное здание Академии художеств. Каким-то тяжелым былым величием оно

и теперь подавляет. Поредел и обнажился Румянцевский сквер. Там бивак. Бродят красноармейцы, горит костер, лошадь щиплет остатки пожелтевшей травы. Около обелиска стоит какой-то фургон; по аллеям — несколько грузовых автомобилей; остальные, почти целиком наполнявшие сад, куда-то ушли. На Неве темная свинцовая вода рябит под падающими крупинками мокрого снега. Против Сената стоит трехтрубный военный корабль, почти закрывая с Невы величественное здание. Дивный памятник Петру потонул в насыпанном кругом него песке... Основатель города — в темноте деревянного футляра с песочными мешками... Осенний пейзаж. Я каждый день и каждый раз взволнованно переживаю видение этой дивной ленинградской панорамы. Выходя из дверей парадной, я первым взглядом убеждаюсь: целы сфинксы, цел Исаакий, цела Адмиралтейская игла, цел ангел с крестом на Александровской колонне...

1941.XI.8. Суббота. Сто сороковой день войны.

Печальное зрелище представляет собой ряд старинных домов по набережной от 1-й линии до университета: все они стоят с вылетевшими или разбитыми окнами. И Меншиковский дворец был, по-видимому, в центре взрывной волны, все его круглые окна вверху и окна в среднем этаже над балконом зияют пустотой, не осталось ни одного стекла. В нижнем этаже выбиты только отдельные стекла. В крыльях Меншиковского дворца также множество разбитых и вылетевших стекол, искроверканных рам. Такие же разрушения в доме б. Архива военно-учебных заведений и в филологическом факультете университета. Что случилось, так я и не мог понять: разрушений от бомб самих зданий нет, цела и набережная. Дворник сказал мне, что бомба упала в Неву близко от берега и разбила все стекла на набережной. Но может быть, это результаты разорвавшихся снарядов вчерашнего артиллерийского обстрела, когда мы утром слышали канонаду. Есть и третий вариант. Напротив, у Сената, стоит трехтрубный военный корабль с морскими дальнобойными орудиями. Из них, говорят, третьего дня во время налета стервятников было сделано несколько залпов. Мне и раньше говорили моряки, что если заговорят дальнобойные орудия с кораблей на Неве, то у нас на набережной все стекла из окон повылетят.

В Академии наук покуда все по-прежнему; только старые рамы в окнах Зоологического и Этнографического музеев закрывают пластырем из фанеры.

Всматривался в набережную противоположного берега Невы. Новых разрушений в окнах не видно, потому что большинство из них давно забиты щитами.

1941.XI.19. Трубы кораблей, стоящих вдоль набережных по Неве, окрасили в белый цвет. Автомобили грузовые из окрашенных зелеными пятнами покрылись белой краской, под цвет снега.

Нева начинает затягиваться льдом.

Около здания Первого кадетского корпуса по Съездовской линии все время у ворот и подъездов толпятся женщины, молодые, старые, дети, ожидающие свидания с родными — ранеными и выздоравливающими бойцами. Иногда почему-то толпа быстро перебегает с одного места на другое, заглядывает в окна. У одних вдруг глаза повеселеют, другие стоят угрюмые, раздраженные или совершенно ко всему равнодушные. У некоторых узелочки в руках.

И без того плохо одевавшиеся ленинградцы теперь совершенно потеряли всякий стиль, особенно женщины. Вчера видел пару: он в военной форме, она под ручку с ним в серой стеганке, ватных штанах-шароварах и коричневой феске с кисточкой. А лицо молодое, простое, довольное. Идет, по-видимому, с женихом или молодым мужем. Одеж-

да других сборная, с «хронологическими наслоениями». Трудно, почти невозможно будет восстановить впоследствии художнику, писателю эту толпу, как она выглядит на улице; неизбежно придется прибегать к выдумкам и бутафории».

Такие дневники — редкость. Большинство людей записывали свои переживания, свою борьбу за жизнь, за близких. Есть дневники — трагические повествования о судьбе какой-либо семьи или человека, о том, как он отчаянно сопротивлялся, как работал (большинство дневников вели люди работавшие). Попадались нам дневники, описывающие главным образом, где и что съедено, как отоваривали карточки, сколько продуктов выдали. В одном из них со все возрастающей скрупулезностью В. Б е л я к о в записывал:

«6 января 1942 г. Ходил в столовую на Чубаровом пер. Скушал четыре порции каши из дуранды — больше ничего не было. За кашу оборвали 50 гр. крупы... Каша плохо переваривается, чувствую боли в желудке...

16 января. За хлебом стоял около двух часов. Встал в 5 ч. утра... и только в 8 часов получил теплый хлеб... Обед сегодня принял сказочный характер, он длился с 11 ч. до 16-30. За это время скушал одну тарелку щей, один суп-лапшу и один перловый суп. Много пил воды, лицо сильно опухло...»

С непонятной ныне настойчивостью перечисляются почти ежедневно эти цифры, тарелки, граммы. В этом была жизнь, а может, это казалось самым важным, самым ценным и для истории? И тут же изо дня в день тянется рассказ о том, как он, Беляков, искал, кто бы ему переделал боксерские перчатки в рукавицы, потому что руки мерзли беспощадно, а надо было носить и дрова, и хлеб, и воду.

Многие только с наступлением блокады принялись — впервые в жизни — записывать. Люди вдруг ощутили, что оказались в центре событий таких, в которые завтра они сами не поверят: да было ли, могло ли такое происходить, можно ли было пережить все это? Вот записи нашего разговора с Галиной Григорьевной Бабинской. О ней мы упоминали — высокая немолодая красивая женщина, живущая в старой «петербургской» квартире, где и рояль, и стены, и лепной потолок тоже как бы часть «блокадного дневника».

«— Вот обваленный потолок был заделан потом, знаете, как это ни странно, пленными немцами.

— Что? Вот эти рисунки — это они делали?

— Нет, там штукатурка просто была. Вот эта заплатка, светлая, это заделали они. У нас сосед был, которому дали немцев на ремонт его комнаты, а он и к нам их направил ремонтировать потолок. Это было, наверно, в сорок шестом или сорок пятом году. Если не в сорок четвертом. Здесь нужно восстановить лепнину и роспись, но это дорого и руки не доходят. А вот осколки стекла тут, в рояле, блестят до сих пор. В доме напротив взорвалась бомба. Дом был тогда двухэтажным (сейчас надстроено два этажа). Я была на работе. А мои — мама и бабушки — оставались здесь. Это был сорок второй год. Сейчас я старший научный сотрудник Государственного музея этнографии народов СССР. Так что я этнограф, до некоторой степени путешественник. Заодно мы еще туристы: вдвоем с мужем лодочники. Вот у нас и байдарка тут стоит.

— Дневник писался, когда вам было девятнадцать лет?

— Да, мне было девятнадцать.

— Скажите, с какой мыслью вы его писали?

— Трудно сказать. Самая главная мысль была та, чтоб когда-нибудь, когда все это кончится (а в этом сомнения не было, раз мы писали такие вещи), так вот, когда все это кончится, и самой читать, и, очевидно, прочесть тем, кто этого не видел.

— А до войны вы вели дневник?

— Ну школьный какой-то там, ерундовый... Привычка писать у меня, надо сказать, и до сих пор сохранилась.

— И уверенность была, что выживете?

— То есть в этом не было никакого сомнения! Это какая-то глупая надежда была. Вот даже идешь по улице — обстрел, бомбежка, и почему-то о том, что это может коснуться меня или моих близких, у меня никогда даже мысли не было: где-то с кем-то что-то, но не со мной и не с моими близкими.

— А какая у вас была семья? С кем вы тогда жили?

— Я, мама, две бабушки было на тот момент».

Галина Григорьевна читала нам свой дневник и поясняла его время от времени:

«— «15 декабря 41 года. Прошел последний трамвай. Трамвайные пути занесены снегом и покрыты льдом. Провода повреждены. Вагоны стоят на путях»... А надо сказать, что потом я стала работать в Трамвайно-троллейбусном управлении и восстанавливала как раз вот ту самую трамвайно-троллейбусную сеть, о которой первые строчки моего дневника. «25 декабря. Увеличили норму хлеба: со 125 граммов до 200 граммов (это служащим) и с 250 до 350 — рабочим. Кузька спасен от смерти...» Кузька — это кот. Этого кота мы собирались со дня на день съесть, со дня на день покушались на его жизнь. Кот был чистый, домашний, очень хороший и очень любимый. И запись эта не случайна, поскольку каким-то образом этот момент был отсрочен. Ну, мы думали, что он вообще спасен, но ничего не получилось. «28 декабря. В квартиру перестала поступать вода. Приходится брать ее в первых этажах... Деликатный момент: 30 декабря последний раз пользовались уборной. Двор принял первый «подарок» в конвертике...» Понятно? Да? Можно не комментировать. «Редко чистим зубы. Моемся не больше одного раза в сутки. Вода в ведрах и банках на кухне замерзает. В конце января переставились в комнате: в комнате буржуйка. Греемся, готовим пищу три раза в день и пользуемся ею (то есть буржуйкой) как освещением. 18 января. Догорела последняя свечка. В керосиновую лампу налит бензин. Пользуемся ею только во время еды...» А вот это существенно, это вообще говорит о нашем состоянии: во время утреннего завтрака, на кровати, рядом с обеденным столом, в той вот комнате умер Меншиков. Это одной из наших бабушек приемный сын. Ну, это, в конце концов, не важно — приемный, не приемный. Важно то, что человек лежал тут же в комнате на кровати, пока мы принимали вот эту самую долю утренней пищи. Он умер, но завтрак был доведен до конца. Наступило уже какое-то торможение, не было места для таких эмоций, которые естественны для нормального человека и для нормального состояния... «За рытье могилы и похороны просили килограмм хлеба и 300 рублей деньгами».

— За похороны триста рублей деньгами?

— Да, и один килограмм хлеба. А где взять килограмм хлеба, когда по карточке не хватает, а на рынке совершенно бешеные цены. Вот поэтому так и свозили — в простыне, на саночках и куда-то в угол. В связи с этим обязательство управхоза (это, видимо, по распоряжению милиции — управхозами милиция, наверно, ведала): «Обязуюсь трупы умерших безродных граждан не вывозить на кладбище».

без гроба». Потому что часто трупы находили во дворах, на чердаках, на лестницах. «По словам врача К., умирает 80% мужчин»... Это все середина января. «Дрова из сараев переносятся в квартиры, потому что из сараев и дрова тащат и сараи разбирают на дрова... Мама ежедневно распределяет нормы хлеба по кускам...» Это то, что я вам уже говорила. Ну, вся эта норма делилась на три части в день, а потом еще каждая эта часть должна была делиться по членам семьи. «На улицах нет ни одной кошки, ни собаки: все съедены в январе. А еще в начале ноября дохлые кошки валялись, завернутые в бумагу».

— Выбрасывали?

— Их тогда еще выбрасывали, а теперь уже нет.

— А кошка ваша уже съедена?

— Еще нет... «В начале ноября получено разрешение на разборку предохранительных ящиков из-за недостатка света днем, в связи с чем резко ухудшилась светомаскировка... Декабрь и январь — месяцы астрономической смертности: люди мрут возле дома, на улице, на работе... Умирая буквально на улице от голода, перенося сверхъестественные лишения — отсутствие света, тепла, бытовых удобств и т. д., а главное, достаточного количества пищи,— никогда не слышно ни жалоб, ни пораженческих разговоров...» Вот так у меня записано. И это действительно было так: абсолютно никто ничего. Характерно, что большинство ленинградцев чем дальше, тем больше принимали свои желания за действительность. Так было с прорывом кольца блокады, прибавкой норм, занятием Мги и т. д. Тут еще записан целый ряд моментов: закрыты парикмахерские, закрыты кинотеатры, Театр комедии, Ленинского комсомола. Музкомедия работала сначала периодически, но вскоре вовсе прекратила свое существование. Город замер. «Объявление на двери магазина: «Продается новый гроб». Дальше идет цена, размер... 17 января. По Пионерской улице резво пронеслась овчарка. Прохожие проводили ее жадными бессильными взглядами». ...Вообще удивительно, потому что откуда эта овчарка, да еще так резво пронеслась?..

— Может быть, военных?

— Да, может быть... «Выгорают каменные здания. Пожары длятся неделями. Мер к тушению не принимают: нет воды, неисправен водопровод. Затопило проспект Карла Либкнехта на участке Блохина — Пионерская и Введенская. Это почти от Тучкова моста и Пионерской и Введенской. Вода вышла на панель, в воду попадают автомобили до половины колес... Характерная фраза одной старухи: «Попадись он мне, сукин сын (речь идет о Гитлере), я бы ему дала баню!» А сама старуха еле говорит от слабости и старости. Все деревянные дома, ларьки и стадион Ленина — все снесено на топливо... 15 апреля. Из трампарка вышел первый маршрут пассажирских трамваев — 3, 7, 9, 10 и 12. Пошли уличные часы на Большом проспекте... Осенние плакаты «Все на фронт!» сменились плакатами «Все на огороды!»... Объявления о продаже гробов сменились объявлениями о продаже мебели, домашней утвари, носильных вещей... Карточки отовариваются целиком, но продукты отнюдь не дешевле (рыночные, разумеется), достать их почти невозможно, еще более невозможно, чем зимой... Разрушенные дома маскируются декоративными стенами. Очень долго разрушенный дом на углу Невского проспекта и улицы Герцена (где было здание института) был замаскирован всякими фанерками, плакатиками и т. д. Места, где разрушены здания, разработаны под гряды...» Ну, дальше целые страницы всякой лирики...»

Теперь из дневника ~~Елены~~ Николаевны Аверьяновой-Федоровой.

«— Как вы начинали этот дневник, почему?»

— А я не начинала... Я даже не знаю, что меня толкнуло... Я провозжала человека, он пошел добровольцем на фронт. Думаю: надо записать, как там будет что... Ну, не знаю...

— Прочитайте, пожалуйста, что вам самой кажется интересным.

— А мне сейчас это кажется уже не очень интересным. ...Значит, сначала идет про этого Федю. Потом: «Хлеба стали давать уже 600 граммов». Уже начинается сбавление. Дальше: «14 августа 1941 года. К нам пришли жить бабушка, тетя Таня, кока (моя крестная) и сестра. У них ничего, кроме своих карточек, нет. У Тани немного крупы, килограмма два, картошки килограмм и сахару немного, у бабушки ничего. Но зато у нас с мамой крупы (пшеница) 4 килограмма, чечевицы 3 килограмма, риса 4, манной 2,5, овсянки килограмм и что-то еще, сахару 6 килограммов (нет, песку 5 килограммов), чай, кофе, соль, горчица... Все продукты пустили в общее пользование: варили все на всех, ни с чем не считались. Купили капусты на 150 рублей, посолили и все время варили щи, а потом кашу и каждый день ели досыта. Все было хорошо, да еще получали продукты по карточкам. В сентябре мы еще жили прилично, так что хватало на пять человек. Только вот каждый день вечером, в 7 часов, начиналась бомбежка. Но мы в убежище не ходили».

Чувствуете: «все время варили щи», «каждый день ели досыта» — какая досада и горечь сопровождают эту опрометчивость! Спустя два-три месяца эта нерасчетливость будет мучить голодными видениями. Кто мог знать, как оно все обернется. У опытных старых питерцев, видевших голод двадцатых годов, и у тех не было ни предчувствия, ни предусмотрительности.

А Елена Николаевна продолжала листать дневник:

«Дальше идет опять про Федю... Ага, вот: «Плиту топим через день. Готовим все на плите. Керосина не дают, приходится жечь дрова. У нас их пока много. Думаю, на зиму хватит. Больше пока никто не дает, хотя в коммуне пять человек. Ну а все-таки держится наше хозяйство, пока все есть. О дальнейшем не беспокоюсь. Ну ладно, надеюсь, что хватит на всех, а там видно будет, что дальше. Мы еще живы. Ведь это очень много. Бомбят, и страшно. Разрушено много домов, ну, конечно, не без жертв».

А с Федей... Хочешь, не хочешь — ни обойти, ни миновать, она входит, врывается в блокадное существование, история той первой любви. В Ленинграде как нигде фронт и город сплелись, соединились родственно на все девятьсот дней. На фронт ходили пешком, с фронта тоже. Город был виден из окопов, видно было, как он горел, выгорал. Каждую ночь светились вдали багровые оскалы пожарищ. А днем силуэт города, знакомый, родной, изученный до малейшего изгиба, курился и тлел копотным дымом. Город поедали обстрелы, бомбежки, пожары. А трубы не дымили. Ни заводские, ни бесчисленные печные над снежными волнами крыш. И воздух был прозрачен, оптически чист, так что видно было далеко. Никогда еще город не проступал с такой четкостью на бледном северном небе. Город был виден с переднего края из-под Пушкина, и с Пулковских высот, и с Красного Бора, и даже с Невской Дубровки.

«9 октября. Сегодня ездила к Феде на ст. Шушары. Опишу все по порядку. Еще с вечера собрала все, что отвезти: взяла ему носки теплые, шлем его, просил привезти трубку, табак и вместо хлеба купила пря-

ников, 600 граммов конфет «Крыжовник», сахару, вина даже маленькую бутылочку, папирос, конверты, бумагу — все. Утром собралась, вышла в 6 часов. Зашла за Наташей». Была у меня такая знакомая, которая ходила вместе со мной... «Очень много часовых пришлось пройти — либо уговаривать, либо обманывать, либо дать папирос за то, чтобы хоть пропустили. Одних обошли минным полем, а не по шоссе, и долго шли полем, а потом уже около Шушар вышли на настоящую дорогу. Но здесь опять патрули не пропускают, говорят: «Куда вы идете, там фронт». И верно, стреляют очень здорово. Но я решила не отступать, все равно идти. Наташа говорит: «Ну, ладно, пойдем домой». Я говорю: «Нет, теперь уже почти пришли, осталось немного, и обратно я не пойду. Можешь возвращаться, я пойду одна».

Пошли вдвоем. Встретили военного. Он помог уговорить часовых, и нас пропустили. По дороге мы встретили женщину — военного врача, и как раз того взвода, где наши ребята. И того и другого она знает. И вот благодаря ей мы скоро нашли землянки, где они находятся. Но их недавно разъединили, и Кузю перевели дальше, а Федя остался здесь. Наташа пошла дальше, я стала ждать Федю, так как его на месте не было: он был связным. За ним командир послал бойца, а меня пригласил в землянку погреться, так как на улице было холодно, а я была в осеннем пальто, замерзла. И вот я зашла в землянку. Вскоре пришел Федя. Сперва мы даже не знали, что сказать, ничего не нашлось. Командир его отпустил. Сказал: «Пойдите погуляйте. Когда проводишь, то придешь и скажешь».

Вот мы с ним пошли в один дом. Там была хозяйка. Усадила, угостила нас. Поговорили. Потом опять начался обстрел. Перешли в землянку, там было неуютно. Потом я пошла домой. Все, что привезла, ему отдала. Конечно, он был рад и мне и подарку. Так он проводил меня до первого поста. Дальше ему идти было нельзя. Я пошла домой опять пешком по шоссе. Вышла из Шушары в 2 часа, а в 6 часов вечера мне нужно было на работу. А идти далеко, да и устала и тяжело. Но ничего, зато Федю видела! Только стала подходить к мясокомбинату, опять начался обстрел, и так близко снаряды рвались — прямо жутко! Остановиться нельзя — время не ждет, боюсь опоздать на работу. Бежала, согнувшись, до самого трамвая. Устала как собака! Приехала домой уже в шестом часу и только успела поесть, переодеться — надо уже на работу. Пришла на работу усталая, спать охота. В 8 часов тревога. Пошли в бомбоубежище, так я там уснула. Немножко отдохнула. Но я не смогла даже работать — так я устала.

10 октября. Сегодня от вчерашней прогулки все тело болит, как будто на мне возили тяжести, до чего все болит! Но зато Федю видела! Не знаю, доволен ли он или нет, что я к нему, несмотря ни на какие трудности и обстрелы, все-таки приехала, но я довольна, что его видела. Он выглядит хорошо, рассказал мне, как были в боях, как по пять дней ничего не ели, как их часть разбили, как они хотели бежать в Ленинград, но по дороге встретили своих и остались в Шушарах.

Да, в 18 лет так много испытал — не хорошего, не легкого, а тяжелого. Он рано понял, что жизнь тяжелая, и теперь ему еще и войну и бои пришлось пройти. Молодой, а пережить пришлось много. Вот за это он мне еще больше дорог, что ничего хорошего не видел и опять пришлось нести тяжелые испытания. Война! «Вот, — он говорит, — у меня нет ни отца, ни матери, а ведь у других есть, и ни к кому никто не пришел, а вот ко мне ты пришла». Я ему говорю, что постараюсь тебе заменить отца и мать, друга и сестру, всех, и все, что зависит от меня, я всегда для тебя сделаю. И я свое обещание выполняю... Я еще

думала тогда, что встретимся, долго была надежда. Погиб он... «11 октября. Федя просил меня достать ему перчатки и рукавички. И вот я решила достать через фабрику. Мне помогли в фабкоме, выдали не только рукавички кожаные, стрелковые, хорошие, но и теплое белье, и я поеду к нему в воскресенье еще раз, свезу. Спасибо они позаботились, помогли мне все достать для Феде».

Сегодня собирали деньги для подарков бойцам. Все давали по пять—десять рублей, а я уже не считала, дала тридцать. Ведь это же наши бойцы, они нас защищают.

14 октября. Сегодня сбавили норму хлеба до 500 граммов.

15-е. Опять сбавили норму до 400 граммов.

16-е. Сегодня опять ездила к Феде в Шушары. На этот раз пришлось потруднее. Ездила одна — Наташа больше не захотела. Я решила добратся, как бы трудно ни пришлось».

И добралась. Сколько написано книг, сколько примеров подвига женской любви, и все равно вновь поражаешься, слушая это скупое, неумелое описание походов из города на фронт, в окопы. Пока голод не помешал. Потом уже сил не было.

«— Из тех ребят, что ушли у нас добровольцами, почти никто не вернулся. Девочки некоторые вернулись. Их как-то отправили сразу дальше за Ленинград. Они вернулись, несколько человек, двое или трое. И я до сих пор еще подруг встречаю».

— А Федя с вашего завода?

— С нашей фабрики, где мы тогда работали... «17 января 1942 года. Тяжелое время! Уже восьмой месяц как продолжается война с Германией. Все, что мы пережили за это время, очень трудно описать. Но эти трудности еще не кончились, а только сейчас самый тяжелый период этого времени. Опишу некоторые факты. 15 января. В этот день мы хоронили свою бабушку, и то, что я увидела в этот день... Я никогда не могла подумать, что может такое случиться. Хоронить пришлось без гроба, потому что гробов нигде не купишь, а сами сделать не в силах, а кого-либо просить это сделать можно только за хлеб. Но где же его взять, когда мы сами получаем 350 граммов в день и, кроме хлеба, больше...» (Плачет.) Что это такое!.. Даже не думала, что буду плакать... Ну, ничего... «Но где же нам взять хлеба, когда мы сами получаем 350 граммов в день и, кроме хлеба, больше ничего. Уже 18 дней как живем на одном хлебе. Голод продолжается уже четвертый месяц. Мы съели все то, что у нас было, общей коммуной, и все было хорошо. А теперь, когда у нас уже ничего не осталось...»

— Вы продолжали жить вместе?

— Да. А вот сейчас будет распад. Когда у нас ничего не стало, начнется распад, все будут уже уходить. Мы с мамой останемся вдвоем. Правда, она потом на оборонные работы уйдет, а я на казарменное перейду. Но самое-то трудное время я работала на фабрике и жили мы все-таки дома.

— Вам тогда было двадцать, а маме?

— А маме было пятьдесят. Она тысяча восемьсот девяностого года... «Не давали ничего продуктов. Еще в том месяце кое-какие продукты давали, но зато хлеба давали только 250 граммов... Это еще, значит, в декабре было двести пятьдесят граммов. Это в блокаду была самая маленькая норма рабочим, а потом — триста пятьдесят. Но у нас были рабочие карточки, мы работали... «А продукты такие, что в тот голод, в восемнадцатом году, даже, наверно, совсем...» Не разби-

раю, что написано... «Хлеб очень плохой, с примесями разными... Но сейчас даже и этого не дают... Везли мы бабушку на кладбище на санях по очереди: я, мама, тетя Таня, Шура. Сами едва ноги волочили. От такого питания не знаю, как мы все еще живем... А друг за другом — непрерывная цепь с покойниками, большинство без гробов. Но этого мало. Хорошо, если везут свои родственники, а то того хуже — провезут целый грузовик нагруженный, раздетые, разутые, кто как и кто в чем»... Собирали людей на улице. Идет человек, падает, умирает — и его в машину. И вот там, на кладбище, такие большущие братские могилы были... «Шесть грузовиков и три повозки на лошадях — это при нас привезли,— полные покойников. Смотреть жутко! А сколько уже перевозили и не успели зарыть! Рабочие, которые присланы сюда с фабрик и заводов (потому что заводы не все работают), не успевают вырывать ямы, хоронить. Хоронят теперь всех в общую могилу, без гробов, друг на друга... Вот еще месяц назад, т. е. 19 декабря, когда мы хоронили Коленку...» Сестренки Шуры маленький сынишка, мой племянничек... «...то могилы были уже за пределами кладбища, на новых участках. А теперь еще дальше общие могилы».

— Это какое кладбище?

— Охтенское, Большая Охта. Оно и до сих пор существует. Там большие братские могилы. Вот туда мы везли бабушку. А Коленку мы хоронили еще на нашем месте, где у нас папа похоронен, на Георгиевском кладбище — так оно называлось... «22 января 1942 года. Свету нет, воды нет, движения нет. Трамваи не ходят. Автомашины проходят очень редко. Зато очень много пешеходов с санями, гробами, с мертвецами. Это единственное движение по городу. Магазины все закрыты, только булочные да некоторые продуктовые магазины, и те пустые и темные. Люди все опухшие, страшные, черные, грязные, тощие. Прошло семь месяцев. Кажется, что прошло семь лет. Все постарели. Молодые стали такие страшные, старые, что просто жутко смотреть. Очень много домов разрушено. Кто вернется сюда, то он навряд ли узнает город сразу. Но все это не так страшно, как голод. Мы меньше всего ожидали, и это получилось... Только бы все это пережить! Тогда уже будем ценить каждый кусочек хлеба — не так, как раньше, даже не хотели смотреть на него... А теперь вся жизнь зависит от этого хлеба и воды. Вот как сегодня: воды нигде не было, вот и хлеб не выпекали. Разбило водонапорную башню, и не было воды на хлебозаводе, была задержка, и в очереди пришлось стоять за ним по 4 часа на таком морозе!..

15 февраля 1942 года. Самое большое несчастье — у мамы украли хлебные карточки. Ведь это же смерть. До 1-го еще далеко. Без хлеба жить невозможно. Что делать? Когда я пришла с работы и мне мама об этом сказала, я прямо не знала, что делать. Сгоряча я ее поругала, потом разревелась. Но ведь этим не поможешь. Пошли на рынок. Купили 500 граммов, заплатили 150 рублей. Спасибо, что продали. Но ведь каждый день невозможно покупать на рынке, никаких же денег не хватит. Хорошо, если будут давать кое-какие продукты, а если нет, то очень тяжело пережить это время. Я приложу все силы, потрачу все деньги свои и Федины, но только бы выжить. А живы будем, все потом наживем. Только бы пережить! Очень тяжело, но что же делать? На маму сердиться не могу. Наверно, судьба наша такая.

В комнате за столом, кроме нас троих, — светящаяся тихой старостью щупленькая мама Елены Николаевны. Запомнилась: как дерево, что по-осеннему светит кроной, сияет. Молча, внимательно слушает, как ребенок страшную сказку, у которой, уже знает, конец все-таки благополучный...

У каждого был свой спаситель

Мы записали множество рассказов, из которых видно, как люди выжили, хотя по всем объективным данным должны были умереть. Одна из женщин, Александра Михайловна Арсеньева, это чудо сформулировала так: «У каждого был свой спаситель». И действительно так. Не в том только смысле, что многие выжили лишь потому, что в самый трудный момент кто-то кого-то поднял на улице, вернул утерянную карточку, поделился последним. Была и более сложная зависимость.

Люди остались в живых потому, что их держало на ногах чувство любви, долга, преданности — ребенку, дорогому человеку, родному городу... Спасались, спасая. И если даже умерли, то на своем последнем пути кого-то подняли. А выжили — так потому, что кому-то нужны были больше даже, нежели самому себе. Вот и А. М. Арсеньева помнит, что нынешней своей жизнью она обязана людям, которые спасали ее. И не раз.

«Кто меня спас? Вот недавно я нашла своего, можно сказать, спасителя. Она меня устроила в комсомольский полк. Нашла я ее совершенно случайно: она приехала на встречу школьных друзей из Алтайского края.

А первый мой спаситель? Я даже не помню его фамилии, но знаю (мы работали с ним вместе), что он был шофер. Кого он возил, уже теперь не помню, знаю, что его звали Саша. Очень симпатичный парень был. И вот как-то он приехал к одной женщине и решил забрать своего племянника. Привез он ей спирту немножечко, чуть-чуть гречневой крупы и, конечно, чурки — отапливаться. Вот они сидят за столом, какой-то сыр, как мыло, едят. А я лежу. Саша смотрит: «Кто это у тебя?» «Да вот женщину нашли без сознания. Была бомбежка. Не знаю, кто она такая». А я-то его узнала, я так слабо-слабо говорю: «Саша!» Он так посмотрел, подошел ко мне и говорит: «Александра Михайловна! Это вы?» Я говорю: «Я, Саша».

И вот он пошел на работу (а я там была списана как пропавшая без вести), пошел, сказал, где я. Ко мне пришли, потом уже на саночках доставили домой; больничный дали. А я уже умирала! Ну, девочки у нас были хорошие. Они с меня снимали платье (у меня платье было с Невского, 12⁸ — золотистое, шелковое). Вот это платье выстирают (я лежу голая) — наденут, выстирают — наденут. Каждый, кто приходил, все почему-то платье стирал. Я лежала в чистом, у меня не было вшей. На работе я осталась главным бухгалтером. Ну какой я главный бухгалтер, если я думала только о хлебе? И дочку я взяла с собой на работу».

Сколько их, подобных случаев! Каждый отдельно может показаться странным, нечаянным, но когда слышишь о них подряд, начинаешь понимать, что за этим стоит.

«Идем мы с Ларисой (дочь моей подруги Лены) через Баварский мост, что у «Красной Баварии», подходит моряк и говорит: «На, девочка, держи от дяди Вани!» — и дал килограммовую банку американской тушенки. Мы бегом домой, и все четверо ели не разогревая», — вспоминает Вера Ивановна Павлова (Тосно, ул. Боярова, д. 52, кв. 50).

Такие случаи запоминаются во всех подробностях. На всю жизнь врезалось: и Баварский мост, и облик этого безвестного моряка, и как

⁸ Известное в Ленинграде ателье мод.

они ели эту тушенку, которая, может, спасла их, и Ларису и Колю, взрослых ныне людей, у которых уже свои дети. И когда В. И. Павлова навещает свою подругу Лену, которая уже нянчит детей Ларисы, они вспоминают того моряка на Баварском мосту, и он уже существует и для внуков, которые его никогда не видели.

Также незнакомый, безвестный, безымянный уже не матрос, а солдат спас Марию Ершову. Он пришел к ней на прием в поликлинику, стал жаловаться на расстройство желудка. Она спросила, что он ел. Он сказал — конину.

«Я всегда очень застенчивая была, а тут впервые попросила, не сможет ли он достать мне конины. Он говорит: «Доктор, что вы? Неужели вы будете есть конину?» Спросил адрес и принес мне большой кусок конины. Ну, я взяла, потом поделилась с соседками».

Она рассказала это с удивлением. Столько лет прошло — и до сих пор удивительно и, может, стало еще удивительнее. Потом задумалась и вспомнила, что ведь был еще человек, который ее спас без всяких даров, делясь совсем другим.

«Я уже получала рабочую карточку. И все равно я продала все что могла на рынке. Зарплата у меня была приличная по тому времени, я все-таки врач. И я ведь все только для себя. Детей-то увезли. И все равно я умирала. Меня тогда спасла соседка. Ее сейчас уже нет в живых. Но я встречаюсь с ее дочерью Аллой. Один раз я просто не пошла на работу — не могла. Наконец моя соседка обнаружила, что я дома лежу, встать не могу. Есть нечего. Совершенно не отапливаюсь. Она забрала меня к себе. Мы жили в одной квартире. Полина немножко крепче была. Ломала, таскала какие-то дровишки, топила. Ее дочери было лет шесть, наверное. Полина согреет нас, чай нагреет. Я заболела в этот период воспалением легких. Так она пойдет на базар, поменяет там черный хлеб на белый или на кусочек чего-нибудь сладкого. Однажды дочь оставила ей вот такой кусочек хлеба — не съела сама. Мамочку она любила. И вот моя соседка Полина Георгиевна этот кусочек долго не ела, хранила. Потом все-таки съела».

Никто не мог оставить на память даже кусочек того ленинградского хлеба. Каким бы дорогим, святым он ни был. Все же мы допытываемся:

— Почему соседка взяла вас к себе? Что ее заставило?

Ершова думает. Сперва она отвечает:

— Мы в одной квартире жили. — Потом говорит: — Мы дружили. — Потом она находит какую-то во всем этом более важную, насущную мысль: — Мы до сих пор дружим. Сейчас мои внуки дружат с ее внуками, ездят к ним в гости, они сюда приезжают.

Мысль ее как бы восходит к достоинству этой дружбы, к чистоте ее происхождения. Блокадные испытания как бы украсили «генеалогические древа» обеих семей; порядочность, благородство во время блокады стали семейной гордостью. Так, по крайней мере, наблюдалось во многих семьях потомственных ленинградцев.

В трудовых коллективах, устойчивых, коренных, таких, допустим, как Кировский завод, Публичная библиотека, Металлический завод, милиция, — там тоже репутация блокадных лет была как бы гарантией порядочности.

Блокадная жизнь обнажала самые затаенные, скрытые пороки человеческие, которые в обычной мирной жизни часто маскировались красивыми словами, активностью, улыбками, заверениями, умением

понравиться, быть душою общества и тому подобными способностями. Но происходило и обратное. За молчаливостью, упрямою, резкостью, неучтивостью вдруг открывалась такая готовность помочь, такая сила нежности, любви, сочувствия!..

Сотрудница Эрмитажа Ольга Эрнестовна Михайлова говорит:

«— Блокада нас настолько крепко связала, что развязать эту связь мы не можем до сих пор. Блокада раскрывала людей до конца, люди становились как бы голенькими. Ты сразу видел все положительное и отрицательное в человеке. Доброе начало, хорошие стороны расцветали таким пышным цветом! Могу рассказать вам об Анне Павловне Султан-Шах, которая работает в отделе Востока. Она и сейчас еще работает. Она пятьдесят с лишним лет работает в Эрмитаже. Это человек, который сделал для Эрмитажа колоссально много. И вот она в блокаду взяла на себя заботу о пожилом поколении Эрмитажа.

— А ей сколько было лет?

— Она была средних лет. (Сейчас ей восемьдесят с чем-то.) Вот как она за ними ходила, как старалась их сохранить (ну, это громко звучит, но все-таки можно так сказать): дать горячий чай, навестить лишний раз, если не пришел на работу, — сходить выкупить хлеб, помочь там что-то сделать. А ведь сама она была не в лучшем положении, чем все. Она не на каких-то особых была хлебах, она тоже работала, как и все. Удивительно, что и сейчас она осталась такой же, хотя внешне это человек даже немножко суровый, не сразу скажешь, что она такая добрая. А если человек имел какие-то плохие задатки, он и оставался плохим, может быть, даже становился хуже. Жадный безусловно мог стараться выжить за счет другого. А тот, кто не был эгоистом, тот все-таки так не делал, он последним делился».

Однако вернемся к тому, другому, незнакомому человеку, к встречному. Кто он был, этот человек, который помог работнице Лидии Георгиевне Охалкиной тащить санки с вещами, а главное — с посылкой, где были продукты, присланные мужем с фронта? История Лидии Георгиевны Охалкиной — это особый рассказ, жаль нарушать его цельность, но очень уж подходящий пример.

Наступал вечер. Стемнело. Целый день она ходила, таща за собою эти санки, оформляла предстоящий отъезд, спасительную эвакуацию, и вот теперь надо было возвращаться домой, с Чайковской улицы на Васильевский остров.

«Чемодан и посылку мне было везти очень тяжело, и я выбивалась из сил. На улицах Ленинграда, как только стемнеет, совершенно народу не было. Улицы были пустынные, тихие, была пурга, из-за нее идти еще труднее. На дорогах и панелях пластами лежал снег. Его в ту зиму никто не убирал. Ноги мои тонули в снегу, и я их еле передвигала. Часто останавливалась, тяжело дышала. Вся взмокла, чувствовала, что по лицу и спине бежит пот. Стала считать шаги. Раз, два, три, так до десяти, потом останавливаюсь, передохну. Опять раз, два, три, снова останавливаюсь. Я себя сравнивала с усталой лошадью, которую бьют кнутом, а она не может сдвинуться с места. Один раз я остановилась, чтобы передохнуть, а двинуться потом совсем не могла. Навалилась на свою поклажу и с ужасом думала, что же мне делать. Времени час ночи. На дороге ни души. Я шла по набережной Невы, подальше от домов: боялась, что кто-нибудь от домов, ~~из-под~~ ~~ворот~~ может меня убить и отнять посылку. А бедные

мои дети долго будут плакать и, не дождавшись меня, умрут. От этих мыслей у меня разрывалось сердце. Они уже с восьми утра не кормлены, находятся сейчас в холодной, нетопленной комнате, в темноте. А я здесь, на улице, и никак не могу до них доехать. Что делать, что? Постучаться к кому-нибудь, попросить помощи? Оглянулась кругом — темно. Да кто ночью пойдет? Скорей прихлопнут меня и все заберут. Нет, надо как-то двигаться самой. Чуть тронула санки. Опять считаю: раз, два... Вдруг откуда-то взялась женщина, подошла ко мне и говорит: «Давайте помогу». Я обрадовалась. Она взялась за веревку и повезла, а мне велела толкать сзади. Я за ней не успевала. Она повезла одна. Я забеспокоилась, что она увезет. Стала ей кричать: «Остановитесь, подождите!» — но она продолжала везти не оглядываясь. Я хотела за ней бежать, но сразу же упала. Лежу и думаю: ну вот, теперь она увезет, а я здесь замерзну. Смою — ее уже нет. Я встала, потихоньку пошла, гляжу — мои санки стоят и на них все лежит как лежало. Я обрадовалась, думаю — спасибо ей, спасибо! Взялась и повезла опять сама. Доехала до Литейного моста, хотела через него проехать. Задыхаюсь, дышу тяжело, вся взмокла, с бьющимся сердцем. Но мосты охранялись. Стояли двое военных с винтовками и меня не пропустили. Как я их просила, как умоляла, плакала! Они одно твердили: «Нельзя!» Они советовали куда-то в обход. Но я уже не могла, у меня совершенно не было сил. Вот здесь, у санок, я замерзну. Значит, второй раз у меня срывается отъезд. Тогда потерялся сынишка, а сейчас я не могу. Обессиленная и одинокая, на всей улице ни души, я полулежала на санках по эту сторону Невы, а дети по другую. Живы ли они? Может быть, уже умерли, кричавши меня, голодные, в холодной, темной комнате? От этой мысли я как ужаленная вскочила. Надо проехать по тропинке по Неве. Но вьюга ее замела и я не могу ее найти точно. Оставила санки на набережной, спустилась, попробовала немного пройти, но сразу почти до коленей утонула в снегу. Поднялась наверх. Вдруг вижу — едет грузовая машина. Я стала кричать: «Помогите! Помогите!» Машина остановилась. Спросили меня, в чем дело. Я объяснила. Машина была военная. Один солдат перебросил мои санки, помог мне забраться, и мы поехали. Ехали недолго. Главное — перевезли меня по другому мосту. Им надо было в другую сторону. Они торопились по делам. По их озабоченным лицам я поняла, что им не до меня. Но все же я им очень благодарна. Потом уже еле-еле я добралась сама, доехала наконец до дома. Время было уже три часа ночи».

В сущности, через всю историю Лидии Георгиевны Охапкиной проходит цепь подобных вызволений, выручек, цепь, которая вытягивала ее, возвращала к жизни.

У каждого был свой спаситель. Они появлялись из тьмы промерзших улиц, они входили в квартиры, они вытаскивали из-под обломков. Они не могли накормить, они сами голодали, но они говорили какие-то слова, они поднимали, подставляли плечо, протягивали руку. Они появлялись в ту самую последнюю, крайнюю минуту, когда человек, прислонясь к стене, сползал вниз, когда, присев на ступеньку подъезда, он уже не находил сил подняться. Это была особая, пограничная минута между жизнью и смертью, последнего одинокого дыхания в груди, как писал Твардовский, это было

то неслыханное томленье,
что звало принять покой.

И тут могло помочь лишь что-то со стороны, только извне еще можно было вернуть человека, удержать. Нужен был Кто-то, кто бы

капельку помог, поскольку «все, что мог, ты лично одолел, да вышел весь». И Кто-то подходил, отдавая свои силы, и силы эти часто помогали отползти от той тьмы кромешной.

«— Я вот что вспоминаю,— сказал Нил Николаевич Беляев.— Я был на бюллетене некоторое время — январь и февраль срок второго года. Сходил днем в поликлинику. Получил «добро» на то, что можно идти на работу. Ну, лечить меня, конечно, ничем не лечили, а просто немножко за эти дни пришел в себя. Дело в том, что у меня не только было простудное заболевание. Меня тогда почечные дела очень мучили. Я получил на оборонных работах, на окопах, сначала воспаление почек, а потом привязалась почечно-каменная болезнь, и меня стали преследовать почечные колики. А эта вещь — если вы не знали, так лучше вам и не знать. Это страшное дело. Вот в январе меня впервые посетило это явление, и я был на бюллетене. После того как я немножечко оправился, я решил сразу же после поликлиники, в этот же день, пойти на работу, проверить как и что, потому что я знал, что на работе в это время почти никого не было. Мы работали в это время с моим товарищем — хороший такой товарищ, пожилой уже человек, Дмитрий Иванович Воробьев. И мне хотелось навестить его, узнать, как идут дела, потому что одному человеку там трудно было.

— А где вы работали?

— В Радиокомитете. Это здесь, на теперешней Малой Садовой. Тогда называлась улица Пролеткульта. Было это часа в четыре или три пополудни. Это февраль, двадцать седьмого февраля сорок второго года... Не доходя до Московского вокзала, я почувствовал, что не дойду. Под вечер такой мороз закрутил, что я думаю: свалюсь, замерзну. Я решил вернуться. Повернул назад, миновал Суворовский проспект и был уже недалеко до дома — я жил на Невском, в доме сто пять. А это случилось около дома сто один. Я привалился к стенке передохнуть. Привалился я с таким расчетом, чтобы не упасть. Там стояли такие откосы, наполненные песком и землей, защищающие прежние витрины магазинов. Я думал: тут я постою, немножечко приду в себя, направо или налево я не упаду, потому что меня задержат эти стенки. Но потом чувствую — напрасно я остановился. Лучше бы мне было собрать силы и как-нибудь доползти. Потому что стоило только остановиться и дать ногам покой, как хват! — они дальше-то и не идут! Я тут, значит, стою в горестном раздумье. Как быть? И самым обидным мне казалось, что через один дом — мой! Я у сто первого; значит, пройти сто третий — и я буду у сто пятого. Но, к сожалению, Невский безлюден, едва-едва ползают дистрофические люди. Но, на мое счастье, подошла какая-то женщина. Довольно молодая еще, очевидно, в лучшей силе, нежели я. Спросила: «Вы что, гражданин?» Я говорю: «Что? Стою и двигаться дальше не могу. А дом рядом».

И вот это обстоятельство, что я сказал «дом рядом», повлияло положительным образом. Если бы я где-то далеко жил, она, конечно, со мной не стала бы связываться. А так как это было через дом, она сказала: «Ну, я сейчас попытаюсь вас довести. У вас есть там кто-нибудь?» Я говорю: «Дома мать должна быть». (Мать еще была жива в это время.) И она взяла меня под руку. Я обхватил ее за плечо. Постепенно-постепенно, значит, добрали до дома. Подняла она меня, так сказать, по лестнице до третьей площадки. Позвонила. За дергалку, конечно, не в электрический. Электричества в это время не было. Сделала прямо из рук в руки матери. Мать сначала перепугалась: что же это такое? Думала, что я совсем плох. Но уж когда зашел в квар-

тиру, она видит, что я в таком состоянии, в каком был все эти месяцы. (Она была в несколько лучшем состоянии, чем я в то время.) И обрадовалась. Поблагодарила эту женщину. Двери закрылись. Когда мы немножко одумались, у нас возникла мысль: как же так, я не спросил, кто эта женщина, откуда? Здешняя ли она? Приезжая ли она откуда-нибудь или постоянная ленинградка? Потому что мне хотелось потом ее повидать и как-то отблагодарить буквально за спасение жизни. Но тогда, откровенно говоря, не очень большая надежда была на это. Поэтому я перестал об этом тужить. Думаю, наверняка мне не выжить, а может быть, и она в таком же положении, как я, все равно ее не увидишь».

Что может быть проще, естественней, чем помочь подняться человеку, довести его до дома? Если это не делают сегодня, то только в случае какого-то позорного равнодушия, черствости, подлого эгоизма. Никто ныне не может вообразить, что человек пройдет мимо просто от бессилия, что у кого-то не найдется сил протянуть руку, нагнуться. И в голову не придет и вообразить невозможно, что человек хочет помочь — и не в состоянии. Представить, как это было трудно, можно лучше всего из рассказов не тех, кто помог, а тех, кто не смог помочь. Именно они открыли нам всю непосильность этого, казалось бы, такого простейшего порыва.

Бывшая трамвайщица Варвара Васильевна Семенова:

«— Как-то я шла с Петроградской стороны. И упал дядька. Знаете, такой, видно, был солидный, высокий мужчина. И лежит. Он кричать не может, только вот так руками показывает. Подошла. Ну а что? Я одна ничего не могу сделать. Пешеходы проходят, проходят. Все такие, знаете, страшные, что самих тоже кто бы поддержал. Потом как-то иду, а впереди женщина. И упала она. Худенькая такая! Эту я подняла кое-как. Она сама немного помогла, и я подняла ее. Она просит: «Доведи меня вот до той парадной». Я говорю: «Нет, милочка! Скажи спасибо, что я тебя подняла. Я сама, говорю, завалюсь, и меня никто не поднимет. Я подняла, давай-ка иди!» А скользко! Не то что не посыпали, но и лед-то не скалывали. Вот так.

— А куда вы шли-то?

— Я на Крестовский ходила. Ведь тогда все пешком. А я ходила почему? Потому что дров-то не было. А у меня брат был портной, и у него стол был длинный такой, как бы верстак. Доски толстые такие. Я доски помаленечку оттуда таскала. И внук пойдет и откуда-то палочки притащит. И вот буржуйку топили и на ней сушили сухарики. Каждый свое место занимал. Уйдет один, второй садится. Обязательно сушили сухари.

— Зачем сушили?

— Сушили потому, что думали, что как-то спорее. Кладем сухари и наливаем кипятку горячего, соль, немножко перцу и пьем эту воду. Потом еще одну плошку воды выпьешь и уже потом берешь сухари размокшие как на второе. И это настолько въелось, что и после блокады так ели — сначала из тарелки жидкость, а потом густое».

Было и бесчувствие, была черствость, воровали карточки, вырывали кусок хлеба, обирали умирающих («Умирать-то умирай, только карточки отдай!»), всякое было, но удивительно не это, удивительно, как много было спасений, подобных беляевскому! Таких рассказов мы услышали множество. Сколько их было — безвестных прохожих! Они исчезали, вернув человеку жизнь, оттащив от смертельного края,

исчезали бесследно, даже облик их не успевал отпечататься в мерклом сознании.

Казалось, что им, безвестным прохожим,— у них не было никаких обязательств, ни родственных чувств, они не ждали ни славы, ни оплаты. Сострадание? Но кругом была смерть, и мимо трупов шли равнодушно, удивляясь своей очерствелости. Большинство говорит про себя: смерть самых близких, дорогих людей не доходила до сердца, срабатывала какая-то защитная система в организме, ничто не воспринималось, не было сил отозваться на горе. И все же отзывались. Обострилось другое чувство — гражданское, а кроме того, город-фронт рождал солдатское чувство взаимовыручки. Каждый в какой-то степени чувствовал себя фронтовиком, и помогал он не просто павшему прохожему, а своему однополчанину. Армия сражалась рядом, где-то у трамвайного кольца, и законы воинской чести становились общими законами города.

«...в каждой квартире покойники лежали. И мы ничего не боялись. Раньше разве вы пойдете? Ведь неприятно, когда покойник... Вот у нас семья вымерла, так они и лежали. И когда уж убрали в сарай!» (М. И. Бабич)

«У дистрофиков нет страха. У Академии художеств на спуске к Неве сбрасывали трупы. Я спокойно перелезала через эту гору трупов... Казалось бы, чем слабее человек, тем ему страшнее, а не нет, страх исчез. Что было бы со мною, если бы это в мирное время,— умерла бы от ужаса. И сейчас ведь: нет света на лестнице — боюсь. Как только люди поели — страх появился» (Н. И. Лакша).

Весь сохранившийся запас душевного участия отдавали живым. Какое-то особое властное чувство заставляло людей подавать руку тем, кто сползал в небытие. Довести до дому — по тем временам это был подвиг. Зачастую это было единственное, что мог сделать человек человеку. На это самопожертвование часто уходили последние силы. Такая простая вещь, самая вроде элементарная, была, может, одним из величайших проявлений человечности. Для чего это делалось? Для себя, для своей души, для того, чтобы чувствовать себя Человеком. Для того, чтобы выстоять, не поддаться врагу.

Безвестный Прохожий — пример массового альтруизма блокады. Он обнажался в крайние дни, в крайних обстоятельствах, но тем доподлинней его природа.

Большинство спасителей остались безвестными. Но некоторые обнаруживались. Черты их проступали слабо и случайно в рассказах, которые, в сущности, лишь называли, только обозначали судьбу, заслуживающую исследования, подробной истории.

Николай Иванович его звали. Кажется, Лебедев. Наверное, Лебедев. Детская память ненадежная. Ирине Куряевой (ныне работнику Эрмитажа) было тогда четырнадцать лет. Она не представляет, сколько было там детей, в стационаре, который организовал Лебедев. Он ходил и собирал по Дзержинскому району истощенных ребятишек, бесконечно хлопотал, добывая для них какие-то маленькие дополнительные пайки.

«— Мы спаслись, потому что с двоюродной сестрой оказались в больнице у Николая Ивановича. Он заполнил абсолютно все теплые помещения, которые можно было отапливать. Помню, когда привозили детей, они часто уже есть не могли, так были истощены. Меня поразило и то, что в три с половиной года дети стали совершенно взрослыми... Это было страшно. Это декабрь, тут уж был голод. В

сентябре — октябре нас зажигалками забрасывали. Тогда мы, ребята, еще дежурили на крышах. К этому относились легко. Как-то все было любопытно... Теперь уже наступило другое. Помню, привезли ребят-близнецов... Вот родители прислали им маленькую передачу: три печенья и три конфетки. Сонечка и Сереженька — так звали этих ребятшек. Мальчик себе и ей дал по печенью, потом печенье поделил пополам. Остаются крошки, он отдает крошки сестричке. А сестричка бросает ему такую фразу: «Сереженька, мужчинам тяжело переносить войну, эти крошки съешь ты». Им было по три года.

— Три года?!

— Они едва говорили, да, три года, такие крошки! Причем девочку потом забрали, а мальчик остался. Не знаю, выжили они или нет...»

О нем бы разузнать подробнее — кто он был, Николай Иванович Лебедев? Как он все это делал? Собрать то, что еще не кануло в Лету: ведь это человек, который спас сотни детей.

Их встречалось немало в разных рассказах — работников роно, врачей, учителей, бойцов комсомольских отрядов, бытовых отрядов, тех подвижников, спасителей, кому обязаны жизнью тысячи и тысячи ленинградцев. Многие из этих людей заслужили специального повествования, надо было разыскать материалы о них, но мы успевали лишь подхватить мелькавшие имена, отгащить хоть так от потока забвения...

Спасали по-разному. Помогало порой самое что ни на есть скромное посильное участие. М. А. Шелыванова перед войной усыновила мальчишку Валерия, о котором, впрочем, будет еще отдельный рассказ. Сама она работала в домоуправлении, никаких добавочных возможностей, как говорится, у нее не было. А имелась еще лишь обязанность донора, которую она возложила на себя, чтобы чем-то еще помогать фронту.

«— В общем, вот так. Я когда вернулась, Валерий, конечно, сразу ко мне пришел: «Тетя Муся! Я уж к вам». «Ну, говорю, давай, ладно». Больше того. У моего мужа была племянница. Она была студенткой Технологического института. Она уже была на третьем курсе и вышла замуж. Муж был инженер, его послали в Барнаул, они прожили всего три месяца. И вот эта Нина была послана на окопы. У меня Валерик в комнате (а комната двенадцать метров, меньше этой) и вот теперь Нина. Она вообще-то жила в общежитии, где Лесное, но она туда даже не пошла, а пришла ко мне. Она из Новороссийска. У нее такое широкое лицо было, нерусское немножко, и толстые-претолстые черные косы. И вот эта Нина приходит — прямо дистрофик, ни щек, ничего нет, так она изменилась на этих окопах. Даже говорить не могла. Я говорю: «Нина, а карточки у тебя есть?» Она говорит: «Есть карточки». «А хлеб ты выкупила?» — «Я, тетя Муся, за три дня вперед все съела». За три дня! А у меня только ежедневное, я не давала себе брать вперед. Я говорю: «Ну хорошо, Нина, раздевайся, будешь у меня жить».

Вот, значит, Валерий, а теперь Нина. А у меня какие запасы продуктов были? Сейчас я вам расскажу. Я запасов, как другие люди, не делала. У меня даже хранить их негде было. У меня и шкаф был такой комбинированный. Все время я легкомысленно жила — не было никогда никаких запасов. Но вот однажды, еще в первые дни, я иду, и лотчица продает рис в пакетах по полкило. Никого не было. Я подхожу, говорю: «Можно полкило?» Она говорит: можно. Я беру полкило. Потом я приостановилась и думаю: может быть, она мне дала бы еще? Нет, думаю, я возьму лишнее, а другому не достанется. В общем, я решительно отправилась домой и забросила этот рис как

НЗ за печку высоко, далеко, чтобы не достать. Ну вот, эта Нина прямо, знаете, как ненормальная от голода, прямо не знаю что. Я говорю: «Нина, я тебя три дня буду кормить своим хлебом (я получала как донор карточку рабочую, но я еще делилась с Валерием), я выровняю твою карточку, и ты будешь как все».

— А донорам давали что-нибудь еще, кроме хлеба?

— Вы знаете, в это время ничего не давали. Нина пришла ко мне в октябре. Тогда — весь сорок первый год — ничего больше не давали, только карточку хлебную рабочую... Вот я ее так выровняла. Она все время такая странная ходила и говорила, чтобы собаку купить. Я говорю: «Чего это ты, Нина, собаку хочешь купить?!» «А я хочу ее съесть». Вот она по рынкам и ходила.

Ну, соседки у нас были пожилые, они много курили и ее научили курить. Вот про этих соседок я тоже расскажу. Они были старые девы. Они хлеб меняли на курево. Они видели, что я и Валерию делю хлеб и Нине. Вот они думали, что Мария Ананьевна как-то особенно умеет все это делать. Анастасия Алексеевна даже сказала: «Какая Мария Ананьевна предусмотрительная! Если бы мы знали, что донорам будут давать карточку рабочую, мы бы тоже пошли в доноры». И вот однажды они меня прямо обескуражили: у них было такое блюдо большое, специально для хлеба; они положили вот такусенький кусочек хлеба свой и несут вдвоем это блюдо с вот таким ножом и говорят: «Мария Ананьевна, вы так хорошо умеете хлеб делить. Мы все с Леной говорим, как вы умеете хлеб делить. Вот разделите нам этот хлеб». Я, конечно, не подаю виду, что никак особенно я не могу делить, говорю: «Давайте». Беру нож и режу: «Вот это вам на утро, это на обед, а это на вечер». «Спасибо, Мария Ананьевна, большое спасибо!» И понесли это блюдо. Потом эти старушки перебрались к брату на Советскую и там умерли от голода. Это были наши соседки. Хорошие были у нас соседи. Мы дружно жили — пять комнат, двенадцать человек. Мы никогда друг другу даже резкого слова не ска-
зали».

Опять: всего-то хлеб поделить, разрезать на три кусочка, по сути лишь знак, движение навстречу. И это поддерживало, выручало.

«— А ведь с Ниной, знаете, что случилось? Про рис я не рассказывала? Она однажды у меня заболевает... Да, я не сказала, что у меня брат от голода умер, у жены. И я вот как его хоронила. Как это страшно! Может быть, вы мне потом позволите рассказать?»

— Да, конечно. Сначала о Нине.

— Сначала про Нину? Хорошо. Нина ходила по рынкам, хотела что-то купить там, но я об этом не знала. Однажды она отравилась и стала умирать: волосы поднялись, потом ногти посинели. Она умирает! А я только похоронила брата. Отвезли его на это кладбище страшное, на Смоленское, где я видела столько покойников! Меня такой ужас обуял, что я ее тоже должна буду хоронить! У нее желудок расстроился, рвота поднялась. Я говорю: «Нина, что ты съела? Расскажи, в чем дело?» И вот она мне говорит: «Извините меня, тетя Муся, я пошла на рынок и купила там кусочек — вот такой — масла и там же его и проглотила, это масло». Оказалось, что это было мыло, только сверху помазано маслом. И она его проглотила. И вот она умирает! Тогда, конечно, «скорой помощи» не было. И тут я вспомнила про этот рис, полкило-то. Какие тут лекарства? Человек умирает, уже руки синие. Я беру этот рис, отвариваю его. Дала ей отвар горячий, и она его выпила, а потом и весь рис съела. И вот до сих пор... Сейчас покажу ее карточку!»

Те, кто спасал, те, кто за кого-то беспокоился, кому-то помогал, вызволял и кого-то тащил, те, на ком лежала ответственность, кто из последних сил выполнял свой долг — работал, ухаживал за больными, за родными, — те, как ни странно, выживали чаще. Разумеется, правила тут нет. Умирали и они. И выживали всякие жулики. Кировский райком партии выдвинул в начале 1942 года Анну Александровну Кондратьеву заведовать райздравом. Секретарь райкома В. С. Ефремов просил прежде всего обратить внимание на детские ясли, на детей. Анна Александровна — потомственная путиловка. Все ее родные были связаны с Кировским заводом. В общей сложности, как она подсчитала, они проработали там более трехсот лет.

Она начала с яслей Кировского завода. Выяснилось, что кто-то разрешил «на базе яслей питаться ряду сотрудников». Получалось так, что дети умирали, а родственники сотрудников «питались». И в туберкулезном диспансере тоже открылись хищения...

Среди людей происходила как бы поляризация. Либо поступать по чести, по совести, несмотря ни на что, либо выжить во что бы то ни стало, любыми способами, за счет ближнего, родного, кого угодно. Подвергались тяжелейшему испытанию все человеческие чувства и качества — любовь, супружество, родственные связи, отцовство и материнство.

Особую историю рассказала нам Мария Васильевна Машкова. Ей было поручено в 1941 году эвакуировать детей сотрудников Публичной библиотеки, однако дорогу перерезали, и вскоре ей пришлось вернуться с детьми в Ленинград.

«В числе детей, с которыми я уезжала, был мальчик нашей сотрудницы — Игорь, очаровательный мальчик, красавец. Мать его очень нежно, со страшной любовью опекала. Еще в эвакуации она мне говорила: «Мария Васильевна, вы тоже давайте своим деткам козье молоко. Я Игорю беру козье молоко». А мои дети помещались даже в другом бараке, и я им старалась ничего не уделять, ни грамма сверх положенного. А потом этот Игорь потерял карточки. И вот уже в апреле месяце я иду как-то мимо Елисеевского магазина (тут уже стали на солнышко выползать дистрофики) и вижу — сидит мальчик, страшный, отечный скелетик. «Игорь? Что с тобой?» — говорю».

И дальше история о мальчике и матери. Понять ее можно, лишь учитывая тяжелейшую обстановку в голодающем городе, которую не каждый мог выдержать до конца. Тем более что любой голод, съедая мышцы и мозг человека, отнимал за частую и разум. Мальчик потерял карточки, мать, уже почти невменяемая, выгнала его из дому. Он погиб. А когда все вернулось — сытость, прежняя психика, она не смогла жить. Покончила с собой из чувства вины перед мальчиком. Распад человеческой личности кончился трагически. Вернуться назад оказывалось невозможно.

Амплитуда страстей человеческих в блокаду возросла чрезвычайно — от падений самых тягостных до наивысших проявлений сознания, любви, преданности.

Сплошь и рядом, когда мы допытывались, как выжили, каким образом, каким способом, что помогало, то оказывалось — семья сплотилась, помогала друг другу, сумели создать в учреждении, на предприятии коллектив, кто-то требовал, заставлял подчиняться дисциплине, не позволял опускаться. Мать Марины Ткачевой заставляла детей всю блокаду чистить зубы. Не было зубного порошка — чисти-

те древесным углем. Много значило для этой семьи то, что не был съеден кот. Спасли кота. Страшный он стал, весь обгорелый оттого, что терся боками о раскаленную буржуйку. Но не съели. И это — по чисто детской, сохранившейся от тех лет гордости — первое, что сообщила в своем рассказе Марина Александровна Гкачева. И такое тоже поддерживало, поднимало самоуважение людей. Из самых разных историй и случаев убеждаешься, что для большинства ленинградцев существовали не способы выжить, а скорее способы жить.

Чем люди живы?

Голод терзал, насмерть убивал детей на глазах у ленинградских матерей. И дети видели муки своих матерей, но поняли их по-настоящему, может быть, лишь спустя много лет, когда сами стали матерями, отцами.

У нас имеется несколько записей, где одновременно и об одном вспоминают мать и ее ребенок, теперь уже взрослый человек. Вот один из таких совместных рассказов Ольги Ивановны Москвовой и Валентины Александровны Гавриловой (дочь будем называть Валя, хотя она уже давно взрослая).

«Ольга Ивановна:

— Я в охране была, и нам разрешили дрова брать. Попрошу одну соседку, вторую, наберем дров — они тащат, я тоже дотащу до дому и скорей на дежурство. Потом эти дрова расколем и — на рынок, там рядом рынок был, Клинский. Мне-то самой нельзя стоять продавать. Я Валю поставлю. Я привожу ее на тележке еле живую, чтобы она только стояла около этих дров, чтобы чувствовалось, что есть человек. А я наблюдаю стою. И вот, знаете, один раз такой посчастливилось нам день: подошла ко мне женщина и сказала: «Я, говорит, вам дам килограмм крупы».

Валя:

— Пшена, килограмм пшена!

Ольга Ивановна:

— «Пшена кило. Никому не говорите. Я вам свою квартиру не покажу. А только вы мне к дому подвезете и свалите эти дрова». А мне нужно и дрова везти и Валю тащить на санках.

— Вы дрова везли, а ее посадили наверх?

Ольга Ивановна:

— Да, она не ходила. Ну, довели. Дали нам эту крупу. Куда ее девать? Валя кричит: «У нас отберут, у нас отберут эту крупу!» Я говорю: «Ладно, давай запрятчем тебе за пальто».

Валя:

— Тогда отбирали.

Ольга Ивановна:

— Да, бывало. Ну, я ей крупу сюда запрятала и говорю: «Садись в санки, а лучше ложись. Я тебя повезу домой». И вот мы привезли крупу домой. Уж Валя эту крупу берегла, ведь она за хозяйку у меня была. Я приду с работы, она нальет мне супу и считает, сколько крупин. До того досчитается, что суп холодный. Я заплачу, мне тепленького хочется с улицы, а она все считает: «Доктор мне сказал, чтобы ни ты не откусила лишний раз от меня, ни я, чтобы было поровну. Тогда будем живы». Знаете, с головой у нее что-то было — она была как ненормальная.

Валя:

— Да, я была ненормальная.

Ольга-Ивановна:

— Как ненормальная: у нее ни памяти не было, ничего.

— А это какой год был? До Ладоги?

Ольга Ивановна:

— Да, да, да. До Ладоги, я еще не работала на Ладоге. На Обводном был оборонный завод, там муж работал. Меня и взяли туда в охрану — я уже больная была, у меня была третья группа инвалидности. Вот отсюда дрова и брали. Это до Ладоги было.

Валя:

— Тогда давали шроты, дуранду...

Ольга Ивановна:

— У меня шерсть была, я вязала чулки, повару отдавала. Что было, я все ей давала, а она мне луковичку даст, шелуху отдаст. Из шелухи я делала котлеты картофельные, из дрожжей суп дрожжевой делала. Потом клею мне дали. Из клея сделала студень (клей вот этот, которым клеют). Я не могла есть, а Валя ела. Она ела с удовольствием этот клей как студень.

— А насчет крупы это ей врач внушил в больнице?

Ольга Ивановна:

— Да, да. У нее с легкими было неблагополучно, все время с легкими было неблагополучно. И вот, значит, врач ей давал соевое молоко. Придет она и делает вроде кофе. Я хочу, чтобы она съела, а она — чтобы я. Вот сидим спорим. Она мне: «Я не буду есть, умру — тогда и ты умрешь. А если я буду есть, а ты нет — ты умрешь тогда, но и я без тебя». Мне приходилось уступать ей и все делить поровну. И потом: продукты получала она. Вот вижу — половиночка конфетки осталась. Я говорю: «Валя, почему ты это не съела?» (Я все хочу, чтобы она побольше меня ела.) Она мне: «Нет, нет, что ты! Я только половину конфеточки. Доктор сказал, чтобы мы все поровну ели, все поровну. Тогда мы будем с тобой жить».

Валя:

— Относительно того, как спастись в таких условиях, по радио ленинградскому, например, говорили: «Не ешьте сразу свои сто двадцать пять граммов, делите пополам». У меня хватало сил делить пополам. Я за окно почему-то прятала, за раму, потому что крысы были, мыши. Это поначалу. А потом уже ни мышей, ни кошек, ни собак — ничего в Ленинграде не было. И вот я делила так: кусочек съедала утром, кусочек вечером. Я прислушивалась к тому, что говорили по радио.

Ольга Ивановна:

— У нас был котенок. Я говорила — унесите его куда-нибудь. А крестный пришел и говорит: отдайте его мне, я его съем. А Валя как заплачет: «Что ты говоришь! Кошечку хочешь съесть!» Потом я уговорила соседку, она кондуктором работала. Я говорю: «Слушай, Катя, скажи Вале, что несешь кошечку в столовую, она там будет жить, ее кормить будут, а потом ей вернут. Но только туда нельзя ходить, нельзя смотреть. Кончится война, и тебе тогда вернут». Уговорили.

Валя:

— И еще запомнилось: мне очень хотелось жить. Я так хотела жить, так велика была сила эта, что я была готова подчиняться всему, что говорили, всем советам, только бы выжить! Просто удивительно как-то! Еще мне запомнилась продавщица, которая выдавала нам паек. Были случаи, когда не выдавали пайка: не было муки или хлебозавод не выпустил хлеба по каким-то причинам. Даже такие случаи были! А вот когда все было благополучно и хлеб привозили, это были очень большие буханки. На меня производило впечатление, что они очень

большие были. Но они были с опилками. И продавщица не могла буханку хлеба разрезать ножом, она ее рубила топором. Это я очень хорошо помню. Булочная находилась в нашем доме, в доме семьдесят шесть. Тут мы и блокаду пережили. И вот она топором рубила эти буханки, чтобы отрубить маленький кусок — сто двадцать пять граммов. Вперед не отоваривали, потому что мало было в Ленинграде таких возможностей, чтобы вперед отоваривать. И у меня тогда была мечта: «Мама! Неужели мы доживем до того времени, когда в булочной будут полные полки хлеба?!» Мне не верилось, что такое будет время. Я не мечтала о каких-то булочках, хотя бы только хлеба были полные полки. И я говорила: «Какие же мы будем счастливые, когда мы доживем до этого!» Я дожила до этого времени, увидела полные полки хлеба... Но до сих пор мы сушим сухарики, не выбрасываем хлеб.

Ольга Ивановна:

— Она говорила, что мы будем очень богато жить, когда у нас будет вдвоев хлеба и соли (ведь и соли тогда не было), будем с тобой пить кипяток с солью и хлебом!

Валя:

— И еще такой момент я запомнила. Мы жили рядом с Варшавским вокзалом: Московская застава, много заводов, рядом Бадаевские склады. Поэтому и бомбили очень сильно этот район. Пулковские высоты недалеко, и Московский район принимал все эти снаряды. Как только начинали бомбить, я себя считала счастливой, что живу в первом этаже, потому что сверху все бежали к нам прятаться. Обычно первый этаж считался плохим: темновато там, сыровато, а во время войны это было большое счастье. Это, может быть, нас спасло, потому что в наш дом много снарядов попадало в четвертый этаж, в третий, и тогда все бежали к нам спасаться. Мама меня в этот момент так наряжала: она снимала с меня мое детское пальто и надевала свое, потому что оно было из бостона, с меховым воротником и было все-таки подороже, чем мое детское. Она вешала мне мешочек на шею и туда клала карточки и свои и мои и говорила: мало ли что может случиться, на первое время, на первый месяц у тебя будут карточки, ты мои вещи продашь, мое пальто и как-то просуществуешь, а может быть, блокаду прорвут, и ты сумеешь эвакуироваться...»

Ленинградская женщина... Она жила чуть дольше, чем могла жить, если даже потом смерть, иссушив, сваливала. Ее «задерживала» — на день, на два, на месяц — мысль, страх, забота о ребенке, о муже...

«И вот, знаете, другой раз я чувствую, что слабею, слабею. Совсем руки, ноги холодные. Батюшки! Я же умру! А Вова? И, знаете, я вставала и что-то делала. Этого я сейчас просто объяснить не могу» (Александра Борисовна Ден).

Многие из них только благодаря этому и сами выжили — вопреки научным подсчетам, что, мол, лежащий неподвижно теряет меньше калорий, чем тот, кто ползет на заледеневшую Неву за водой, через силу тащит на саночках дрова, сутками стоит в очередях за хлебом для ребенка... Тут и наука должна была что-то пересматривать или вспоминать забытое.

Е. С. Ляпин, доктор физико-математических наук, профессор математики, сам все это и наблюдавший и переживший, высказался так:

«Но один момент я все-таки отмечу, ибо он для нас сыграл свою роль, да и для многих людей тоже. Я говорил с врачами в этот период, и потом они это подтвердили. Ведь нормально люди себе представляли, что человек—это вроде печки: пока дрова подкладывают—печь горит, если нет дров, их не подкладывают, дрова сгорели—и печка потухла! Ну а человеку подкладывают там всякие калории, на этих калориях он живет, действует. А когда их нет, то расходуется то, что накоплено в организме: жировые отложения, мускулы. Он все это съедает. Когда у него все «сгорело» (всякий физик знает энергосистему), нечем двигаться—он умирает. Но часто человек умирал тогда, когда в его организме какой-то еще небольшой запас калорий—в физическом, примитивном смысле—оставался: печка работать еще могла, а он умирал. Человек-то все-таки не печка! Человек очень сложное устройство, необычайно сложное. В этом отношении важную роль играло то, как человек себя вел, насколько он мог бороться. Я помню людей в начале голода, которые перестали мыться, перестали бриться. Если получали по карточкам, то тут же, в магазине, все съедали сразу. Если давали на три дня, они съедали все в один день, а потом у них ничего не было. И это не ужасные, безвольные люди, нет, нормальные, хорошие люди. Они исходили из принципа той же самой печки: на движение человека тратятся калории, калорий не хватает, надо лежать, лежать столько, сколько можно. Не надо шевелить пальцами, надо лежать. И это было ошибкой, потому что человек не печка. Правда, идешь по комнате, тем более умываешься, тем более холодной водой, тратишь на все это какие-то калории. А на самом деле так ты продолжаешь оставаться человеческим существом, которое в какой-то степени функционирует.

Надо сказать, что многие люди в этом отношении стали на позицию соблюдения жесткого режима, конечно, режима, соответствующего тем условиям, которые были, но это было твердо на каждый день. Для тяжелого периода блокады обед состоял из кипятка, в котором размачивали пятьдесят граммов несъедобного хлеба. Ели из тарелки, ложкой. Можно подумать, что я о пустяках говорю: не все ли равно, когда съесть свои сто двадцать пять граммов, размачивать хлеб или нет, есть ложками или так. Нет, и это было важно. Надо было создать какой-то ритм, похожий на жизнь нормального человека. Это я знаю по себе, знаю по своим близким, знаю и слышал от врачей, которые могли наблюдать все это в массовом порядке. Конечно, это не гарантия; естественно, что в конце концов никакой режим не действует, если человек не получает пищи, рано или поздно смерть его захватит. Повторяю, это не гарантия, но это отодвигало насколько можно гибель. Надо сказать, что я свои мысли, свои чувства старался держать в норме, опускаться так, как опускались некоторые люди,— это было неправильно и ошибочно».

У нас имеется два дневника—матери и сына Прусовых. Дневник матери, Фаины Александровны, особенно интересен: медицинская сестра, писавшая его, не только яркая личность с очень трагической материнской судьбой, но и определенно владевшая литературным даром. Она и сыну подсказала записывать. Когда студента-медика мобилизовали в армию, она взяла толстую тетрадку, сказала: «Записывай туда самые интересные вещи, потому что есть такая фраза: «И плохие записки современников ценны для потомков». Есть в записках ее сына врача Б. Д. Прусова странички, затрагивающие ту же проблему калорий—пищевых и, так сказать, «духовных калорий».

«Моя мама Прусова Фаина Александровна была медицинской сестрой с довольно большим стажем. Работала когда-то операционной сестрой у профессора Грекова в Обуховской больнице. И потом работала в хирургии в больнице Софьи Перовской. Благодаря нашей маме мы и выжили, потому что как-то она поднимала дух всех нас. Мы не опускались: мы мылись элементарно, делали себе какую-то ванну. Причем очень интересно, что у нее была своя теория, которая, кстати, подтвердилась жизнью: не залеживайтесь, не залеживайтесь! Когда я как медицинский работник пытался ей возражать: «Мама! Когда ты лежишь, то ведь энергии тратится меньше, питания ведь надо меньше», — она говорила: «Это парадоксально, но факт: кто ходит — будет жить и работать. Ходите!» Когда я совсем выбился из сил (это в сорок втором году) и уже не хотел ходить в институт, то сестра и мать сказали: «Ты должен кончить медицинский институт. Ходи! Если ты не будешь ходить, ты умрешь!» И я ходил. Я ходил от Марсова поля до площади Льва Толстого ежедневно туда и обратно и еще делал квартирные вызовы и принимал больных в больнице Софьи Перовской.

Вот такая была мама. Кто бы к нам ни пришел, у нас всегда было чисто. Стол всегда был накрыт скатертью. Как-то всегда было весело. Все убрано, аккуратно, чисто. И вот эта самая чистота, вот эта самая дисциплинированность матери — она передавалась нам. И это, по-моему, помогло нам выжить. Мать никогда не давала нам пасть духом... Паек делился, каждому давалась порция, причем, как они уже потом признались, мама с сестрой в самое трудное время больше давали мне, не знаю почему. Но вот что самое интересное: мама считала, что у нее в комнате чисто, всегда вымыт пол, все блестит, но когда уже сняли блокаду и она сняла затемнение (шторы), дали электричество, она посмотрела на обои и сказала: «Господи, господи! До чего же я себя обманула! Все-таки в какой грязи я жила!»...

Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн:

«5 мая. Я после бюллетеня вышла на работу. Завод выпускает новый военный заказ. Народу мало. Из старых рабочих почти никого нет. Вымерли, а часть уехала... Я осваиваю новые детали. Все хожу еще в зимнем пальто. Начальник ОТК новый, контролеров нет. Я рада, что попала по своей специальности. Настоящий заказ, гораздо интереснее прошлого. Во-первых, разнообразие деталей и гораздо точнее, притом из цветного металла. Сегодня привезли в столовую икру из дуранды, мне дали один килограмм. Раньше я бы это в рот не взяла, а теперь мне это кажется очень вкусным.

13 мая. Пошла Эдика навестить⁹... Вечером слушаю сообщение Информбюро, затем иду в булочную, выкупаю 250 граммов хлеба и, если есть, масло. Помажу на хлеб и наслаждаюсь. Затем уйду на работу. Придя с работы, разогрею чай, напьюсь и ложусь спать. Я работаю самостоятельно, заменяю и мастера и контролера, подсобницу, нарядчицу и др.

Сегодня мы проводили заводское собрание. Подвели итоги мая месяца. Задание мы выполнили. Мне поручили проводить заключения содоговоров, я это успешно выполнила.

Сегодня была врачебная комиссия. У меня признали дистрофию первой стадии. Стали отбирать самых больных дистрофиков на усиленное питание. Я не мечтаю попасть. Десны у меня уже выровнялись. Я даже удивилась, что я так легко отделалась и зубы на месте остались. Сегодня нам дали по одному литру соевого молока.

⁹ Трехлетний сын, который помещен был в детский сад.

10 июня. Ко мне подходит парторг и говорит: «Вот тебе справка и пойдем скорее к врачу». «А зачем?» — «На усиленное питание»...

Ленинградская женщина отчаянно и бесстрашно сражалась против голода. Это был ее фронт. Те, кто выжил в Ленинграде, обязаны не только войскам, не только «Дороге жизни», но и женской стойкости, женскому терпению, выносливости, женской силе и, наконец, ее любви.

А ведь как ей хотелось и тогда быть не самой сильной и выносливой, а «всего только» женщиной, которую кто-то бы и пожалел. Иногда так невольно ей было изображать и самую сытую и самую здоровую в семье...

«Вот я вспомнила такой вот случай. Давали одно время вместо сахара так называемые соевые батончики. Ну, там было не столько сои, сколько... я не знаю, что там было. И я их делила между нами тремя. И я помню случай или два, когда я им свою порцию отдавала и выходила в коридор. И один раз я вышла в коридор и заплакала. Знаете, вообще-то я и до сих пор довольно равнодушна к еде: есть так есть, нет так нет. А вот тогда... До сих пор помню, как я вышла в коридор и заплакала» (Александра Борисовна Ден).

Ей, женщине, матери, жене, приходилось быть сильнее, выносливее, мужественнее самой себя.

Ленинградские дети

«— Я выхожу со двора своего, рядом с Генеральным штабом, и вижу — около калитки, совсем прижавшись, сидит мальчик. Мне показалось, что ему лет шесть. Я спрашиваю: «Что ты здесь делаешь?» Он говорит: «А я пришел сюда умирать». «Умирать? Ты смотри, какой ты,— раз ты смог сюда прийти, ты не умираешь! И где ты живешь?» — «Я живу на Мойке. У нас очень темный двор и квартира очень темная. А здесь вон как светло. (Это на Дворцовой площади.) Я пришел сюда умирать». Ну, я со своими девочками взяла его к себе в Архив. Мы его напоили теплой водой, какие-то корочки ему дали. И клею столярного, вот этого самого. И он нам сказал: «Если я останусь жив, я всегда буду есть этот клей».

— А сколько же ему было лет?

— Мне казалось, что ему лет шесть. А ему оказалось одиннадцать. Я его спросила: «Ну почему ты пришел сюда? У тебя никого не осталось?» Он сказал: «А разве ты не понимаешь? Если бы у меня кто-нибудь остался, я не пришел бы. Папа на фронте, мама умерла, лежит. Сестренка умерла». Ну, я отвела его в детскую комнату и сказала его адрес (он знал свой адрес), они туда пошли. А больше я о нем ничего не знаю». (Из рассказа Л. А. Маныкиной.)

«Ленинградские дети»... Когда звучали эти слова — на Урале и за Уралом, в Ташкенте и в Куйбышеве, в Алма-Ате и во Фрунзе,— у человека сжималось сердце. Всем, особенно детям, принесла горе война. Но на этих обрушилось столько, что каждый с невольным чувством вины искал, чтобы хоть что-то снять с их детских плеч, души, переложить на себя. Это звучало как пароль — «ленинградские дети»! И навстречу бросался каждый в любом уголке нашей земли... До какого-то момента они были как все дети, оставались веселыми, изобретательными. Играли осколками снарядов, коллекционировали их (как до войны коллекционировали марки или бумажки от съеденных кон-

фет). Убегали, прорывались на передовую, благо фронт рядом, рукой подать. Азартно закидывали песком в своем дворе немецкие зажигалки, словно это новогодние шутихи.

«Едем дальше, до Обводного канала,— вспоминает бывший водитель трамвая Анна Алексеевна Петрова,— здесь, на мосту Ново-Каменном, дети метлами сметают бомбы в Обводный канал, прямо в воду...»

А потом они становились самыми тихими на земле детьми. Ленинградские дети разучились в ту зиму шалить. И даже смеяться, улыбаться разучились, так же как их мамы и бабушки и так же как их первыми умиравшие отцы, дедушки...

«Люди, даже дети, не плакали и не улыбались» — об этом многие вспоминают. Как говорила Ольга Берггольц «своим» ленинградцам: «...горе больше наших слез». А для улыбки, оказывается, тоже необходимы силы. А сил столько не было, не хватало на работу, на жизнь!.. Когда минула страшная зима смерти, голода, женщина однажды — что-то сказали, сделали при ней — почувствовала: «...с лицом моим происходит нечто, какое-то непривычное положение мышц...» А это человек снова заулыбался... (Из рассказа Лидии Сергеевны Усовой.)

«— Помню, как стояла за хлебом,— говорит нам, но грустно смотрит куда-то глубоко в себя, на ту блокадную тринадцатилетнюю Гаю, певица Ленинградской академической капеллы Галина Александровна Марченко.— У нас был такой большой двор, и нужно было стороной как-то обойти домика полтора, и там была булочная. (Я сейчас заходила туда. Двор, конечно, зарос. Я заходила и в булочную.) Я помню, мы стояли в очереди с вечера, стояли сутками, напяливали на себя абсолютно все. А мама не могла, в общем-то, двигаться, она скорей как-то ослабла. Она все время грела мне кирпичи, у нас на буржучке всегда лежали кирпичики, два или три. Я устраивала себе на грудь теплый кирпич, чтобы согреться кирпичом. Помню— замерзну, приползу домой, мне дадут другой кирпич, и я опять, у меня сил было больше, уползаю вместе с кирпичом. Помню, что мама меня просто обогрела этими кирпичами. Ну, в конце концов я получала своим по сто двадцать пять граммов хлеба и возвращалась домой.

— Бывало, чтобы вы смеялись?

— Мы не смеялись, в общем, я не помню такого случая. Мы вообще не разговаривали, потому что просто сил не было. Нет, не могу вспомнить, чтобы я смеялась. Я все время ходила с карточками, потому что мама боялась потерять их: ведь это же смерть.

— А вы плакали?

— Нет, и плакать не плакали, просто уже было какое-то безразличие. Мы уже не спускались в бомбоубежище, а просто закрывались у себя дома и никуда не ходили.

— Вот нам рассказывала одна женщина, как она впервые после всего пережитого улыбнулась и как сама удивилась этому забытому мышечному движению. Вы не помните свою первую улыбку?

— Про улыбку я не помню. По-моему, я улыбнулась уже тогда, когда мы уехали в эвакуацию. Может быть, раньше. Нет, когда мы были уже в Жихареве».

Александра Александровна Агронская, заведующая нотной библиотекой Ленинградской академической капеллы, милая, с улыбчивыми ямочками женщина, сразу посерьезнела, погруст-

нела, как только заговорила об улыбках, которых так мало было, которые так редко светились на детских лицах. Жила она в детском доме, блокадном детском доме (мать — «по мобилизации», отец на фронте).

«— Ну а вот дети как себя вели? Кто-то ел сразу, кто-то прятал, да?»

— Вы знаете, я могу только сказать, что мы очень мелкими частичками ели. Мы никогда не кусали хлеб, а отщипывали, отщипывали кусочки хлеба и брали в рот. И в столовой (у нас была большая комната, где мы, все дети, ели), в столовой мы по очереди имели возможность облизывать кастрюли после второго, ну, после каши...

— А очередность кто устанавливал?

— Воспитательница. Нас там много детей было.

— По очереди или в порядке поощрения?

— Нет, это по очереди. Вы знаете, я думаю, что мы не очень озорничали. Нас, по-моему, не за что было наказывать, только расшевелить можно было. Во всяком случае, когда я в школу пошла... Вот запомнила имя своей учительницы в первом классе — Елена Игнатьевна. Это была двести вторая школа, на Желябова... Она, когда мы впервые чему-то засмеялись в классе, — это уже было, наверно, в сорок четвертом году, в конце, класс почему-то захохотал, — она после этого пошла по домам, обошла родителей и всем говорила: «Сегодня ваши дети смеялись!» Это было самым важным сообщением.

— А детский дом где был расположен?

— Детский дом был на Некрасова. Там церковь какая-то снаружи, а во дворе у нас был детский дом. Во время одной из прогулок этот детский дом был разбит снарядом. Дети не пострадали, нас перевели в другое наше помещение.

— А в самом детском доме не удавалось вас рассмешить?

— Я думаю, нет, хотя мы и танцевали. Вот Лисичкой я была... Еще помню — у нас постановка была, «Снегурочка», и я там Снегурочкой была, пела, но, наверно, это было не очень весело, я так думаю.

— А дети все вашего возраста или были и постарше?

— Были и старше дети, были и помоложе.

— А потом из детского дома вернулись домой?

— Да, из детского дома я вернулась домой вместе с сестрой.

— А отец?

— А отец у меня недавно умер. Он всю войну прошел. Он был в Германии. А потом работал — хочу похвастать! — он работал в экспедициях. На «Оби» и «Лене» ходил в Антарктиду. И сейчас его именем названа банка в Антарктиде.

— Агронский?

— Нет, Пожарский.

— А почему у вас другая фамилия?

— А вы знаете, я замуж вышла. — Смеется. — Вообще, конечно, воспоминаний много, в основном не очень веселых. Мне страшным показался тогда даже день снятия блокады. Мы с сестренкой и мамой были дома. Мы жили в самом центре города — на Софьи Перовской. Здесь, вы знаете, канал Грибоедова, все рядом, самый центр города. И ничего по радио я не слышала, никаких объявлений, ни сестра, ни я. Мы с мамой вышли на улицу, и навстречу попалась мамина приятельница. Она что-то ужасно громко кричала, подхватила маму, и они побежали, а мы с сестренкой остались. И в этот момент такой грохот был! Вы знаете, во время войны такого грохота я не помню и такого страшного ощущения, что что-то рушится... Весь город осветился.

А оказывается, это был салют!.. Мы с сестренкой упали в сугроб. Нас какие-то мужчины военные вытащили оттуда, из этого сугроба. Мы страшно плакали. Нас еле-еле успокоили.

— Вы еще не знали, что произошло?

— Да, мы не поняли, в чем дело. Мы вообще не представляли себе, что такое победа. Для детей победа в то время еще была очень отвлеченным, по-моему, понятием. Но к тому времени, ко дню снятия блокады, мы, понимаете, уже что-то ели, нам что-то давали, хоть хряпу, ну я вот из школы приносила в кружке хряпу, и ее можно было поест. Нам уже казалось, что это лучше. И конечно, снятие блокады — день этот был очень знаменательным, хоть мы с сестрой очень испугались».

Все же мы попросили вернуться к той учительнице, о которой Александра Александровна рассказала вначале. Упоминание о ней не давало покоя. В первом смехе детей она увидела событие. Она оценила это событие как великое, может быть решающее. Настолько, что обошла всех родителей. Она разносила эту весть как самый дорогой подарок — они смеялись! Они снова смеются!

«— Итак, учительница ходила и говорила родителям, что ваши дети сегодня смеялись. Как вы узнали, что она ходила?

— Нам родители сказали. Я не знаю довоенной судьбы этой учительницы, я не знаю ее домашней жизни во время войны. У меня сложилось такое впечатление, что она жила только школой и только нами. Мы приходили в школу голодные, холодные. Она нас раздевала, смотрела, что у нас внизу надето. Заворачивала (у кого ничего нет) в газету, сверху надевала платье, чтобы дети не мерзли. Если кто-то начинал плакать на уроке, у нее всегда какие-то корочки находились в кармане. Кофта у нее была большая, карманы где-то внизу (может быть, такое впечатление тогда было). Вот она нам давала эти корочки пососать, лишь бы мы не плакали. Во время обстрелов она нас собирала в коридоре и буквально укрывала собой. Очень часто навещала нас дома. Если кто-то из детей хотя бы раз не придет в школу, она в этот же день шла домой. Как она себя чувствовала, я этого ничего, конечно, не знаю, не знаю, была ли у нее семья или она была одна, потому что я у нее проучилась только первый, второй и начало третьего класса.

— И дальнейшую ее судьбу вы не знаете?

— Я ее больше не видела. Я перешла в другую школу. Потом, когда я вернулась в свою школу, ее там уже не было.

— А как ее имя и отчество?

— Елена Игнатьевна.

— А фамилии не помните?

— Нет».

Воспоминания детей, то есть тех, кто был в блокаду детьми, непохожи на воспоминания взрослых, хотя сейчас рассказывают их нам люди взрослые, сами уже отцы, матери, даже бабушки.

Память детская сохранила чрезвычайно много, донесла точно, ярко. Какие-то картины нынешним сознанием даже не расшифровать. И какие-то страхи тоже малопонятны нам.

Шестилетнему тогда мальчику Вите (Виктору Васильевичу Корбунову) из всех бомбежек врезалось: огромный шкаф заплясал на ножках! И то, что в их детском саду после бомбежек осколки стекла были в кроватках.

Володю (Владимира Рудольфовича Дена), которому тогда было

лет двенадцать, мать выпустила на улицу гулять. Был февраль 1942 года. После невылазного сидения дома от воздуха его слегка шатало. Но больше всего его потряс высокий снег, выше головы — снежные траншеи, сугробы, заваленные снегом первые этажи, снежные горы. И снег не городской, а чистый, сверкающий, слепящий. И вот спустя тридцать пять лет тоже в феврале он поехал в Кировск кататься на лыжах:

«Вот там я иду по улицам и — что такое? Какие-то странные ассоциации. Вот этот снег! Тротуары, конечно, занесены не так, как здесь было. Ну, скажем, если газоны, то они выше головы засыпаны снегом — это всю зиму чистят и отбрасывают».

Через этот чистый снег, через полярную снежность вдруг ожило детское, блокадное. Оно возвращается, оно вдруг обнаруживается в характере, привычках, сновидениях. У каждого по-своему, да и так, что человек порой и не знает, откуда у него это.

У шестилетнего Коли (Николая Викторовича Хлудова) снег связан с голодом: «Когда выпал снег, мне стало постоянно хотеться есть». Так это и соединилось для него.

Картинки, вырезанные детской памятью, обычно сверкают всеми красками.

«У Финляндского вокзала внимание мое приковывали троллейбусы, зимующие на площади. Рядом стоял сгоревший дом. Его тушили, и струи воды, упав на крыши троллейбусов, застыли огромными ледяными столбами, уходящими в снежные сугробы. В лучах весеннего солнца столбы искрились и просвечивали, и все кругом мне казалось похожим на ледяное царство» (Л и д и я И в а н о в н а М е л ь н и к о в а).

А восьмилетней Жанне (Жанне Эмильевне Уманской) блокада вспоминается как страшный холод. Все время холод, холод, под одеялом, в шубе — и все равно холод. Еще огромная корзина, обшитая кусками ватного одеяла, в которой мать носила обед. Хлеб, кусочки в двести граммов, прятали в чемодан, а чемодан клали в диван, чтобы не съесть этот хлеб сразу.

«Как-то не существовало ни утра, ни вечера. Ничего. Казалось, что темень сплошная все время. Я научилась различать циферблат часов. И до сих пор, к стыду своему, вспоминаю, что помню только час, когда мама должна была покормить меня. Иногда я знала, что утро, иногда не знала, потому что практически мы не спали, в какой-то дреме ночью были. Говорят — хлеб спит в человеке. А поскольку хлеба не было, нам не спалось».

Внутри блокадной мўки, среди всех бед, лишений, ужасов, смертей главной трагедией были дети. О них заботились прежде всего и городские учреждения и само население, их страдание, их положение для всех было наимучительной болью. И даже в помутненном голодном сознании взрослых дети, детское сохранялось, как правило, святым.

«Продукты с базы возила на санках одна взрослая женщина-экспедитор. Она всегда брала с собою двух мальчиков лет по четырнадцать. Вот наступила моя очередь. База находилась за Невскими воротами. Туда и обратно мы шли пешком. Туда налегке, обратно схватившись за веревку санок. Один из нас всегда шел сзади наблю-

дающим. На одном из ухабов сани накренились и соевые конфеты рассыпались из коробки на снег. Вокруг нас моментально образовалось тесное кольцо из проходивших мимо пешеходов. Экспедитор замахала руками, заохала, из ее крика поняли, что конфеты везут в детский дом, да и мы, два заморыша, были хорошей иллюстрацией. Народ толпился вокруг нас, растопырив в стороны руки, глаза горели, но никто не наклонился. Мы собрали все конфеты в коробку, подобрали кульки, поправили сани и двинулись дальше. Люди еще долго провожали нас глазами» (А л е к с а н д р И в а н о в и ч Л ю б и м о в).

Дети-старички, безулыбчивые, молчаливые, вялые, все понимающие и ничего не понимающие. Немцы, война, фашисты где-то там, за городом, да и сама блокада оставалась для шести-восьми-десяти-летних детей понятием отвлеченным. Конкретными были темнота, голод, сирены, взрывы — непонятно, почему все это обрушилось на людей? Куда исчезла еда, куда исчезли близкие? Война не воплощалась в людях, во врагах, в полицаях, в чужой речи, как это было, допустим, на оккупированных землях. Мы говорим о малышах, те, кто постарше, быстро выросли. У малышей же детство прекращалось. Непросто было этим маленьким старичкам потом возвращаться в жизнь, в детство, к самим себе.

Нина Васильевна Ковалева, женщина очень импульсивная, живая, вдумчивая, рассудительная, рассказывает о себе девочке так, что невольно хочется ту девочку от нее же защитить, от ее беспощадной памяти.

«— Сколько вам лет было тогда?

— Шесть. Мама закутала меня во все, что было. Я помню — на мне какие-то тряпки, платки. Пальто несколько штук даже было надето.

— Наверное, холодно было и для того, чтобы вещички с собой взять?

— Не знаю, для чего это было сделано. Помню, я какая-то неповоротливая была. По-моему, лишь одна десятая доля этих тряпок была я сама. Запомнила, что ехали на подводе, потом куда-то заехали. Какой-то мужчина в тулупе движение остановил. Говорит: «Куда? Немцы!» И мы повернули. Мама, по-моему, рядом была. Она спрашивала: «Нина! Есть хочешь?» Я ужасно хотела есть, а сказать не могла. Кричу где-то внутри: «Мама, хочу есть!» А сказать не могу. И так страшно было оттого, что язык не поворачивался.

— А почему не могли сказать?

— Впечатление, что язык совсем размяк, вата какая-то. Не могу ни шевельнуться, ничего. Просто трупом была. А внутренний голос кричал: хочу есть!.. Помню дальше еще эпизод, когда нас уже привезли на Урал. Куда сначала, даже не помню. Помню, я сидела где-то в углу. И нам делили пряники. Пряники делили не поперек, а вдоль, чтобы видимость целого пряника была, а не половины... Эти пряники давали и всё спрашивали: «Вкусно?» А я даже не понимала. Помню, сидела и рассуждала: что такое вкусно, невкусно? Что такое хочется есть или не хочется есть? Клянусь, сижу в углу и вот эта мысль у меня: что такое значит не хочу есть?.. Потом помню на Урале такой эпизод. Когда дети все спали, я побежала в поле. Все говорили: хлеб растет. Я понимала это в буквальном смысле. Думаю, надо раскопать ямку — и там буханка свежего хлеба. Я ее возьму и сыта буду. Сижу копаю, копаю. Ямку глубокую выкопала, а хлеба-то и нет! Сижу реву. И вот, помню, какой-то очень высокий дядька идет: «Что ты здесь делаешь?» Говорю — хлеб копаю. И вот знаете, или люди добрые были,

или мне так казалось, взял меня пожилой человек, посадил на плечи, куда-то принес. Помню — в темную комнату. Картошки он мне дал и долго рассказывал, что хлеб надо сначала посеять, потом вырастить, убрать, муку смолоть, потом испечь. Тогда это хлеб будет... И, помню, няня у нас была толстая. Бывало, она прислонит меня к своему животу и вот гладит, гладит. А до меня не доходило, настолько отупела вообще. Даже когда в школу пошла, плохо соображала. Долго такая была.

— А мама где была?

— Я даже не знаю. Когда нас переправили через Ладогу, сажали в машину (или на подводу, не помню), кажется, мамы уже со мной не было. Сестра моя болела. Помню, она лежала в больнице, в палате. По-моему, туберкулез у нее был. Ей давали ложку сахарного песку и кусочек масла. Она есть не могла. А я пряталась под кроватью, и она меня кормила. Долю, которая ей полагалась, она мне давала, а я слизывала с этой ложки.

— Она ложку под кровать совала?

— Да. Я говорила: «Валя, когда еще тебе будут давать?»

— Вы долго лежали? Близко ваша палата была?

— Нет, я не лежала. Я не знаю, что это было. Помню, что она лежала в кровати, ей давали сахар и масло. Она есть не могла, а я была под кроватью и все слизывала. А потом — настолько я отупела! Я помню, когда мы уже возвращались, мы ехали с Валеи в поезде. Я так боялась поезда! Меня волоком волокли в вагон! Боялась ужасно паровоза, пара, дыма. Валя говорит: «Вот смотри, мама сейчас тебя будет встречать». Она была старше. Если мне было шесть, ей — девять. Она уже в разумном возрасте. А я... я слово «мама» уже забыла. Вот я помню, мама уже на перроне, Валя говорит: «Вот мама идет». А я маму отталкиваю и говорю: «Где же моя мама?» Валя говорит: «Да вот она! Здесь!» А я очень долго ее не принимала. Я до такой степени ее не принимала, настолько была злой, что вот мы уже в школу пошли, мне выдавали дневники или тетрадки, так я двойки ставила сама себе и подкладывала маме и из-за угла подглядывала. Что это такое было? Чувства такого, что у меня есть мама, что я ее нашла, этого у меня не было.

— А она хорошо обращалась с вами?

— Конечно хорошо. Ведь она столько пережила, видела своих детей в ужасном положении, думала, что потеряла их. Как она могла плохо относиться? Она очень страдала, но мне ее страдания вроде даже доставляли удовольствие. Я не знаю, что это такое? Сейчас я даже понять не могу той злости. И жалею об этом. Ведь я совсем другая стала. А в то время была какая-то ужасная и до меня долго ничего не доходило. Я вот помню, учительница математики задачу на простейшие числа вдалбливала. Долбит, долбит — не понимаю! Даже до двадцати не научилась считать. Не знаю, что это такое! Ужасная была.

— А где ваша мама сейчас?

— Мама на пенсии. Папа тоже на пенсии. Больные люди. Мама особенно больна. Отец поздоровее ее, мужчина.

— А мама часто вспоминает Ленинград, блокаду?

— Знаете, не вспоминает. Мы не спрашиваем, а она не говорит. Как-то я попыталась: «Может быть, расскажешь что-нибудь?» А она вроде, знаете, закричала на меня: «Нет, не хочу!» Кино о войне она вообще не смотрит, старается не ходить на эти фильмы. Слово «война» она не переносит сейчас и не хочет ничего слушать.

— Расскажите про день победы, пожалуйста.

— Вот такой случай был. В конце войны нам давали творожные сырки, соевые. Помню день победы у Пяти углов. Это угол Разъездной и Марата. Музыка всякая гремела, граммофоны из окон орали. Весна уже была. Полно народу. Я запомнила, что два солдата несли большой крендель, громадный белый крендель. По-моему, это был настоящий крендель. Все им что-то бросали. С балкона цветы летели и какие-то бумажки. А у меня ничего не было в руках, только один этот сырок. Я подошла и отдала солдату, который нес крендель, свой сырок.

— Он взял его?

— Не помню, взял или не взял, в общем, отдала вместо цветов — подарок».

В детском стационаре Ирине Куряевой запомнилась девочка. Ее привезли уже умирающую. Девочка была старше Ирины.

«Она мне говорит: съешь, пожалуйста, мой хлеб (ну сколько там? Норма — 125 граммов хлеба), я не доживу до завтра. Лежит она рядом со мной. Койки стояли очень близко друг к другу, чтобы побольше можно было впихнуть.

Помню, как я всю ночь не могла спать, потому что думала: взять хлеб или не взять? Все знают, что она не может уже есть. Но если возьму этот хлеб, то подумают, что я его украла у нее. А страшно хотелось есть. Страшная борьба с собой: чужое же! Так я хлеба не взяла. Вот сейчас, когда говорят: голодный может все сделать, и украсть и прочее, прочее,— я вспоминаю чувства свои, ребенка, когда чужое, хотя мне и отдавали его, я взять все-таки не могла. А девочка действительно умерла, и этот кусок хлеба остался у нее под подушкой».

Скрытая полемика нет-нет, а вспыхивает в самых разных рассказах. Сводится она, грубо говоря, к двум суждениям: одни, как Ирина Куряева, считают, что человек сильнее голода, что ни при каких обстоятельствах человек не имеет права терять своего достоинства, нарушать законы человечности, честности, чести. Они не прощают, не оправдывают случаев, когда люди воровали хлеб, отнимали его у ближних, пускались на мошенничества, хитрости. Они сами прошли через все испытания, не оступаясь и не поступаясь ничем, и как бы заработали право на такую требовательность. Другие тоже испытали пытки голодом и видели, как голодному человеку трудно отвечать за свои поступки.

Полемика эта — один из тех споров, которые не решаются с помощью математической логики. Они длятся, тянутся годами, поколениями, отражая разное устройство человеческой души, разнообразие ее воли, стойкости, ее воспитания, а может, и еще каких-то неизвестных нам свойств.

...Позже нам встретился еще один случай, подобный тому, как впервые засмеялись в классе. Почти такая же история, но все же другая. Мы приведем и вторую. Выбирать между ними трудно.

Это было глубокой осенью 1942 года. Некоторые школы начали работать. В школе, где училась Ирина Куряева, собрали всего один класс, человек семнадцать детей.

«Мы удрали с урока. Вдруг нам захотелось совершить такую проказу. А двери закрывали, чтобы мы не выходили на улицу. Мы сломали дверь на черный ход и убежали с урока. И натолкнулись на нашего заведующего роно. Он сказал: немедленно идите в школу! Пото-

му что были обстрелы, и нам не разрешали ходить по улице. В общем-то, нам нечего было делать на улице. Мы вернулись в школу, пришли к завучу, а она вдруг заплакала.

...Теперь я понимаю, что учителя радовались, потому что это был первый детский проступок и, в общем, дети возвращались к жизни, это было ясно и им чрезвычайно приятно».

Эпизоды эти и похожие и непохожие. В первом смех, во втором озорство: разные реакции учителей, но одинаковое понимание событий и я. Каждый случай имеет свою физиономию, по-своему примечателен. Другие оттенки, другие чувства и обстоятельства. Можно ли было нам отобрать из них одно и при этом не обеднить всю картину? Всякий раз, ограничивая себя, мы видим не выигрвш, а потери, потери...

Вплоть до 7 декабря 1941 года по Ладоге пробивались к Ленинграду буксиры с баржами. В это время Военный совет фронта уже всю готовил будущую «Дорогу жизни». И в конце концов пошли, потянулись по первому льду конные обозы, а за ними пошли и автомашины. Ленинград стал получать хлеб. На карточки стали выдавать уже не 125 граммов, а 150, 200, потом 300 граммов. Хлеб подвозили, пробиваясь через вьюги, минуя ледяные полыньи, трещины, машины из Кобоны. Страна слала Ленинграду все что могла. Эшелоны муки, эшелоны с подарками, партизанские обозы. А назад, из Ленинграда, машины увозили матерей с детьми. Самых бедственных. 20 тысяч солдат, офицеров, вольнонаемных обслуживали «Дорогу жизни». Они делали все что могли, да еще и то, что невозможно в обыденной жизни. Героизм этих людей составляет одну из самых прекрасных страниц истории Великой Отечественной войны. Они были герои — каждый опять-таки по-своему, своим отдельным, неповторимым поведением.

«Все мы очень боялись умереть на льду. Почему? Потому что мы боялись, что нас рыбы съедят. Мы говорили, что лучше пускай нас убьет на земле, на мелкие куски разорвет, но только не на льду. Особенно я. Я была трусиха. Я этого не скрываю. Трусиха. Боялась, что меня рыба съест! И вот с тех пор я стала бояться воды. А когда девочкой была, я хорошо вообще плавала. Я спортсменкой была когда-то... А потом, после ледовой дороги, стала бояться воды. Даже не могу в ванной сидя мыться. Я обязательно должна просто под душем стоять. Боюсь воды».

Так говорит о себе кавалер ордена Боевого Красного Знамени, получившая его в числе первых на Ленинградском фронте, боец, о котором в свое время писали в очерках и Фадеев и Симонов, Ольга Николаевна Мельникова-Писаренко. Слушаешь эту маленькую-маленькую (хочется дважды повторить) женщину и веришь, что ей было страшно, так же как веришь в ее орден (третий по счету, полученный ленинградками), в ее подвиг на «Дороге жизни»¹⁰.

«—Эвакуация началась во второй половине января. Сперва эвакуировали тяжелораненых. Очень страшной эта эвакуация была тогда, когда эвакуировали детей, больных женщин... Это назывался ценно-драгоценный груз, потому что это живые люди были, истощенные, голодные! Эти люди были настолько страшные, настолько иску-

¹⁰ Мы встретились с Ольгой Николаевной Мельниковой-Писаренко, когда она работала в музее «Дороги жизни».

далее, что они были закутаны и одеялами и платками — чем придется, только бы проехать эту ледовую дорогу. А перед рассветом, когда машины проезжали через Ладожское озеро, шоферы очень мчались, для того чтобы быстрее проехать эти тридцать — тридцать два километра, — перед рассветом мы находили по пять, по шесть трупиков. Это были маленькие изможденные дети. Они уже были мертвыми, потому что представьте: ребенок на полном ходу вылетал из рук матери. Мы старались узнать — чей ребенок? Разворачивали, но там ни записки, ничего не было. Это были дети от восьми месяцев до годика, мальчики и девочки.

— Мать не могла удержать?

— Вы поймите, мать держит ребенка на руках. Допустим, машину тряхнет на ледяном бугре, и у матери от слабости ребенок вылетает из рук. Она же была так слаба: у нее дистрофия чуть ли не третьей степени, может быть, даже третьей. Ее ведь на руках сажали на эти машины, чтобы переправить на Большую землю. А иногда ехали целые колонны с детьми в закрытых машинах, в автобусах. Это уже были дети детсадовского возраста, школьного возраста. И хотя те машины были закрыты, но отопления не было. Они очень холодные были. Не то что у нас в данный момент — отапливаются и автобусы и троллейбусы. И нередко во время пурги, метели у машины перехватывало радиатор, так как вода замерзала мигом. Для того чтобы разогреть этот радиатор в открытом ледовом поле, шоферу приходилось затратить полтора часа, а может быть, даже и все два. И хорошо, если он близко остановится от палатки, тогда детей мы забирали в палатку, оказывали им медицинскую помощь, кормили. То есть чем мы кормили? Давали по кусочку — граммов пятьдесят — сухариков. Чай сладкий давали. И если видели, что ребенок плохо себя чувствует, мы делали все, чтобы он доехал до Большой земли. Приходилось порой делать уколы — камфору вводить, чтобы сердечко работало.

У меня в палатке в феврале стояли сибиряки-уральцы: здоровые такие мужчины были эти бойцы — мои санитары. И вот они говорили: «Ольга Николаевна, ведь эти дети мертвые!» Говоришь: «Нет, они живые, у них еще бьется сердечко, они живые». А то, что у них были такие безжизненные глаза, это лишь оттого, что они очень были истощены. Часто у них, у этих детей, на личике даже росли волосики.

— Как у старичков?

— Да. Мы их и называли маленькими глубокими старичками. Когда эти дети попадали в палатку, у них отсутствовали и сила, и воля, и движения не было (не то что у наших сейчас детей). Бывало, возьмешь их ручонку — тонкой-тонкой кожицей обтянута. И все косточки буквально через эту кожицу можно было пересчитать. И вот когда шофер приходил и сообщал, что машина готова, что можно их снова погрузить в автобус, дети, знаете ли, такое сопротивление оказывали! Они не хотели уходить из тепла. Они чувствовали, что им здесь уделили внимание, что им дали кусочек сухарика, сладкого чаю. Они сопротивлялись. Ну, мы уговаривали, что еще в лучшее место попадете, вам там дадут супу, дадут мягкую булочку, там вас будут лечить и там будет еще теплее. Хорошо вам будет. Я говорю: «Мы будем вас сопровождать до самой Кобоны». И приходилось порой сопровождать машины до самой Кобоны, для того чтобы успокоить малышей. Видя, что мы с ними едем, они успокаивались. А глазки их были настолько мертвые, знаете, даже никакого блеска не было, мертвые глаза, как стеклянные, если можно так выразиться. Когда вот этот сухарик давали, у них на миг появлялся блеск, а потом как-то моментально этот блеск тушился».

Это о детях самых маленьких, еще ничего не сознававших, не понимавших, о тех, которые, выжив, сегодня сами ничего рассказать не могут. Они не помнят. Они были в возрасте, когда живут еще без памяти. Если ныне и появляются перед ними какие-то смутные картины раннего детства, то расшифровать их значение они не могут.

Из всего выслушанного, записанного несколько рассказов выделялось значительностью и памятью, правдой чувств, донесенных сквозь годы. И в первую очередь рассказ Мари и Ивановны Дмитриевой. Правда, Марию Ивановну надо видеть рассказывающей или хотя бы голос ее слышать, чтобы прочувствовать ее блокадную повесть на всю глубину. Но раз уж не рассказ ее слушаете, а читаете запись, то хоть что-то надо сказать о ней самой.

Эта покрупневшая и, конечно же, постаревшая (в сравнении с военной фотографией) женщина — воплощение доброты. Деятельной доброты. И рассказ ее — тоже действие, требующее огромной душевной отдачи. Она так видит, так чувствует происходившее тридцать пять лет назад, что как бы снова участвует во всем, о чем рассказывает вам. И вы уже сами не рассказ слушаете, а словно спешите с нею, с ее бойцами самозащиты от барака к бараку, от пожара к пожару, от смерти к смерти...

Свои объекты начальник группы самозащиты и ЖАКТа Кировского района Мария Ивановна Дмитриева и сегодня все помнит по номерам.

«— Случилось это примерно в декабре. Или в январе? Было это зимой. Был большой мороз. Начался обстрел. Обстрел был очень сильный. Мы долго пробирались туда. Это улица Швецова, там дом был обстрелян, дом сорок семь, напротив и сюда еще ближе — дом тридцать шесть. Вот мы бежим. Дом тридцать шесть. Тут даже незаметно. Снаряд ушел как-то в окно. И, оказывается, через окно — вот стекла пробитые! — прошел и в квартире разорвался. И убило девушку. Мы уже на обратном пути только увидели. Но она все равно уже мертвая была. Стоит на коленях среди комнаты в одной нижней сорочке. Видимо, она вскочила, хотела бежать куда-то, но не успела. И у нее голову снесло. Только одни волосы лежат. А девушка лет семнадцати. Мы пробрались в дом сорок семь. Примерно около часу ночи было времени, может быть, и второй уже. Я пришла туда, кричу — нигде никого не слышно. Окна не освещены. Лестницы темные. Ну, у меня фонарик был, на пуговице висел, чего-то и он плохо горел. Пошла наверх, во второй этаж. Кричу — нигде никто не отзывается. И вот первую дверь, на которую я напала во втором этаже, открыла. Я не помню — фонариком сначала я освещала или там горел какой-то свет? Не могу уточнить. И только открыла, а эта Демина Катя, молодая женщина, сидит на диване около печки (печка там была такая круглая). У нее на одной руке ребенок маленький (месяца три, может быть и меньше, а на второй — так поперек ног — лежит еще ребенок, мальчик, года четыре. Я подошла, смотрю, начинаю спрашивать — свет-то плохой! Тут фонариком я своим осветила. А у нее, смотрю, половина головы оторвана осколком — вот так! Она мертвая. А этот ребенок, которому месяца два или три, не знаю, — жи в о й! Представьте себе! Как он сохранился? А тот, что на коленях лежит, мальчик лет трех-четырех (он большой, рослый такой), этот мертвый. У него и ножки перебиты и поясица.

— Снаряд разорвался снаружи?

— Снаряд разорвался около дома, и осколки попали между перекрытием и косяком рамы. А она здесь сидела — и все! Потом слы-

шу, кто-то еще пришел. Я открыла дверь, кричу: «Заходите сюда!» И не помню, какая-то женщина пришла ко мне. Говорит — в сороковой дом тоже снаряд попал (а сороковой напротив). Но там миновало. Там кого-то слегка ранило, но жертв не было. У этой Кати муж на фронте... Ну что же — до утра. А утром вызвала МПВО, из РОККа пришли. Унесли, увезли кого куда.

— А куда ребеночка отдали?

— Ребеночек у нас долго находился: вот здесь дежурный приемный пункт был, вроде яслей, на этой — как улица называется, забыла, — между Балтийской и Швецова. Мы много туда сдавали детей.

— Там их и держали?

— Да. Поживут там, и потом отправляли. Много ведь детей-то оставалось, очень много. То с бабушкой были оставши, то с какими-нибудь тетями. Много их было. Если все действительно рассказать — это какой-то кошмар. Какие-то и люди находились. Не люди даже, а, может быть, только в облике человека».

Конечно, сила воздействия той или иной истории зависит от таланта рассказчика. Но еще и от правды. «Если все действительно рассказать...» Дмитриева рассказывала все что помнила.

«— Вот был один мальчик в тридцать шестом доме. Мать его геолог, осталась где-то там, где она работала. А он был с бабушкой. Такой красивый парень. До сих пор вспоминаю. Все мне хотелось взять его к себе. Не было сил, потому что я работала много. Я ведь не находилась дома, не ночевала.

— Простите, вы не замужем были?

— Замужем. Мой муж на фронте был.

— А детей у вас не было?

— Были, с моей мамой эвакуировались. Я здесь была одна. Но я люблю детей, поэтому мне так было жалко. Причем он такой толковый, красивый. Думала — вот это такого человека вырастить можно! Я не знала, что он до такой степени отощавши был. Бабушка у него умерла. Где мать была — неизвестно. Отца у него не было. И вот я дежурила, а он был у меня в конторе, ночевал здесь.

— Сколько лет ему?

— Ему лет восемь-девять было, но он уже в полном сознании был. Вот он мне ночью-то про себя и рассказал. В последнюю ночь. Утром я пришла, а он мертвый лежит. Вы можете себе представить! Я еще вечером принесла и отломала ему от своего пайка корку хлеба: у него и карточек не было. Я в тот вечер дежурила, и мы с ним разговаривали. Я еще подумала, что он утомился, спать хочет, потому что он не сидел, а лежал. А у него, видимо, сил не было. Но он не ныл, не жаловался ни на что. Я его еще спросила: «Алеша, как же так получилось?» Он говорит: «А вот как, Мария Ивановна. Я думал, что она хорошая, она ведь при бабушке к нам ходила, эта тетя. А вот бабушка умерла, она взяла меня к себе и карточки наши взяла». Я говорю: «Она и вещи ваши взяла?» «Она все у нас взяла. А потом сказала, что она не может со мною заниматься». В общем, попросила его о выходе. Ну, я не думала, что люди так могут... Вот он и пришел сюда, к дому. Что делать? Мы еще ведь мало чего могли. Среди месяца карточки не дали бы. Это только к началу месяца можно было чем-то ему помочь... Да, вот был еще случай — мне подкинули ребенка.

— Прямо вам, к дому вашему?

— Да не к дому — к двери моей, к квартире! А было так. Мы ночью тоже ходили по заданию, вылавливали ракетчиков. У нас были

созданы такие комиссии. В том числе и меня пригласили. И вот мы, значит, ходим ночь. А утром нам сказали: «Идите отдохните. А на работу можете до двенадцати не выходить». Ну, я пошла. Пришла в свое хозяйство, надо узнать — что там? У меня был организован кипятильник для беспомощных, для тех, которые идут и падают. Так вот приносили их и кипятком отпаивали. Может быть, это незначительная помощь, но хоть что-то было, хоть немножко. Ну вот, там были люди, специальные женщины».

Кипяток — это была великая помощь в тех условиях. «Воду вскипяти вкрутую — и вода уж как еда», — писал поэт Олег Шестинский.

«— Я шла домой по лестнице. Никого не было. Это днем. Захожу к себе. Плита была на кухне. Горсть каких-то сучков или дров, не знаю что, чтобы чаю согреть. Вдруг слышу — плач где-то на лестнице. А у нас по лестнице ни одного ребенка не оставалось. Что такое? Ребенок? Прислушалась. Может быть, кошка? Нет, кошек всех давно поели. Выхожу. У моей двери сидит ребенок и в такое черное сукно, грубое, как шинели у железнодорожников, закутан. На голову тряпка какая-то накинута. И весь завязан, с глазами. И вот он плачет. Я подошла. Про все забыла. Взяла его на руки и понесла домой. У меня плита подтоплена, немножко теплая. Поставила стул у плиты, его развязала. Мальчик. Он не говорит почти. Плохо очень говорит. «Мальчик, где твоя мама?» — «Мама у м е я». Значит, умерла. «Неня, Неня убежал». Значит, братишка, наверно, его посадил, бросил его тут, посадил и убежал. Ну, может быть, кто-нибудь и подсказал.

— К вашей двери?

— Да, именно к моей двери.. «Неня, Неня убежал». — «Где же твой Неня?» Ну, он не знает ничего, адреса не знает. Тоже хороший такой парень. Крупный такой, черноглазый. Что делать-то? Правда, я тут поставила ведро воды, помыла его. Грязный, запущенный такой — кошмар. Помыла. Вместе с собой покормила. Мне надо на работу. Взяла его с собой. Принесла туда. Позвонила Котельникову Ивану Васильевичу, начальнику уголовного розыска. Он всю свою жизнь проработал у нас в районе. А я тоже всю жизнь прожила в Кировском. Ну вот, я говорю: «Иван Васильевич, вот такое дело. Что мне делать с ним?» А он говорит: «Ну что же, сдавай сюда». Я говорю: «Сдавай! Так там не берут безо всего-то, просто так, надо направление какое-то. Какое направление я дам?» Он говорит: «Да, действительно, с некоторых пор там это требуют, а то, бывает, своих детей приводят. Подожди. Сейчас я пришлю солдата. Принесет направление». А у нас было несколько женщин, они детей у нас отводили в приемник. Мы их на другие дела не брали, а на это они еще были способны. И одна из этих старушек, Устя, уже не помню ейной фамилии (она потом быстро умерла), эта Устя пошла вместе с солдатом. Сдали этого парня. А вот еще случай, улица Швецова, пятьдесят шесть, по-моему, дом этот потом весь разбило. Тоже не выходят и не выходят из квартиры. А нижняя квартира. Людей-то ведь мало осталось в домах. Иду. Да не одна я, взяла двух человек с собой: ведь кто его знает, там почти никто не живет, дом-то разбитый весь. Вот закрытая комната. Уж мы бились-бились. Дворничиха принесла много ключей, и вот мы стали открывать. Открыли. И что увидели, какую картину? Открыли дверь — стоит кровать. Мать лежит мертвая. Молодая женщина, Белова ей фамилия. А муж на фронте. А ребенок — не знаю, ему года полтора — живой. И вот по ней лазает, причем тащит ейные груди в рот и сосет их. Кошмар какой-то! Ну, как вы думаете?! Вот такая картина перед глазами. Ну что делать, взяли этого ребенка».

Прервем пока рассказ Марии Ивановны...

Голод и дети, блокада и дети — самое большое преступление фашистов перед Ленинградом, ленинградцами. Мучая голодом, убивая детей, они жалостью к детям пытали ленинградцев, дожидаясь, чтобы или вымерли защитники Ленинграда, или сдали его — сдали весь северный фланг восточного фронта.

В рассказе Ивана Васильевича Калягина о действиях МПВО Кировского района, где он был командиром, есть небольшой эпизод, в котором собрались как бы весь ужас и вся боль материнская...

«Я помню такой случай, когда доложили, что вот тут, на Тракторной улице, снаряд не разорвался в квартире. Ну, послал туда пиротехника. Пиротехник поехал туда. Приехал. Оттуда звонит, что не может снаряд отобрать. «Как не можешь снаряд отобрать?» — «Не могу. Приезжайте сами». Приехал сам. Зашел в комнату. Лежит женщина на полу, обняла снаряд, закутала в шаль (он теплый еще) и не отдает его. Не отдает снаряд! Стали выяснять, в чем дело. Оказывается, у нее грудной ребенок был эвакуирован. От страха, в панике родственница схватила ребенка и унесла. А мать осталась. Увидала этот снаряд и решила, что это ребенок. Ну, то есть человек был уже в ненормальном состоянии...»

Когда они попадали на Большую землю, их узнавали сразу: ленинградские дети!

И их не узнавали.

Узнавали по старческим личикам, походке, но прежде всего по глазам, видевшим в с е! Видевшим все то, что ленинградцы «скрыли от Большой земли...» (Ольга Берггольц).

Знакомые же или родные, если встречали своих, часто не могли их узнать. Как тот военный (об этом в записках и даже в стихах Лидии Георгиевны Охупкиной), что вскочил на прибывшую в Череповец машину, посмотрел на жену, детишек своих и хотел слезать: не узнал! А когда позвали: «Папка!» — он взглянул еще раз и... «зачем-то шапку снял».

Галина Александровна Марченко лишь после того, как выехала из блокадного Ленинграда, поняла, какая она «на нормальный взгляд»:

«— В Вологодской области мы попали в какую-то деревню. И рядом оказалась деревня, в которой у моей соседки ее родные жили. А девчущечка их приезжала когда-то в Ленинград, к нам заходила в гости. И вот когда мы приехали и она вбежала, она обратилась ко мне: «Бабушка, а где Галя?»

— Это о вас тринадцатилетней? Так были одеты?

— Так была одета, да и сама кожа да кости. «Кланя, говорю, Галя — это я». Она заревела и говорит: «Я тебя не узнала!»...»

«Я помню, что раздался какой-то странный звук во дворе. Я спросил маму, и она сказала, что ничего страшного, что это отдирают доски от забора. Оказывается, это зенитки готовили. Это было в самом начале войны. Вот первое детское впечатление в начале войны».

Это рассказывает Жанна Эмильевна Уманская, которая сейчас поет в Академической капелле.

«— На улицу я выходила очень редко, очень редко. Видела этот заснеженный город, страшный беспорядок на улицах, массу трупов.

Мама как-то старалась отвлечь мое внимание. Видела я и последнюю агонию человека: человек карабкался, не мог встать, цеплялся за стенку. Ужасно было. Но в детское воображение это как-то не все-ляло такой ужас и отчаяние, потому что это проще тогда казалось. Сейчас, уже умом, понимаешь, сколько жуткого пришлось пережить. Запомнила я блокадную елку новогоднюю. Возможно, это будет интересно. Я ребенком тогда была. Это был трагический день — одиннадцатое января, день, когда умер отец.

— Где он умер?

— Дома. Ему пришла повестка на фронт. Он был офицером запаса, высший комсостав, а до этого он был на окопах. Очевидно, там очень тяжело было с продуктами: он пришел весь опухший. И вот когда он пришел по этой повестке в военкомат, ему сказали, что на фронт ему уже нельзя идти, забраковали. И как-то быстро-быстро (я считаю) подкосило всех оставшихся мужчин в Ленинграде (это как раз первая зима, первые месяцы сорок второго уже года). Он мне отдавал потихоньку от матери все крохи жалкие, которые ему выпадали. Я этого не понимала, чтобы отказаться. В общем, он себя обкрадывал. Он уже лежал, не вставал и все пытался как-то меня поддерживать, как-то мою жизнь сохранить. Теперь это все понимаешь!

— Не помните, о чем он говорил с вами?

— Этого не помню. Он мало говорил. «Береги мамочку», — он говорил. «Слушайся ее, не расстраивайся, если что-нибудь случится», — иногда говорил. Но я не понимала, что должно случиться. Вот одиннадцатого января дали какой-то билет на елку. Я уже не помню происхождения этого билета. По-видимому, я должна была учиться где-то в первом классе. Пошла я одна. Сказано нам было, что такой мешочек должны сшить. Эти мешочки надевали под шубенку, чтобы никто не видел, как понесу обратно подарок, потому что люди были всякие, и озверевшие от голода были. И не все могли держать себя в руках, не у всех оставалось чувство порядочности и человечности. Всякое случалось. И вот как сейчас помню, тощие мы все какие-то, маленькие, заморенные дети, и такой же фокусник-мужчина: пиджак на нем болтается, горло шарфом повязано. Он пытался показывать какие-то фокусы. И такие безразличные сидят ребятишки. Потом не выдержали, и один спросил: «А скоро нам обед будут давать?» Насколько мало детского оставалось у нас у всех. Ну, дали какой-то обед. Он показался роскошным по тем временам. И подарки дали. Не помню, что там было: яблоко, печенье, какая-то конфета. Я запихала этот подарок в мешочек — и под пальто. Но если кто-нибудь обратил бы внимание, то на моей физиономии ясно было написано, что я что-то страшно берегу, несу, руки сжаты около этого подарка, выражение испуганное.

Я благополучно принесла этот подарок домой. И когда мы с трудом согрели чай, буквально на свечке, мама говорит: «Иди разбуди папу, он что-то крепко спит. У нас будет праздник, пусть у нас это будет Новый год». (Нам нечем было встретить Новый год, когда он был.) Мне показалось, что отец как-то очень странно раскидался, раскрылся. Он всегда меня просил: «Жануля! Подоткни мне одеяло, тут дует, там дует». Я пришла: папа, пап, папа, пап! А он, в общем, никак! Я закричала, маму позвала. Мама говорит: «Успокойся, успокойся! Он спит». И увела меня. А он почему-то в другой комнате лежал, он еще раньше попросился, может быть, он чувствовал свой конец, и его перенесли туда. До меня это не доходило, я не понимала, я даже никогда не спрашивала, почему он в другой комнате лежал. И так решила, что женщины в одной комнате, а мужчины должны быть в другой. Короче говоря, наступила его кончина. Умер еще у

нас сосед. Мы общими усилиями снесли их на кухню, завернули в одеяла. Месяц они лежали на кухне, потому что сил не было их унести. И меня до сих пор удивляет полное отсутствие страха перед мертвым телом. Никакого ужаса мы не испытывали. И если только раздавался какой-то шорох в квартире, мы ползли на кухню посмотреть: не проснулись ли они? Потому что большинство ленинградцев были уверены, что многие заснули летаргическим сном, как бывает от голода. Не заснули ли они? А вдруг они проснулись? Вот никак не хотелось примириться со смертью. Но, по-видимому, чудес не бывает! Я заходила часто. Мама меня стала пускать, потому что я никак не реагировала на то, что отец мертвый, не понимала, что мертвый, и думала, что он заснул, думала, что он проснется.

— Знали о летаргии?

— Да, знала, что бывает летаргический сон. Это объяснила мне мама.

— Но сама она не верила?

— Нет. Она знала, что это конец».

А из ума не идет та новогодняя елка, заморенные дети и такой же заморенный фокусник-мужчина. Он показывает фокусы, сидят безразличные ребяташки. И все мечтают об обеде. И сам фокусник и его зрители. Их невозможно было ничем развлечь, вернее отвлечь от желания есть.

О новогодних елках 1942 года помнят многие школьники. Обычная для тех дней школьная елка была, например, у Леонида Петровича Попова. Ныне он инженер и, кстати говоря, чрезвычайно помог нам в сборе материала.

«Сидели мы в классе. Окна были затемнены, в коридорах тоже. Нас развели по классам. Когда мы пришли, был концерт. Я его не помню. Помню, елка без огней стояла, сумеречный свет дня.

Недавно я с дочерью пошел в эту школу на елку. Встал у окна и стал вспоминать... Помню, как мы сидели, но какой там был концерт, совсем не помню — никакого внимания на него не обратили. Сидели мы в пальто, а потом пошли в столовую. Я учился тогда в шестом классе школы, которая помещается сейчас на проспекте Металлистов, за «Гигантом». Приглашение нам разослали на 5 января.

До войны я кончил пять классов. Зиму сорок первого — сорок второго года совершенно не учился. Сидел у печурки в штабе объекта (мать была начальником объекта). Кто-то (кто — не знаю) отыскал меня и моего товарища Арвида Каумана. Мы пошли на елку вместе. Матери наши дома сидели, беспокоились. Мы ушли утром. Часа в три мы пообедали, нам дали обед. Была тревога, нас спустили вниз. Долго стояли на подвальных лестницах. Потом стало темнеть. Решили: видимо, дело идет к концу. Поднялись, хотя отбоя тревоги еще не было. Пошли в столовую. Учителя шли с лучинами, одна из них, Шаркова, — она сейчас живет в Ярославской области — была нашей первой учительницей. Учителя ходили между столами и смотрели, все ли нам дали. Мы сидели смиренно, тихо. А елку-то мы видели еще до этого в актовом зале. Стояла большая елка, учителя ее сделали.

В столовой мы разделись. Раздали нам суп из хряпы, котлеточка маленькая, хряпа на гарнир, на третье был кисель из эссенции. Пообедали, быстренько все съели. Пошли по классам. Каждый класс пришел к себе. Там на ощупь стали раздавать — сосчитано каждому было — восемнадцать изюминок в шоколаде. Каждый проверил: восемнадцать изюминок! Спрятали, решили — ни одной не съедем здесь, съедем дома. Это было уже в шесть часов вечера. Матери

страшно беспокоились. У нас могли отобрать подарки, могли избить. Мы выходили из школы по два-три человека и, пробираясь почти на ощупь, пришли домой. Матери обрадовались тому, что мы пришли и еще подарки принесли».

Он не помнит, что за концерт был и что была за елка, а прежде всего помнит восемнадцать изюминок в шоколаде. Казалось бы, все ясно. Но вот на что невольно обращаешь внимание: все ребята отчетливо сознают, что не обратили внимания на фокусника, на концерт, на елку. Свое безразличие помнят, свою недетскость. Задним как бы числом осознают и эту елку, устроенную с таким трудом, и этого фокусника, все невоспринятое ими, то, что для них как бы не было и тем не менее — б ы л о.

Мария Ананьевна Шельванова живет сегодня одна-одинешенька и, может, поэтому так остро помнит, вспоминает своего «приемыша» Валерия. Еще до войны он ушел из пьяного дома родной матери, потом сбегал и от ласковой приемной матери Марии Ананьевны, а затем убежал — уже навсегда — на Ленинградский фронт.

Этот поразительный, даже когда смотрит с детской фотографии, мальчик, ленинградский Гаврош, в ее рассказах предстает таким живым, таким живучим! Никак не хочет он остаться, раствориться в успокоительном «никто... и ничто...». Он, именно он хочет жить в нашей с вами памяти, в наших сердцах. Жить! Так откроем сердца, память свою и для этого ленинградского мальчишки!

«— У нас управхозом был не очень грамотный Конанович. В июле он меня позвал. Тогда карточную систему объявили. Я ему помогла в выдаче карточек. И когда пришла домой, еще во дворе вижу — Валерий. Он в окно смотрит и говорит: «Тетья Муся! Здравствуйте! Я пришел».

— Это ваш приемыш? Снова вернулся?

— Да, мы до войны его усыновили, и все было хорошо. Но перед самой войной он вдруг пропал. Мы так переживали с мужем. Война началась — объявился наш Валерий... У него мать алкоголичка. Они жили около Невского. Почему он воришкой стал? Там воришки были, и он, значит, подпал под их влияние, они его взяли потому, что у него быстрый взгляд. Я вам карточку покажу. Мальчишка был такой занятный, веселый. Про него в школе говорили: или это будет великий прохвост, или знаменитость какая-то. В общем, он меня так обрадовал: «Тетья Муся! Я пришел». Я говорю: «Ну ладно. А что я буду с тобой делать?» Он мне поставил такое условие: «Устраивайте, тетя Муся, пожалуйста, меня в ФЗУ здесь, около Андреевского собора. Только туда!» Из школы он был исключен за свои шалости — озорник был такой. Мы тогда наняли ему двух учительниц. Одна учительница была по всем предметам, старенькая, ей семьдесят с чем-то лет было. А другая — студентка. Она по арифметике с ним занималась. Он ходил к ним заниматься перед войной до тех пор, пока не сбегал. Эти учительницы были в восторге от него: такой способный, что прямо за четыре месяца прошел годовую программу! И вот он появляется и говорит: я пойду в ФЗУ. А ему всего двенадцать лет. Я пошла к Анашкину, директору ФЗУ. Он говорит: «Мы его не можем принять — ему лет мало и надо справку из школы». А в школе он не учился. Тогда я пошла к Марье Константиновне и говорю, что мне нужно Валерия устраивать в ФЗУ. Дайте справку, что он прошел там все. Она дала такую справку, заверила ее. И вот, вы знаете, я несколько раз ходила в это ФЗУ, и все мне отказывали. Я прямо пла-

кала, говорю: «Он мне неродной. Муж у меня ушел добровольцем. Как же мы будем жить? Я очень прошу вас принять». И после многих хождений я как-то прихожу (Валерий меня уже встречает) и говорю: «Ну, скажи мне спасибо, Валерий, тебя приняли в ФЗУ». Он был экспансивный мальчишка, он выразил свое спасибо знаете как? Распластался и поцеловал мне ногу! Я и до сих пор не могу забыть, как он был рад.

Стали мы жить с Валерием. Ему шинель выдали чуть не до пят, он был маленького роста, ведь двенадцать лет, а там мальчишки большие. Вот однажды мастер мне прислал записку: надо с вами поговорить. Ну, я пришла. Он говорит: «Ваш сын прямо золотые руки, просто удивляемся, как все у него получается. Но вы знаете (и выдвигает ящик стола — полный стол денег!), вот, говорит, отбираем у мальчишек деньги. И у вашего сына. Вы даете ему деньги?» «Какие у меня деньги? У меня денег нет». — «Вот забирайте, у него шестьдесят рублей взяли». Оказывается, матери, которые эвакуировали детей, часто забывали сумочки в магазине и даже карточки, а мальчишки из ФЗУ все подбирали. Один раз Валерик мне говорит: «Тетья Муся, у меня такой блат! Вы хотите иметь крупу, рыбу?» Я говорю: «Откуда у тебя может быть блат?» А он пожимает плечами и говорит: «А у меня есть блат, я могу все устроить!» Вот такой шпингалет мне такие вещи говорит: «Я могу все!» Я говорю: как же так? Сейчас все по карточкам. И отказалась от этого. Вот однажды он приходит и говорит (а вообще-то врать он умел, как Хлестаков, еще почище): «Тетья Муся! Представьте себе, я захожу в магазин молочный, а там работает тетя Ньюша, подруга моей мамы. Она говорит мне: «Валерий, как ты попал в этот район?» «А я живу тут с тетей Мусей». — «Как же ты живешь? Может быть, ты будешь ходить сюда ко мне за молоком? Ты бери бутылочку, и я тебе буду наливать молока...» Я, не подозревая ничего, даю ему полудитровую бутылочку. Он приносит это молоко и почти все сам же выпивает. И вот однажды — а он уже сделал себе такие погоны красные матерчатые (мальчишка-то маленький), подпоясался ремнем и шашку сделал себе из дерева, с мальчишками в войну играет. — и вот один раз я и говорю: «Валерий, иди домой, я тебе должна штанишки постирать. Ты переоденешься, а я выстираю». Когда я взяла эти штанишки, в кармане оказались карточки. По карточкам он получал молоко, вот и все! По детским карточкам! Я его позвала и говорю: «Валерий! Я у тебя нашла детские карточки. И ты мог получать детское молоко? Есть у тебя совесть или нет? Как ты меня обманул! Как мне с тобой жить после этого?!» Его это передернуло, он сказал: «Ну, тетя Муся, с вами каши не сварить». Я говорю: «Чтобы этого не было никогда! Ты знаешь, что такое маленькие дети, что такое для них молоко, а карточки у тебя!» «Я нашел их». — «Мало ли что нашел. Это же детские карточки».

Зима настала, у него был парень знакомый в нижнем этаже так лет шестнадцати. Я говорю: «Валерий, вот как было бы хорошо, если бы ты съездил с ним на правый берег Невы. Там картошка в поле еще есть, говорят, и капуста тоже. Взял бы капусту, и мы с тобой что-нибудь сделали». Он говорит: «Ну что же, тетя Муся, пожалуйте, я могу поехать. Я договорюсь с Колей». И вот в воскресенье утром они отправляются туда. Я ему дала мешок. И вот знаете, как я мучалась, потому что начались обстрелы. Думаю: что я сделала? Послала ребенка за капустой, а там обстрел. Ругаю себя. Места себе не нахожу. Уже пять часов, и шесть, и семь, а его нет. Ну, думаю, пропал Валерий из-за меня. И вдруг часов в девять он является. И та-кой, знаете, вот как дед-мороз — с мешком. И вот он так в три по-

гибели согнулся, идет, как странник божий. Я говорю: «Валерий, ты жив!» Он говорит: «Да. Тяжело было. Переправлялись на катере, пять рублей (а я ему пять рублей дала с собой) не понадобились, тетя Муся, возьмите». Я взяла эти пять рублей. Он привез мне пять кочанов капусты. Я эти кочаны потом посолила. Он мне, например, мог сказать, ложась спать: «Тетя Муся, сегодня у нас собирали на Красную Армию. Пришлось дать двадцать пять рублей». Я прямо с ужасом думаю: откуда у него двадцать пять рублей? Я же ему не даю. Значит — ворованные. Так и есть, значит, он остался воришкой. Я молчу. Мне просто неудобно говорить, что ты украл и дал Красной Армии.

Вот здесь на набережной (а мы жили у Большого проспекта) был когда-то такой ресторан «Золотой якорь», а теперь это была столовая этого ФЗУ. Вот однажды он мне говорит: «Тетя Муся, завтра детям будет давать шоколад по двадцать пять грамм — вот такой кусочек шоколада. Но вы знаете, я не люблю этот шоколад. Я могу отдать его вам. А вам дадут батончики соевые, а ведь батончики я страшно люблю. Давайте меняться?» Это он от души хотел сделать мне приятное. Но однажды он меня действительно потряс: вдруг он приходит (а он такой голодный был! Хотя им давали четыреста граммов хлеба, но он не мог наестся, он такой маленький был, голодный и еще перед войной он набегался — неизвестно где был), — вот пришел в комнату ко мне и говорит: «Сейчас кое-что я вам покажу». Лезет за пазуху, достает маленький сверточек в бумаге: «Тетя Муся, чем я вас буду угощать сейчас, вы не поверите! Нам на ужин дали по куску пирога белого. И вот, тетя Муся, я принес вам. Я не притронулся к этому пирогу». Представляете, какое сердце было у этого мальчишки, у воришки-то?! Я говорю: «Давай пополам разделим». «Нет, нет, тетя Муся, я только для вас принес». И он действительно от сердца это сделал! С этим пирогом он, голодный мальчишка, шел две остановки. Какой человек мог быть, если бы он не погиб! Этот случай просто меня потряс... Вдруг он пропадает, нет и нет его, не идет ночевать. Я пошла в ФЗУ, говорю: «Скажите, пожалуйста, где Валерик? Может быть, послали куда?» Мне говорят: «Знаете, ваш Валерий с мальчишками — те большие, по семнадцать — восемнадцать лет, — все они убежали на фронт». Так он сбежал, и больше я никогда не видела Валерика.

— Это начало сорок второго года?

— Да, это было зимой сорок второго года. Больше я его не видела. Наводила справки и после войны — ничего. Сбежал на фронт, пропал. Может быть, под обстрел попал, очень многие садились в поезд, поезд попадал под обстрел, бомбили, все горело. Так Валерий пропал. Я его не могу без слез вспоминать».

А впереди еще два года...

Ушли самые долгие месяцы блокады — зима 1941/42-го и весна 1942 года. Они-то в основном и унесли жизни ленинградцев, которые умерли в городе или какое-то время спустя, уже в эвакуации.

Выходил из зимы, из холода и голода Ленинград трудно, но выходил. Надо еще было спасти себя от весенней эпидемии — убрать с улиц трупы, нечистоты, все, что оставили голод и бессилие истощенных людей, убрать руками их же, обессиленных. Ленинградцы шли на очистку города, как на фронте шли в атаку. Надо было очистить дома, дворы, квартиры, не умереть весной, летом от неизлечимой глубокой дистрофии и не дать умереть другим. А тут — снова опасность, ожидание вражеского штурма. И злобные **ночные и днев-**

ные обстрелы, слепые — «по площадям» и прицельные — по трамвайным остановкам, госпиталям, кинотеатрам...

«Да, смерть глядела этой зимой в самые наши зрачки, глядела долго и неотрывно,— рассказывала Ольга Берггольц выжившим ленинградцам про них самих, как рассказывают человеку про кризис болезни, когда он миновал,— но она не смогла загипнотизировать нас, как гипнотизирует удав намеченную жертву, обезволивая ее и покоряя. Фашисты, заславшие к нам смерть, опять просчитались».

Город чувствовал себя, как человек после тяжелейшей болезни: слабость, но и невероятный прилив душевных сил, жадность к жизни.

«Я работала санитаркой в эвакогоспитале № 68 на углу Б. Пушкинской,— пишет нам Вера Ивановна Павлова из Тосно.— Ни воды, ни света, почти у всех был голодный понос. И вот в такой палате почти умирающие вдруг закричали: «Ребята, победа, ура, ура!» Это был апрель 1942 года, по-моему, 15 апреля. И полезли кто как мог к окнам. Ура! Победа! Оказывается, зазвенел трамвайный звонок и пошел трамвай, который всю зиму стоял на Большом проспекте. Если бы вы видели, сколько было радости! Кто посильнее, говорили: «Это уже победа!» — убеждали, объясняли...»

В некоторых записях и дневниках звучит восторг, ликование летних дней 1942 года, когда на город хлынули потоки солнечного света, запоздалого тепла, зеленые листочки появились на ветках, трава брызнула из развороченной земли.

Такая вот безоглядная, нерассуждающая радость вычитывается в дневнике девятнадцатилетней Галины Бабинской:

«27 июня 1942 года. Город — как хочется писать о нем, о нашем Ленинграде! Тот, кто не перенес эту зиму здесь, не чувствовал, не перенес всех ее трудностей на себе, не может понять радости ленинградцев, наблюдающих возрождение своего родного города. Об этом хочется говорить и говорить без конца, говорить об этом возвращении к жизни. Сейчас в особенности оживление города заметно на каждой мелочи. Незаметно это для постороннего глаза, для глаза, не видевшего Ленинград зимой.

Улицы и проспекты совершенно чистые, с шумом и звонками. Как приятно слышать эти звонки, сидя дома у окна за работой. И так со звонками пробегают мимо сверкающие чистотой стекол трамваи. Всего несколько маршрутов, но все-таки это настоящий трамвай. И сколько человеческих жизней спас трамвай. Трамвай спас жизни! А прежде говорили наоборот. Да, нам понятно это выражение — трамвай спас жизни!

На трамвайных остановках толпы. На улицах снуют взад и вперед деловые люди. Но есть и женщины нарядные, мужчины, женщины, ребяткишки. В садике у театра особенно нарядна публика: женщины с модельными прическами, в изящных туфлях, в изящных платьях всех цветов радуги; мужчины в начищенных костюмах, в нарядных ботинках. Но главным образом военные. На некоторых девушках исключительно складно сидят шинели, девчата здоровые, румяные, веселые.

В кассах кинотеатров и театров, в Музыкальной комедии — очереди. Перед началом спектаклей у подъездов собирается большая толпа неудачников, не имеющих билетов. В саду Дворца пионеров концерты джаза Клавдии Шульженко и Владимира Коралли. Открывается Сад отдыха. Дает концерты филармония. На улицах группа людей возле очередного номера свежей газеты. Народ заходит в

промтоварные и продуктовые магазины. Продавщицы в чистых белых халатах. На полках чистые белые занавески. Продукты выдаются в срок и без очередей. А на углах чистильщики сапог. Парикмахерские полны дам на маникюр и горячую завивку — со своим керосином!..»

Вот как оно воспринималось после блокадной зимы! Здесь все гиперболизировано. Но преувеличенность эта, ликование, умиление, жажда видеть, находить только хорошее показывает не столько весну и лето 1942 года, сколько лютовость ушедшей зимы, нечеловеческий ужас пережитого.

То, что очистили город, что ослабевшие руки сумели поднять лом, воткнуть лопату, вывезти тачку, было чудом. Сегодня, издали, это воспринимается естественно. Вышли, выходили день за днем люди во дворы, на улицы, площади, скололи лед, убрали завалы грязи, отбросов, нечистот, вывезли, вычистили, отмыли... Что-то похожее на теперешние апрельские субботники. Но тогда у самих же ленинградцев результаты работы вызывали изумление. Они не предполагали, что сумеют это сделать, что осилят. Секретари райкомов, председатели райисполкомов знали, что сделать это необходимо, но не понимали, каким образом высохшие, вялые от слабости, похожие на призраков люди смогут справиться — вручную, без механизмов, машин — с таким гигантским трудом.

Почти у каждого блокадника бережно хранится справка, которую давали тем, кто участвовал в очистке города.

Как же было в городе летом 1942 года?

Город грелся. Люди стояли, сидели на солнышке, стараясь прогреть замерзшее, казалось, до самых костей тело. Холод выходил медленно, долго. До июня стены домов еще дышали холодом. Солнце было также и светом, от которого отвыкли. Люди наслаждались ярким светом, открывали окна, забитые фанерой, завешанные одеялами, тряпками. Солнце беспощадно высвечивало внутренности комнат. Закопченные стены, потолки. Обломки несожженной мебели. Вывороченный на дрова паркет. Буржуйка. Тряпье на кроватях, диванах. Грязь, грязь, нечистоты, обломки, осколки стекла, посуды — следы бомбежек... Опустели книжные полки. Повсюду проступали следы потерь и смертей. Во что превратились лестницы, дворы! Крыши продырявлены, прожжены зажигалками, пробиты осколками. Из всех окон торчали трубы буржеек. Открылись от снега развалины, остовы горелых домов...

Человеку нужна возможность оглядеться, увидеть себя и ужаснуться. Это было необходимо.

Город оживал. Откуда-то появились силы. Заготавливались дрова, торф для электростанции. Исчезли очереди за водой, заработал водопровод, не везде, но в дома один за другим стали подавать воду, хотя бы в нижние этажи. Открывались бани, прачечные. Стали изготавливать подошвы. Их штамповали из старых автомобильных и авиационных покрышек. Реставрировали одежду. Стали шить пальто, костюмы. Делалось много. Однако обстрелы продолжались. И бомбежки. Питания не хватало. На скудном пайке истощенный организм не способен был полностью восстановить силы. Давали куда больше, чем зимой. Уже с 11 февраля 1942 года ленинградцы начали получать: рабочие — 500 граммов хлеба, служащие — 400 граммов, дети и иждивенцы по 300 граммов, стали выдавать крупу, сливочное масло; и все же этого было недостаточно, питания не хватало, нужны были витамины, овощи...

«На нашем дворе на дереве появились первые листики. И вот из окна своего дома я вижу: подошел к дереву гражданин, стал срыгивать эти листья и класть в рот, а затем открыл портфель и начал бросать листья в портфель... Это дерево и сейчас стоит около стены дома в нашем дворе...» (Вера Яковлевна Бокина).

В парках и садах невозможно было увидеть ни одного одуванчика. Из листьев одуванчика варили щи, из корней, мясистых, сочных, делали лепешки. За одуванчиками приходилось ездить все дальше — в Удельную, Озерки. По знакомству двенадцатилетнюю Марину Ткачеву пропустили за одуванчиками в зоопарк. Она не может забыть, что там она ранним летом 1942 года увидела живого бегемота. Как раз соседка, которая пригласила ее (она работала в бегемотнике), и спасла бегемота. Это тоже одна из правдивых ленинградских легенд, о которой, к сожалению, Марина Александровна подробностей не знает. Помнит лишь свои страхи и восторг, с каким миновала клетку, косясь на бегемота, помнит, как потом соседка вывела ее на траву к одуванчикам. И помнит еще, как проходила служительница и что-то сердитое пробурчала насчет этих одуванчиков, которые, мол, растаскивают посторонние. Она имела, наверное, в виду интересы зоосадовских зверей.

«На рынках стали траву разную продавать — по 30—40 рублей за сто граммов щавеля просят, а то и хлеб им давай. Я купила крапивы и сварила щей, а на следующий раз лебеду сварила. До чего голод довел людей, смотришь, на вид приличная дама, нагнувшись, щиплет травку и кладет в рот, как коза». (Из дневника Ольги Ефимовны Эпштейн.)

Люди мылись в банях, приводили себя в порядок, чистили свои жилища, вскапывали огороды, заготавливали дрова — исподволь готовились к следующей зиме.

В июле 1942 года Л. М. Филиппова получила самый для нее дорогой подарок — пакет лебеды. В то время это был драгоценный дар, но тут важно и что предшествовало этому подарку. Любовь Михайловна до сих пор волнуется, стоит коснуться того случая. А дело обстоит так. Зимой пришло к ней письмо с фронта от ее товарища по горькому комсомола И. К. Ковбаса. Он спрашивал, чем можно помочь его жене и дочери. Л. М. Филиппова сама получала 200 граммов хлеба, что она могла? Но она была женщиной огромной энергии и собранности, недаром все эти годы она руководила партиорганизацией Государственной публичной библиотеки.

«— Думаю — пойду я к Попкову, председателю горисполкома, пойду к Петру Сергеевичу. С чем пойду? Использую свой депутатский билет. Ведь не для себя, для помощи. И действительно, написали записочку на Тамбовский холодильник: двести граммов сухарей, плиточка шоколада, сушеная картошка, какая-то крупа. Я к Попкову в Смольный рано утром пришла, оттуда на Тамбовскую. Я такая была счастливая, что только получила! Только бы мне застать родных Ковбаса живыми. (Илья Кириллович был комиссаром какого-то батальона.) Дошла я до Невы. Уже вечер. А чтобы сократить расстояние, не через мост пошла, а по Неве, там к Александровскому саду была дорожка. Вьюга страшная! И вот вы знаете, это самый страшный момент в моей жизни. У меня пакет, там шоколад, я иду через Неву и уже падаю. Как бы не съесть! Этого чувства я вам передать не могу никакими словами. Страшный случай. У меня там

шоколад и сухая картошка, а я должна донести. Понимаете? Иду через Неву. Вьюга задувает, думаю, мне уже не дойти. Как я тогда с ума не сошла, не знаю. И все-таки я иду, иду, иду. Вот улица Ленина. Нашла этот самый дом. Поднялась на третий этаж. Ищу комнату, где они жили (это была коммунальная квартира). Вхожу. Мне стало легче, что я донесла.

— Борьба с собой была для вас труднее, чем с вьюгой?

— Этого не передать. Это было страшно. Когда я переступила порог этой комнаты, мне стало легче, что я донесла. Я такая же голодная, такая же больная, я не могу двигаться, но уже счастливая. Думаю — были бы только живы! Вижу — с одной стороны кровать, с другой стороны кровать. Спрашиваю: «Ксения Петровна? Люся?» В ответ слабый голос Ксении Петровны и более сильный девочки. «Я вам от отца принесла привет!» Ну, знаете, что тут было! Мало того что счастье преодоления! Я какой-то стул очередной, какие-то книги оставшиеся вытащила, растопила буржуйку, поставила кипятилок. Они, конечно, поднялись. Мы сели около этой буржуйки. Они меня угощали, и я, уже не стесняясь, поела, потому что я иначе с улицы Ленина до Публичной библиотеки не дошла бы. Это был очень счастливый случай. К счастью, они обе выжили. Потом мне удалось их отправить на Большую землю, эвакуировать, тоже через горком партии. И вот — самый дорогой подарок, который я получила в блокаду. Я прихожу домой, лежит большой-большой пакет — Любове Михайловне Филипповой. Я уточняю: это когда они встали и окрепли, весной. Я их после отравила. Они тот паечек разделили и обе выжили. И жили уже на Крестовском острове, были на своих ногах, собрали там лебеду и весной сорок второго года вот такой большой пакет принесли мне и трогательное письмо. Из этой лебеды мы наделали таких котлет! Такой у нас был пир! Ведь они уже умирали обе — девочка и Ксения Петровна. И тот паек, который я принесла и они постепенно ели, их все-таки спас, я так считаю. Еще помню какие-то одуванчики, которые мы тоже ели. Но главное — лебеда. Одуванчики — в салат, а из лебеды очень хорошие можно было сделать котлеты. Это был роскошный подарок!»

Рассказывает З. А. Игнатович:

«— В первую весну сорок второго года, когда появилась трава, то народ как будто превратился в животных: любую траву срывали и ели. Ни одной травки в Ленинграде не оставалось под забором. Однажды мы с одной из сотрудниц, Софьей Хатановой, поехали в Ботанический сад, хотели договориться с ними, чтобы эти травы посылали нам на анализ. Надо же выяснить, какие травы ядовитые, какие не ядовитые. Ботанический сад был закрыт на замок. Мы позволили. Когда мы туда вошли, увидели пупырь вот такой высоты! Господи! Нас попросили подождать, пока придет научный сотрудник. Мы же стали этот пупырь есть — с таким удовольствием!

— Пупырь — это трава?

— Трава. Листья ее похожи на листья моркови. И мы этого пупыря так наелись. Никто не трогает, везде пусто, и мы ели. Когда вышел к нам Никитин, нам стало неловко. Мы договорились, что травы они на анализы, конечно, будут посылать. Мы его спросили: а можно нам пупыря нарвать? Он говорит: «Это же сорная трава». Я говорю: «Ну, все равно». И вот мы с ней набрали две полные сумки, пришли в лабораторию. Наелись все и были счастливы. С таким удовольствием ели эту сорную траву: пупыря наелись!»

«Июнь месяц 1942 года. С каждым днем организм слабел, хотя хлеба прибавили, я уже получала 400 граммов в сутки, но есть еще больше хочется... Бомбежки, обстрелы, воздушные тревоги продолжались, но было хорошо тем, что мы грелись на солнышке, как мухи...

Июль месяц 1942 года. На улице тепло. Распустились деревья, выросла трава. Мы с мамой и другие ходили на кладбище и собирали какие-то корни, варили и ели. Крапивы и травы почти не было, так как голодные люди собирали все для питания...» (Из дневника Юлии Т.)

К тому времени Юлия Т. начала работать в столовой кассиром. Рассказывая о своей работе, она упоминает и меню и обстановку в столовой того времени:

«Давали щи из сушеной морской капусты и дрожжевой суп, давали кашу, на 200 граммов талон, а также выдавали на номерные талоны дополнительно шпротовую запеканку.

...Тарелки вылизывали... Вечером я клеила вырезанные талоны по сто штук на бумагу... Клеить талоны было не на что. Не было бумаги. Клеили на газеты или на старые ноты, которые кто-то приносил».

Что ни рассказ, то свое, не похожее на другие восприятие весны 1942 года. По-разному люди выходили из блокадной зимы, по-разному оживали. Не ко всем возвращалась вера.

Было интересно обратиться к наиболее полному из всех дневников — как встречал весну и лето 1942 года на своем «малом радиусе» Г. А. Князев. В записях его чувствуется усталость. Он все время подбадривает себя, обнадеживает, но это все труднее дается ему.

«26 мая 1942 г. Плохо здоровье академика физиолога Ухтомского. У него на почве запущенной цинги началась гангрена. Врачи считают его положение безнадежным. Здоровье академика Крачковского все время колеблется, как пламя свечи. На днях у него был консилиум. Его взяли под наблюдение лучшие врачи города.

3 июня. Около нашего Архива разломаны ворота на дрова... Некоторые «охотники» выпиливают балки на чердаке... Самый страшный для быта ленинградцев вопрос — как просуществовать зиму?

12 июня. На моих глазах от голода погибает Матрена Ефимовна, наша бывшая домработница, которую я взял временно на службу. Она на иждивенческой карточке. Сегодня она вся почернела. У нее, как она призналась мне, начался голодный понос».

Он изо всех сил хочет сохранить объективность. Он тщательно отмечает все хорошее, любые успехи, приметы возрождения жизни.

«22 июня. На грядах в Румянцевском сквере поднялись всходы... Совершенно не встречаю транспорта с покойниками — ни ручного, ни автомобильного. Вероятно, не в те часы провозят, когда иду на службу. Вижу немало людей, и нестарых, с трудом передвигающихся, некоторые держатся даже за стенки дома.

Напротив нашего дома на самом берегу продолжают женщины рыть траншеи.

В городе, по крайней мере на моем участке, малом отрезке радиуса, очень чисто; каждый день подметают. Дворники — сплошь женщины. В Академии художеств в одном окне сегодня маляр вставлял стекло.

28 июня. Большая тревога на сердце. Под Севастополем непрерывные ожесточенные бои... Писать ли дальше записки? Слишком они становятся тяжелыми.

Нам, современникам, не видно всего, а то, что мы видим, может быть, совсем не то, что должно войти в историю. Нужны ли такие записки, как мои, не очень ли они односторонни, субъективны?.. И все-таки продолжаю писать. Я уж десятки раз пояснял, что веду свои записки как современник великих событий, но не активный их участник. Я обязан и должен сделать свое дело, записывать до тех пор, покуда в состоянии буду писать.

М. Ф.¹¹ катастрофически худеет. Карточек не хватает. Пайка не выдают. Купить по спекулянтским ценам ничего не удастся. Сжигаю зубы и гляжу судьбе в глаза...

Пришлось прервать выписку. С воем и визгом проносятся над крышей снаряды и где-то рвутся недалеко. Подошел к окну. В дворе сада копаются в песке ребятишки; кто-то идет с кувшином. Яркое солнце, почти безоблачное небо. М. Ф., к счастью, только что вернулась домой. Мы вместе. Чего же беспокоиться? Продолжаю.

Страшные опять приходят мысли в голову... Неполучение пайки поставило нас в тяжелое положение. М. Ф. плохо себя чувствует.

Борюсь. И буду бороться. Еду сейчас проверять дежурство в Архиве. Исполню свой долг до конца...»

Весна и лето 1942 года воспринимались по-разному Г. А. Князевым и девятнадцатилетней Галиной Бабинской. Сперва кажется, что это совершенно разные города. Или разные времена блокады. Но стоит вдуматься, взглядеться — и окажется, что они не опровергают друг друга и даже не противоречат. Существовало и то и другое. Все зависело от того, кто смотрел, какими глазами. Надо наложить несколько разных картин, чтобы возник перед нами медленно оживающий Ленинград 1942 года, где еще умирали не в силах оправиться от дистрофии и где вскапывали, обрабатывали каждый клочок земли в садах, парках, бульварах под огороды. Можно понять Галину Бабинскую, когда любая малость виделась ей преувеличенно. Две-три встречные женщины в туфлях и летних платьях были событием, надеждой, счастливой приметой. Чистильщик сапог вызывал восторг. И можно понять Г. А. Князева, который понимал, что блокада продолжается, Ленинград по-прежнему в упор расстреливают вражеские орудия и впереди вторая блокадная зима, а силы кончаются.

Можно понять и настроение четырнадцатилетней школьницы Д. Лозовской, запечатленное в ее дневнике:

«21 июня. Без одного дня годовщина войны. Сегодня мы занимались алгеброй четыре часа, но не знаю, к чему это приведет, боюсь, что провалю. После обеда ходила в кино, смотрела «Машеньку». Я могу сказать, что картина только ничего, не больше... Я так боюсь алгебры, прямо не знаю.

26 июня. Испытаниям конец! По литературе у меня хорошо, по геометрии четверку получила. Я очень рада, потому что вчера, вместо того чтобы готовиться, я ходила с Асей гулять в сад. Между прочим, в сад Дворца пионеров ходят очень хорошие мальчики, Рома и Лева. Они были с Аськой в доме отдыха. Мне они оба очень нравятся. Вообще мальчики на все сто: культурные, вежливые, хорошо одеваются, не подкопаешься... На завтрак нам дали два кекса из сои

¹¹ М. Ф. — Мария Федоровна, жена Г. А. Князева, она-то любезно и передала нам дневник покойного мужа.

с киселем, стакан сладкого кофе и 100 граммов хлеба. Было очень вкусно приготовлено. На обед был гороховый суп, какая-то рыба с лапшой, на третье стопочка морса и 200 граммов хлеба. На ужин нам дали соевую запеканку с томатным соусом, стакан сладкого чая (на сахаре) и 100 граммов хлеба».

И рядом другое. Нам дала свою фотографию Мария Ананьевна Шельванова. Показала и сама ужаснулась:

«Вот смотрите, какие волосы и какое лицо, совсем как у мертвой. Вот какие косы были, а от голода начали вылезать. Я сказала своей знакомой: я отрежу волосы, куда они мне. Нет мыла, ничего нет... Это сорок второй год, ближе к осени. Последний раз я распустила волосы, и она меня сфотографировала. Нет, обратите внимание, какое у меня было страшное лицо!»

Из многих свидетельств мы отбирали не только схожие, но и разные, несовпадающие, разноречивые. Мы не хотели выводить из них среднее. Среднее не значит истинное.

Все четыре Евангелия излагают одно и то же. Четыре автора описывают одну и ту же судьбу, одни и те же события, но каждый по-своему. И если подойти к этим произведениям как к явлению литературному, то возникает вопрос: зачем, почему эти четыре повести сосуществуют вместе? Почему читательский интерес не гаснет, не падает по мере чтения каждой новой повести? Каждая следующая дает все меньшую информацию, все меньше нового. Авторы повторяются, хотя у каждого есть свое — и свой слог, и свои факты, и свое видение. И все же все четыре повествования вместе интереснее, чем каждое в отдельности. Они образуют какое-то устойчивое единство, несмотря на все повторения, несмотря на разные толкования... А может, именно благодаря этому? Они как бы поддерживают друг друга, помогают, высвечивают, почему-то не мешая, а усиливая друг друга. Какое взаимодействие между ними происходит? Таинственное, сложное это взаимодействие не укладывается в известные законы литературы. Когда Ренан попробовал на основе четырех Евангелий и всей известной ему литературы написать «Жизнь Иисуса», получилось произведение, лишенное художественной силы. Такая же судьба постигла и «Евангелие» Л. Н. Толстого, созданное как нечто сводное, более точное. Пример этот для нас поучителен...

Эта бессмертная, эта вечная Мария Ивановна!

А Мария Ивановна из ЖАКТа — помните ее, командира группы самозащиты? — она все еще там, возле своих «жилых объектов»... И сегодня память ее мечется между домами и бараками, тащит и нас следом туда, где с громом и дымом разорвался снаряд, или где, наоборот, подозрительно тихо, или куда ее послало письмо фронтовика, встревоженного молчанием своей семьи...

Сегодня М. И. Дмитриева занимается садоводством, ждет к лету в гости внучек («Две девочки-школьницы, чудесные!»), пишет письма дочери, живущей на Севере с мужем-летчиком, обсуждает с соседками местные новости... Но память ее блокадная при малейшем толчке снова там, возле «жилых объектов»...

«— А здесь был у нас сильный обстрел, на Швецова, тридцать восемь. Вернее, здесь так было: вначале, нам казалось, нас сильно обстреливали, а когда разместились здесь «катушки», вот тогда дей-

ствительно началось... Здесь есть завод металлолома, и туда подвели рельсы и поставили «катюши»... Их быстро выкатят, нацелятся и стреляют. Потом они уйдут, а мы-то остаемся. По нас и били. Так били, что дома были разрушены на нет. Получилось это примерно, если не ошибаюсь, в марте месяце. Это днем было. Я помню, что уже позавтракала, пошла в контору. Начался свирепый обстрел. Я дошла до конторы. И не помню, кто вскричал: «Мария Ивановна! Там разбили дома!» Снаряд попал в тридцать третий дом. Ну, было трудно подойти. Пошла я. Пошла, пробралась все-таки. Это далекоато, к Тентелевке туда, в стороне дом. Вот пришла, вхожу. А там какой-то стиль был, не знаю,— на обе стороны комнаты, а посередине коридор сквозной. Вроде строители жили или что-то такое.

— Общежитие?

— Да, как общежитие. И были не квартиры, а только комнаты. Причем длинный коридор. Двухэтажный дом. Ну вот, я прошла по первому этажу, никого нет. Стукнулась туда, сюда, все закрыто. Тогда я наверх прошла, а там стенка разбитая. Дом-то деревянный, и когда его снарядом стукнуло в угол в верхние перекрытия, бревна-то встали как карты. Но это в одном углу только, а остальное все нормально.

— А вот в этих закрытых комнатах, куда вы толкались, там, может быть, люди были?

— Вот я и думала, только никто не отозвался. Потом, когда я уже обратно повернула (но обстрел еще не кончился, и осколки жиж, жи-их в этот дом), шла назад, я услышала какой-то звериный рев, просто ненормальный, просто зверь ревет, причем шибким таким, сильным голосом. Я остановилась. Потом вышла на улицу и смотрю наверх: как там разбита квартира и где? Стала прислушиваться: откуда звук издается? Вижу — из этой разбитой квартиры. Я подошла к двери, слышу, что здесь. Но дверь настолько плотно закрыта, что не шевельнуть ее нисколько. В это время бежит ко мне мальчик, подросток, лет ему пятнадцать — шестнадцать. Очень хотела бы теперь его найти, увидеть. Это Юрик Лебедев. Я его запомнила. Родители у него эвакуировались давно. Старший брат, летчик, ушел на фронт, это он мне рассказал. А он был в ремесленном железнодорожном училище. У них наверху была квартира (тоже все разбило). И вот он появился откуда-то. (Юра после, когда ремесленное эвакуировалось, часто приходил к нам помогать — тушил зажигалки и всякое там другое.) Ну вот. Я говорю: «Где же это кричат? Кто здесь живет? Я во все двери толкалась — везде закрыто». А он говорит: «Ах, это Дуся!» Он в доме всех знал. Я говорю: «Ну а как же мы с тобой туда попадем? Дверь-то не поддается». Он говорит: «Подождите, Мария Ивановна, сейчас». Ну, он юркий такой, худенький. Он пошел другой стороной. Отсюда стреляли, а он другой стороной обошел и говорит: «Я сейчас в эту дыру, которая пробитая, пролезу». Я говорю: «Осторожней смотри: осколки». Пролез. И кричит: «Мария Ивановна, я здесь!» Дверь бы нам нипочем не открыть. Оказывается, от толчка снарядом вещи попадали. У них гардероб большой стоял, и этот гардероб на дверь опрокинулся. Ну, Юрик этот гардероб отдвинул, приоткрыл дверь, и я туда вошла. Там, знаете, известь, мел, как облако! Потому что все осыпавши, вся штукатурка. Вот такие груды этой штукатурки! Ну когда немножко это вроде стало осаждаться, я увидела: кровать стоит. Она вся завалена, потом диван или оттоманка, тоже вся завалена. И везде доски раскиданы. Я говорю: «Подожди, Юрик, не двигайся». Потому что я услышала писк какой-то, что-то вроде писка, кошку, что ли, придавило. Я говорю: «Подожди, Юрик, мы должны осторожны быть». Ну вот — и вдруг опять

рев этой женщины! Она без сознания, израненная, под кроватью! Она почему-то затиснута под кровать. Кровать низкая такая, железная, и она заткнута туда.

— Может быть, от обстрела забились?

— Может быть, она заползла, а скорее волной ее забило туда. И опять таким же голосом страшным она заревела. Только поэтому мы увидели, что кто-то под кроватью лежит. И вдруг опять писк — вот такой, вроде котенка. Не знаем, с чего начинать. Я говорю: «Юрик, как можно осторожнее шагай, потому что придавишь». Вы знаете, на цыпочках шагали через эти плиты-то, штукатурку.

— Которые на кровати лежали?

— Нет, на кровать-то мы не ступали. На полу. Теперь, значит, стол. Он посредине стоял, но ничего там от стола не осталось, только доски лежат. Подошла я, как взяла, средняя доска и поднялась. К моему удивлению (я, честное слово, не знаю, как без языка не осталась!), лежит вроде бы ребенок. Но грязный, в глине какой-то, в извести, мокрый!

— Голенький? Только еще родился?

— Да, конечно, только родился, из утробы матери. И вы знаете, за ним тянется пуповина. Это от матери, из-под кровати, через это все... Кошмар! Никогда ничего такого не видела. Но в это время, я не знаю, откуда что-то бралось. Я говорю: «Юрик, ищи воды. Воды и ножницы!» Юрик побежал. Бегал, бегал (их квартира тоже наверху) и несет мне: «Мария Ивановна, не нашел я ножниц. Вот нож принес и графин, хвоей настоящий». «Ну,—я говорю,—она, наверно, кипятком налита. Ничего страшного». А у кровати, знаете, такие красивые свесы вязаные. Ну, я выдернула этот свес из-под обломков, кромку от него, так, сбоку, оторвала пупок перевязать. Все это встряхнула — больше делать-то нечего, у нас ничего другого нет. Подошла, свесом этим накрыла ребеночка — и на кровать в уголок. Завернула я ребеночка. Он запищал. От грязи задыхается, плакать-то не может, понимаете ли, как котенок, пищит. Я говорю: «Ну вот, я пупок перевязала, нужно обрезать, чтобы не тащился». А сама не знаю, сколько оставить. Оставила сантиметров восемь, наверно.

— Вам никогда не приходилось раньше принимать роды?

— Никогда не приходилось, конечно, где же там. Не приходилось и не видела даже никогда. Ну вот, я пупок обрезала ножом. Перевязала.

— И Юрик помогал?

— А Юрик мне вот что сказал. Я говорю: «Сейчас будем вытаскивать больную оттуда». А он: «Мария Ивановна, неудобно мне». «Что ты! Мы спасаем жизни! И ты о каком-то неудобстве говоришь! А как же врачи? Да ты что? Никаких неудобств! Слушать не хочу!» И он принялся мне помогать. И вот я этого ребеночка завернула. Потом говорю: «Теперь ты мне поливай». Он из графина мне поливает. А я хоть завернула, но один конец оставила (свес-то ведь длинный), и вот он мне на этот конец льет. Я стала чистить изо рта все, чтобы дыхание открыть ребенку. И он заплакал настоящим голосом. А то он задыхался от этой грязи. На кровати расчистили местечко. Положили ребенка. Молчит. «Давай вытаскивать». Как ее вытаскивать? Она оказалась такая здоровая, такая сильная женщина, причем косы распущены, расплетены. Длинные, ниже подженок волосы — красивые светлые волосы. Боже мой! Мы с ним тащили-тащили ее. А у нее так: у нее здесь на голове изранено все, видимо осколком. И волосы прилипли, с кровью, грязью. И она как шевельнется, у нее сильная боль: потому она и кричит. Я говорю: «Знаешь что,

Юрик, простит она нам, если живая будет. Давай обрежем это, чтобы ее не тревожило».

— Волосы?

— Волосы. И я ножом эту прядь. А другие пряди оставила, скорей закрутила. А что прилипло — отрезала. Я говорю: «В больнице отмоют». Ну вот, мы ее вытащили. Вытащили — она без сознания. Только изредка прямо, знаете, каким-то тигровым голосом ревела. Ужасное что-то! И вот подтащили ее к дивану. Мы все эти плиты, знаете ли, расчистили. Мы теперь уже ходили свободно, потому что расчистили себе дорогу. Мы ее подтащили к дивану, но никак нам ее не положить на диван. Вся грязь за нею тащится. У нее место не вышло, ничего, понимаете? «Юрик, ты держи. Немножко приподнимем. Ты только держи, подставь колено. А я здесь буду заворачивать». Все-таки положили! Только мы успели положить, еще тут подбираем все, вдруг девушка бежит. «Марья Ивановна, — кричит, — Марья Ивановна! Вы живы?» Мы уж забыли об обстреле. Обстрел-то не кончился, вспышки, осколки! Это была Муся, Смирнова ее фамилия. Из дома тридцать шесть. А квартиру не знаю. Молоденькая девушка, тоже, наверно, вот такая, как Юрик, может быть, ей лет шестнадцать. Я говорю: «Жива я, Мусенька, жива». И еще говорю: «Нам необходимо сейчас же вызвать машину. Ты иди обратно к телефону. Осторожно пробирайся!» «Я осторожно. Вы-то осторожнее, ведь он сюда все бьет!» И потом она мне сообщила: «Марья Ивановна! Еще разбилось дом шестьдесят седьмой на Тентелевке, все пробило одним снарядом, и печка там упала». А там лежали все больные, и печка — круглая, большая — им на ноги! Они все и умерли. Я говорю: «Муся, мы же должны здесь закончить все. Вызывай машину. Скажи, что роженица, они быстро приедут». Ну, правда быстро-быстро, мы не успели тут прибрать по-настоящему, как вдруг уже машина приехала. Сдала я их.

— Ни фамилии, ни имени не помните?

— Имя ее Дуся. А фамилия? Если только вот найдете Юрика этого, Лебедева, то он, конечно, знает. Они в одном доме жили. Он наверху там, во втором этаже жил. Он знает хорошо. Чего-то такое... Нет, не хочу, потому что я перевру, так я не хочу сказать. После этого я справлялась. Вернее, как? Не справлялась. Меня вызвали как-то в Дом культуры (уж, наверно, года через два после этого всего, после войны). Вызвали в Дом культуры и попросили рассказать отдельные эпизоды. Там были стенографистки. И когда я закончила, я говорю: «Вот что я не знаю: я забыла даже посмотреть — мальчик это был или девочка. Очень сожалею. И не знаю сейчас, жив ли он». Тогда поднялась какая-то женщина со стула и говорит: «Мария Ивановна! Жив мальчик, и жива его мать. Они получили комнату, когда она вышла из больницы. Долго лежали в больнице где-то у Черной речки, на Петроградской». Так я не нашла. Все хотела написать в бюро добрых услуг — может быть, они бы нашли.

— А Юрик после куда делся?

— Про Юрика тоже не знаю. Когда все тут кончилось, он исчез. Наверно, они получили площадь. Лебедев Юрик. Его брат — летчик. Мать и отец были эвакуированы».

Когда рушился под тяжестью преступлений несостоявшийся «тысячелетний рейх» и фашистскому Берлину непосредственно стали угрожать окружение, штурм, Гитлер, укоряя малозверов и нытиков, вдруг вспомнил про Ленинград. А в циркуляре Гимmlера, ставшего командующим группой войск «Висла», Ленинград приводился как пример поведения жителей, обороны города, создания неприступной

крепости. Циркуляр завершался фразой: «Ненависть населения создала важнейшую движущую силу обороны»¹².

С каким «научным» хладнокровием старались они удушить, истребить, стереть с лица земли Ленинград! Не получилось. Теперь приходилось «научно» (с учетом ленинградского опыта) спасать собственную столицу. Да только ни там, ни здесь их каннибальская «наука», их самые предусмотрительные приказы не могли решить задачу, привести их к победе. Нужно было что-то большее, чем блудливый страх перед расплатой, за жизнь свою страх. Нужно было что-то такое, что сильнее любых приказов, всех мук голода. Что сильнее и страха и смерти. Именно то, чем держались ленинградцы, что питало волю и героизм советских людей под Москвой, и в Севастополе, и в Сталинграде, и в партизанских краях и республиках,— великая, высокая человеческая правота и оправданность борьбы до последнего дыхания.

Мария Ивановна, бессмертная, вечная Мария Ивановна не капитулировала. Капитулировали те, что старались убить ее бомбами, снарядами, похоронить под стенами обрушившихся домов, уморить голодом, холодом, усталостью, безнадежностью. Победили она и тот безымянный мальчик, который родился, казалось бы, в самом царстве смерти.

Жизнь победила.

¹² «Дружба народов», 1975, № 12.



ВЛАДИМИР ШЛЕНСКИЙ

★

ИЗ СТИХОВ О СЕВЕРЕ

* * *

Научные сотрудники — таежники.
А их лаборатория — тайга.
В душе первопроходцы и художники.
Вся жизнь их романтична и строга.
Огонь в печурке,
словно зверь подраненный,
ревет
и лижет бревна языком.
А в прорези окна, как на подрамнике, —
олень, тайги набросок, бурелом...
Порой тоска ворвется неумная
от тротуаров и больших домов.
Доносится из маленьких приемников
дыхание огромных городов.
И детство заискрится ярким фантиком.
Над вечной мерзлотой пройдут снега...
Достанется романтика — романтикам.
Таежникам останется — тайга.

* * *

Сегодня гонки!
Оленьи гонки!
К полудню, словно на парад,
подняв рога над миром, гордо
олени выстроились в ряд.
Вот подан знак.
Взвились хорей.
И нарты понеслись вперед!
Ну, кто быстрее, кто быстрее
сегодня к финишу придет?
Веселым гиканьем и свистом
наполнилась округа вмиг.
Мелькание рогов ветвистых.
Погонщиков гортанный крик.
Пришел на гонки весь поселок,
чтобы узнать — кто победит.
И девочка, как олененок,
с восторгом на отца глядит...

ОЛЕГ ДМИТРИЕВ

★

ГОРОД

Душа была чиста и молода,
Когда я мог влюбляться в города.
Когда спешил, как к женщине, к Одессе,
Как по любимой, тосковал по ней!
Ни слова не выкидывал из песни,
Ни дня не забывал из прежних дней!
Едва не задыхаясь от любви,
Я находил заветные свои
Сады, дворы, проулки и фасады
И, если время не щадило их,
Признаться, чуть не плакал от досады
На выбеленных солнцем мостовых!
Никто, бывало, в первые три дня
Не мог застать в гостинице меня —
Не потому, что наносил визиты
Одесским многочисленным друзьям!
Мне так хотелось одному, без свиты,
Прийти скорее к милым уголкам...
Я был ревнивцем. Мой горящий взгляд
Осматривал пристрастно все подряд:
У города я требовал свидетельств
Любви ко мне в ответ на эту страсть!
Искал, то сомневаясь, то надеясь, —
След прежних встреч не должен был пропасть!
Счастливый, приезжал домой в Москву
И вновь Одессой грезил наяву,
И вновь любовь просила утоленья!
О годы невозможные, когда,
Как видится сейчас, на удивленье
Душа была чиста и молода!

Смеляков

Тело Ярослава Смелякова
Через Пресню Красную везли
В нарастанье шума городского
Мимо фабрик, что дымят вдали.
Нет, не проявил никто заботы
И не расстарался для того,
Чтобы вышли старые заводы
Проводить поэта своего.

С ночи подготовлен к панихиде,
 Грустно ждал безлюдный ЦДЛ...
 Этот путь
 Бестрепетный водитель
 Выбрал сам и ехал как умел.
 Ибо, в милосердьи равный богу,
 Для певца под крышкой гробовой
 Выбрал он хорошую дорогу
 На прощанье с милою Москвой!
 Тело Ярослава Смелякова
 Через Пресню Красную везли
 В нарастанье шума городского
 Мимо фабрик, что дымят вдали.
 Выходили люди из трамвая,
 Ежились под ветром на углу...
 Может быть, душа его живая
 Приникала к мокрому стеклу
 И смотрела жадно, как бывало,
 На людей, которыми жива,
 В этот ранний час,
 Когда вставала
 У станков рабочая Москва.

На круги свои

Возвратился на круги свои.
 На крутом вираже серпантина
 Открывается та же картина:
 Порт и синее море вдали.
 Через год, иногда — через два
 Приходил я сюда неизменно
 И порою был счастлив безмерно,
 Но порою — не плакал едва,
 Потому что кончаю подъем
 Посредине последнего круга
 Я без самого лучшего друга —
 Здесь когда-то мы были вдвоем...
 Круг за кругом прошел по горе.
 Круг за кругом — по счастью, по горю.
 Стал лицом к беспредельному морю,
 Приобщился к весенней поре.
 Круг за кругом — как будто на пне,
 На горе обозначились годы:
 Все восторги, тревоги, невзгоды,
 Все печали, что выпали мне.
 Круг за кругом — потери мои.
 Круг за кругом — мои постиженья.
 Зов усталости, жажда движенья.
 Друг за другом идущие дни.
 Стой и думай, лицо утерев
 И вернув равномерность дыханью.
 И душой привыкай к полыханью
 В это утро расцветших дерев.
 Постоянно надеждой живи,
 Не за славой гонись, а за словом.
 Помни прошлое, думай о новом,
 Возвратившись на круги свои.

Встреча

Брел, недоброй вестью опечален,
По траве, по гравиию аллей,
У каких-то строек и развалин —
Все не становилось веселей.
Мне навстречу женщина седая
В штопаном, застиранном платке,
На больную ногу припадая,
Шла с корявой палкою в руке.
Старый плащ, нелепые ботинки:
Видно, волю победил недуг.
Выщвели глаза, и ни кровинки
В молодом еще лице...
И вдруг
В сердце мне стремительно и властно
Темная ударила волна:
«Вот она — воистину несчастна!
Нашим бедам разная цена.
Сердце только сжалось, возражая,
И не стало небо голубей.
Справедливо, что беда чужая
Нашу боль не делает слабей.
Прежняя беда со мной осталась,
Старая печаль была со мной,
Да еще кольнула сердце жалость
К женщине усталой и больной.



АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ



МОРЕ В НОЯБРЕ

Повесть

Человека и его призвание связывают довольно сложные отношения. Полная поглощенность призванием чрезвычайно редка. Для этого есть много причин. Главная из них — время. Время от завтрака до обеда, время сна, отдыха, развлечений. И время с большой буквы — Время всей жизни. То, что отдадите призванию, не хватит для чего-то другого. Поэтому с представлением о поглощенности невольно связывается представление о жертвенности. Человек жертвует главным — жизнью. Единственной компенсацией за это считается признание. Но с признанием все обстоит слишком не просто. Оно может опоздать, может совсем не прийти. Может оказаться частичным, разочаровывающим, не отвечающим затраченным усилиям. Идя за призванием, вы вступаете на дорогу риска. Так было, так есть и так будет.

Втягиваясь в борьбу со своим талантом (а это именно борьба), вы можете обогнаться. Простое беспокойство принять за талант. В любом случае вам не по силам определить его размеры и, следовательно, степень оправданного риска. Пресловутый «внутренний голос» слишком долго остается вашей единственной опорой. Вы прекрасно понимаете ее ненадежность.

Больших душевных сил требует мгновенный риск. Каких же сил требует риск, растянутый на годы! Почему же не уменьшается число добровольцев, без которых оскудела бы жизнь? Впрочем, здесь и ответ — оскудела бы жизнь...

Это не рецензия на первую публикацию, не традиционное «доброе слово». Когда повесть готовилась к печати, пришло сообщение о неожиданной смерти ее автора Александра Вениаминовича Полякова.

Общество, к сожалению, не гарантирует признание всем, кто безраздельно предан своему призванию. Но оно заинтересовано во всех таких людях без исключения. Свет, который они излучают, разной силы. Но природа его одна.

Рукописи А. В. Полякова резко выделяют из общего потока пластическая свобода и редкая изобразительная мощь. Хотя автор не опубликовал ни одного крупного произведения, никому и в голову не придет считать его новичком. Нет в работах А. В. Полякова и тени робости, свойственной начинающим. Есть множество пробных камней, на которых проверяется истинный литературный талант, — свободное дыхание при изображении природы, которая не орнаментом, не вставным пейзажем, а действующим лицом входит в литературное произведение, может быть, один из труднейших. Человека А. В. Поляков мерил не только по его отношению к другим людям, но и по тому, как он относится ко всему миру — миру природы, который Александр Вениаминович так тонко чувствовал и понимал.

Внутренний голос, голос совести очень силен в главном герое повести. У капитана Мирали опасная работа, сложный характер и, соответственно, сложная жизнь. Человек этот по-мужски умен и требователен, по-женски капризен. Не всегда разберешь, кто больше виноват в том споре, который он ведет с жизнью, — он сам или жизнь. Верность призванию, мгновенная реакция на свой внутренний голос дорого обходится Ми-

рали. Может, он путает капризность с голосом совести? Может, слишком доверяет самому себе?

На решения капитан быстр. Симпатии и антипатии его могут быть безотчетными. Мы застаем его в трудный для деятельного человека момент перехода на пенсию. Но в характере его отмечаем много детской непосредственности.

Автор был много моложе своего героя. Но тоже много плавал. И колесил по дорогам Сибири. Однако главной его страстью было литературное исследование незаурядных человеческих характеров.

Одно из таких исследований «Новый мир» сегодня отдает на суд читателям.

Виталий СЕМИН.

1

Кто-то смекнул поставить домик в береговой расселине, прямо у моря, крыльцом к воде. Повнятней дунет — и свободно, со всех сторон охватывает, омывает волнами эту хибару, слепленную из ракушечного камня, вода кипит и пенится, брызги шлепают в дверь. Сыро, душно, и ноют зубы от пронзительного чувства одиночества.

Глубокая расселина идет от моря витиеватым коридором. Постепенно мелея, выбирается на свет и простор высокого берега, туда, где подле небольшого рыбацкого поселка целый день грохочет и сверкает судоремстанция; но отзвуки и отсветы той жизни — звон лесопилки, фиолетовое сияние вольтовых солнц, урканье якорных цепей и скрежет, блеск железа — доходят до хибары едва-едва: в краснокаменных стенах ущелья, часто крапленными зелеными и голубыми пятнами лишая и обвешанных по уступам разноцветными змеями, густая, вязкая, пахнущая плесенью и тленом устоялась тишина. Не тот здесь и солнечный свет. Наверху он разлит ровно, широко, а тут какие-то обособленные огненные пятна, клинья и зигзаги — можно подумать, что в ущелье своя атмосфера, входя в которую лучи солнца то гнутся, то ломаются. По временам они бродят по стенам, бродят вкрадчиво и хищно, точно щупальца гигантских спрутов, и когда отыскивают в камне стен россыпи кварца, больно брызжущего в глаза голубизной и зеленью, невольно щуришься и на минуту-другую тускнеет и даже гаснет день.

День уходит отсюда неторопливо, основательно, будто навеки. Он сначала соберет тут все свое — тени и солнечные пятна, дуги и штришки, смахнет с окошек хибарки розовые занавесочки, соскревет с конька сусальный налет... и с полчасца еще помедлит, вроде бы здешний, свой, но внутренне уже суровый, почужелый, втайне изменивший тебе друг, и удалится. Невесть откуда найдет чернильная влажная мгла, над ущельем повиснет малиновый месяц, и видно потом всю ночь, как эту только что откованную и еще не остывшую, но уже занесенную в замахе сабля держит над щелью кто-то невидимый, а на рассвете бросит ее в отчаянии несвершившейся мести в холодное море, и там, сокрытая от глаз, эта сабля обернется голубой песчаной косой, вогнутую кромку которой целый день затем оттачивает добела неутомимое море.

Море на редкость беспокоило и воинственно. Схлестнется с ветром где-то там, далеко, за пятью горизонтами, кто кого там — неизвестно, и к ночи утихнет битва, но долго, всю ночь потом видно при свете костра, как идут и идут оттуда, от места побоища, усталые волны, сверкая и гремя.

Зимой тут все серо, все помято, изжевано голодными ветрами и — немо. Сухой терпкий комок запирает глотку и весь жар тела приливает к лицу, когда ходишь тут и смотришь на обшарпанные стены ущелья, на пожухлые и будто пригнутые к земле стебли полыни,

на постаревшее море, враждебно темное и холодное, холодное даже на взгляд.

Но вот опять весна.

Ущелье затопило влажным, текучим теплом, и стремительно ринулись кверху зелено сияющие заросли полыни и осота, в сырых углах заголубели нежные созвездия поганеньких грибков на тонких ножках, а из щелей в красных камнях поднялись еще более красные, полнокровные маки, светящиеся насквозь, даже и огненные, если смотреть на них стоя лицом к морю, тоже охваченному огнем, вблизи лиловым, вдали желтым и зеленым.

В поселке говорят, будто хибарку слепил у моря какой-то художник. Изредка встречали его наверху, он нес из лавки хлеб и свечи. Исчез он так же незаметно, как и возник, оставил после себя жестянки из-под килек, стеариновые огарки и холст, натянутый на спинку широкого, сплетенного из прутьев кресла. Ходит слух, будто художник утопился от любви и тоски, это мало похоже на правду. Судя по запыленному и объеденному мышами холсту, он был бездарен, страдал сомнением и тяготел к псевдотрагедийным сюжетам.

Говорят еще, будто по вечерам он сидел при свече, весь обвешанный серебристыми змеями — и это возможно. Обитающие здесь в великом множестве водоплавающие ужи нисколько не опасны для человека. Они почтительно уходят с дороги и удирают от мальчишек, когда те, набежав сюда из поселка, ловят их на суше и в воде. По мнению стариков, благодаря этим ужам тут от веку не водилось ни гадуки, ни кобры.

Была одна змея, почти двухметровая, с темной ложбинкой на спине и крохотными изумрудными глазками, — ее звали Зузу. Поднявшись на обрыв, она грелась на солнышке, затем свертывалась в спираль и, резко распрямившись, летела в море с пятиметровой высоты, после чего над гладью моря долго была видна голова и выгнутая шея. Кличкой наградил ее один знакомый мне старый моряк.

Первоначальной осенью, во время огромной, очень яркой луны, при которой плохо идет рыба, он подвел свой сейнер к слипу судоремонтной станции. Судно вытащили на берег, поставили на кильблоки, сколоченные из шпал, стали ремонтировать машину и соскребать с бортов и днища ракушку-прилипалу. Блуждая вечером по берегу, капитан наткнулся на ущелье и хибару. С того дня, как только началось смеркаться, в ущелье пышно расцветал костер, по стенам прыскали блики огня, сновали тени. Издалека видны были искрасна-смуглые, резкие при свете костра лица людей. Из черно-синего, застоявшегося в тишине и как бы даже загустевшего вечернего моря выплывали на берег зеленые и голубые змеи.

2

На берегу всегда тянет подвести итог прожитому.

И навязчиво думалось капитану все об одном и том же: вот пройдет Октябрьский праздник, проводят его, старика, на пенсию и успокоится он до самой уж смерти в своем домике у заросшего тростником арыка, приучится в одно время ложиться, вставать, бродить без цели в тростниковых зарослях — от порога до арыка и обратно... До ближайшего города — Байрам-Али — далековато, а до моря и вовсе почти тысяча верст, да и куда ему дальше арыка на ногах своих ничемных! Догадал шайтан захворать под старость лет этой проклятой хворью с мудреным названием, которого старик никогда, наверное, не запомнит; объясняет болезнь по-своему, просто: «Ноги отсыхают!»

Болели они оттого, что ближе к ступням сделались узкими жилы, плохо пропускали кровь. Ему мерещилось, будто несчастные его ноги кричмя кричат от нестерпимой боли, только не слышно. Он то и дело совал их в казан с подогретой морской водой — тогда какие-то минуты отдышал, думал о пенсии, о доме, о повзрослевшем сыне и еще о том, что он оставит после себя на своем сейнере, на родной «Авазе», пока вдруг не спохватывался, что костер убыл и вода в казане остыла. Капитан был белудж, Мирали.

Оттого ли, что выглядел он грозно, или, может, потому, что сорок лет имел дело с морем, знал его лучше, чем родного сына, чем душу свою, был он безгранично властен над своей командой, даже над начальством гослова, любил свою властность и испытывал ее при всяком подходящем случае. Знал почти все языки, на которых говорят по берегам Каспийского моря. Даже в Пирсагате, где в разгар путины такая шумная разногосица, какой не бывало у Вавилонской башни, всех он понимал и его все понимали. Всегда ухитрялся найти проход в теснейшем пирсагатском скопище судов — зычно кричал, высываясь из рубки и размахивая косматой шапкой — тельпеком: «Э-эй а-а-астраханский народ хамский давай мал-мало отвали сто грамм с Мирали! Эге-гей! Мирали пришел! Видишь? Мирали! Здорово братцы-русаки!»

А затылком все время чувствовал непонятный ему, пристальный взгляд старпома Сейдмамедова, коего сильно не любил. Смотрел вперед с опаской, вдруг не узнают его, не отзовутся ему старые товарищи из Астрахани или отзовутся не так любезно — обрадуется, засмеется Сейдмамедов!

Когда же братцы-русаки приветствовали его и флагами на гафелях, и в мегафоны, и в ладошки, сложенные рупором, когда со всех сторон несло: «Здоров будь, Мирали! Салам алейкум, старик! Ко мне подваливай! Сюда! Не обижай, капитан-ага!» — то в присутствии Сейдмамедова как-то неловко было выказывать свою радость. И велико было искушение захохотать, схватиться рукой за сердце, поведать, как ходил, бывало, с астраханскими по Черному, под бомбами и пулеметами, но рядом торчал старпом...

Он не сказал бы тотчас и определенно, за что именно не любит он Сейдмамедова, но остро чувствовал в нем что-то противоположное, враждебное своей натуре. Можно сказать, врага чуял. Недавно, дня три тому назад, когда под вечер сходили с «Авазы» на землю, догнал его на полпути и потянул за рукав — остановились на узком трапе, над бездной...

— Слушай, скажу...

— Ну? — полуобернулся старпом.

Сутулый и на редкость мрачный, молчаливый, он раздражал Мирали, думавшего о нем так: «Прячет за молчанием глупость... Подлое молчание!» В полуобороте головы Сейдмамедов показывал длинный нос и длинный подбородок, ждал.

— Ну? — переспросил спокойно.

— В чемодане у тебя Коран?

— Нет, капитан-ага.

— Говори, мне можно...

— Нет.

— Врешь! Нехорошо. Подлец?

— Нет, капитан-ага. — Сейдмамедов убрал нос, выставив старику выпуклый, обидно спокойный затылок.

И Мирали выпустил его рукав, но отшагав по трапу, ступив на твердую землю, убежденно повторил ему в сутуловатую спину:

— Подлец!

После этого за весь вечер не перекинулись ни словом.

Кроме них, по вечерам в ущелье не было никого, молодая команда убегала в поселок к девочкам — кругом пусто и тихо; немое море, немое небо и — луна, огромная, сверкающая неровным дном медного таза, брось в нее камнем — и зазвенит. И точно: чудилось, когда прислушаешься, будто звенит она над самым ухом монотонно, уныло и непрерывно. С ног Мирали, протянутых над увядшим костром, капало-пшикало, капало-пшикало... Подле подремывал, клая длинным носом, мрачный Сейдмамедов.

— Хворь моя — капкан, — тихо пристанывал старик. — Я готов отгрызть себе ноги, чтобы убежать от этой боли... Спишь, Сейдмамедов? Тебе когда-нибудь бывало больно? Нет. Знаю! Подкинь в костер, совсем погас, слепой, что ли?

И пока Сейдмамедов умакивал тряпичную ветошь в мазут, чтобы затем бросить ее на горячие угли, старик кривился от боли, схватив в пятерню пегую бороду, и смотрел на Сейдмамедова люто, будто это Сейдмамедов делал ему так больно.

Сейдмамедов наклонялся над костром, прятал лицо:

— Мирали-ага, ехал бы ты в Москву. Я слышал, в Москве такие болезни лечат...

— Много ты знаешь. Когда ехать? На кого оставлю «Авазу»? На тебя, что ли?

— А что... я тоже судоводитель...

— Ты бы помалкивал, судоводитель. Моряк нашелся. Сыми-ка сперва штаны да соскреби со своей кормы ракушки, моряк. Тебя и слушаться-то не будут.

— Команда слушается меня, — сказал Сейдмамедов. — Только вот этот... Черкашников...

— Ленька? А чего Ленька... Он парень наш, ничего...

— Нехороший он. Не мешало бы обсудить его.

— Х-хэ! Обсудить... Судья нашелся. А-а? И слова-то у тебя, Сейдмамедов, все какие-то... «обсудить», «лишить» и это... как его... а! «Пере-вос-пит-тать!», а? — Мирали сунул ноги в казан и, немного успокоясь, прибавил: — Гляжу я на тебя и думаю так: если б ты жил в старое время, был бы муллой в мечети, а? И подлость да глупость свою прятал бы за молитвами, как прячешься теперь за словами из книг. Кемине сказал: «Бесхвостые ослы, глаз не дает сомкнуть ваш сумасшедший рев». Я знаю: ты при случае так же легко откажешься от всех этих слов, как отказались от алаха наши попы.

Сейдмамедов снисходительно усмехнулся.

Мирали вскипел:

— Х-хэ, фыркаешь, да? А почему? Нечего сказать? Зачем ты пошел в море — скажи! Ты же блюешь от бури как... как слюнтяй! А-а?

— Привыкнуть не могу, капитан-ага.

— Х-хэ! Четвертый год не можешь привыкнуть, да? Сейдмамедов! За длинными рублями ты погнался — знаю! До работы руки коротки, а за рублями — в-во какие длинные! Я тебя насквозь вижу, Сейдмамедов, я знаю: из жалости к своим детям ты можешь убить чужих. Когда тебя житуха прижмет, ты на дорогу с ножом выйдешь! Вот сегодня ты встретил на слипе человека из управления флота. О чем вы толковали? Думаешь, не знаю? Знаю! Дурак из управления флота шепнул тебе, что Нурлы Куламов, тот самый, который будет капитанствовать после меня на «Авазе», крепко выпил, упал, зашибся. Так? На твое счастье... Жалко, что не убился, да? Ну?!

И опять свысока усмехнулся непробиваемый Сейдмамедов.

Слип — три рельса из моря на берег, три катка да пара лебедек, которыми была вытащена на сушу «Аваза», — находился в десяти минутах ходьбы от ущелья; вздремнувший после обеда Мирали вышел из домика и выскребся уже наверх, когда услышал на слипе тревожный шум.

В чем дело! Что-то стряслось? Несчастье? Кто-то из ребят упал с верхотуры, сломал руку, свихнул шею? Не может быть! Не такие у него ребята, он знает их — сам подбирал команду!

«У Мирали так не бывает, нет, не может быть...» — шептал себе, торопливо переставляя ноги в сыпучем песке. Бежал он полубоком, выставив вперед более чуткое левое ухо и протянув перед собой руку, точно надеялся прощупать издали, что его ждет там, впереди...

Ничего страшного не произошло. Просто Леньку Черкашникова, новенького, принятого весной, слегка кольнуло солнцем. И хорошо, что в этот самый момент Ленька был на земле, а не на беседке, приспущенной с борта сейнера, — парень чистил и закрашивал суриком ржавые места. Ничего страшного! Мирали устроил его в тень, послал ребят в свою каюту за водкой.

— Хэ, Ленька! — с преувеличенной веселостью посмеивался старик. — Жарко в голове, Ленька? Сейчас дам водки... чтоб было одинаково жарко и тут, и тут... — коснулся сначала его лба, потом потер ему грудь. — Выпьешь водки, Ленька?

— Нету водки! — кричали сверху.

— Ка-а-ак... как нету! В столе, ищи!

— Нету! Ни грамма! Две бутылки, пустые!

— Нет, как так? — сильно удивлялся Мирали. — Почему пустые? Нету водки... Как нету? Есть водка! Сейчас будет водка! Эй, Сейдмамедов! Марш! Э, стоп... пойду сам. Сам пойдет Мирали!

Мирали подбадривал себя, потому что не на месте была его душа. Что перегрелся непривычный к югу Ленька — это пустяк; невелика беда, что не оказалось в запасе водки, но если то и другое одно к одному, то это уже что-то. Теперь, дорогой Мирали, держи ухо на макушке — жди третьей напасти, которая пустяком не будет. Берегись! Ребята у тебя молодые, хорошие, сам подбирал — люби и жалея их. Ты уже старый, должен все предугадывать, все! Смотри вперед десятью глазами, слушай десятью ушами — обязан...

На взгорке, подле самого поселка, он остановился, осмотрел горизонты, потянул в себя воздух.

Похоже, начали меняться цвета земли. Октябрь! Месяц лукавый и лихой, таящий за густыми облаками по-июльски яростное солнце. Он еще только пошел, октябрь; только-только шевельнулось, стронулось с места и потекло на убыль все то, что ожило весной, но Мирали уже замечал: в земле — покорное ожидание сна, в людях усталость, в скотине и насекомых злость...

Ловил себя на том, что все то же самое он чувствует и в себе, и это озадачивало его.

— Стало быть, дорогой Мирали, — рассуждал он, — ты человек и земля, верблюд и букашка. А почему так?

Сейдмамедов не понял его.

— Почему букашка, Мирали-ага?

— Э, ничего не понимаешь, молчи.

Непонятливые люди раздражали Мирали. Он был уверен: у непонятливого человека не может быть совести. Почему? Да потому что ум, он прежде совести. «Совесть — дитя ума!» — говорил Мирали.

А непонятливость и как следствие ее нерадение, лень, неловкость в работе видел в людях зорко.

Отделы кадров рыболовческих хозяйств, прежде чем взять человека на работу, направляют его к капитану. С капитанами, особенно такими, как Мирали, приходится считаться. Да и как не считаться — ведь капитану же работать с человеком! Вот и вышло, что почти всю команду принимал Мирали сам.

Беркилиевы, братья — механик и моторист, работали на «Авазе» со дня ее появления во флотилии. У этих людей, говорят, что у пьяных, что у трезвых, одно на уме: машина. Как поживает Беркилиев? Да вроде все нормально: нигде не стучит, не подтекает, недавно новые дюриты поставили... А когда Беркилиев пойдет в отпуск? Вот пере-тяжку вспомогательному дизельку сделает, тогда и пойдет. Сколько лет второму сыну Беркилиева? Точно не знает, но хорошо помнит, что второй сын родился как раз в тот год, когда на «Авазе» заменили старую машину новой.

Внимательно разглядывал Мирали документы кавказца Сандро. Парню катило к тридцати, он был холостяк, несколько лет ходил боцманом на бухтовом буксире. Сидел спокойно и даже не смотрел на тянувшего время капитана — было заметно, уважает себя.

— Послушай, почему ты такой худой? — спросил Мирали.

— Худой? — Сандро усмехнулся и указал пальцем на толстого старшего Беркилиева: — Все мое сало у него. Со временем возьму назад. Капитан, не тяни резину, надоело сидеть.

— Надоело? А тебя, дорогой мой, никто не держит, можешь уходить.

— Дай сюда документы!

— Нет, стоп... Стоп, тихо...

Взял матросом, через месяц перевел на должность боцмана.

Обеими руками схватился за музыканта, низкорослого и шустро-го башкирина Рима Атаулина. Подыгрывая себе на мандолине, Рим прилежно вытгивал длинные и витиеватые песни своей родины. В первый же день Мирали несколько раз выслушал марш Салавата Юлаева, танец Салавата Юлаева, потом прощальное слово к любимой и завет народу — тоже, конечно, Салавата Юлаева. Правда, играл Рим и другие песни, русские, кавказские и даже какой-то марш Наполеона, но туркменских, жаль, не знал. Мирали подумалось, что со временем Рим переймет у Беркилиевых и туркменские мелодии. Так и вышло.

Махмуда Валиева, младшего сына своего приятеля, взял за стыдливость и девичью красоту.

Недавно, года два тому назад, остался было без кокши: сошла на берег старенькая тетя Маня, долго, хорошо и недорого кормившая рыбаков. Сыскать хорошую повариху на такое малое суденышко, как СЧС (средне-черноморский сейнер) — дело мудреное. Целое лето ходил без кокши. Потом Александр Митрофаных, из отдела кадров, говорит ему, что есть одна, молодая, полуголая, в юбочке из носового платочка, девятый день ходит, просится, но капитаны не берут, говорят: злая!

— Злая, говоришь? — задумался Мирали. — Это хорошо. Злая — значит, чистая. Посылай ее ко мне, Митрофаных.

Леньку Черкашникова взял за вежливость и культурную речь. Деликатный парень! Мирали говорил ему:

— Ленька! Давай один раз покруче матом заверни — отпущу на берег пиво пить, а? Загибай!

— Что вы, капитан, — стеснялся Ленька, — не могу, извиняюсь, не привык. Считаю мат за безкультурие.

А вот старпома дали ему, дали — и точка. Рад не рад — принимай.

Если кто-нибудь говорил, что вот опять их «Аваза» — передовой сейнер, опять им дали премию и опять фотографировал их корреспондент, то Мирали разводил руками:

— А как же иначе? С кем я работаю? С какими я ребятами работаю, а? Вы с кем работаете? Разве я не Мирали? Почему такой пустой разговор? Нельзя! Мирали всегда первый был! Так полагается! Нормально!

Говорили, честолюбие не уместается в его оболочке, выпирает наружу. Передовой капитан — мало. Все его знают — мало! Ему еще надо было, чтоб на лбу каждого его матроса было написано: «Я с «Авазы», работаю с капитаном, который лучше всех!» Когда организовывал поход на берег, в ресторан или шашлычную, приказывал ребятам одеться пошкарней (благо было что надеть, зарабатывали как следует!), сам же натягивал на себя серое старье и, длинный, костлявый, взлохмаченный, выглядел в кругу своих матросов босяком среди студентиков.

Опьянев, поставив голову бородой на кулаки и обедая застолье темным взглядом, вдруг начинал прятать глаза:

— Эх, ребята... Зря смотрите на старика! Вы думаете: старик все знает. Ничего старик не знает. Одно понятно: плакать бесполезно, а не плакать — чурбаном быть! Боль, она все-таки человека вперед тянет, мудреет человек от боли... Всё, тихо, ребята! Давайте песню. Эй, Рим! Спой мне хорошую башкирскую песню... Тихо..

Черноглазый Рим, готовый петь всегда, хоть разбуди его в полночь, искусно тенькал медиатором по струнам мандолины:

А-ай, Салават-Юлай, Салават, ой-е, эй-ей!
Как красиво едешь ты на белом, с черной
гривой коне! И крепко любят тебя все девушки,
но еще больше любят тебя белые деды,
но еще больше любят тебя поля, леса
и овраги родной Башкирии.

По душе была извилистая протяженность песен Рима Атаулина.

Мирали безоговорочно признавал великую силу дутара. Часто рассказывал он, как сорок лет тому назад, на его свадьбе, всю ночь играл и рассказывал о любви старый иолтанский бахши. Бахши так рассудительно и нежно говорил о молодых девах, молодых вдовушках, о том перебродившем, старом вине, которое чем старше, тем слаще и крепче, такого жара подпускал в голос, что простоватая хохотушка Фатима казалась жениху — Мирали — чудом красоты. Потом внимательные к земле, яркие, но невеселые, горели в черном небе звезды, полог кибитки был откинут, стояла жара, где-то печально блеял ягненок. Лето выдалось на редкость знойное. И просыпаясь в полночь в жаркой темноте кибитки, Мирали думал о том, что так вот душно и темно будет ему во всей его семейной жизни. Трижды воспетая певцом молодая Фатима казалась ему человеком посторонним и ненужным. Зной ослабил в нем плотские страсти, а говорить с женой о делах не хотелось, к тому же Фатима спала, она вообще страдала сонливостью. Прислушиваясь к ее спокойному дыханию, Мирали подавал голос:

— Э, спишь? Спи, ладно... не нужна...

Фатима зашевелилась на кошке:

— Ты что-то сказал, Мирали?

— Да. Я сказал: спишь много. Бойся: проспишь счастье.

— Счастье? Какое счастье? — Голос у Фатимы был ленивый, бес-

страстный.— Да, слушай-ка, что я видела сейчас во сне... Просто смешно! Будто бы лежу одна после свадьбы, и вдруг ко мне зашел сосед Кулдаурды... Он же красивый... Ты слушаешь? А я будто говорю ему: «Бессовестный, уходи!» А он все ближе. Усы поглаживает, и губы у него красные... Ты же видел, у него красные губы, правда? Ну, я ему опять: «Уходи!» А сама почему-то руки к нему протягиваю. Такой смешной сон. Правда? Смешной, Мирали?

Обиды не выдал — невлюбил на всю жизнь.

И в тот же год уехал из аула, подался на море.

Но когда родился сын и когда стало понятно, что посредством этого крохотного, беспомощного, до слез милого человечка он породнился — породнился-таки! — с Фатимой, тогда почувствовал, что влип... Влип! Ведь неразрывно связал себя с чужой, постылой женщиной. Время от времени наезжая в родной аул на побывку, не смыкал по ночам глаз и под утро казался себе опутанным, связанным ночными мыслями — ни до чего дельного не мог додуматься. Утром склонялся над ползунком-потомком, перевортывал его на спину, весь сморщенный в умильной улыбке, он ловил в широкую ладонь блуждающие ручки-ножки — любил до слез; и ясное сознание, что живая, милая, беспомощная эта драгоценность целиком не принадлежит ему, что часть этого счастья у него отнята, Фатимой отнята, зажигало в нем ярость, он не находил себе места. Тогда уже предчувствовал: «Так вот и будешь всю жизнь метаться, маяться...»

...Подошел к прилавку:

— Дорогой, дай пару бутылок водки.

— Водки нет, кончилась.

— Кончилась? Как так? Давай, пожалуйста... человек у Мирали хворый, лечить надо.

— Сказано, кончилась!

Мирали вгляделся в продавца. Из-под грязного воротника рубахи алел яркий галстук, на тонких усиках какая-то чешуя, нечесанные патлы — видимость кудрей... Для Мирали нет гаже человека, который хочет «нравиться бабам», это даже и не человек вовсе.

— Э-э... пять сверху даю, понимаешь? Пару бутылок, красавец мой дорогой...

Продавец, кряхтя, полез под прилавок, достал две бутылки.

— Не обеспечивают водкой, а на продавца все шишки...

— Да-а, вижу, бедный... Вот тебе пять сверху! — Мирали выставил ему свой черный кукиш.— Бери! У, подлый шакал! Грязный ш-шакал... Бабам нравится хочешь, а? Я дам тебе пять сверху! — И пошел, изо всей силы пнув по пути какой-то ящик, но тут же вернулся и, вытащив из кармана червонец, старательно скомкав его и трижды оплевав, запустил им прямо в ненавистную физиономию: — Ш-шакал!

После гнева он всегда слабел.

Довольный, что достал-таки водку, шел неторопливо. Душе в груди было мягко, уютно и тепло, как больным его ногам в пимах с галошами, когда, намучившись, они словно мурлычат от покоя...

От моря пахло пряной сыростью.

Под «Авазой» орудовали скребками немые шустрые ребята.

А Ленька Черкашников по пояс голый сидел в тени на пробковом жилете, и какая-то молодая женщина в белом, наверняка врачиха, терла ему грудь... Ручки у врачихи маленькие, пухленькие и ленивые — нехорошие руки, подумал Мирали, а грудь у Леньки стоящая... Да, грудь ничего, хорошая, не жирная. Только, как вата, белая. Если солнцем ее нажечь посильней и волосы на ней вырастить, настоящая будет грудь. А руки у врачихи не того... Х-хэ!

— Чем мочишь грудь человеку, дочка? — издали спросил Мирали.
— Спиртом, яшули!

Она показала детское личико: светлые кудряшки, маленький ротик и открытые с поволокой глаза. Рот у нее был такой маленький, что слова выходили из него с трудом, причем какие-то помятые, искаженные: «Спиом очу, ули!» — и помахивала длинными, как у куклы, ресницами. Мирали почему-то подумал: «Нет, эту я не взял бы кокшей...»

4

Заходила в ущелье озябшая луна, неохотно разгорался костер, лечил опять больные ноги Мирали, глядя с тоской, как ветер треплет, рвет луну, разбрасывает желтые ее клочки по морю.

Мрачно сутулясь над костром, Сейдмамедов ронял в огонь промасленные тряпки, и худая тень его на стене ущелья напоминала крадущегося вора.

Пришли к огню ребята. Атаулин трогал тугие струны мандолины — и будто искры высекал из нее: звуки вспыхивали тонко и ярко, уносились из ущелья, где-то гасли.

Зашевелился Махмуд:

- Слышь, Сандро? Сплясал бы, что ли...
- Не-е, красивый, не хочу. Наплясался за день.
- Спел бы, Рим, а? — не успокоился Махмуд.— Римок!
- Эх, красивый... Спела бы птичка, да солнышка нету.
- Мирали-ага, расскажи что-нибудь...
- Ты всю получку отдал отцу? — спросил Мирали.
- Нет, пару червонцев оставил себе.

— Девкам пряники покупаешь? А дома братья, сестры, мал ма-ла меньше, а?

— Нет, я зажигалку купил.

— Зачем?.. Я спрашиваю тебя, тебя... Ты что оглох, красивый! Зачем тебе зажигалка?

— Имею право... Я работаю...

— Права будешь иметь, когда пуд соли съешь, понял?

— Совершенно правильно, — деликатно вставил Ленька.

Рим перестал тенькать и вполголоса с преувеличенным спокойствием спросил Леньку:

— Дать тебе по зубам?

— Не следует, — так же спокойно ответил Ленька.

И оба побледили.

Мирали покосился на Сейдмамедова. Тот был невозмутим, непроницаем.

— Та-а-ак, — задумчиво протянул Мирали. — Значит, дожили. А? Рубахи рвать, пупы царапать, так, что ли? Почему перестал играть — жарь!

В голосе Рима послышалась дрожь:

— Кэп, чего жарить?

— Марш торжественный! А-а?

— Марш Салавата Юлаева?

— У вас в Башкирии есть только Салават Юлаев? Никого больше нет?

— Как нет! Есть! У нас в Башкирии всякие есть! У нас нету только таких, которым по зубам давать надо! Таких нету! Какого гада взял на «Авазу», капитан, — не видишь? Протри глаза! Думаешь, это Леонид? Нет, это Елена! Кто ей повыгодней, тому и подмахнет прекрас-

ная! Вот увидишь, скоро уйду с «Авазы»! И Сандро уйдет! И кокша! Все уйдем!

— Рим,— увещательно пробасил Сейдмамедов,— перегрелся — отодвинься от огня... Затарактал с полуоборота...

— Вот именно,— вставил опять Ленька.

Ленька делал вид, будто возмущение Атаулина его не трогает и он вполне спокоен. Спокоен — потому что прав.

Замолчали.

В ущелье шорохи песчаных осыпей, звон галечки, над ущельем надсадный вой ветра и вот слыше еще что-то, какие-то невнятные жалобы, то ли поскрипывание разошедшихся дверей. Враз подняли головы — в крошечной вышине, неподалеку от луны, плывут косяком, уплывая в бескрайность неба, крохотные лодочки.

— Гуси-лебеди летят! — обрадованно всполошился Ленька.

Но Рим с усмешкой усомнился:

— Ой ты?

— Именно так! Я гарантирую, товарищи! Из-под Москвы летят!

— Ой ты? Не гарантируй, товарищ. Не надо.

Мирали прищурился на Атаулина:

— А какие птицы, Рим?

— Журавли! Летят из Башкирии, капитан... Слышишь? — Он посмотрел вслед журавлям. — На башкирском языке кричат. Скурлы! сурлы! урлы! — это похоже на башкирскую речь. Башкирия — родина журавлей.

— Так уж и родина,— не согласился Ленька, но Рим даже взглядом его не удостоил, потянулся к капитану:

— Капитан! У нас их летом на болотах знаешь сколько?

— Много, а?

— Тысячи, капитан.

— Х-хэ! Ничего хватанул... А по-туркменски или, скажем, по-грузински кричать они не могут?

— Нет... не слышал, врать не буду. Правда, у нас там есть неподалеку русская деревня, так они там русскому языку выучились.

— Да ну? Кричат по-русски?

— Точно, капитан! Когда стемнеет и ребята поведут девчат за деревню, журавли кричат на них: «Ску-у-урвились! Ску-урвились, ску-укины сы-ны!»

Смеялись долго. И за смехом не заметили, как скрылись в темноте перелетные.

Потом Рим поднял к груди мандолину, откашлялся — задумал песню.

...Хорошо ложилась песня в грудь Мирали, он даже рукой потрогал — не обманывается ли? Нет — песне было в нем уже тесно, она уже переполнила ущелье, и самый верх ее, схваченный ветром, разносился во все стороны, в море и степь — обволокла собой весь мир..

— Ц-эээ! — не выдержав, с силой выдохнул Мирали. — А-ах, как хорошо-о-о... Ай, хорошо, Рим! Первый раз такое поешь — что за песня?

— Песня, капитан, о лихом, вольном человеке. По-башкирски он — зимагур. Ну, что-то вроде бродяги.

— Ой, давай еще раз, сделай доброе дело...

Рим затянул «Зимагура» снова:

Эх, ночь была темная, темная,
Шел дождь, собаки не лаяли,—
Ходил зимагур,
Нужды-горя не знал!

И каждое слово прилежно, с любовью растянута на версту.

— Да-да! — сказал Мирали. — Хорошая у тебя страна.

Рим благодарно кивнул.

— А что там у вас? Степь? Песни у тебя вроде степные, а? Не приходилось бывать в Башкирии...

— Нет, капитан, у нас кругом леса. Много липы, сосна, и летом пахнет медом и смолой. В моей деревне пчел держат. Поверишь ли, мед такой чистый, светлый! Вот заработаю денег, куплю себе хороший аккордеон, приеду в родную деревню и скажу: «Земляки мои! Атаулин крепко тосковал по вас в море, Атаулин вас любит!» Мно-о-ого водки наберу, капитан, всю деревню созову, всех буду угощать: «Земляки! Выпейте за здоровье Атаулина!» Когда я был сиротой, они всей деревней кормили меня, капитан! Такие люди в Башкирии! Там все мне отцы и матери, братья и сестры... Мирали-ага! Поехали со мной в отпуск, а? Поехали!

— Да-а, значит, скучаешь...

— Как не скучать! Эх, если б ты посмотрел, капитан, на наши места... Липняк у нас густой, с топором не продерешься! На полянах трава по пояс... нет, что по пояс — по горло! Утонуть в траве можно! Густая, издали а ж черная... И посмотришь издали — ходят в черной траве белые кони.

Мирали усмехнулся:

— Х-хэ... все белые?

— Нет, гривы и хвосты у них черные.

— А глаза? Белые?

— Глаза черные, капитан. А зубы, как снег, белые.

— А ложбинки на спинах черные? Как у Зузу?

— Точно! — обрадовался Рим. — Как у Зузу! Шеи длинные, головы маленькие, чистые, как у змей... Ух, змеи-кони!

— А зеленого у вас ничего нет?

Атаулин насторожился:

— Нет зеленого.

— А лес? Х-хэ!

— Лес черный. Зимой черно-белый.

— А небо?

— Небо ночью черное, днем белое... Э, капитан, смеешься? Когда не понимают и смеются — это плохо, но еще хуже, когда понимают и смеются. Зачем так делаешь!

— Ох-це, какой серьезный. Опять перегрелся... Сейдмамедов, по-дуй на него! Был черный — аж побелел от перегрева, х-ха!

— Смеешься! — Черные глазки на бледном лице Атаулина — как пульки, нацеленные в лоб капитана. — Думаешь, старый, так смеяться можешь?

Вскочил и с мандолиной на плече вразвалку, независимо, пошел к хибаре.

Остывал он долго. Гнев проходил, но место его занимала обида. Рим до глубокой ночи перевертывался с боку на бок на скрипучем деревянном топчане. «За что, за что! — крутилась в голове мысль. — Чем я не угодил тебе, старый хрыч, козел бородатый! Я ли не работаю? Я ли не забочусь о тебе?..»

Чуть свет забрезжит — Атаулин к кокше: «Раиса, как чаек?.. А то кэп чего-то бурчит!» От кокши к боцману: «Сандро! Кэп ноги промочил... Где-то были запасные валенки, дай-ка... Дай помягче портянки, помягче, чего даешь!» Капитан только бровью поведет, а Риму уже ясно, что надо делать. Надо не спать трое суток? Пожалуйста! Надо вниз головой за борт? Сейчас! Попроси только!

«За что не любит, козел?»

В день полочки каждого спросит: доволен ли? Атаулина не спрашивает. В ресторане этой Елене в рюмку подливает — Атаулина не видит. Этому красивому закусочку подсовывает — Атаулин сиди голодный. Боцман в кокшу втюрился, шуры-муры химичат по ночам — это ничего, а как раз кокша улыбнулась Риму, сразу надулся. Одно знает: «Играй, Рим! Пой, Рим! Жарь!» Где справедливость?!

Кокша рассказывала: пришел как-то Бутурлакин, с «Туркмена», отдай, говорит, Мирали, Атаулина, возьми моего Шмакова и два литра коньяка в придачу... А он, козел-то, выпучил на Бутурлакина свои глазища, зашипел: «Цистерну коньяка возьму и утоплю тебя в коньяке вместе со Шмаковым, х-хэ! Не подходи к Атаулину!»

Где справедливость?

Рим перевернулся с боку на бок.

В приоткрытую дверь хибары ветер занес низкий и утробный гудок паромы, одолевашего последние мили моря, последние часы осенней штормовой ночи. «Скоро начнет светать, — подумал Рим, — уснуть бы... Хотя часика на три...»

А Мирали, босой, подошел к хибаре, бесшумно пролез в приоткрытую дверь, отыскал в углу Атаулина и, воровато озираясь в темноте, приблизился к нему, быстро склонился над ним — уколол бородой в щеку: «Эх, дурачок мой... зимагурчик, джан...»

Не знал он, что не спалось его любимцу.

5

— Сейдмамедов! Скажи: что для человека главное?

— Главное? Не знаю... Труд, по-моему...

— Х-хэ! Труд... Какой труд? Разве это труд? Мы до войны на деревяшках под парусами ходили за море, в Дербент, в Пирсагат, понял? А какие были шторма? Теперь таких штормов уже нету. У рыбаков теперь не труд, а так, прогулки. Помню, восемь суток мотало нас за Огурчинском... Паруса посрывало, сети раскидало по морю, жрать-пить нечего, один с ума сошел... А что теперь? Так, одна болтовня. На берегу посмотришь — копошатся, пальчиками пошевеливают. Семь часов прошло — шабаш, ручки мыть. А тоже: «Труд! Мы трудимся!» Туда же лезут. Труд позорят.

— Ты к чему это, капитан-ага?

— К чему? Сейчас скажу. Я как люблю работать? Без оглядки. Без оглядки, Сейдмамедов! И чтоб спине моей спокойно было! Ты понимаешь? Я на работе, как солдат на войне! Работать, так чтоб жарко было, чтоб жилы как струны натягивались чтоб... чтоб кровяные мозоли в кулаках как угли горели! Понимаешь? Я такой человек! Скажи: хороший я человек или плохой? — Мирали откинулся от огня и оперся на локти. Смотрел на Сейдмамедова из темноты.

— Мирали-ага, — уклончиво ответил Сейдмамедов, — все мы живые люди, все ошибаемся. Верно?

— Согласен! — Мирали сунулся опять к огню. — Я тоже ошибаюсь! Но... Но, скажем, иной штурман шел в Баку, а пришел в Астрахань, денек помучился, потом говорит себе: все мы живые, все ошибаемся... А я ошибусь на два-три румба, потом долго, долго места не нахожу себе, казню себя, так мучаюсь, что, поверь, в голове темно становится...

— А не боишься, что когда-нибудь с темной головой попадешь тоже не в Баку, а в Астрахань? Оно ведь, знаешь, Мирали-ага: как в одну сторону потянет, так и утянет. С темной головой да в горячке перебеешь своих, надежных. Я правильно?..

Мирали занялся ногами, повозился, повздыхал.

— Ыдэ-э... Да, это бывает... Это ты неглупо сказал, да. Я не боюсь правды, Сейдмамедов. Я даже скажу тебе, что был такой случай... В голове потемнело... Давно было, в молодости, после женитьбы.

— Говорят, у тебя есть какая-то женщина... Говорят, верная?... — спросил Сейдмамедов.

— Х-хэ! — Мирали выставил бороду. — Прошу не перебивать! Ты знаешь, как ходит по степи ахалтекинский конь? Нет, Сейдмамедов, ты не знаешь, как ходит по степи ахалтекинский конь! Как ребята! Ребята мои вечером принарядятся, причешутся, глаза у них вспыхнут — к девчатам пошли, сам понимаешь. Идут! Груды вперед, шеи вытянуты, уши торчком... Да! Выходят из ворот по двое, по трое, сходятся, расходятся, копытами землю пробуют — выдержит ли? Вдруг ка-ак за-аржет первый! Потом второй, и пошли, эх, пошли, пошли... Поверишь ли, у каждого на спине солнце — страшное дело! Я испугался, глаза протираю, лицо трогаю — не грязный ли? Отряхиваюсь, бороду приглаживаю! Почему? Потому что рядом с такими конями должен быть чистый и красивый! Ты понимаешь? Может, думаешь, я джигит? Раза два за всю жизнь садился на коня, ездить не умею. Но засмотрелся! Это же чудо, Сейдмамедов!..

...И тогда она выводит одного под уздцы. Смотрю — стараюсь не мигать. Он озверел, копытами бьет, зубами щелкает, храпит, а глаз у него, будто маяк, вспыхнет — погаснет, снова вспыхнет... А она? Она даже не смотрит на него. Вижу, косится на меня — одну бровь подняла и округлила. Он, зверюга, встал на дыбы, она повисла на узде и на меня смотрит... Думаю, ладно! И тут жарко мне стало. Как подошел к ней, не помню, ничего не помню, только стукнуло, пробилось в самое сердце: «Джемал!» Красивое, говорю, имя. Уже не смотрит, а подсматривает вполглаза, пятится. И не сказать чтобы красавица, Сейдмамедов, нет... но посмотреть, конечно, есть на что. И вся такая... будто хочет сказать: посмотреть смотри, но руками не трогай. А как не тронешь? Так бы и схватил ее — скорей в мешок да на край света... Да-да!

Н-но!.. Вижу, голыми руками не возьмешь ее. Так и говорю: «Не схватить, не спутать мне тебя — помоги мне, красавица Джемал! Убежим?» Она смеется: «Убежим!» Кони, говорит, есть, коней достанет, только куда бежать? Да хоть куда, говорю, смотри, сколько свободы, на той неделе последнего басмача спалили! Какое время было, Сейдмамедов! Хватили волюшки вдосталь, охмелели от нее, с ума посходили. С волей тоже надо аккуратно, но это другой разговор, потом... Ну, проходит три дня... Подкинь-ка на костер, а то темно! — Мирали придвинулся к костру, улыбнулся, почесал за ухом: — Да-да! Три дня проходит... Потянуло на конезавод. Думаю: дай-ка выпрошу я у председателя конягу с арбой, навоз-то надо привезти! Иду к председателю колхоза: «Здравствуй, Петра Николаич!» — председатель был русский. «Я слушаю», — говорит. Говорю: «Слушай! Дай мне коня с арбой!» Говорит: «Конь есть, арбы нету». «Давай, — говорю, — арбу найдем!» Говорит: «Конь непослушный, замаешься». «Х-хэ! Да ты не знаешь Мирали! Мирали такой человек — может льва укротить! На льве навоз будет возить! Такой человек!»

— Дал коня? — спросил Сейдмамедов, вороша веткой костер.

— Дал! Я с буторка на него сел, поехал. Ладно! Еду и думаю: «Ты, Мирали, еще совсем молодой, можешь начать новую жизнь, только отруби от себя прошлое! Смелей руби!» Но полдороги не проехал — зашевелилась в голове мыслишка: а человек-то ведь не ящерица, чтобы остаться без хвоста и преспокойно жить дальше. Не отрубил от себя сына! Если, конечно, не зарубишь себя насмерть. Начать новую

жизнь? Начиная ее, думают о новом счастье, но почему не думают о новом горе? Я думал о нем. Думал: «Может случиться чудо — вдруг повторится солнечный вчерашний день, но ты не повторишься в нем! Нет! Вчера на этом небе не замечал ты ни облачка, ни пятнышка, а завтра на этом же самом небе увидишь черную тучу. Берегись!» Да, так и ехал я на свидание под этой невидимой тучей, не было радости и на свидании. Отказала. Нет, потом она, конечно, сама приехала ко мне, но в тот раз отказала.

— А навоз? — спросил Сейдмамедов.

Мирали не понял:

— А? Навоз... чего навоз...

— Ну, на саман-то... для дома...

— А-а! Это само собой... Это для меня не труд, а пшик. Все сделал. Хм-м, навоз... Х-хэ! Все-таки и дурак ты, Сейдмамедов!

Сейдмамедов рассмеялся.

6

Приехал из города механик Беркилиев. Он сначала разложил перед собой добытые на берегу запчасти к дизелю, потом стал выкладывать новости.

Заглядывал к Раисе. Дома не застал, но узнал, что у Раисы захворала мать. Раиса увезла ее на какие-то грязи в Арчман. Кабы не пришлось брать денька три без содержания.

Ко дню ухода Мирали на пенсию контора приготовила подарки — ручные часы и красную бумагу, называемую «адресом». В конторе уже никто не сомневается, что капитаном после Мирали будет Сейдмамедов.

И такая еще новость. Вышел Беркилиев за конторские ворота и увидел Доску почета. Висит на доске и портрет Мирали. Но под портретом — имя старпома. Так написано: «Гельды Сейдмамедов, капитан».

Мирали отошел в сторону.

Он слышал, как Сейдмамедов спросил Беркилиева:

— А мой, мой портрет там есть?

— Есть и твой, и под ним тоже написано: «Гельды Сейдмамедов...»

— Ты указал начальству на ошибку?..

Что ответил Беркилиев, Мирали не расслышал.

«Итак, дорогой Мирали, выходит, что для конторы ты на одной доске с Сейдмамедовым. Доработался!»

И хотя не пришло еще время седых промысловых ночей, хотя задолго до установленного срока заканчивались на «Авазе» ремонтные работы, относился к команде с острым недовольством, стал покрикивать на ребят. Ночи коротал на «Авазе», в своей каюте.

Как-то среди ночи заглянул к нему Махмуд Валиев.

— Мирали-ага, я к тебе...

— Вижу, что ко мне. Говори.

— Я прошу не сердиться на меня, Мирали-ага.

— А за что я на тебя сержусь?

— Ну, за то... я зажигалку купил... Не сердись, я продал ее. В поселке, одному фраеру. У кокши мать хвора, лучше послать деньги Раисе.

Мирали крикнул. Вгляделся в нежное, девичье лицо Махмуда. И увидел: еще робко, смутно, но проступают уже в лице этом мужественные черты его отца, приятеля Мирали. И от тоски больно засосало под ложечкой: «Эх, мне бы такого сына!»

— Ты поступаешь правильно... Я не сержусь на тебя.

Махмуд выхватил из кармана деньги:

— Вот! Тут мои и Беркилиева... моториста... Я подговорил его. Надо послать Раисе! Мирали-ага! Ни у кого нет такой кокши, как у нас! Я за два года в-во какой здоровый стал, а кто меня кормит? Ребята надо мной подсмеиваются, говорят: «Н-ну ты, красивый! Чего липнешь к кокше!» А я не липну, просто уважаю... Я раз подслушал, как она говорила тебе... Говорила: если у кого-нибудь живот заболит, чтоб ты сразу сказал ей, чтобы ей знать, чей живот чего не любит... А простыни у нас белее, чем в больнице. Кто стирает? А кто боцмана подстриг? Лучше любого парикмахера! Римок штаны порвал — она зашила. Это ж Раиса! А помнишь, в прошлом году она заболела... Сладко нам жилось без нее? Помнишь, сбросились по четвертной?

— Э, да-а... сынок... да,— согласно качал головой Мирали,— ты правильно рассуждаешь. Как не помнить? Пришел я тогда к врачу, взял свое сердце в руку. «Дорогой врач! Ты человек большой, белый — должен одолеть большую черную болезнь... Плохо нам без Раисы!» — так сказал я. И врач хорошо сделал свое дело. Приезжаю потом в больницу, меня сразу пустили к ней, вижу: лежит белей подушки... Только глаза темные. Глазами зовет, а из глаз слезы... Ну, тут я выкладываю на тумбочку все подарки, деньги, ваши письма. Она сказать ничего не может, только: «За что... за что...» Тяжело мне стало, нервы-то у меня дрянь, старик уж... Ладно! Потом, через месяц, перед самым выходом в Пирсагат, перевалился через леер, разглядываю вмятину в борту, сам думаю: «Эх, не успеет Раиса к выходу...» — и вдруг звонок на камбузе. Х-хэ! Я чуть не упал за борт! Бегом на камбуз! А она там... смеется! Пробралась, говорит, на «Авазу» незаметно, чтобы испугать нас! Ты хорошо сделал, сынок, что пришел ко мне. Поговорили. Вот погоди, похлопочет за тебя старый Мирали — пойдешь в мореходку...

— Мирали-ага! У меня уже больше двух лет матросского стажа!

— Вот-вот... Ты морюшка уже хлебнул, тебя учить стоит.

— В Астрахань или в Баку?

— Это увидим, сынок. Можно в Баку, можно и в Астрахань, было бы с чем ехать...

Так разговаривали, и долго разговаривали старый и молодой, прислушиваясь, как шебуршит снаружи, о чем-то шепчет тоскливый осенний дождь.

А на рассвете неожиданно разведрилось, и день поднялся высокий и звонкий, и деловитое вышло из-за тучи солнце. С громкой веселой музыкой прошел стороной к причалу поселка белый прогулочный катер «Алмаз», на котором Мирали собирался прокатиться в город.

На этом катере приехал к Мирали в гости сын.

Отец узнал его издалека. Запершись в каюте, открыл иллюминатор и приткнул к глазам бинокль — от поселка, мимо судоремонтстанции шел к слипу толстый молодой человек в белой капроновой шляпе, цветастой рубашке, с газетным свертком под мышкой. Когда толстый молодой человек подошел ближе, стало видно, что рубашка его сплошь испещрена названиями футбольных команд, а на груди поблескивает внушительный ряд каких-то значков — «плевков», как говорил о них Мирали, относившийся ко всяким значкам с необъяснимым и непобедимым отвращением.

Метров за пятьдесят от «Авазы» молодой толстяк извлек из кармана газету, развернул ее перед лицом — так и шел к «Авазе», весь углубленный в чтение чего-то неслышанно важного.

Мирали спустился с сейнера, пошел навстречу сыну.

...К двадцати шести годам он, футболист-профессионал, уже не

мог догнать футбольный мяч — отяжелел. В двадцать семь у него появилось брюшко. Брюшко не пухлое и отвислое, а остренькое и вздернутое — как у всех бывших спортсменов и беременных женщин. Парню нашлось местечко в комитете по физкультуре и спорту, где он сформировался окончательно: нажил тяжелую, глубокомысленную поступь, полюбил газету и научился говорить торжественные речи.

Сын едва не сшиб своего отца, с короткого разбега ткнув его выпуклым животиком и царапнув значками.

— Х-ха, привет! Ну как? Ха, как живешь, отец? Это и есть твое корыто?

Мирали попятился:

— Это не корыто... Это сэйнер... Не кричи так громко, я не глухой...

— Приглашай в гости!

— Ты уже в гостях...

— Потолковать надо! Потолковать!

— Потолкуем... Пойдем в каюту!

Два узких трапа, сходясь концами на долговязых козлах, круто подымались на борт «Авазы». И хотя были ограждены жесткими леерами, ходить по ним следовало осторожно. Когда кто-либо из ребят порывался побежать по трапу, Мирали рассерженно рывкал...

Но когда почувствовал, как судорожно вцепился в его спину сын, как заиграли под ногами трапы, ощутив чрезмерную тяжесть плохо управляемого тела, когда почувствовал еще и пристальные взгляды своих ребят, стало ему стыдно, и он умышленно остановился над самой бездной, где повисший у борта «Авазы» Махмуд Валиев, свободно сидя на качающейся беседке, совал кисть в банку с краской и, высунув язык, водил ею по привальному брусу... Вдруг он оглянулся на помедлившего капитана, глянул с вопросительной улыбкой: «Что, Мирали-ага, что? Что надо сделать?»

— Махмуд-джаң,— сказал Мирали.— Эта чернь глубоко впитывается в дерево — не жалея ее. Малюй погуще, сынок!

Махмуд кивнул.

А Мирали, обернувшись к сыну, отцепив от себя его руку, процедил сквозь зубы:

— Видишь, какие у меня ребята...

На палубе сын облегченно вздохнул:

— Фу-ф! Ну, дорожка. Тут и шею сломать можно.

Мирали процедил опять:

— Тут был человек, сведущий в технике безопасности. Он сказал, все в порядке. Шею тут сломать может только старая баба, понял?

Как только вошли в каюту и присели у стола, сын выхватил бутылку водки и широким жестом утвердил ее на столе:

— Х-ха, выпьем, отец! За встречу! Смотри: столичная! Нигде не найдешь, а я достал... Уметь надо, ха-ха! Да ты, наверное, еще не знаешь: я в том месяце оттяпал новую квартирку. Шик, трехкомнатная! Комфорт и коммуникабельность, ха!

— Че-ево?

— Ну, это... Телефон, короче... Круглый номерок — 55—55. Культура!

— Да-а...— Мирали, стараясь не смотреть на сына, откупоривал бутылку.— Культурно живете... Да, умеете жить... Мудрые люди!

— А вот чурек... домашний... а? Соскучился по дому? Поехали — посмотришь, как живем!

— Знаю вашу жизнь... Могу сам рассказать тебе про вашу жизнь!

Схватил стакан. Выпил с трудом, захлебываясь — водка пошла «вкось». Выпил еще один — пошла прямее.

- Х-хэ! Все знаю! Культурно живете, да! Му-удрые люди!
- Мать плохо спит, дурные сны видит...
- Она всю жизнь дурные сны видит! Много жирного ест, с жирными мыслями спать ложится! Эх, семейка...
- А чего семейка,— невозмутимо возразил сын.— Живем не хуже других. Знакомые завидуют.
- Знаю! Ларь мукой засыпали, пару баранов по дешевке у вора купили, тряпками обвешались, новый палас расстелили... чтобы валяться, когда обожретесь... Все знаю!
- Запасаться тоже надо, отец,— рассудительно заметил сын.— Не забывай, у меня семья, жена, двое детей. Кушать надо.
- ...А хорошего ведь мальчика однажды, лет двадцать тому назад, я взял с собой в море!
- Ручки тонкие, гибкие, как змеи, ноги длинные, в бедрах изящен как игрушка, посадил его на ладонь — вся попка в руке. Радость, а не мальчик! Где он?
- И был характер, было мужское (то есть рабочее) упрямство, была веселая дерзость и тяга к страшному... Где твой сынок, Мирали?
- Нету сынка.
- Есть молодой толстяк, полужнакомый, немилый человек, по глупости называющий тебя отцом.
- Что же случилось? Откуда взялся этот веселый самоуверенный бездельник?
- Сын Фатимы. Вот она, да! Ведь он — живой ее сон. Каплю по капле, год за годом, постепенно и незаметно — всю себя! — вместила она в оболочку этого молодого толстяка, продолжила свою натуру, дала ей путь в вечность...
- Мирали жадно ухватился за свою заветную мысль о продолжении собственной натуры: «Ребята — мои! Дочка! Ребята!» Да! Теперь надо отдать им всего себя, всего! Чтобы там, в вечности, взглянув на Доску почета человечества, внук Рима или правнучка Махмуда сердцем узнали дедушку Мирали! Не перепутали бы его с каким-то Сейд-мамедовым!
- Бесследно не сгину, угрюмо подумал он, не останусь один. С пенсией погожу, ничего, никуда она не денется от меня, старость моя. Покуда ноги несут, буду капитанствовать! Эти ребята поразьедутся по Союзу — возьму других! Врете! Так просто не уступит вам Мирали! Он еще долго жить будет, долго... Только прости, маленький мальчик, прости, сынок, что годами пропадал в море отец и потерял тебя.
- Расставаясь с гостем, руки не подал ему, но вслед посмотрел. Молодой человек неуклюже переступал толстыми ногами в сыпучем песке... Вдруг воротился:
- Чуть не забыл... Письмо вот... От кухарки вашей, просила передать.
- Дай сюда. Не от кухарки, а от кокши. От Раисы Шаталиной.
- Протянув отцу измятый конверт, сын укоризненно вздохнул:
- Мать говорит — пора отцу образумиться. Старый уже, а за молодыми ухлестывает...
- Дурак! Как смеешь мять! — Мирали вырвал конверт.— Как смел измять чужое письмо?..

«Во первых строках своего письма» Раиса сообщала, что жива, здорова, чего желает и Мирали. Стосковалась по «Авазе» и по морю. Скорей бы вставала на ноги мать, да на работу, на работе ведь спокойнее, чем в отпуске...

«А ребяташки мои совсем большие стали. Недавно спрашивали про тебя, Мирали-ага. Почему, дескать, так долго не приходит в гости бородатый дед с конфетами. Чуешь, куда клонят? Это им только дай. Что ни день, раскошеливайся мать на газводу, на мороженое, по мячику недавно вырвели. Широкогорлые! А тут зима на носу, надо по шапке, по башмачешкам теплым, успевай повертывайся мать. Вчера соседской майорше половики перестирала, думала, даст хоть пятерку, да где там, они моей нужды не понимают, у них больше нужда — не хватает на машину. Все это, конечно, мелочи, я не жалуясь, а так. Как своим близким говорю вам. Теперь пару слов для ребят...»

Мирали собрал команду, письмо пошло по рукам.

— А что, ребята,— сказал Сандро,— с носа по червонцу, а?

— Кое-кто уже сбросился,— сказал Махмуд.

Мирали снял с головы тельпек:

— Деньги в шапку! Завтра еду в город. Сам еду! Сам!

И рано утром, как только прошел стороной прогулочный «Алмаз», выскреблись наверх и пошли, повалили гурьбой, переключаясь и посмеиваясь, ребята к «Авазе», а Мирали мимо, к причалику «Алмаза». На полпути окликнул в спину Сейдмамедов:

— Капитан-ага! Прошу тебя — останься, я поеду в город.

Мирали даже не оглянулся. Тропинка, по которой они шли, была узка, и, чтобы поравняться с капитаном, Сейдмамедов сошел с нее, пошкандыбал подле, увязая в песке по щиколотку.

— Капитан-ага! — дышал он порывисто. — Сымать с кильблоков судно... Спуск на воду... Сегодня!

— Без меня сымут — есть специалисты.

— Завтра придет Регистр! Как без капитана?

— Завтра воскресенье. Регистр не придет. Чего еще?

Сейдмамедов приотстал было, но тут же забежал с другого бока:

— Я поеду! Нельзя тебе ехать...

— А почему?

— Нельзя! Накопилось у тебя... Прорвется, Мирали-ага. Ни к чему это... Я плохо говорю, не знаю, как растолковать это, поверь! Ну, перепутали фамилии на доске этой, как ее... почетной... Громкие речи болтают — языки чешут. Понятно! Я сам не люблю этих конторщиков! Но лбом на них я не пойду, Мирали-ага! Могут лоб разбить. Когда им страшно, они звери! Я поеду, я занесу деньги и кокше...

Мирали остановился, поскреб в бороде.

— Всё?

— Всё. Да, вот еще: я знаю, Ленке Черкашникову приснились сапоги.

— Уходить хочет?

— Похоже. Есть у меня на берегу один знакомый парень, просится, человек...

— Вот что! — прервал Мирали. — Слишком не усердствуй. Дуй на «Авазу» да поглядывай... Про Ленкин сон помалкивай пока.

— Сам поедешь?

— Сам.

— А помнишь, говорил про штурмана? Который шел в Баку, а пришел в Астрахань...

— Ну? Чего еще...

— В Астрахань попадешь, старик! — сказал Сейдмамедов. — Вот увидишь! В Астрахань!

В городе Мирали первым делом заглянул на зеленый базарчик.

План был такой: «Куплю хорошую птицу, пару кило риса, кишмиш тоже не помешает. Получится хороший плов. Сам приготовлю,

сам! Скажу так: Раиса, ты кэпа хорошо кормила, теперь кэп тебя хорошо покормит. Все садись! За плов! Мирали всех будет кормить! Всех! Сам будет!»

Разглядывая прилавок и хозяйственно соображая о том, что эта желтая морковь, эта петрушка тоже лишними не будут, все-таки не выпустил из внимания, сколь изящны зеленые пучочки. Каждый пучок был перевязан ниткой, и все удивительно равны, будто взвешены в аптеке на весах. Какой же мелочный продавец! — подумал Мирали. Конечно, физиономия у него кривая, пальцы длинные и дрожащие, а вместо глаз — пятаки медные...

Пригреб к себе несколько пучочков.

— Кому деньги? Э-эй! Кто продавец?

— Мы продавец! — поднялся из-за прилавка здоровенный, румяный болван.

— Продавец? Х-хэ, сам вязал пучки? Культурный человек! Мудрый человек! Пхе-хе...

— Яшули! — закричал сбоку мальчишка, потянул за рукав. — Яшули! Купи бычков! Смотри, живые! Ну? А толстые, а? Купи!

Взял у мальчика связку, прикинул на вес.

— Э, целый килограмм! Нет! Два килограмма, а! Сам ловил?

— Сам, яшули!

— На червяка ловил?

— На креветку!

— Клюет? Хорошо клюет?

— Полтинник связка, дедушка...

— Ай, малад-ца! Хороший мальчик! Мамка есть?

— Яшули, ты берешь бычков или нет...

— Беру! Нет... не беру! Полтинник даю, а бычков мамке неси, мальчик! Мамка такую вкусную уху сварит, потом скажет: мой хороший мальчик таких хороших, то-о-олстых, красивых бычков поймал... Ну! Бери полтинник! Вот какой хороший, какой красивый у старика полтинник...

8

Он заглянул к Раисе — не оказалось дома. Поговорил с соседями. С ним разговаривали почтительно, звали на чашку чая. Успокаивали: старуха встала на ноги, сама Раиса здоровехонька... Собиралась ли она в море? Да, собиралась. Стала, говорит, я морячкой, жить без моря не могу... Что, деньги? Получка? Передать Раисе? Почему не передать... Это можно... Это дело хорошее...

Ближе к вечеру, побродив по окраинным улочкам, спустился он к морю. Погода испортилась: подул ветер и небо затянуло серыми тучами. Он в серых сумерках сидел на выступе береговой скалы, недвижимый, серый и морщинистый, как выветренный камень. Смотрел на море.

Слева круто подымался на гористый берег беспокойный молодой городишко. Там что-то панически вопило, нагло сверкало, надоедливо юлило и виляло, и все это казалось мизерным, временным и вздорным рядом с великим, вечным морем. Это море, волна за волной, даль за далью и мысль за мыслью, катилось навстречу, билось о каменный утес, напрашивалось в душу, и Мирали обуревали давно знакомые, старые чувства: хотелось ощутить море грудью, объять руками, в обхват, за поясицу: «Кто кого? Н-ну! Х-хэ, не возьмешь Мирали, нет!» Да, схлестнуться бы с морем, а после дружески обняться, пустить его в грудь и раствориться в нем... Эх, это хорошо бы хоть на пару дней

стать морем, разместиться на земле свободно, основательно, сделать судьбой тысяч людей, зеркальной гладью просверкать и грозной бурей прошуметь... Войти навечно в память сильных людей! Кто встал хватил его, этого горького морюшка, тот обречен любить его, только его! Есть только море! Все остальное пропади с глаз, замри — не шевелись и не дыши... рядом море! Не мешай быть с морем Мирали.

На берег выбежали двое мальчишек, затеяли драку из-за какой-то блестящей штукенции, Мирали гаркнул на них:

— Молчать! Прочь! Вон море! Слепли, ух я в-вас...

Пацаны дали стрекача куда-то в город. Мирали готов был схватить за шиворот и город, этот чрезмерно яркий и шумный мирок, но как раз стал накрапывать несмелый дождик, сделалось темно, благо-разумный городишко потускнел, притих.

Тогда Мирали с хрустом распрямил занемевшие плечи, завел руки за спину. Мельком взглянул на море:

— К Джемал пойдет Мирали. Пока. Опять к Джемал, да.

9

Почему-то всегда в непогоду ходил по этой дороге, и была мысль, что, может, вовсе не Джемал любил он, а пестрый путь этот, по которому, мокрый, озябший и голодный, нес он всякий раз надежду отдохнуть. Не каждый раз сбывалась надежда — часто уходил ни с чем. Но вновь и вновь тащился сюда. И вот опять идет... Может, бывшие свои надежды любит он, а не Джемал?

Он подошел к трехэтажному дому, одолел четыре лестницы, остановился перед дверью, обитой парусиной. Сам обивал. Ткнул пальцем в кнопку звонка. Сам устанавливал. Открыли ему немедленно, будто ждали за дверью держа руку на задвижке. Он поздоровался и пошутил с напускным ухарством:

— Джемал? Ты не ушла ни в гости, ни в кино? Удивительно!

Женщина молча посторонилась, пропуская его в комнату.

В комнате он сел на кошму. Звон задвижки показался ему досадливым, а в приглушенном голосе Джемал слышалась укоризна:

— Кончилось наше кино...

Джемал исчезла в смежной комнатке.

А все такая же, подумал он, все с той же, независимо выпрямленной спиной, ходит как по сцене, глубокомысленно молчит — можно подумать, что думает о судьбах человечества. Х-хэ! О, знаем, знаем мы таких людей! Чувство своего достоинства проявляют они не в деле, а в праздных отношениях друг с другом. Тут почему-то становятся важными пустые слова и вздорные умолчания, на каждом лице маска, что ни поза, то кино, что ни жест, то драма, страшно!

Джемал из смежной комнатки вышла принаряженная, грустная, встала поодаль — напоказ... Увидел ее прежней... Только лицо поблекло, исхудало... Нет, все-таки была она красивая. И Мирали втайне любовался ею, в чем нет ничего ни странного, ни удивительного: даже столетние старики часто видят в любимых старухах черты немислимо давней молодости и красоты. Знатоки говорят, что старые женщины красивее молодых, и это правда. Это глубокая правда.

Наконец-то он попытает чайку. Уже расстелена цветастая клеенка, подан чурек и мелко колотый сахар, и вот Джемал несет пару вспотевших фарфоровых чайничков. Пряно пахнет заваркой, комната делается родным, заветным миром, а Джемал кажется близкой, единственной...

— Джемал! Что я хотел сказать... Скоро мне уходить на пенсию.

Она наполнила пару пиалушек. Отхлебнув из своей, ожглась, проговорила с раздражением:

— Удивил! Надо бы посмотреть чуть подальше — скоро в могилу уходить...

Он подул в свою пиалушку, ответил спокойно:

— Нет, Джемал. Мы еще поживем. Поживем еще!

Она снова ожглась:

— Слышали уже! Сколько помню, одно твердил: «Поживем еще! Покажем себя! Еще все узнают нас!» Надоело, не обижайся...

— А что, — он пил из своей чашки неторопливо, растягивая удовольствие, — что, разве не пожил! Не показал себя? Поработал, ничего. Все знают мою работу.

Джемал отставила свою чашечку.

— Ну, работал... работу... Заладил... Не обижайся, Мирали, скажу: а что толку? Чего заработал-то? Я уж который десяток лет слышу от тебя про эту, будь она проклята, работу, ты мне все уши прожужжал своей работой, в голове у тебя ничего, кроме работы, нет, а с чем уходишь с работы? С чем? Ни своего угла, ни приличной одежды, ни червонца на сберкнижке. Уж лучше молчал бы.

Поставил свою чашечку и Мирали.

— Джемал, разве не дорого человеку то, чего не купишь на червонцы?.. Я исполнил, как пишут в книгах, свой долг. Я работал по совести.

— А, совесть, долг... Пустые слова! Для дураков! Совесть в кошелек не сунешь, долгом не согреешься...

— Х-хэ! Это уже что-то новое, Джемал... Новое? Как помнится, пока ты в завкоме стул давила, голосисто пела о долге и совести, а? За эти песни и квартиру дали тебе... Стало быть, поешь так и этак? Му-удрые люди, х-хэ! Культурные люди!

— Ну и что! И что! — Джемал даже руками замахала. — Ну, есть люди — поют так и этак... Допустим! Есть бессовестные, ладно! И что? Ты вот из честных, хвастаешься этим, у тебя совесть, зато потерял на работе здоровье, жизни не видал... А те хоть пожил. Поели сладко, поспали мягко... Не про себя говорю, но пожить тоже хочется. Жизнь коротка, мигнул — и нет ее...

— Это каждому ясно. И всяк не дурак пожить...

— Мирали! Зачем ты говоришь за всех? Пойми: и о себе надо позаботиться. Ты за всех горло дерешь, буянишь, врагов себе наживаешь, а ведь один умрешь. Один и в нищете. Я хорошо вижу твою судьбу. Поверь!

Мирали спрятал глаза.

Он давно бы почел Джемал за форменную глупышку, но всегда бывало так, что, надоедливо шумя перед ним своими легкими, пустыми словами, она брала откуда-то тяжелое и острое слово и ударяла им по самому больному месту. И оттого, что выходило это внезапно, было ощутимо вдвойне. Он вдруг подумал: «В другой раз я потащусь в этот угол с надеждой, что здесь уймут причиненную сегодня боль...» Да, и за этим ходил он в уголок Джемал.

— Джемал? У тебя много было поводов к тому, чтобы однажды не открыть мне...

— О аллах! — Она вскинулась над ним, рассерженно приподняла одну бровь. — И он еще пытается корить меня! Да, у меня ни разу не хватило сил, чтобы не открыть тебе дверь, ты же такой паук... Страшный паук! В тебе какие-то шайтанские силы, которыми ты опутываешь даже мужчин... Не кори меня! Я бы и рада кончить жизнь вместе с тобой, но чувствую: не будет этого. И виноват в этом ты сам. Сам! Пеняй на себя!

— Ну хорошо... Хорошо... У тебя есть вино? — Мирали переместился в угол, сел, подвернув под себя ноги.

Джемал задумалась. Потом лицо ее посветлело, и она коротко и молодо, совсем по-девичьи, улыбнулась ему, метнулась к шкафу.

— Джемал, тебе весело?

Она поставила перед ним вино, села напротив.

— Мне подумалось: как давно я не видела тебя пьяным...

— Молодец! Эта мысль по душе мне. Налей, Джемал! Побольше! Мне тесно... Душе моей тесно... Я не в своей воде!

По лицу Джемал пробежала опять улыбка:

— Давай-ка вспомним наше с тобой рубаи, Мирали! Ты рыба, я утка... Не забыл?

— Нет, помню:

Сказала рыба: «Скоро ль поплывем?
В арыке жутко! Тесный водоем...»

Джемал, смеясь, возразила:

«Вот как зажарят нас,— сказала утка,—
Так все равно: хоть море будь кругом!»

Засмеялся и Мирали:

— Все верно, одно плохо: я не рыба, ты не утка. Люди мы. Ты понимаешь? Люди!

— Мудришь опять. Пей, Мирали! Вспоминай рубаи. Послушай:

Увы, от мудрости нет в нашей жизни прока,
И только круглые глупцы любимцы рока.
Чтоб ласковой ко мне был рок, подай сюда
Кувшин мутящего наш ум хмельного сока.

— Нет! Не хочу! — Мирали отставил от себя бутылку с вином. — Это ложь! Это... это даже предательство! Я откушу себе голову, если соглашусь быть любимцем рока. Я больной человек, и у меня хватит терпения выслушать всю свою боль до конца. До конца! Я верю, что умру спокойно, Джемал. Я своей жизнью посрамлю Соломона! Я — Мирали!

Он сел поудобнее — выставил вперед бороду и немигающе уставился на розовую люстру Джемал.

— А, Джемал? Что я хотел сказать тебе... Выслушай меня... Говорю: мне часто думается, что в последний десяток лет я люблю вовсе не тебя, а молодость, свою молодость, Джемал, с которой ты связана... Ты понимаешь? Но сегодня в голове моей встала торчком и колет, колет изнутри мне в лоб простая мысль, что ты не связана с моей молодостью, а наполнила собой мою молодость. Джемал! Это правда? Скажи мне правду — я боюсь ошибки, я страшно боюсь ошибки! Джемал! Поверь, если тебе станет больно, я окажусь в больнице, если на тебя подует, я застыну, я дорожу тобой, даже самой глупой, злой и вздорной, вместе с твоими барскими замашками, гнусными тряпочками и фальшивыми ухмылками. Я слабый мужик. Я раскис под пятой мысли, которая кажется мне несокрушимой, Джемал, мысли, что ты самая трудная и самая лучшая часть моей жизни. Молодость моя, Джемал! Ты и сейчас при мне, тут, рядом, — это же счастье? Или, может, все не так, Джемал? Почему ты накаркиваешь мне смерть в одиночестве, ворона! Джемал, ты ответишь мне?

Она застыла перед ним, уставясь на него со страхом и недоумением. Но Мирали, кажется, и не нуждался в ее голосе, в словах ее. Он говорил дальше:

— Я давно забыл о покое. Поверишь ли, когда я узнаю, что чья-то жена изменила своему мужу, я ревную ее к любовнику. Горе мне! У меня есть даже мысль: как было бы хорошо, если бы вместе со мной отправилась в небытие моя Джемал, мои ребята... Горе мне! Слышишь, Джемал: если есть таки потусторонний мир и если там будут судить за грешные мысли и чувства, то уже сейчас там разжигают для Мирали особые костры, кипятят в чанах особую смолу, куют особые, острые крючья и подбирают самых опытных палачей... Но и это мне не страшно, я все перетерплю. Джемал, ты помнишь, как собирались с тобой умчаться за тридцать земель? Я понимаю, от себя не умчишься — нет таких коней, но не удастся ли убежать от боли? Пенсия — удобный случай, не попробовать ли? Согласись, Джемал... Ну согласись же, я прошу тебя, женщина, у меня будет почти генеральская пенсия... Не стыдись, Джемал! Аванс выкладываю наличными, х-хэ!

Джемал шарахнулась от него, но от самой двери с усилием, как против ветра или в крутую гору, двинулась обратно.

— Мирали! Но ведь как только ты бросишь море, тебя сразу же утянет в какие-нибудь пески. А не в пески, так в лес! Доля такая! А мне хочется пожить... просто пожить, попить чайку, поболтать, поваляться на подушках... Ты можешь это понять?

— Да... Да, понимаю... Мне понятно даже то, что жизнь не любит таких, как я... Спрашиваю жизнь: за что мне твоя немилость? Работаю изо всех сил, не жалею себя, ни разу не бывал в доме отдыха, никогда не врал, не трусил, никому не сделал подлости... За что же ты, жизнь, наградила меня этой проклятой хворью в ногах? За что оставила без крова? И теперь грозишь оставить в одиночестве... За что? Ты посмотри, жизнь, посмотри, сколько вокруг ленивцев, ловкачей, бабников — и все здоровехоньки, все устроены... А может, вина Мирали в том, что звал на себя слишком много трудностей? Сбросить половину? Другую половину перегрузить на кого-нибудь? Надуй кого-нибудь! — лезет мысль, — обведи вокруг пальца! Соври с улыбкой! Укради, если плохо лежит! Блесни фальшивой слезой! Поваляйся на подушках! Обрасти жирком! Выбрось из головы ядовитые мысли, думай только о приятном! Береги себя — ведь береженого бог бережет... Джемал! Я знаю даже то, что как только я выйду на эту дорожку, удачи посыпятся на меня как манна с небес!

Она с минуту смотрела на него молча. Потом отчужденно нахмурилась, по лицу пробежала темная усмешка.

— Мирали! Ты работаешь, ты не жалеешь свою шкуру, ты не жаден, но есть в тебе какая-то другая корысть... Ты прятешь ее даже от самого себя...

И снова пришлось спрятать глаза: снова удар тяжелым, острым словом по больному месту. «Джемал, откуда это у тебя? Кто ты, Джемал!» Он молча проследил, как подымается она с кошмы, как медленно, спокойно, с независимо выпрямленной спиной уходит от него. Он понял: с таким трудом, с такой болью она сломала в себе гордыню несколько минут назад, заставила себя вернуться к нему — для того, чтобы сейчас уйти с достоинством, победительницей.

— Моя корысть, Мирали, в сравнении с твоей — невинный пулячок!

В углу зажегся розовый ночник, тут же погасла люстра.

Когда все стихло, он осторожно коснулся больного, только что разбереженного места. Была решимость уяснить себе до конца: что там? Какая корысть? Ему отваги не занимать. «О аллах! Каких премудростей, хитростей, каких наук и книг не придумают эти люди, чтобы только оправдать и украсить воровское свое желаньице «просто пожить»! Для прокаженного и солнце прокаженное — в пятнах».

Пришли соседи — хлопнула дверь, щелкнул выключатель. Не удалось ни одного голоса, но сразу же зашумела, застонала во всю мочь пластинка, мужчина затянул песню. Этот мужчина был чрезмерно сыт; из горла, суженного салом, вырывался звенящий, пронзительный ГОЛОС.

— Э-о! — простонал он.— Но-оет... Реве-о-от, проклятый... Оказывается, и песней можно казнить человека...

Из смежной комнатки послышался смех Джемал.

— Ты с ума сошел... Не беспокой соседей, Мирали... Ты уйдешь, а мне с ними жить...

Рассвета не было долго.

— Джемал? Ты спишь? Скоро начнет светать... Ты на кого-то фыркала во сне... На кого?

— Ни на кого я не фыркала...

Измятое о подушку лицо Джемал напоминало перезревшую дыню.

— Джема-а-ал... ты уже форменная старуха...

— И ты не краше.

— Да. И пора уже, как говорится, подумать о спасении души. Ты думала?

— Нечего тут думать...

Он склонился над ней и бритвенно острую непримиримость увидел в узких ее глазах.

— Как думаешь жить, спрашиваю!

— О, не кричи... Надоело... Даже тут, где полагается отдыхать, где нормальные люди спят, в самый глухой час, в четыре часа утра он будит меня и спрашивает: как думаешь жить? Тебе надо лечиться!

Он отмахнулся от нее.

И как в былые ночи их ссор, подошел к окну, долго смотрел, как вынырнувшая из туч ли, из моря ли мокрая луна роняет золотые капли, нити, ленточки на море ли, на небо ли...

— Джемалэ! Совсем уйду!

— Уходи. Я не могу больше. Устала, не могу. Совсем уходи.

10

На привокзальной площади желтела цистерна с надписью «квас». Во рту пересохло — мучительно хотелось пить. Мирали подошел к цистерне, постучал по ней кулаком: полна или пуста? Не понял. Постучал покрепче и опять не понял. С досадой толкнул ее в желтый бок, и она, эта тяжелая цистерна, вдруг пошатнулась, сдвинулась с места и — боком, боком — грузно повалилась на асфальт площади. Из горловины с шумом хлынул на площадь квас.

— Э! — сказал себе Мирали.— Началось... Теперь пойдет...

На цыпочках, тревожно оглядываясь, сиганул в привокзальный скверик. Вышел с другой его стороны, подался к морю.

До отхода «Алмаза» был еще целый час. Решил взглянуть на Доску почта — исправлена ли ошибка? В управлении флота стояла тишина, кругом ни души, ошибка не исправлена. Если зайти с тыла и забраться на отделанный под гранит глиняный фундамент этой доски, то можно просунуть руку между стеклом и картоном, на который наклеены портреты...

Но как только он сунул туда руку, вся рама — дерево, стекло — разбилась.

«Началось! Теперь пойдет!»

Он уже знал по опыту, что как ни убегай от неприятностей, нигде от них не скроешься. Не лучше ли пойти им навстречу? Интересно, что будет?

Позвонил с автомата в милицию.

— Але-е... Начальник? Мирали звонит...

— Это милиция, в чем дело? — сказал глухой, полусонный голос.

— Начальник, слушай! Мирали говорит. Я тут Доску почета разбомбил... Совсем разбомбил! Давай забирай меня!

— Гражданин! — Голос прозвучал покрепче. — Если не выпались, так пойдите проспите.

— Э, зачем спать! Мирали правду говорит! Квас уронил! Слышишь, начальник? Весь квас на вокзал гулял... Забирай меня!

— Сам придешь, если надо, — сказал начальник.

— Ладно! Сам приду! Сам!

В трубке запищало.

— Мдэ-э, пхе-е, — рассмеялся Мирали, — суета, суета... Пустые страсти! Правы Соломон с Хайямом. Надо смеяться! Пить надо! Петь, плясать! Пхе-хе...

Он подошел к калиточке, за которой старуха поливала умывающемся старику.

— Бабушка! — закричал он. — Сколько лет твоему дедушке?

— А-а? — переспросила старушка.

— Бросай, говорю, старика! Слышишь? Он у тебя совсем старый! Бери меня! Па-асматри, какой я красивый... — он развел на стороны раздвоенную бороду. — А-а? Совсем красивый! Гони старика в шею — бери меня!

— Че-о-орт! — сразу осерчала старушка. — Господи! Старик, гляди-ко... пляшет бес-то, господи... Спятил, вовсе спятил...

Мирали выписал ногами пяток кренделей: хоп! хоп!

Дальнейшие события пошли стремительно.

Поколесив по городу, набрел Мирали на здание милиции. Вспомнил про квас и Доску почета. Устремился в двустворчатую дверь и натолкнулся на деревянный барьер, за которым сидел у телефона милиционер.

— Дорогой начальник! Мирали квас уронил, Мирали Доску почета разбомбил, Мирали честный человек...

— А-а! — обрадовался начальник. — Так это ты? Прошу садиться.

— Мирали сам будет платить за квас! Сам!

— Хорошо... очень приятно... — Милиционер, любезно улыбаясь, ткнул пальцем в какую-то кнопку. Немедленно возникли еще два милиционера. Первый кратко приказал:

— Помогите товарищу.

И через три минуты Мирали увидел близко-близко чьи-то глаза, насмешливые и бесстрашные, но — отступающие от него и грустнееющие под напором трезвого и даже ясного от отчаяния его, Мирали, взгляда. И будто издали прозвучал голос, глуховатый и серьезный:

— Ты кто? Документы есть?

— Я пьяный, — сказал Мирали. — Я рыбак. Документы на судне.

— Мг-м-м... Так... Прошу сдать брючный ремень. Сымите пиджак. Обувь оставьте здесь. Родные или знакомые есть в городе?

Мирали почудилось, что к нему относятся с жалостью.

— Я пьяный, говорю. Родные и знакомые тут ни при чем. Никого мне не надо, я сам...

— Отлично! Прямо по коридору — шестая дверь...

На свободе еще только-только стало зримым перемещение к закату торопливого ноябрьского дня, а Мирали в камере казалось, что

на дворе давно уже ночь. Эх, если б выпустили до рассвета, чтоб никто не видал.

Через час звонко заговорил дверной железный засов. Послышался веселый, звонкий голос:

— Эй, Пол-Литрыч! Подъем! Хватит дрыхнуть!

Чей-то дребезжащий смешок:

— Хе, кхе, кхе... На белых простынях поспал Пал Федрыч... Хорошо. А фотографировать будете?

— Иди, иди... Бумагу еще на тебя портить...

— Тогда прошу искупать. По закону обязаны искупать, потому как взымаете. Пал Федрыч давненько в баньке не бывал.

Мирали подумалось, что скоро станут будить и его. Поведут фотографироваться, потом купаться...

К ночи втолкнули инженера-физика Константина Константиновича Закорючного. Он так и представился Мирали:

— Константин Стиныч Закорючный, инженер-физик.

Мирали лежал смиренно, лицом к стене.

Он понимал Константина Стиныча, у которого, только он присел на пошлый топчан, пропал всякий вкус к жизни. Инженер печально смотрел на единственное оконце и не мог, разумеется, не сетовать на вопиющие неудобства жизни.

Дверь осталась раскрытой. Из соседних камер доносились голоса, кто-то буйно негодовал, кто-то льстивенько кланчил папиросочку... Молодой плачущий голос умолял допустить к телефону.

Искупали и повели одеваться Пал Федрыча. Он разорвался в коридоре:

— Беззаконно! Взымаете по такой сумме, а моете... Как, спрашивается, моете! Даже в ушах не вымыли, кхе-хе... одна фальшь...

Еще через час снова распахнулась дверь, двое молодцов схватили Мирали под руки, провели по коридору, круто повернули в сторону, к двери, и, не сказав ни слова, оставили его во дворе. Следом вылетели ботинки, пиджак, тельпек и брючный ремень.

11

Над ним было небо. Луна таилась где-то за густыми, темно-зелеными, похожими на камыши облаками, в узких прозорах облаков поблескивало текучее небо, и в глубине его мерцали крохотные огоньки.

Мирали поскреб в бороде, стал одеваться.

Потянувшись за ботинками, увидел скользнувшую мимо него тень кошки. Посмотрел в ту сторону, откуда кинулась тень, различил у забора чью-то черную, сутуловатую фигуру. Потом фигура приблизилась к нему, сказала голосом Сейдмамедова:

— Салам, капитан-ага!

Мирали окаменел.

— Капитан-ага! Все хорошо, пойдём... Скорей пойдём...

Мирали крикнул, пошел в распахнутые ворота.

— Как я рад, Мирали-ага! — ликовал Сейдмамедов. — Хорошо вышло!

— Х-хэ! Сейдмамедов? Чему ты рад? Что старик попал в вытрезилровку? В твою пользу? Значит, выследил старика? Иди, болтай теперь... радуйся...

— Зачем говоришь неправду? Я три часа упрашивал милиционеров отпустить тебя... Я долго им рассказывал про тебя! Они все договорились отпустить тебя и помалкивать про это... Э, Мирали-ага!

Ты не туда идешь... Пойдем ко мне, жена плов приготовила, бутылка есть...

— Нет, Сейдмамедов! Нет... Есть люди, торгующие добротой... Говорят потом: плати добром за добро. Если не пролезешь в капитаны, будешь болтать направо и налево, что Мирали был в вытрезвиловке.

Сейдмамедов промолчал.

На вокзале было пусто, тепло. Сейдмамедов, растянувшись на скамейке, моментально захрапел, а Мирали до полночи мучился, перевертываясь с боку на бок под буханье вокзальной двери, сопение и свистки маневровых. В полночь усталость взяла свое. Он обмяк, сделался ватным, кулаки его разжались — выпустил себя из рук... И тихо полетел, полетел где-то в темно-зеленой мгле.

Шли они утром от судоремонтной станции, до которой подбрёл их на моторке приятель Сейдмамедова.

Шли мимо слипа, где громоздилась на кильблоках свежеевыкрашенная «Аваза» («Жемчужина!»), и шли потом высоким берегом, поглядывая на восток.

Неторопливо шли над голубой косой и видели на горизонте эскадру парусных судов, в трюмах которых начался пожар, огонь уже подкрался к парусам, подымался все выше — полыхало уже четырьмя цветами: красным, фиолетовым, белым и желтым... Радостно и жадно хваталось море за огонь, брало его в обхват, топало в себе и перебрасывало колеблющимися мостиками на слип, на косу и к ущелью, где не проснулась еще хибара... Еще не было ни одного луча, не слышалось ни звука, но разгорался, разгорался на глазах пожар и бушевала тишина, пронизанная чем-то недоступным ни слуху, ни зрению: что именно и где звучит, понять невозможно, только чувствуешь, как нарастает какой-то шум, воздух пронизывают свисты, улюлюканье, смех, и кто-то плачет и жалобно просится ближе к душе... Остановился вдруг шагавший впереди Сейдмамедов, сказал, сдвинув шапку на выпуклый затылок:

— У-у-ух! Как шумно... А, Мирали-ага? Шумно?

— Да,— сказал старик.— Шумит жизнь.

И оба утерли рукавами вспотевшие лица.

Остановились над ущельем. С минуту смотрели, как там, внизу, только что проснувшиеся ребята кого-то ловят в зарослях полыни. Кинулся вперед и растянулся на земле боцман, Атаулин перепрыгнул через него, побежал, побежал, что-то досадливо крича и грозя кулаком крадущимся со стороны Махмуду и младшему Беркилиеву. А Ленька Черкашников, сложив на груди руки и снисходительно улыбаясь, поглядывал на них с крыльца хибары...

Сейдмамедов кубарем скатился на дно ущелья, ребята навалились на него, устроили кучу малу и нашумели, накричали на всю округу. Из-за ребят прозевал Мирали восход — когда спустился вниз, огромный огненный шар уже всплыл на поверхность моря, да так близко, что загородил собой выход из ущелья...

— Эй, ребята! Ребя-а-а-та! Смотри-ка! Кто там стоит-то! Смотри! Капитан, ребята!

Мирали видел бежавших к нему ребят, нелепую, лошадиную улыбку Сейдмамедова, смеющиеся глаза кокши и подумал отчетливо: «Как я хочу жить! Хочу вечно видеть все это... Все! Даже нелепую улыбку Сейдмамедова и глупый его затылок...»

И, как в труднейшие минуты жизни, потеряв над собою контроль, поспешно и неловко зашкандыбал по ущелью, выставив вперед более чуткое ухо и протянув перед собой руку.

День подымался высоко, обыкновенный, рядовой день! Была возможность и надо было жить дальше.

12

Спустили «Авазу» на воду.

После обеда подошли к плавучей базе «Катунь», старой барже, стоявшей на якоре у выхода из бухты в море.

Нудные часы. Инвентаризация хозимущества и рыболовных принадлежностей, сдача судна Регистру, бумажные хлопоты и прочие малоприятные и необходимые дела, без которых судно не получит плавания. Потерял три часа — считай, легко отделался.

Входили в бухту сейнеры, сдавали уловы приемо-транспортным судам. Кому надо было почту, магазин или баню, те пришвартовывались к «Катуни». На базе громко кричало радио, белыми флагами трепетали и щелкали на ветру простыни и наволочки, суматошно металась, картаво вскрикивая, крупные чайки, называемые мартынами.

Низко ходили грязно-белые, с сизыми каймами облака, и пахло гнилью взбаламученного донного ила.

Погодка не улыбалась. На ночь давали штормовую — до семи баллов. Разгрузившиеся капитаны не торопились отшвартовываться от «Катуни» или сниматься с якорей, выжидали, поглядывали друг на друга.

Прибыл с берега начальник флотилии. Сидевший в каюте Мирали видел, как бойко просверкали по крутому трапу лакированные туфли Абдуллаева, — открыл начальнику дверь.

— Салам алейкум, капитан-ага!

— Приветствуем, начальство.

— Как поживаешь?

— Садись... Как поживаем... Стареем! Слышал, часики подарить мне собираетесь. Уйду на пенсию, буду считать минутки: сколько жить осталось...

— Да... да... — Начальник поерошил тонкие, блестяще-черные усики. — Дело из рук вон плохо. На той неделе получил три дизеля — два отымают. Грабят! Среди бела дня! Куда же мне? Камень на шею и за борт? Говорю: это убийство! Только через мой труп! Не дам! И ты вот тоже... а? Мирали-ага? Нет, я понимаю: пенсия штука соблазнительная. Но если ты уйдешь сейчас, в самом начале осеннего сезона, ты просто зарежешь меня. А за что? Это убийство! Убийство! За что, я спрашиваю? Что я плохого сделал тебе? Мирали-ага!

Мирали рассмеялся:

— Слушай, начальник... Говорят, если б ты жил в Иране или в Турции, давно бы стал миллиардером. Это правда?

— Нет! Чтоб стать миллиардером, надо быть расчетливым дельцом. А я? Кто я? Шустрый мечтатель, сентиментальный татарин. В Турции я был бы нищим! Ни минуты не жил бы! С камнем за борт! Убийство!

— Пхе-хе... Понимаю, начальник... Конечно, надо бы, но староват стал я... Вчера хватил лишку, попал в вытрезвилку, уснуть не мог, переживал... Х-хэ!

— Погоди... — досадливо поморщился Абдуллаев. — Что ты мне рассказываешь про какую-то вытрезвилку... Тут сотни тонн рыбы пропадают! Ты не вилай, говори прямо: хочешь убить меня? Посмотри! — ткнул он пальцем в иллюминатор. — Дают от четырех до семи — разве это шторм? А они притихли, выжидают. А-а? Ночь бу-

дет седаая — это больше тысячи центнеров! Потерять такую рыбу? А-а?

— Убийство?

— Да! Сам понимаешь, заставляя я не имею права... Вдруг какой-нибудь оболтус тонуть вздумает. Что скажут? Скажут: Абдуллаев человека на смерть послал. Но разве не работали при семи баллах? И в блюде утонуть можно!

Мирали знал, к чему клонит начальник, но помалкивал: пусть выговорится. Ведь сладко это, слаще самой жизни — услышать от людей, что ты нужен, без тебя трудно...

— Скажу коротко: за тобой пойдут. Скажут: ага, Мирали тронулся — почуял дело. Мирали дело знает. Выручай.

— Пойду, сам знаешь, — сказал Мирали.

— Спас! Благодарю, — сразу успокоился Абдуллаев. Запустил руку под плащ, достал бутылку коньяка. В бутылке было меньше половины.

Мирали усмехнулся: «С кем-то пил уже... с каким-то спасителем...»

Вошел Сейдмамедов.

— Капитан-ага, отход будет?

Мирали кивнул.

Сейдмамедов потоптался, хотел что-то сказать. Вышел.

Наполнив стаканчики, Абдуллаев начал издали:

— Странные есть люди! Вот, скажем, я... Вывернут наизнанку. Внутри у меня нет ничего такого, чего не было бы видно снаружи. А другой весь спрятан внутри. Лошадь, а не человек, не в обиду будь сказано. А, Мирали-ага? Как думаешь...

Мирали хмыкнул:

— Мне нужны люди, а не лошади.

— И молчит эта лошадь, молчит и тянет воз... Но! Понимает она больше иного человека, знает, куда тянет...

— Расхвалил цыган мерина — жалко стало продавать!

— Я оставляю тебя правым, старина, — быстро и на одной ноте проговорил Абдуллаев. — Не мешаю быть счастливым... Не мешаю холить совесть и гордыню... Черт с ним, с этим меринком... раз он не человек! — Абдуллаев прищурился и поглядел куда-то сквозь Мирали.

И старик зябко передернул плечами.

До банки Ливанова — около семи часов хода.

Эти часы такая проза — скулы ноют. Ничего не происходило. Из выхлопной трубы дизеля вырывалось одно и то же: «Дрянь! Дрянь! Дрянь!» Кокша, размахивая тряпкой, гнала с камбуза мух. Ребята торопились выспаться перед ночной работой. Мирали в каюте думал свою думу, а Сейдмамедов стирал портянки.

Хорошо было в вонючем, жарком и грохочущем аду старшему Беркилиеву. Дюриты не текли, масляные и топливные штуцеры не пропускали, стрелка тахометра подрагивала неподалеку от красной отметки. Везучий человек! Он перед самым плаванием побывал дома, поиграл с детишками, уплатил за квартиру, оставил на хлеб-соль и теперь, поглядывая на щиток приборов и прислушиваясь к музыке дизеля, чувствовал себя свободным и счастливым.

Гораздо хуже приходилось стоявшему на руле Махмуду. Парень не мог привыкнуть к черному чувству одиночества, которое безжалостно гнетет в море любого из молодых. Стоять на руле — каторга! Даже пытка! Если б «Аваза» шла вдоль бесконечного пирса, а на пирсе дули б в трубы духоперы и красивые девчата спра-

шивали друг дружку: «А кто такой симпатичный стоит у штурвала?» — тогда Махмуд стоял бы на руле круглые сутки! И был бы счастлив. Но здесь, в этой темной пустыне, где одного жди — вот заметит Сейдмамедов за кормой виляющий след и гаркнет, заглянув в рубку: «Курс держи! Пьяный, что ли?» — или: «Опять куришь в рубке!», здесь парень чувствовал себя одиноко и неуютно. И легла уже на обветренном его лбу суровая морщинка, и научился он смотреть исподлобья. Об одном думал Махмуд: «Когда же, наконец, сменят его?» Если он плюхнется в постель через минуту, то все равно не выспится: до банки Ливанова остается не больше четырех часов. А ведь придется всю ночь без передышки вкалывать и вкалывать! Ведь там не скажешь: «Ребята, я устал, хочу поспать...»

Да, тяжело и горько молодому рыбаку. И все же надо думать, что есть на этом свете справедливость. Есть! Пройдет лет двадцать, напишет Махмуд гастрит и ревматизм, весь сморщится, штормовые ветры сдуют с головы кудри, то есть сделается он точь-в-точь таким же, как механик Беркилиев, и в один прекрасный день или, сказать вернее, в одну прекрасную ноябрьскую ночь, нырнув в вонючий, шумный, жаркий ад, послушает музыку машины, полюбуется стрелкой тахометра и почувствует себя подлинно и полно счастливым. Он скажет себе: «Красота! Наконец-то я раскусил, в чем истинная сладость жизни! И теперь уж никакая в мире кисея и чешуя не выманят меня из этого прекрасного ада, где я одиноко и счастливо предаюсь высочайшему из наслаждений — сознаю себя кормильцем, настоящим мужчиной, всеобщим любимцем».

Сейдмамедов постирал портянки и полез в ад к Беркилиеву, чтобы пристроить их в теплом местечке. Хорошо после работы, когда промокнешь до нитки, переодеться и навернуть на ноги сухие, теплые портянки.

Досадливо поморщился запутавшийся в своих думах Мирали. Только хотел начать все снова, как тяжелый удар волны чуть не сорвал его с места, — «Аваза» повалилась набок, на корме послышался сухой раскатистый грохот, а где-то в трюме грянул тяжелый стон железа: грэн-н-н!

Вышел из каюты. Уступил дорогу пробежавшему на корму Сейдмамедову, остановил выскочившего из кубрика боцмана:

— Куда?

— Ящики рассыпались!

— Там Сейдмамедов... Спать, Сандро...

— Гром где-то!

— Сейдмамедов, говорю, есть... Спать!

Сандро полез в кубрик. Спускался он неохотно, думал о ящиках: «Надо бы связывать их, что ли... А то спать не дают!» Однажды так же вот кинулся на грохот и увидел там Раису. Улыбка ее показалась зазывающей, он робко протянул к ней руку. Новый удар волны выбил из-под ног Раисы палубу, и он сцапал ее, испуганную и смеющуюся.

Да, завязался у него с кокшей узелок. И узелок этот успеха она намочить слезами, не развяжешь теперь. «Ждет! Ящики разбудили, надо бы связать их...» Покосился на Леньку, улыбавшегося во сне — сапоги сняты! — и, сунувшись к зеркальцу, столкнулся носом к носу с худым, скуластым мужиком... «М-да! Морденция оставляет желать... Годики... Надо пришвартовываться к Раисе... пока не поздно!»

А Леньке, точно, снились опять сапоги. Не сапоги, а вернее, черные английские туфли, тосковавшие по нему в потемках чемодана. Там же томились клещи и тельняшка. Был и бушлат. Ленька еще

в начале мая поменялся с Сейдмамедовым фуражками. У старпома покрасивее — «комсоставская», с крабом. На берегу моря флотской формой никого не удивишь, но там, в далеком Подмоскowie, в городке, битком набитом ткачихами, клеши и краб будут в цене.

Сменив Махмуда у штурвала, Мирали обдумывал свой разговор с Абдуллаевым. Тяжело было. Опять его упрекнули в затаенной стыдной корысти... Появился Сейдмамедов, возбужденный, растрепанный ветром. Что за железо прогремело в трюме? Свалилась с полки таль, грохнулась на стлани...

— Еще какие новости?

— Боцман пополз к кокше.

— Знаю. Ничего страшного. Дело молодое.

— Но зачем ползать?

— Не мешай... Из этого дела может выйти добро. А если без ума вмешаться, выйдет гадость. Сколько огней за кормой?

— Час назад было шесть, Мирали-ага. Теперь все отстали. У «Авазы» после ремонта ход.

— Ты Абдуллаева давно знаешь?

— Да как сказать... Совсем, можно сказать, не знаю. Любит якать, но и работник. Артист!

Мирали промолчал.

Сейдмамедов думал: вот простоит старик на руле четыре изнурительных часа, а после, когда волна подбросит перед «Авазой» огонь буя на банке Ливанова, начнет искать лучшее место лова. И отыщет. Как он находит эти места? Ну, скажем, знает дно, знает течения, их летние и зимние прихоти... Но кто из капитанов-рыбаков не знает этого! И все-таки каждый раз «Аваза» стоит на лучшем месте. Рыбаки-соседи жмутся к ней, рядом плюхаются в море их точно такие же — конусные — сети, но у Мирали сеть с верхом, а у других что-то едва поблескивает в мотне. Волшебство? Похоже... Но какой ценой дается ему это волшебство! После каждой рабочей ночи в нем видна такая усталость, что кажется: до самой смерти не наберется теперь сил старик! Но через час на камбузе уже слышится: «Эй, Сандро! Смотри, какой шашлык! С языком не разжуй! Ну и Раиса, ну спасибо, дай бог доброго жениха!»

— Мирали-ага, — сказал Сейдмамедов, — извини, дело, конечно, не мое, но после берега видок у тебя... Будто ты связан путами.

Старик спокойно, медленно навел на него свой сильный, немигающий взгляд:

— Х-хэ! Врешь, Сейдмамедов... Нет таких пут, чтобы накинуть их на Мирали. Ты понял?

Встревоженное близостью зимы, холодное и темное, всю ночь ворчалось, стонало, угрожающе ревело и грохотало море, и всю ночь кричал то на старпома, то на боцмана Мирали. И бешено затопал на Черкашникова, когда матрос «дал зевака» — едва не смыло с палубы.

Длинной показалась ночь.

И долго потом; долго не могло подняться утро, будто кто-то наступил ему на спину, — с натугой, слабенькое, мутно-зеленое, приподнялось утро на уровень надстройки «Авазы», и часа два еще было видно, как разгуливают вокруг сейнера, доставая раскосмачеными, поседевшими головами до обряжканного неба вздыбленные ветром волны.

Нелепый случай произошел после полудня, когда до прорези в косе, то есть до входа в бухту, до «Катуни», оставалось не больше часа хода.

Еще утром Мирали подумалось, что осенью норд-ост нередко гонит вдоль косы траву, сорванную с отмелей. Идет она полосой, и если вовремя обнаружить ее, ничего страшного не случится. Надо закрыть кингстоны, и через пятнадцать, двадцать минут будешь в чистой воде. Но ни утром, ни после обеда не предупредил он Сейдмамедова — был занят мыслью: «Ладно, пускай корысть, пусть стыдная, пусть! Но зачем соваться к Мирали: «Выручи! Спаси!» Зачем в товарищи набиваться! Зачем наизнанку выворачиваться! Не нужен вам Мирали? Вам тяжело с ним? Тогда прочь! Прочь, Мирали один проживет, благо жить немного остается...»

Машина сразу потеряла обороты и через несколько секунд заглохла. Было ясно: заглушил Беркилиев, и заглушил не без причины. Все было ясно! «Авазу» швырнуло в сторону и накренило на правый борт. Когда он выскочил из каюты, Сейдмамедов уже быстро переключал штурвал, направляя судно по ветру и по волнам вдоль зажелтевшей вдалеке косы.

— Трава! — тревожно крикнул Сейдмамедов. — Забило кингстоны!

Взбеленился Мирали не сразу. Он с полминуты смотрел на своего старпома как бы с интересом, даже улыбнулся — и побелел вдруг:

— В блюде утонешь, подлец! Марш от штурвала! Прочь!
Но Сейдмамедов только усмеялся.
Вмешался боцман:

— Мирали-ага! Кто знал, что тут трава? Если ты знал, почему не предупредил? Это несправедливо!

— Х-хэ! Несправедливо? Пхе-хе... будет вам справедливость! — Старик растерялся; озираясь, он наткнулся взглядом на угрюмые, почужелые лица своих ребят, в голове подскакивала и вспыхивала молнией, ослепляя его, одна и та же яростная мысль: «Вот оно! Случилось! Случилось!» Было так больно, что он схватился за виски... Э-эх, камса... ребя-я-ята... камсюки! Камсюки! Дурак старый!

Отвернулся, пошел на корму.

Шел торопливо, с выставленной вперед рукой, на ощупь. Среди бела дня. И не шел, а убежал... Он убежал! Он убежал бы за горизонт, если бы не было вокруг мутно-зеленого кипящего моря... Слепо миновал штабеля ящиков, запнулся за контроллер кормового шпиля, и как раз в этот момент что-то холодное, мягкое и грузное с силой толкнуло его в спину. И последнее, что видел он тем днем, — это неясные и расплывающиеся, как дым, фиолетовые лица Сейдмамедова и Атаулина.

13

Эти же лица увидел он перед собой, когда очнулся.

— Где я?

— В каюте, капитан-ага, — ответил Сейдмамедов.

— Я спрашиваю, где «Аваза»...

— Здесь... За косой, у судоремстанции... Все хорошо, капитан-ага!

— Кто привел?

— Сами дошли! Как только поравнялись с острием косы, запустили машину, забежали в бухту...

— Джан-Гельды... сбрось одеяло, жарко...

— Мороз... Хворый ты... Нельзя...

— Нет, Гельды, не проведешь старика... Мороз будет после шторма...

— Кончился шторм. Мороз.

— Не проведешь... Шторм кончится ближе к ночи...

— Ночь уже. Давно. Спи!

Старик не верил Сейдмамедову, был равнодушен к его словам. Непонятно, для чего это понадобилось Сейдмамедову обманывать, что кончился шторм, что над морем мороз и ночь... Нет, не проведешь старика! Он и оглохнув будет слышать знакомый с юности, ни с чем не сравнимый, широченный шум этой заманчивой и страшной волюшки, он и не глядя видит ее...

И виделось ему, что море — это страна Башкирия, воспетая его матросом, что вдоль и поперек по нему рыщут диковинные, со змеиными головами, огнеглазые коци. Вот сшиблись в драке два жеребца, оскалив белозубые пасти, развеяв по ветру сивые гривы и хвосты, а расходились долго, медленно...

— Что? Мирали-ага! — быстро склонялся над ним Сейдмамедов. — Больно?

Вдруг Мирали пошел — рядом Сейдмамедов, кругом люди, все его знают.

И снова навалилась черная вина.

— Э-э... Сейдмамедов... Джан-Гельды! Я виноват...

— Ни в чем ты не виноват, молчи...

Где-то поблизости заплакала Раиса.

— Капитан! — послышался звонкий, отчаянный, дрожащий голос Атаулина. — Не горюй, капитан! Мы еще поработаем, еще покажем себя! Слышишь? У меня есть песня про тебя, капитан! Еще споем! Я сам сложил! Сам!

— Ай, молодец, молодец, Рим... Хорошо... Где Раиса?.. Плакать нехорошо. Не плачь, дочка... Сандро...

— Я здесь, Мирали-ага. Не разговаривай. Скоро поправишься, приглашу на свадьбу... Все кончится свадьбой, старина...

— Пошли-пошли... я кому говорю... марш по местам! — внятно прошептал Сейдмамедов.

Бывает в ноябре: в череду ветреных и мокрых седых ночей вклинится ночь иная — светлая, звонкая.

Мороз!

Но не гудят обледенелые провода высоковольтной линии, протянутой к судоремонтной станции, и не потрескивает за проводами косо напластованная над морем синяя ночь.

Не тишина, а замороженный крик.

Сдержанно кашлянул в кулак Сейдмамедов. Проходя мимо застывшего на полубаке боцмана, крикнул и обронил: «Побудь!» — сошел на берег. Шел он перенятой у старика походкой, на полусогнутых ногах, ступая осторожно, мягко, боясь не уберечь все, что было под ногами и в душе; он вглядывался в напластованную за проводами ночь и чувствовал уже, как предупредительно, сурово дует в душу из той дали, что так внезапно распахнулась перед ним во всей своей пугающей глубине. Но холодно и страшно было ему не столько от свалившейся на него ответственности, как от привычки быть впереди. Смотреть вперед привык он через плечо капитана, и теперь ему казалось невероятным, что никогда больше не будет перед ним этой худой спины с остро торчащими лопатками, костлявых этих плеч, защищавших его и команду от напора непонятной, взбалмошной и грозной жизни.

Ничего бы не пожалел он, не пощадил бы даже собственного здоровья, чтобы только вернуть этого человека.

Была уверенность: опустел мир, и опустел надолго, если не навсегда; он сгорбился под тяжестью свалившегося на него одиночества и старался не дышать, когда, спустившись вниз, шел по ущелью, шел мимо хибарки и по тропке в зарослях жухлой полыни, шел и чувствовал, как все в этом мирке, чуть тронутое взглядом, оживает, жалобно просится к душе и тормозит ее: «А помнишь, тут ходил старик... Помнишь?..» Стало так горько, что он не вытерпел, метнулся в сторону, наверх... Сказал негромко, с бесповоротным убеждением:

— Все пропало...

Он был еще сравнительно молод, годился старику в сыновья. И потому не мог не любить капитана, любил той же беспокойной, изнурительной, болезненной любовью, какую привелось перенести мне. Но, видно, разные мы с Сейдмамедовым люди, и я не думаю, что «все пропало»...

Вспоминаю время своей пылкой увлеченности страной божественного Махтумкули, жившего в «нелепый век», когда «...и падал скот, и люди голодали... ад стоял в дверях», и все-таки советовавшего молодым:

Спешите, юноши, на этот мир взглянуть.

Я и спешил. Из края в край этой страны, из вилайета в вилайет ее, по суше и воде возил с собою верное и дорогое для меня ощущение простора, неограниченной свободы, не открытой еще жизни и непочатой работы. Мне посчастливилось смекнуть, что здесь реальнее, чем где-либо, возможность прожить дарованную тебе жизнь с толком, не напрасно, и легче, чем где-либо, воспользоваться этой возможностью. Уродившемуся неисправимо любопытным, мне мало, мало было знать, «как много чистых душ под колесом лазурным сгорает в прах», и я совался в этот огонь, влекомый страстью все прочувствовать, понять и подталкиваемый в спину настоятельными советами друзей — сжечь себя... Сжечь в себе ту проклятую, стыдную, губительную корысть, которой болен был Мирали!

Для чего?

Ну, для того хотя бы, чтобы спокойно, знаяще возразить Сейдмамедову: «Джан-Гельды, ничто не пропадает даром».

Для того, чтобы как можно лучше понять Мирали. Чтобы суметь хотя бы с приблизительной правдивостью, точностью рассказать, что же произошло в этом укромном закутке, где поселилось однажды сумасбродное одиночество и кто-то смекнул поставить домик в береговой расселине, прямо у моря.



Л. ОВСЯННИКОВА



БАМ У КОСТРА

Когда пылает костер,
и искры к звездам спешат,
И крылья лес распростер,
и ветры в травах шуршат,
Заснуть старается день,
но мы не можем заснуть —
Нам песни нужно допеть,
нам звезды нужно раздуть.

Звонит знакомый мотив,
и в небо голос взлетел,
Рабочий день чуть притих,
он отдыхает от дел.
И только сердце поет,
ему никак не уснуть —
Все песни надо допеть,
все звезды надо раздуть.

Пока пылают костры
в горячей мирной золе,
Встают дома и мосты,
дороги мчат по земле.
Ребята, нам не до сна,
нам нужен только привал,
Чтоб звезды каждый из нас
и на земле зажигал.



О ЧИЕ РУКИ НАШИ ИХ ДЖЕИ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

АНДРЕ РЕМАКЛЬ

★

ЛЕГЕНДА О КАМАЗЕ*

Главы из книги

НАЧАЛЬНИК И БРИГАДИР

Белоснежная скатерть из дамасского полотна. Блеск бокалов. Стол уставлен прославленными русскими закусками. В знак особого внимания к нам, французским гостям, с электропроигрывателя в столовой, где накрыт этот стол, льется голос Эдит Пиаф.

Общение сводится к приветливым улыбкам. Гость должен чувствовать себя свободно, как дома. Он садится где пожелает, без непременною мужчины—женщина, как заведено у нас. Хозяйка дома просит гостей угощаться без стеснения. Каждый кладет себе на тарелку то, что хочет, и повторно, если что-нибудь пришлось ему по вкусу. Все едят, и каждый, выбрав удобный для себя момент, произносит тост, заканчивающийся классическим пожеланием развития франко-советской дружбы. Никакой натянутости или притворного радушия. Всюду одинаковый прием — у бригадира ударной бригады, главного инженера, колхозника, у рабочего совхоза.

За нашим столом два Алексея: один — бригадир ударной бригады, Герой Труда, он носит свою золотую медаль на сером пиджаке; второй — начальник управления Металлургстрой, где работает бригадир.

Алексей Новолодский — один из тех советских строителей, которые за свою жизнь потрудились на многих стройках. Он русский, родился на берегах Байкала, в Восточной Сибири, в Бурятской автономной республике, на границе с Монголией. Он охотно рассказывает, что после военной службы, демобилизовавшись, оказался вместе с солдатами-татарами, которые по темной шевелюре приняли его за своего.

— У моего отца были волосы цвета вороньего крыла. У моего брата еще чернее, а меня, когда я был маленький, принимали за цыгана...

Он возглавлял много бригад, например на строительстве Иркутской ГЭС на Ангаре, к юго-западу от озера Байкал, в Якутии, на крайнем севере Сибири, где работал на Вилюйской ГЭС, на алмазных приисках. В нем ровным счетом ничего нет от авантюриста, который вечно гонится за каким-то несуществующим раем. Это простой женатый человек, отец дочери, которая вот-вот сделает его дедушкой. Спокойным голосом рассказывает он о своем приезде на КамАЗ. Рассказ прерывается отступлениями того или иного порядка, соображениями о том, что советские продукты отличаются неоспоримыми качествами натуральных, о

* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

любопытных сторонах жизни в Татарии, и время от времени голос Пиаф перекрывает все:

Он говорит мне слова любви,
Слова, повторяемые каждый день,
Но мне это не безразлично...

Герой Социалистического Труда — в Набережных Челнах его ласково называют просто «герой», — он в 1971 году уехал с Вилкоя, с ГЭС, которую построил, на КамАЗ. Организовав бригаду, начал строить жилье для рабочих, первую станцию для нагрева воды, а потом принял участие в строительстве кузнечного завода.

— Моя настоящая специальность — монтаж, я обожаю высоту. Но в семьдесят первом монтировать было нечего. На том этапе только рыли под фундамент. Нужно было устанавливать в земле бетонную арматуру, дело нелегкое, если учесть, что грунт — как пропитанная водой губка. Обычный, нормальный путь — рыть большие котлованы — был слишком медленным. Решили ставить корпуса на буронабивных сваях...

— Первый этап был трудным, стройка казалась слишком большой. Приходилось почти одновременно согласовывать планы и вести монтаж. Среди рабочих оказалось много молодежи без специальности. Инженеры, бригадиры, начальники — все делились своим опытом. Молодые ребята рвались приобрести строительные специальности.

Одной из главных трудностей был страх перед большими масштабами работ. Чтобы его побороть, Новолодский убедил свою бригаду попытаться совершить подвиг: забетонировать свыше тысячи кубических метров за сутки, что и было сделано в 1972-м. Установленный рекорд в шесть раз перекрывал норму, в два раза — существовавший рекорд.

— Это заставило расшевелиться другие бригады. То, что сегодня рекорд, завтра норма для всех. Другие бригады последовали нашему примеру, и рекорд стал обычным явлением.

За пять лет монтажников бригады Новолодского перевели на четвертый и пятый разряды.

— Это замечательная бригада. Она состоит из татар, русских, украинцев, кавказцев, чувашей, которые прекрасно ладят между собой. Они знают, что, если один теряет время попусту, от этого теряют время другие, а тем самым все теряют премии.

Начальник управления Metallургстрой Алексей Болдырев — москвич. Он выпускник Энергетического института. Выбрать профессию ему помог французский журнал «Белый уголь», который ему довелось читать. После института работал над различными проектами гидроэлектростанций. В 1959-м уехал в Египет, где в течение трех лет принимал участие в строительстве Асуанской плотины. В 1964—1971 годах строил Саратовскую ГЭС на Средней Волге. С 1971-го он на КамАЗе. Между креслом в министерском кабинете и стройкой он избрал стройку.

— Сначала есть грязь и пыль, потом вырастают деревья. А как только жизнь налаживается, строитель уезжает на другое место.

Создание коллектива — важная задача. Работаешь с инженерами, специалистами и людьми без специальности, а они должны расти.

— Те, кто ничего не знал, зачастую становятся асами строительного дела. Николай Шемякин, в прошлом истопник, стал опытным бригадиром. Абдуллин Нигматула, приехавший из глубинки Татарии, возглавил бригаду из восьмидесяти человек — строителей сложнейших объектов. Надо стереть разницу между умственным и физическим трудом.

Новолодский переехал в этот дом недавно из квартиры большей площади, которую оставил, чтобы обеспечить жильем дочь. Городские огни образуют на стеклах светящиеся луночки. Советское шампанское пенится в бокалах.

— Всегда можно найти людей, способных быть хорошими бригадирами. Когда рабочие приезжают, они создают новые бригады во главе с наиболее опытным работником. Коллектив не монолит. Среди многих тысяч человек встречаются лидеры, квалифицированные рабочие и работники иного уровня. Сила коллектива в том, чтобы поднять отстающих до уровня передовых. Иногда в бригаду попадают люди малодисциплинированные, любители выпить. Сила бригады — не каждый в отдельности, а все вместе, и того, кто ведет себя плохо, ждет осуждение коллектива. Инженер уделяет наибольшее внимание производительности труда, которая сказывается на заработках всех. Он направляет усилия на создание лучших условий труда рабочих — богатства предприятия. Пример: Абдуллин работал с двумя кранами, ему дают три или четыре — производительность труда увеличивается и компенсирует затраты, заработки повышаются. Инженер готовит производство. Обсуждение дел с бригадирами — не всегда легкое дело. Они не начинают работу, если им не все подготовили. Медленный темп — гибель стройки. Он должен следить за своевременной доставкой материалов. Рабочий должен иметь все, что ему требуется, и даже немного больше...

Тон разговоров, которые то сливаются в один, то ведутся в разных направлениях, повышается. Голос начальника зазвучал громче:

— Преимущества социалистической системы очень просты. Здесь борются за движение вперед, за развитие. В Татарии больше сажают деревьев, чем вырубят, потому что заглядывают вперед. У последующих поколений будет леса... В семьдесят шестом в Набережных Челнах посадили шесть тысяч деревьев и двадцать пять тысяч кустов. А транспортное движение? Его надо организовать. Улица Горького в Москве когда-то казалась очень широкой. Потом она стала узкой. В тридцать восьмом были передвинуты дома на пятьдесят метров. Этот пример доказывает, что если машин больше, чем людей, дома можно отодвинуть.

Второй Алексей, бригадир, одобряет эти слова, и Алексей-начальник поднимает бокал за будущее, за тех, кто станет отодвигать дома на улице Горького.

Кстати, — вопрос не лишен интереса — сколько зарабатывает бригадир? 500 рублей в месяц. Сколько зарабатывает начальник? 450 рублей в месяц. Не знаю, как сделали бы вы, но я пробормотал нечто вроде:

— Ах вот оно что... Но...

Жена и дочь бригадира, похоже, не поняли моего недоумения.

Жена начальника тоже.

...Они собрались провести воскресный день вместе на даче Алексея Болдырева.

ВАВИЛОНСКИЙ ЗАВОД

Руководители КамАЗа любят говорить, что это интернациональная стройка. И в самом деле, при посещении завода создается впечатление, что советским людям удался подвиг — соединить все лучшие машины и оборудование, какие только сейчас производятся в мире.

Гигантское предприятие, вытянувшееся по татарской степи, могло бы стать международной выставкой современной техники. Это отвечает давней заботе руководителей Советского Союза о развитии международных экономических и торговых связей на началах равенства и взаимной выгоды.

Техника, используемая на КамАЗе, прибыла из 14 капиталистических стран — Франции, Бельгии, Канады, Швейцарии, Федеративной Республики Германии, Японии, Соединенных Штатов Америки, Италии, Великобритании, Финляндии, Голландии, Дании, Норвегии и Швеции, а также из шести социалистических стран — Чехословакии, Германской Демократической Республики, Югославии, Польши, Венгрии, Болгарии. Советская техника составляет основу, и к ней прибавляется вклад из-за рубежа — плод долгих и терпеливых переговоров с важнейшими фирмами этих стран.

В Соединенных Штатах, например, некоторые предприятия, прельщенные сказочным рынком КамАЗа, пренебрегли правительственными указаниями, насколько это возможно тормозившими торговые обмены с Советским Союзом.

Службы информации Рокфеллера опубликовали книгу «КамАЗ — большой завод грузовых автомобилей», а «Чейз Манхаттан Бэнк», или, точнее, один из его филиалов, выпустил книгу, предназначенную для бизнесменов: «КамАЗ — предприятие в миллиард долларов».

Президент западногерманской фирмы «Деймлер-Бенц» сказал представителям СССР: «Масштаб проекта выше наших возможностей. Вы предлагаете нам построить комплекс больше, чем все заводы грузовых автомобилей Западной Германии, вместе взятые».

За машинами, по маркам которых можно судить, в каких странах они изготовлены, стоят люди — иностранные специалисты, приехавшие на КамАЗ для монтажа и обучения советских рабочих, которые во многих случаях уже приняли у них эстафету.

Многие советские специалисты ездили за границу знакомиться со станками, на которых им предстояло работать, и можно нередко услышать рассказ инженера или рабочего о пребывании в Соединенных Штатах, Японии, Италии или другой стране. Много советских специалистов прошли стажировку на «Рено», особенно те, кто специализировался на различных агрегатах завода двигателей. Почти такое же количество специалистов «Рено» находилось на КамАЗе в 1976 году.

Здесь живут бок о бок немцы, японцы, англичане, американцы, итальянцы. И база отдыха иностранцев — судно, стоящее на приколе на озере, — как и предназначенные им дома, превращенные специально для них в гостиницу, или рестораны, где они питаются, напоминает Вавилонскую башню.

Жить на КамАЗе не всегда легко. Организовать тут быт людей с привычками и психологией такими несхожими, как у французов, американцев, итальянцев, швейцарцев или японцев, тоже вещь нелегкая. Служба приема иностранцев, располагающая значительным штатом переводчиков со всех языков, которая обосновалась в Новом городе, приобрела соответствующий опыт.

Иностранцы живут в хороших жилищных условиях. Им предоставляется квартира, и они пользуются услугами различных служб быта, начиная от ресторана и кончая заботами об их отдыхе. Специалисты из социалистических стран, как легко догадаться, движимы здесь не тем, чем движимы специалисты из стран капиталистических. Советские люди скорее находят с ними общий язык, достигая полного взаимопонимания. Эти специалисты приехали для участия в строительстве и заинтересованы в хорошем функционировании социалистического предприятия. Они знают, что экономические отношения между их страной и Советским Союзом выработаны в рамках Совета Экономической Взаимопомощи, созданного свыше двадцати пяти лет назад, — отношения, каких не существует больше нигде. Так же как они знают, что самый большой трубопровод «Дружба», протяженностью свыше 4500 километров, начинается в Татарии, поставляя тысячи тонн нефти Польше, Венгрии, Чехословакии и Германской Демократической Республике. Так же как они знают, что резервы природного газа Советского Союза питают Польшу, Чехословакию, ГДР, Болгарию, Венгрию и Югославию. Кроме того, советский газ направляется в Австрию, Финляндию, Италию и Францию в рамках торгового обмена. Однако у нас есть некоторая тенденция забывать об этом, как и о том факте, что «Рено» использует советское оборудование, и в том числе мощные прессы, установленные на заводе в Гавре.

Трудящиеся из капиталистических стран приехали на КамАЗ по мотивам, весьма и весьма отличающимся от тех, которыми руководствуются их коллеги из стран социалистических. Французы говорят об этом без обиняков: «Лично я приехал сюда заколачивать деньги». Кто бросит в них камень, зная об их высоких заработках, которые им никогда не получить в Бийанкуре. Да, но тогда нормально и то, что в Бийанкуре они находят жареный бифштекс или телятину с трюфелями, а на КамАЗе — борщ с пирожками. И если зимой тут 25—30 градусов ниже нуля, то потому, что Набережные Челны расположены не на берегах Сены или у Средиземного моря,

Для советских людей любой иностранный специалист равен другому. Они выплачивают каждому командировочные. В остальном же контракт подписан не с отдельным специалистом, а с фирмой, в которой он служит. Ей выплачивают определенную сумму за приобретенное оборудование, а также за работу по монтажу и пуску.

Отношения с иностранными специалистами иногда осложняются частными случаями, оговоренными или не оговоренными в контрактах с фирмами, которые их командировали. Каждым специалистом управляет контракт, определяющий условия его пребывания в СССР,— контракт, заключенный с фирмой. Условия контрактов итальянских фирм отличаются от условий французских, или английских, или американских в отношении квартиры, средств транспорта, телефона и других сторон жизни. В результате права и обязанности одних не всегда совпадают с правами и обязанностями других. Это порождает конфликты, но вина за это падает на «Рено», «Фиат», «Вотан», «Диамос» или «Холкрафт».

Можно сожалеть, что советские люди не показывают шире некоторые из своих достижений. Я сказал в управлении по внешним связям, что во время нашего пребывания в Набережных Челнах некоторые французские специалисты, скептически воспринявшие мой рассказ о посещении совхоза «Гигант» и дома в коврах, просят разрешение их посетить. Это было осуществлено, и примерно тридцать из них смогли во всем удостовериться собственными глазами. Во время другой встречи с начальником управления я рассказал об этом факте как о маленькой победе.

— Вы правы. Мы слишком робко показываем то, что у нас хорошо. Возьмите рестораны в Набережных Челнах. Там подают только венгерские, болгарские и алжирские вина. Я не ставлю под сомнение их качество, но я распоряжусь, чтобы туда завезли вина советских марок...

ДОМ В КОВРАХ

Дорога тянется мимо черноземных свежеперепаханных земель, полей кукурузы, ржи и пшеницы, зеленеющих пастбищ и подсолнухов, поворачивающихся лицом к солнцу. Галки и вороны поднимаются с лугов и исчезают в небе.

Нескончаемые трубы на колесах обильно орошают искусственным дождем территорию нового поселка, или, как чаще говорят, совхоза «Гигант», занимающего свыше 7 тысяч гектаров пахотной земли, лугов, дорог, лесов с голубым пятном озера посередине. Он находится далеко позади заводов. Несколько лет назад этот рядовой совхоз выращивал все; с созданием КамАЗа он приобрел другие масштабы и стал одним из главных источников снабжения Набережных Челнов продуктами первой необходимости — овощами, зерном, а главное, молоком.

Его основная база — монументальный коровник, строительство которого завершается. Всего четыре помещения вместят две тысячи голов рогатого скота, который будет здесь жить без привязи, особенно зимой, в стойлах, где индивидуальные кормушки и водопойный желоб автоматизированы. Грязная подстилка, навоз выбрасываются в промежутки, разделяющие длинные ряды стойл, поступающая в бетонированные траншеи, прикрытые металлическими решетками. Доеение осуществляется в смежных помещениях обычными автоматизированными и механизированными приемами. Перед коровником в восьми силосных башнях, каждая вместимостью 900 тонн, хранится сенная масса.

Хотя главное предназначение совхоза — скотоводство, тем не менее здесь уделяют внимание и обширным пахотным землям, окружающим совхоз. Подготовительные работы по обогащению земли, удобрение по норме (0,7 тонны химического и 10 тонн навоза на гектар), развитая механизация, искусственный полив помогают собирать 2,5 тонны зерна и 2 тонны овощей с гектара. Техника: 60 тракторов, из которых 10 мощностью в 200 лошадиных сил, 40 грузовиков от 2,5 до 5 тонн, 29 комбайнов, из которых 19 для уборки пшеницы, остальные для кукурузы, картофелесажалки, водонасосная станция и другое.

Совхоз — государственное хозяйство. Рабочие и специалисты получают здесь твердый оклад и премии, но они имеют также право на индивидуальный участок, который используют для личных надобностей.

Вокруг КамАЗа существует так называемая санитарная зона. Здесь не должно быть жилья. Часть деревни, принадлежащей совхозу, оказалась как раз в этой зоне. Теперь ее жители переселяются в новый поселок, строящийся в восьми километрах. Он уже насчитывает свыше 200 домиков.

Классические татарские бревенчатые избы с их окнами, украшенными разноцветными резными наличниками, состоящие из общей комнаты, где стоят кровать и большой сундук, с кисейными занавесками и почти всегда с ковром на стене, а не как у нас — на полу, почти исчезают. Деревня уступает место поселку городского типа со школой, центральным отоплением, медицинским учреждением. Он не так живописен, но жители новой деревни предпочитают теплые двухэтажные дома в четыре комнаты с удобствами «живописности» суровой зимы, дровам, которые приходилось пилить и колоть, чтобы накормить огромную печь, сложенную в стене, грязя дворов вокруг избы, полутемным уборным, одной-единственной жилой комнате, где с наступлением вечера приходилось ставить раскладушки или класть на пол тюфяки, чтобы уложить детей спать. Впрочем, они очень хороши, эти новые дома, выстроившиеся на главной улице, отделенные друг от друга участками с клумбами и грядками, — эти стилизованные избы, украшенные разноцветным деревянным орнаментом. Проходя мимо одного из них, я спросил директора совхоза, нельзя ли туда зайти. Сказано — сделано. После небольшого объяснения с хозяйкой та широко распахнула перед нами двери.

На первом этаже кухня с электрической плитой, холодильником, общая комната, спальня, на втором, под двускатной крышей, еще спальни. Мебель стандартная, но почти во всем заметно стремление проявить личный вкус — от занавесок на окнах до подушек с кружевными наволочками, уложенных на постели, как принято у татар, одна на другую лесенкой. Но самое удивительное и неожиданное было на стенах. В каждой комнате два, а то и три ковра с причудливыми пестрыми узорами. Маленькое состояние!

Хозяйка, гостеприимная и приветливая, как это здесь повсеместно, удивилась нашему удивлению. Для нее ковры были в порядке вещей, а то, что они висят на стенах, общепринято в Татарии. Но разве у французского слова «ковер» не один корень с выражением «обвешивать коврами»?

Ее муж — истопник, она работала на складе металлолома. Несколько лет назад они переехали сюда из Архангельска, с Белого моря, и поселились в совхозной деревне, а теперь живут в новом поселке, носящем татарское имя Азьмушкино.

Разумеется, я остановился в одной из комнат перед застекленным книжным шкафом.

— Да, я очень люблю читать, — сказала мне хозяйка дома в коврах, — но книги достать трудно. Я подписалась на них с доставкой на дом.

В ее библиотечке не менее трехсот названий.

— Вы прочитали все эти книги?

— Да, и нередко перечитываю.

Русская классика, современные писатели, затем иностранные авторы — Хемингуэй, Шарлотта Бронте и другие.

Хороший дом, муж, двое детей и через дорогу школа более чем на 600 учеников, ковры, купленные в различных поездках («Вот этот из ГДР»), книги, а чтобы пометчать, история трудной и трагической любви Джен Эйр и Рочестера, — она явно счастлива, эта славная женщина.

Тем не менее в перестройке совхоза на новый лад не все проходило гладко. Многие ушли отсюда на строительство КамАЗа. Одно время казалось, что в деревне не хватает рабочих рук. Но в совхоз пришли работать другие люди. Техника стала более современной. Специалистов-механиков и агрономов прибавилось. Сей-

час 40 процентов персонала имеет высшее образование. Связь с заводом расширилась. Во время посевной и уборочной кампании совхозу помогают заводские рабочие. Некоторые из покинувших совхоз вернулись обратно.

— Если человек по-настоящему селянин, — сказал мне директор совхоза, — если у него крестьянская душа, его всегда будет тянуть к земле.

В совхоз поступило много сельскохозяйственной техники. Построены квартиры с удобствами, ничем не отличающиеся от городских. Улучшены дороги — сообщение между городом и деревней облегчилось. Стираются противоположности между городом и деревней.

В предстоящие годы совхоз «Гигант» должен повысить уровень своего сельскохозяйственного производства и скотоводства. В этом нуждаются КамАЗ и Набережные Челны.

ОДИН ПАМЯТНИК И МНОГО ПЛАКАТОВ

На большом проспекте Старого города (вскоре он пересечет Набережные Челны из конца в конец), названном именем татарского поэта Мусы Джалиля, замученного нацистами, устремился вперед памятник — фигура на носу корабля. Он стоит сам по себе на специальной площадке, за которой протянулась мозаичная стена, решенная в духе татарского искусства, а из могилы Неизвестного солдата поднимается вечный огонь.

В начале 1975 года молодежь, воодушевляемая комсомольцами, потребовала от местных властей, чтобы в городе воздвигли мавзолей памяти героев, погибших ради жизни Советского Союза в веках, павших в гражданскую войну, павших в Отечественную. Идея молодежи нашла полное одобрение. Она пожелала, чтобы памятник был воздвигнут и торжественно открыт по случаю тридцатилетия Победы, до которой оставалось каких-то несколько месяцев.

Создать такой памятник поручили Ильдару Ханову, молодому татарскому художнику и скульптору, который утвердился в искусстве рядом картин, порывающих с общепринятым академизмом, и двумя оригинальными скульптурами, установленными в столице Татарии Казани. Ободренный великим мексиканским скульптором Давидом Альваро Сикейросом, страстный почитатель Фернана Леже, Ильдар Ханов четко сформулировал для себя задачи искусства, которое, по его представлениям, должно выражать поступь человечества, мощную и лиричную, в символах нашего времени. Он представил эскиз (и его приняли) на очень классическую тему Родины-матери, которая ведет своих детей, — иллюстрацию к стихам Мусы Джалиля:

*Умирая, не умрет герой,
Мужество останется в веках,
Имя прославляя своей борьбой,
Чтоб оно не смогло на устах.*

Он создал форму для заливки бетона. Бригада добровольцев-энтузиастов воздвигала памятник круглые сутки, нередко работая ночью при свете прожекторов. Строители, проектировщики, каменщики выкладывались без остатка, и 7 мая 1975 года состоялось торжественное открытие Мемориала Славы, и три Героя Советского Союза — Якупов, Маннанов и Кондрашенко — зажгли пламя вечного огня. Лицо женщины — символ Родины, — высеченное из камня, с крупными, суровыми чертами, отрывается от боковых граней из бетона, в которые намеренно асимметрично вписаны лица героев, такие же резкие. Поднятый на большую высоту глыбой цоколя, памятник вырисовывается с удивительной силой — корабль и танк, воздушный и весомый. При его массе, рассеченной на множество граней с настойчиво повторяющимися упрощенными формами, создается такое впечатление, будто он движется и в то же время прочно осел в этой родной земле.

Когда с памятника сняли покрывало, толпа была поражена увиденным.

У памятника сразу же появились горячие приверженцы и не менее горячие противники. И в дни 1976 года, когда я находился в Набережных Челнах, споры вокруг него продолжались.

Повторяю то, что я часто говорил на месте: Мемориал Славы отличается поразительной красотой. Он делает честь советскому искусству. При всем неоспоримом модернизме, однако без перегибов, этот памятник в то же время продолжает некоторые традиции народного татарского искусства.

Мне сказали, якобы и другие памятники, предусмотренные для Нового города или входа на стадион, могут быть поручены Ильдару Ханову, и выражаю пожелание, чтобы так оно и стало ради необходимой гармонии между смелостью искусства и смелостью Нового города.

Я заметил несомненные сдвиги в области художественного творчества в Татарии, и в частности в городе, родившемся благодаря КамАЗу. Доказательство этому я усматриваю в пытливых раздумьях молодого художника Аврика Ниязова с неоспоримыми данными портретиста, который испытывает потребность взорвать и заставить вибрировать рисунок и цвет.

Еще одно доказательство этому дала мне встреча с другим художником — татаринном Ривкатом Вахитовым, который обратился, и очень удачно, к керамике, моделируя из окрашенной терракоты негритянские маски, возвращаясь к фольклорным темам своего народа, трактуя их в сочетании обновления формы и классицизма движения. Я видел одну из этих мозаик в школе и его проект для будущей гостиницы «Татарстан», которая будет воздвигнута при въезде в Набережные Челны. Тут есть разрыв с традицией и одновременно преемственность, а это счастливая жила, в которой искусство черпает особенные удачи. Набережные Челны, город 2000 года, как говорят некоторые, заслуживает искусства и культуры по его мерке.

Красоту города меньше всего приумножают огромные фрески, или скорее огромные плакаты, наклеенные на фасады домов. Я хорошо знаю — мне это сказали — они прославляют труд, производство, рабочих, строителей, социалистическую стройку и прочее... Возможно, они были полезны в какой-то период. Свидетельство тому — знаменитые «Окна РОСТА» Маяковского. Мне сказали, что плакаты, о которых идет речь, исчезнут из Набережных Челнов одновременно с украшенными деревянными грибами, установленными на улицах и площадях. Их заменят иные формы пропаганды нового. Это станет доказательством подлинной воли к творчеству, той воли, которая на наших глазах проявляется в Татарии, где тебя неожиданно поражают мозаика, памятник, витражи, формы здания или театральные спектакли, черпающие вдохновение в общем источнике, как, например, представления Национального татарского театра, который в августе 1976 года приезжал на гастроли в Набережные Челны и выступал во Дворце культуры.

Не думаю, что мои друзья из Союза писателей, которые устроили нам такой братский прием в Казани, станут меня опровергать. Они гордо держат знамя татарской литературы. Они тоже хотят объединить прошлое, настоящее и будущее, издавая на древнем и современном татарском языке первую поэму любви, написанную между Волгой и Камой, приурочив ее выпуск к восьмисотлетию основоположника татарской литературы Гали, издавая и переиздавая произведения поэта Габдуллы Тукая, участника революции 1905 года, умершего в 1913-м, и стихи замученного нацистами поэта Мусы Джалиля, наследниками которого являются писатели Татарии. Они объединяют прошлое, настоящее и будущее, публикуя романы, рассказы и поэмы о сегодняшней действительности, о газопроводе «Дружба», о КамАЗе, не забывая о любви и замечательных степных пейзажах, сохраняя и утверждая татарский язык.

К слову сказать, татарский язык — один из двадцати трех тюркских языков, на которых говорят в Советском Союзе. До 1927 года по-татарски писали арабской вязью, затем перешли на латинский алфавит, а в 1930 году на славянский, что облегчило книгопечатание.

ДЕРЕВНЯ И ТЕАТР

Окна небольшого зала Дома культуры (или Народного дома — как угодно), где проводятся репетиции любителей музыки, выходят на картофельные поля. На первом плане торчат крыши домов.

Взяв аккордеон, председатель колхоза заиграл. Заведующая Домом культуры, любезная седовласая женщина, поет татарскую народную песню, потом начинает танцевать один из национальных танцев, которые исполняются в праздничные вечера в деревнях. Насыпы, Миннарметы, Ринаты, Мовмизы, Азраты, Ривкаты — мужчины и женщины с именами, природное изящество которых гармонирует с гордой манерой держаться тех, кто ими наречен, хлопают в ладоши.

Деревня не кибитки, вокруг которых пасутся и ржут кони. Она центр колхоза «Коммунизм», раскинувшегося на площади 7836 гектаров, из которых 7097 гектаров полезной. Мы находимся в кокетливо украшенном Народном доме, двумя длинными центрами которого являются театральные зал и библиотека.

Театральный зал рассчитан на 300 мест, а в деревне живет 2500 человек. Здесь каждый вечер демонстрируют кинофильм, часто дают представления гастрольные труппы. Тяга к зрелищу тут очень сильна, и за несколько дней до нашего появления 50 доярок ездили в Набережные Челны смотреть спектакль татарской труппы из Казани.

Библиотека насчитывает свыше 6 тысяч книг. Широко представлена тут французская художественная литература: Бальзак, Стендаль, Гюго, Мериме, Жюль Верн и многие другие.

Колхоз — добровольная кооперация, обрабатывающая землю, предоставленную государством в бесплатное и вечное пользование. Между трудом колхозника и трудом совхозного рабочего нет существенной разницы, поскольку государство снабжает современной сельскохозяйственной техникой и искусственными удобрениями и тех и других. Разница заключается в том, что совхоз принадлежит государству и непосредственно ему подчиняется, тогда как собственность колхоза (вспомогательные строения, машины, скот, продукты труда) — достояние всех его членов. Директор совхоза назначается государством. Председатель колхоза избирается общим собранием колхозников сроком на три года.

В колхозе «Коммунизм» правление и ревизионная комиссия на 25 процентов состоят из женщин, на 45 процентов — из беспартийных. Его председатель — коммунист и член парткома. «Это не обязательно, но желательно», — поясняют мне. Партийная организация насчитывает 93 члена.

Карьера председателя колхоза «Коммунизм», начавшаяся в 1959 году, при объединении 6 мелких колхозных хозяйств, включавших 6 деревень, типична. В 1941 году, когда ему было пятнадцать лет, он бросил начальную школу и поступил в колхоз, большинство мужчин которого сражались на фронте. В семнадцать лет он тоже ушел в армию. Был ранен. После победы и до 1950 года оставался военным, затем его демобилизовали. Он возобновил учебу, стал учителем. Шесть лет спустя вернулся к земле, стал работать в соседнем колхозе, потом в колхозе «Коммунизм». В 1972 году его избрали председателем, затем депутатом райсовета.

Между двумя тостами в этой избе, украшенной белыми и розовыми кружевами, где нам устроили прием, он показывает мне фото, пожелтевшее от времени. На нем запечатлен отец нашего председателя — делегат съезда колхозников 1935 года, а в центре группы Сталин и несколько высоких должностных лиц того времени.

Многое изменилось с тех пор, и в частности после съезда колхозников в декабре 1969 года. Новый устав отменил волонтеристские методы, плохо воспринимавшиеся тружениками земли, и внес глубокие изменения в колхозную жизнь. Отныне высший орган управления колхоза — общее собрание.

Колхозники имеют право распоряжаться плодами своего труда, вознаграждаемого в зависимости от количественного и качественного вклада каждого. Они

имеют возможность, которую нельзя недооценивать, — покупать в колхозе продукты по себестоимости. Наконец, они могут возделывать свой приусадебный участок. Они располагают молоком, яйцами, птицей как для собственного потребления, так и для продажи на колхозном рынке по ценам существующей конъюнктуры, то есть по извечному закону спроса и предложения. Личную собственность семьи составляют корова, теленок, телка до года, пять овец, две свиньи, пчельник, а также выгон для личного скота, бесплатно предоставляемый в распоряжение колхозников, и фруктовый сад.

За последние годы уровень жизни крестьян в Татарии значительно повысился благодаря модернизации коллективного хозяйства и специализации производства, а также благодаря развитию индивидуального хозяйства. Здесь получили большое развитие культура картофеля и производство молока (320 гектаров под картофелем, 3200 голов скота, из которых тысяча рогатого). Свыше 3500 гектаров отведено под зерновые культуры.

Механический парк состоит из 54 тракторов, 25 комбайнов-молотилок, 30 грузовиков, свыше 300 самых различных сельскохозяйственных уборочных машин, машин для уборки кукурузы на зеленую массу, зерновых, для искусственной поливки.

В колхозе постоянно работают 3 инженера-агронома, 3 инженера-животноводов, 10 инженеров-механиков и множество специалистов по сельскохозяйственной технике.

Изменилась жизнь в деревне. В каждом доме газ и электричество. Все дома оборудованы хозяйственными аппаратами, радиоточкой и телевизором. На 500 семей, живущих в колхозе, приходится 25 автомобилей и 260 мотоциклов.

Школа тут под стать Дому культуры, его библиотеке, его театру. Сад в цветах ведет к просторному прямоугольному дому с широкими светлыми коридорами и нарядными классными помещениями. Школа дает восьмилетнее и десятилетнее образование. В ней обучаются девочки и мальчики от семи до семнадцати лет.

В каждой республике Советского Союза родителям предоставляется выбор между национальной школой, где преподавание ведется на родном языке с уроками по русскому, и школой, где преподавание ведется по-русски, но обязательно изучение родного языка и литературы. Так обстоит дело и в этой колхозной школе. Вот класс татарского языка и литературы. Молодая учительница показывает мне альбомы, иллюстрированные рисунками, — они выполнены школьниками и посвящены тому или иному событию, тому или иному поэту, например Мусе Джалилю, Тукаю, современным татарским писателям. Главные дисциплины преподаются на татарском языке, и если русский фигурирует среди обязательных предметов, объясняется это тем, что иначе выпускники по окончании десятилетки не смогут поступать в институты и университеты как в Казанский, так и в Московский. Это позволяет сократить, если не полностью ликвидировать трудности в учебе, испытываемые молодым человеком или девушкой, говорящими на родном языке, там, где преподавание ведется только по-русски. Многие татары говорили мне по этому поводу о трудностях, которые вынуждены были преодолевать, когда по приезде из своих деревень поступали учиться в университеты или институты.

Вот пример сложности проблем, преодолеваемых многонациональным государством.

МОЛОДОСТЬ ГОРОДА И ГОРОД МОЛОДЕЖИ

Парни с длинными волосами, девушки с короткой стрижкой (мода больше не знает границ), молодые люди и молодые женщины, толкающие детские коляски, иногда для двойни (их много рождается в Набережных Челнах), являются хозяевами улиц по одной хорошей и простой причине: город молод, его обитатели тоже молоды. Мужчины с седоватыми висками смахивают на ветеранов, а седые волосы придают им вид патриархов. Средний возраст жителей города — двадцать пять лет. Возможно, это абсолютный рекорд. Мэру города тридцать лет, главному ар-

хитектору ненамного больше. Директора заводов молоды. Партийные и профсоюзные руководители тоже.

КамАЗ был провозглашен комсомольской стройкой. И очень скоро сюда приехали 43 тысячи парней и девушек, из них 36 тысяч комсомольцев. Будучи неизменно застрельщиками во всех сферах труда, они получили в начале 1975 года высшую награду — знамя ленинского комсомола, побывавшее в космосе.

Такое преобладание молодежи, энергичной, решительной, окунувшейся в производство и в жизнь, сказывается на всем. Вот, например, парень, который на мой вопрос, нравится ли ему на КамАЗе, говорит напрямик:

— Если б не нравилось, я бы уехал.

Конечно, для молодежи КамАЗ — больше чем место, где они работают, и Набережные Челны — больше чем город, где они живут. Это город комсомольцев, и один из его районов так и называется Комсомольский — дань уважения к деятельности молодых.

Холостые и незамужние живут в общежитиях — общежитиях для парней, общежитиях для девушек, с комнатами, рассчитанными на двух-трех человек. Во многих общежитиях на первом этаже расположены помещения, отведенные кружкам — шахматному, юных моряков, художественной самодеятельности, литературному и другим...

Бесспорно, что именно молодежное большинство придает такой размах строительству заводов и города. В то же время оно кое к чему и обязывает.

Молодежь — подлинное ядро строителей, чей опыт не перестает расти. Но надо удовлетворять все их чаяния. Вначале молодые люди пошли на большие жертвы. Теперь город обрел свою форму, и одной романтики и ему и его обитателям уже недостаточно.

Молодая семейная чета не очень-то согласна и дальше жить в общежитии — она в мужском, она в женском, — что порой имеет место.

Чего хочет молодой советский человек, поселившийся в Набережных Челнах? Попытаемся нарисовать типичный портрет.

Прежде всего он хочет иметь жилье и работу. Обзаведясь семьей, он сталкивается и с другими проблемами. Ему нужна квартира. Первые лет пять его может удовлетворить маленькая, когда же у него родится один или два ребенка, ему хочется иметь квартиру попросторнее.

Дети влекут за собой нужду в яслях и детских садах. Молодая мать хочет работать. Семейная чета откладывает деньги, испытывая желание приобрести машину. Дети подрастают. Семье нужны дача и садик.

В Набережных Челнах и на КамАЗе молодежь проявляет себя с лучшей стороны. Она построила завод. Она построила город. Завод выпускает грузовики. Молодежь прославляют всюду — на стенах завода, на щитах, установленных на улицах и шоссе. Ей это нравится, но она хочет также пользоваться теми благами, которые зачастую являются плодом ее труда.

Советские люди, как правило, гордятся своей молодежью. Здесь редко встретишь таких, кто, подобно стольким пожилым французам, любит пругать молодое поколение. Наоборот. Жизнь показала, скажут вам здесь, что советская молодежь не утратила качеств, которыми обладали их отцы, и не считает, что ей все должно подаваться на блюдечке.

Великий английский поэт Милтон говорил: «Молодой человек предвосхищает мужчину, как утро — день».

ГЛАВНЫЕ ПЕРСОНАЖИ

Легенду о КамАЗе ежедневно пишут десятки тысяч мужчин и женщин. Она коллективное творчество, которое можно было бы свести к фразе, высеченной на памятнике старого Зюдерзее: «Народ, который живет, работает для своего будущего».

Эта книга — их книга. Вот почему я почти не упоминал на ее страницах никого из тех мужчин и женщин, которые нас сопровождали и помогали нам совер-

шать трудное и увлекательное открытие этого удивительного предприятия на татарской земле.

Но в Набережных Челнах есть несколько главных персонажей, работающих на передовой КамАЗа, и в то же время, как говорится в советской печати, персонажи эти типичные.

Лев Васильев — генеральный директор КамАЗа и заместитель министра автомобильной промышленности СССР. Трудовую жизнь начал шофером. После войны работал на заводе, закончил десятилетку, затем институт. В 1960 году вступил в партию. С дипломом инженера поступил на завод «Москвич», стал его директором. В 1968-м он назначен заместителем министра, а в следующем году командирован на КамАЗ, в то время еще представлявший собой широкие степные просторы.

Его девиз — делать все для блага народа, делать все для КамАЗа, делать все, чтобы дать стране грузовики, в которых она нуждается. Первый этап пройден. Трудности остаются. Лев Васильев их полностью осознает:

— Да, остается еще проделать огромную, трудную работу по воспитанию коллектива. Много еще нерешенных проблем, а те, перед которыми мы стоим сегодня, это проблемы повседневной жизни. Нам еще не удалось всех обеспечить жильем, хорошо организовать досуг. Отрезок времени был слишком коротким. Сейчас наша задача на КамАЗе заключается в том, чтобы удовлетворять материальные потребности рабочих, техников, инженеров. Работа коллектива протекает нормально, когда он получает то, что ему необходимо в повседневной жизни...

* * *

Раис Беляев — первый секретарь городского комитета партии. Он много писал о КамАЗе: статьи в газетах и журналах, две книги о формировании трудового коллектива. Он приехал из Казани, столицы Татарской автономной республики. Энтузиазма у него хоть отбавляй.

— Сейчас, — сказал он мне, — настали самые славные, самые большие дни КамАЗа.

Задача аппарата городского комитета партии, состоящего из 20 человек, на 50 процентов рабочих, — разрешать важные проблемы повседневной жизни трудящихся.

— Чтобы построить город, нужны века. У нас было пять лет, и этот быстрый рост умножает проблемы. У нас сорок тысяч детей школьного возраста — значит, нужны школы. У нас тридцать пять тысяч детей дошкольного возраста — значит, нужны ясли и детские сады. Кроме того, город надо обеспечивать всеми продовольственными продуктами. И еще: городской транспорт, освещение, снабжение газом, водоснабжение, отопление... Правительство, страна дали нам все необходимое — технику, материальные ресурсы. Наш долг — использовать все это и людские ресурсы... На Западе не понимают смысла строек, подобных КамАЗу. Наша молодежь идет на трудности... На КамАЗе родились лозунги, стихи, песни. Одна из песен передает то, что думает молодежь:

Трудности забудутся,
Чудо свершится,
Сбудется то, что сегодня лишь снится...

Раис Беляев не лишен чувства юмора:

— Мне сказали, что вы ищете негативные стороны. Даю вам пример. Ощущения на рынке было мало арбузов. Люди были недовольны и пожаловались мне. На следующий день на рынок было завезено пятьсот килограммов арбузов.

Первый секретарь городского комитета партии должен слушать людей, внимательно относиться к письмам трудящихся. Если рабочий пишет, что текут трубы в ванной или нет картсфеля, — сигнал принят.

Вокруг рабочего стола Раиса Беляева собралось много молодых женщин: Лидия, Надежда, Раиса — секретари горкома партии.

При въезде в Старый город на длинном транспаранте читаем лозунг, которым заканчивается одна из книг Беляева: «Мы строим КамАЗ, КамАЗ строит нас!»

* * *

Аркадий Родыгин — первый секретарь парткома завода, тоже старый камазовец, не по возрасту, а потому, что и он приехал в начале строительства. Он явно предпочитает говорить о заводе и городе, нежели о самом себе.

Планы и диаграммы, развешанные по стенам его кабинета, где он меня принимал вскоре по приезду в Набережные Челны, — сжатые картины, по которым благодаря ясности и четкости его объяснений я сделал первое открытие столь сложной вселенной, какой является КамАЗ. В дальнейшем оставалось лишь проверить одно за другим, что я и мог делать в той мере, в какой только желал.

Я повидал его вторично перед отъездом, и он приветствовал меня фразой, которая характеризует этот персонаж, не желающий много говорить:

— Лучше раз увидеть, чем тысячу раз услышать.

И все же он спокойным голосом рассказал мне, быть может, о самых волнующих днях. Он мне рассказал о ритме стройки, трудностях роста, обо всем, что сделало КамАЗ легендой, которую я захотел записать. И он помог мне в этом.

* * *

В СССР Министерство энергетики не только строит плотины и электростанции. Оно обеспечивает также строительство заводов и жилья.

Евгения Батенчука, первого заместителя начальника Камгэсэнергостроя, назвали бы у нас ветераном строек. Я увидел его в первый раз на празднике студентов-строителей во Дворце культуры. Зал встал ему навстречу, и среди всех этих девочек и мальчиков, быть может, он был самым молодым, настолько его слово несло заряд надежды и энтузиазма.

Вторая встреча состоялась в его кабинете, где при входе сразу бросается в глаза портрет его друга Ивана Наймушина, руководителя стройки Братской ГЭС, погибшего в воздушной катастрофе при исполнении служебных обязанностей.

Батя, как по-дружески называют Батенчука, увлек меня в водоворот сказочных цифр, которыми он жонглировал по памяти. Он вспоминал, как в университете должен был решить задачу, простейшую, если бы он не забыл математического преобразования Жуковского, знаменитого русского ученого-аэродинамика, создавшего вместе с Туполевым Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). Он пытался-пытался над задачей, и профессор сказал ему: «Память — как хорошенькая девушка: если за ней не ухаживаешь, она тебя отталкивает». С тех пор он ухаживает за памятью — каждый вечер читает на сон грядущий книги по математике.

В чем секрет его энтузиазма и молодости?

— Возможно, просто в любви к своей профессии и к своему здоровью. После войны я заболел туберкулезом. Мне посоветовали уехать на работу в район Сочи, у Черного моря. Я уехал в Сибирь. Вначале со здоровьем было неважно, потом сибирский климат сделал свое дело. Я выздоровел. Двадцать пять лет прожил я в Сибири. Это самое прекрасное место на свете. На Западе в Сибири видят лишь место ссылки, в то время как это самый красивый, самый романтический край. Зеленое море тайги ослепительно прекрасно при взгляде с самолета. В этом краю вечной мерзлоты, когда роют почву, извлекают останки мамонтов. Я прошел по Сибири три тысячи километров пешком. Там чувствуешь себя вольной птицей. Я работал в Якутии, в Мирном — спокойном поселке, ставшем комсомольским рудником, когда он превратился в центр добычи алмазов. Комсомольцы жили в палатках и назвали ряды палаток Ленинградский проспект. Пять лет спустя на

месте палаток уже стояли дома. Американцы говорили, что потребуется пятьдесят лет, прежде чем мы сумеем на нашем дальнем Севере добывать алмазы. Прошло три года — и мы начали вырывать их у земли... На КамАЗе трудности имеют даже притягательную силу.

* * *

Ринат Насыров — молодой татарин. Он родился в деревне, где окончил татарскую школу-десятилетку. Приехав в архитектурный институт, он столкнулся с трудностями в русском языке. Он их преодолел.

Сейчас он первый архитектор города, или, если угодно, его главный архитектор. Он поэт и слагает на татарском языке очень современные стихи. Он страстно любит искусство, страстно любит этот город Набережные Челны, город, находящийся в становлении.

В 1970 году тема первого урока в школах была такая: «Ты живешь в городе будущего. Твои родители строят КамАЗ. Твой город создают рабочие руки».

Надо, как это сделал я, побывать в Набережных Челнах, взобраться на крышу самого высокого дома с таким гидом, как Ринат, чтобы вместе с ним обозреть перспективы завтрашнего города.

Больше всего он озабочен мыслью о том, как и когда новый город обретет свою душу. Из высоких окон его дома он обозревает город в излучине Камы, но он видит и завтрашний город на берегу Камского моря с его оживленным центром, с жаждущими театра, кино, искусства, книг, поэзии молодыми рабочими, которые пойдут из одного Дворца культуры в другой Дворец культуры.

Примечательный факт: когда Рината Насырова назначили главным архитектором города, он не был членом партии. Он вступил в ее ряды в 1975 году.

* * *

В числе главных персонажей и Сергей Позняков — начальник управления внешних связей, блестящий выпускник университета, покинувший Москву ради КамАЗа. На него возложили одну из самых трудных задач — работу с иностранными специалистами. Это одна из сфер, где, пожалуй, больше всего нареканий, далеко не всегда оправданных, где приходится считаться с самыми разными привычками и самыми разнообразными характерами.

Так, в тот день, когда на литейном заводе началась первая плавка металла, вдруг что-то застопорилось. Пришлось вызвать американского специалиста, который налаживал там оборудование. Он был у себя в ванной. Он рвал и метал, кричал, что никуда не пойдет, что ему все осточертело и пусть его оставят в покое. В конце концов, разумеется, его уговорили.

Приходится улаживать много инцидентов. Начальник управления внешних связей — дипломат.

* * *

Персонаж Юрий Кузнецов, директор ремонтно-инструментального завода (РИЗ), недавно вернулся из США после месячной командировки. Он рассказывает, как его удивило, что в Буффало, этом городе стали, мукомольных заводов, точной механики, столько высококвалифицированных специалистов страдает от безработицы. Он ездил в Штаты за станками для своего завода. Он убедился в желании американских трудящихся развивать торговые связи между их страной и Советским Союзом, в желании положить конец дискриминационным мерам своего правительства.

— Чем больше личных контактов, тем больше взаимопонимания.

Он тоже не лишен чувства юмора:

— Во время моего пребывания в Соединенных Штатах проходил чемпионат мира по хоккею на льду. Ни один из тринадцати каналов не показал финала. Возможно, потому, что американцы оказались всего на пятом месте, никто не захотел финансировать ретрансляцию этого финала, предпочтя ему передачу рекламы продуктов для кошек и собак.

* * *

Персонаж Алексей Болдырев, начальник управления Metallургстрой, с которым мы встретились в доме Героя Социалистического Труда Алексея Новолодского и который охотно поменял кресло в московском кабинете на стройку.

* * *

Персонаж Михаил Москов — главный врач поликлиники, своими руками строивший лечебное учреждение, которое он теперь возглавляет. Евдокия Горбунова — директор больницы, с таким жаром проявляющая свою энергию. Бригадиры ударных бригад, студент, которые говорят о Сент-Экзюпери, Арагоне и Есенине, рабочие и работницы, которые учатся в вечерних школах, — их тысячи.

* * *

Слушая их, я многое узнал. Я открыл спокойную уверенность этих людей, сталкивающихся с огромными трудностями, которые пережили радости и горести, пресловутое отрицательное и положительное и которые говорят вам: «Сегодня наша гордость — грузовые машины, сходящие с конвейера».

Они идут через грязные пустыри, которые уже завтра станут площадями Города будущего...

Строители.

Набережные Челны — Марсель,
июль 1976 — январь 1977.

Перевела с французского Л. ЗАВЬЯЛОВА.



ПУБЛИЦИСТИКА

ЕГОР ЯКОВАЕВ



ШКОЛА НА БЕЗЫМЯНКЕ

Тетрадь для сочинений ученика восьмого класса куйбышевской средней школы № 88 Сергея Ярославцева открывается работой на тему «Почему Печорин не нашел счастья в дружбе и любви?»:

«План

1. Что такое счастье и где его искать?
2. Заключение.

Почему Печорин не нашел счастья в дружбе и любви? У Лермонтова это не написано. Не написано вообще, нашел он его или нет.

Нельзя же всю жизнь быть счастливым. Это просто скучно. Может, Печорин был счастлив в молодости? Может, в дружбе, может, в любви. Не знаю. А Лермонтов знает, но не говорит. А может, он нашел счастье в Персии, куда поехал путешествовать? Ведь человек не может не искать счастья. Вполне возможно, что Печорин стал счастливым в Персии. В дружбе. Или в любви. Тоже не знаю. А Лермонтов опять молчит.

Но Людмила Петровна (в этом сочинении я позволил себе изменить лишь имя учительницы Сергея.— Е. Я.) знает точно: не нашел, и баста. Ну что ж, ей виднее.

А почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, я навел справки, что такое счастье. Пошел в библиотеку, взял толстый, четырехтомный, страшно умный толковый словарь: состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. Честное слово, я бы такое счастье и искать не стал. А в то же время его элементарно купить можно было. Не знаю, почему тогда было довольствие и благополучие, но немногим дороже четырех лошадей.

А в БСЭ говорится, что это борьба, освобождение от эксплуатации и т. д. Но во времена Печорина этой энциклопедии еще не было и он не мог знать, что такое счастье.

И наконец, я взял небольшое, но содержательное интервью на эту тему у Людмилы Петровны.

— Это в двух словах нельзя объяснить, и вообще нужно было приходить на той неделе.

Я давно заметил, что Людмила Петровна вся в Лермонтова: знает, а не говорит. А может, не знает???

Я долго об этом думал и пришел к выводу, что трагедия поколения Печоринских заключается в отсутствии БСЭ.

Эпиграф: Река поворачивает в сторону, когда встречает возвышенности; так и фортуна поворачивает в сторону, когда на дороге встречает людей с благородными мыслями и возвышенными чувствами. Лермонтов».

...Даже с эпиграфом Сергей не пожелал обойтись так, как принято, перенес из начала в конец.

Людмила Петровна добросовестно проверила сочинение. Подчеркнула красными чернилами пропущенные запятые, грамматических ошибок не оказалось. А отметку за содержание вывела — три. С таким же успехом можно было поставить пятерку или единицу. Но об отметках, как известно, не спорят.

Прочел сочинение и директор школы Ефим Михайлович Кнохинов. Встретив Сергея, посоветовал ему: пиши и действуй так, как думаешь. Да и что другое мог он сказать ученику, если старается прежде всего помочь ребятам раскрыть самих себя, приучить к самостоятельным поступкам согласно своим убеждениям.

Куйбышевская средняя школа № 88 от центра города не далеко — она на рабочей Безымянке. Молва же об этой школе давно перешагнула границы родного города. Здесь всемерно развивают ученическое самоуправление. Несколько лет назад на фасаде здания появилась еще одна вывеска — «Музыкальная школа № 13 с хоровым уклоном». Арендуют помещение для занятий? Нет. Музыкальная школа влилась в общеобразовательную. У двух школ единая сетка занятий — после математики может быть урок сольфеджио, закончился урок географии — и класс отправляется к хормейстеру... Для начала поверьте мне на слово: необычного и интересного в этой школе хоть отбавляй.



Впервые переступив порог кабинета директора, было это лет семь назад, я сразу заметил на стене лист ватмана с аккуратно вычерченными квадратиками — схема ученического самоуправления. Помню, вытащил блокнот и принялся усердно перерисовывать. Комитет комсомола, совет пионерской дружины, от них стрелки к штабу самоуправления. Группы самоуправления в каждом классе. Есть, например, группа учебы и взаимной помощи — ребята проверяют, как выполнены домашние задания, и ставят за них оценки, проводят классные собрания и собрания родителей. Лучшие ученики помогают слабым. Существуют и группы «энциклопедистов» — наиболее эрудированные школьники делятся с товарищами своими знаниями. Все эти квадратики я и хотел было срисовать, но Кнохинов мягко заметил:

— Стоит ли? Я никому не советую копировать нашу структуру.

Очевидно, директор вспомнил о тех нередких гостях школы, которые торопятся поскорее перенести в тетрадочки заветную схему, а обо всем остальном слушают вполуха, не решаясь сразу же откланяться и уйти. Именно схему принимают они за золотой ключик.

— В той или иной мере самоуправление существует в любой школе, — продолжал Кнохинов. — Ученики решают свои дела — вот и самоуправление. Суть же его определяют не организационные формы, а система взаимоотношений в коллективе и педагогов и учеников.

В тот первый визит, перестав заниматься рисованием, я остался в кабинете директора, делал пометки в блокноте. Теперь листаю его страницы... Приходит мать одного из учеников: ей хотелось бы, чтобы сын поехал в летний школьный лагерь на вторую смену, а его записали в первую. Директор: «Лагерями занимаюсь не я, а начальник штаба самоуправления ученица восьмого класса Лена Кожевникова. Быть может, она сумеет вам помочь». Сказал так, как говорят обычно: обратитесь к моему заместителю. Начальник штаба самоуправления — помощник директора школы. Но одно — провозгласить права, а другое — согласиться с тем, что они существуют, разделить полномочия, приучить себя не вмешиваться в то, за что отвечают ребята: за это отвечают они и только они.

Лену Кожевникову все считают признанным руководителем. Невысокая, круглолицая, смешливая — девчонка как девчонка (теперь уже заканчивает институт, вышла замуж, живет в Ленинграде). Откуда же такой авторитет? Десятиклассникам захотелось устроить вечер — так, без особого повода, лишь бы собраться. Директор послал к ним Лену, но предупредил: «Подумай, мне кажется, нет смысла устраивать вечер».

В кабинет входит Лена, за ней теснятся десятиклассники. Без пяти минут выпускники ждут, что скажет восьмиклассница:

— К вечеру подготовлена хорошая программа. Надо бы разрешить. Я сама на нем буду.

Директор отвечает без тени усмешки:

— Если ты сама на нем будешь, мои возражения снимаются.

* * *

Признаюсь, то, что говорил мне директор о задачах школы, не было новостью. Необходимо воспитывать людей самостоятельных и ответственных; школьные годы должны быть наполненными, интересными, а не подчиняться одному томительному ожиданию, как бы ловчее попасть в институт; именно в эту пору складываются характер, убеждения — они формируются через преодоление трудностей. Все это истины, и, как говорится, прописные. За чем же тогда дело стало? Да за тем, как утвердить их на практике. Со временем многое становится общеизвестным. Известны всем и нравственные идеалы советского общества. Между тем утверждение их в жизни, своей и окружающих тебя, суть призвание гражданина и задача нравственного воспитания, как была она определена на XXV съезде партии, — единство слова и дела должно стать нормой повседневного поведения.

Кнохинов не изобретал нового. Он и сам говорит, что не совершал особых открытий, а использовал лишь то, что давно уже накоплено советской педагогикой. Директор стремится к тому, чтобы школа — ее коллектив и его жизнь — была точной и законченной моделью общества, к жизни и работе в котором и готовят себя ребята. Чтобы нравственный капитал, которым мы располагаем, был пущен в оборот как можно раньше, еще в школе. И тогда еще в детстве сложатся у будущего гражданина отчетливые представления о социальной задаче бытия. А выйдя на самостоятельную дорогу, вчерашние школьники станут отстаивать и утверждать эти убеждения и на работе и в семье. Вчерашние школьники тоже скоро станут родителями...

Написал это и понял, что вновь обратиться к школе на Безымянке меня побудила, пожалуй, повесть Анатолия Алексина «Безумная Евдокия». Потому и позволю себе отступление — хочу рассказать о повести и объяснить, почему она взволновала. Может быть, и вам это поможет заинтересованней взглянуть на то, чем живет школа, о которой веду рассказ, — доказательство от противного бывает порой весьма плодотворным.

Сюжет повести прост. Весьма способная и еще более себялюбивая ученица девятого класса Оля и ее учительница Евдокия Савельевна, осуждающая всякого, кто не живет интересами коллектива — в том смысле, какой она вкладывает в это понятие. Между ученицей и учительницей разворачивается противоборство, оно все время нарастает, а развязка оказывается трагичной. Во время похода ночью девочка покидает товарищей: ей хочется первой пройти по маршруту. Взволнованная учительница вместе с ребятами приезжает к Оле домой. В конце концов, живая и невредимая, появляется дома и виновница происшествия. Но поздно... С дочкой случилось что-то ужасное, непоправимое, кажется Олиной матери. И ее постигает тяжелое нервное расстройство...

Вот и все, а точнее ничего, потому что это лишь сюжет, а за ним обширный пласт раздумий автора. Ему оказалось достаточно и двух печатных листов, чтобы сделать впечатляющий срез действительности, заговорить о том, что волнует большинство из нас. Алексин как бы передает эстафету читателю: подумайте теперь и вы над тем, что явилось поводом к созданию этой повести.

Думая над повестью, мы думаем о нас самих, о наших детях. Беседуешь с ними и поражаешься присущей нынешним подросткам самостоятельности суждений — о многом слышаны, обо всем имеют мнение. Только не заблуждаемся ли мы порой, принимая самостоятельность рассуждений за самостоятельность поступков, самостоятельность на словах за самостоятельность на деле? Последнее немисливо без ответственности — четкого представления о том, как отзовутся

твой поступки на окружающих людях. Не понял этого подросток, не научился взглянуть на себя со стороны — и нас поражает необъяснимая жестокость его поступков.

Отсутствие такой «обратной связи» с окружающим миром как раз и отличает героиню повести. Казалось бы, девочка делает все без злого умысла. Отец видит в этом если не оправдание дочери, то, во всяком случае, смягчающее вину обстоятельство. Как часто, однако, привносим мы в нашу жизнь понятия, заимствованные из уголовного права. Отсутствие злого умысла обычно смягчает вину того, кто совершил преступление. В обиденных же отношениях происходит обратное. Обидел другого человека, сделал это не думая и не желая, а потому и не заметил, как нанес обиду, — разве это оправдывает? Нет, свидетельствует о черствости, духовной недоразвитости...

Благополучное рождение ребенка — счастье. И родители Оли говорят новорожденной: спасибо. Посвятить себя без остатка воспитанию ребенка — казалось бы, благородная задача? Оказывается, далеко не всегда. Хорошо, когда ребенок живет интересами родителей. Шаг за шагом вступает в их мир, постигает те цели, ради которых люди ходят по земле. Иначе бывает, когда родители до конца и без остатка поглощены миром ребенка, становятся его добровольными пленниками. Делают они это тоже без злого умысла, а тем не менее утверждают начинающего путь человека в интересе лишь к самому себе — много достойного внимания объекта для него не существует.

Значит, повесть о бедах, которые несет с собой неразумная родительская любовь? Да нет, автору хочется, чтобы мы поняли, откуда берется эта неразумность, какова ее природа. Почему так легко расстались родители Оли с тем, что занимало их прежде, составляло интересы каждого из них? Для того чтобы терять, надо иметь, а им, в общем-то, не с чем было расставаться. Не было никаких социальных запросов к окружающему миру, одно желание: лишь бы дочь была счастлива, лишь бы хорошо устроилась в жизни.

Но родители Оли — люди еще молодые. Сравнительно недавно закончили институт, и школа не за высокими горами. В нашем извечном споре, кто прав или виноват — семья или школа, мы часто забываем, что родители вышли все из той же школы. А вот вынесли из нее, очевидно, немного: главной приметой и главной профессией для них стало — «родители Оли». И нет других забот, кроме здоровья дочери, ее успехов и учебы. Девочка непременно должна получить безукоризненное образование.

А зачем, скажите, ваш сын или дочь приобретают знания? Стоит ли об этом спрашивать, когда образование в наши дни почти столь же неотъемлемо для каждого человека, как и его физическое развитие. И все же — ради чего, какова общественная задача? Хочу, чтобы мой ребенок был образованным человеком, государству же нужны образованные люди — чаще всего слышишь ответ. Между тем справедлива лишь последняя часть формулы: государству несомненно нужны образованные люди. Но ему далеко не безразлично, во имя чего черпает человек знания, которые так щедро раздаются в нашей стране. Для себя, лишь для своего благополучия или во имя того, чтобы в полную меру сил участвовать в жизни общества? Разговор, казалось бы, ведется с позиций государства, но они ни в чем не противостоят интересам личности; бессмысленна жизнь без высоких целей, а для человека, располагающего знаниями, особенно.

Постараюсь проиллюстрировать сказанное на одном житейском примере. Возвращаясь домой, я часто слышу, как несутся гаммы из соседней квартиры. Это занимается музыкой маленький Димка. В свое время мальчишку не приняли в музыкальную школу, установив абсолютное отсутствие музыкального слуха. Теперь он занимается с учителем музыки дома, мужественно доказывая, что и без слуха можно поднатореть в игре на фортепиано. А еще к Димке домой регулярно приходит учитель английского языка. А еще Димка учится в четвертом классе, и надо выполнять домашние задания. Встретив меня недавно на лестнице, отец Димки спросил, не могу ли я порекомендовать хорошего учителя по художественному творчеству. Это означало, что мальчишке предстоит еще зани-

маться рисованием. Я спросил отца, зачем он так загружает сына. «Начнет пробиваться в жизни — все пригодится», — было сказано в ответ. Мы поговорили совсем недолго, и стало ясно, что отцом Димки движет вовсе не уважение к знаниям.

Обладать знаниями, чтобы служить людям, — стремление, которое всегда отличало тех, кто заслуживает уважения. В наши дни эта взаимосвязь стала нравственной нормой. Но и сегодня, как видите, встречаются люди с весьма расплывчатыми представлениями о самой сути образования. Знания для них имеют смысл в той мере, в какой способствуют личному процветанию; они нечто условное, подобно бумажным ассигнациям, которые подразумевают золотое обеспечение, что-то вроде контрамарки, заполучив которую можно миновать всех контролеров, занять кресло в первых рядах.

И становится тревожно. Отчего в наши дни, когда тяга к знаниям стала их приметой, мы начинаем спрашивать друг друга: кто же есть подлинно образованный человек? Это было известно еще задолго до того, как стали люди задумываться над проблемами, которые теперь нас донимают. И, например, русский просветитель Николай Рубакин, говоря об образованном человеке, постарался лишь сформулировать то, о чем свидетельствовал опыт поколений. «Действительно образованный человек, — писал он, — не тот, кто считает себя «образованным», не тот, кто окончил какое-либо, хотя бы даже высшее учебное заведение, — мало ли неучей, узких специалистов или ловких карьеристов из них выходит! Не тот, кто перечитал на своем веку много, даже очень много, хотя бы самых хороших книг. Не тот, кто накопил в себе некий запас, хотя бы и очень большой, разных знаний. Во все не в этом самая суть образования. Самая его суть — в том влиянии, которое оно может и должно производить на окружающую жизнь, в той силе, которую дает образование человеку для переделки окружающей жизни, во внесении в нее чего-то нового, своего в ту или иную область, в тот или иной ее уголок». Образование может помочь каждому из нас определить социальную задачу бытия. Но получение образования никак не тождественно этому.

Наверное, я не стал бы так подробно останавливаться на истории, которую поведал Анатолий Алексин, если бы все Олины беды гнездились лишь под домашним кровом. Это не так.

В лексиконе классного руководителя Евдокии Савельевны главенствует «все», «со всеми», «для всех». Казалось бы, она и есть та фигура, которая может помочь ученице постичь коллективное начало, — Оле очень не хватает. И учительница старается. Но безуспешно. Школьница по-прежнему больше всего занята собой, не участвует в жизни класса в той мере, в какой бы хотелось этого педагогу. Под любым предлогом старается ученица избежать многочисленных мероприятий, на проведение которых классный руководитель не жалеет ни времени, ни сил. Девочку упрекают за это, но она не хочет поддерживать своим участием то, что кажется ей неинтересным. Да и велик ли прок от экскурсий, вечеров, всего, что принято называть воспитательными мероприятиями, если ученик отправляется на них, не желая обидеть педагога, а то и просто смекнув: близится окончание школы, стоит ли портить отношения?

Поведение ученицы, ее образ мыслей прямо противоположны тому, чего бы хотелось учительнице. Но если взглянуть на классного руководителя глазами ученицы, здесь также обнаружится разрыв между желаемым и действительным. Разрыв этот должен быть очень велик, если с легкой руки Оли в ее доме утвердилось за учительницей «безумная Евдокия». Можно сетовать на неуважение к старшему, но если такое прозвище появилось, оно отражает в какой-то мере существующее различие во взглядах, в отношении к жизни.

Евдокия Савельевна, например, часто обращается к минувшему. Рассказывает ребятам о своих бывших учениках, кем они стали, какие благородные поступки совершили. Говорит горячо, убежденно, как будто это происходит сегодня. Так оно и есть: учительница и не покидала того времени — прекрасной и суровой поры своей юности, когда дано было Евдокии Савельевне совершить героическое. Сила воспитателя между тем в его умении, обращаясь к прошлому,

видеть и понимать день нынешний, черпать в минувшем то, что обогащает нас сегодня, формирует мир современника. Ведь Оля вся в сегодняшнем дне — здесь и только здесь ее жизнь. Нет, ей очень интересно былое. Но в разговоре о нем девочке необходим уровень сегодняшнего дня. Быть может, он и появился бы, если о прошлом взялась бы рассказывать сама Оля (ее увлекает, например, история Возрождения) и автором многочисленных мероприятий была бы не учительница, а ученица. Но токи идут лишь в одну сторону — от Евдокии Савельевны к Оле, и здесь происходит «короткое замыкание».

Подобные ученики становятся для учителя первым звонком, предупреждением, что в классе появляются ребята, повлиять на которых педагог не в состоянии. Какой вывод из этого будет сделан — мерило совести учителя. Случается, что воспитатель начинает использовать лишь одно средство — право старшего потребовать от младшего исполнять его распоряжения. А это означает, что аккумуляторы педагогического творчества работают на разрядку. Евдокия Савельевна не может согласиться с тем, что привычные формулы «все», «со всеми», «для всех» не служат панацеей от Олиных бед. Учительница, ни в чем не уступая, распространяет на ученицу свою педагогическую доктрину, не желает считаться с тем, что кажущееся ей благо все чаще оборачивается во вред. В конце концов и в этот злосчастный поход Оля отправилась по требованию учительницы, уступив уговорам окружающих...

Когда-то редактор молодежной газеты показал мне статью. Он писал о воспитательном значении своего издания. И получалось, на его взгляд, что газета должна выполнять роль некоего электрода, который вносится в массу молодежи, вызывая запрограммированную реакцию. Мы долго спорили. Мне казалось, газета призвана улавливать мысли, настроения молодежи и на основе этого решать поставленные задачи.

Мой знакомый редактор и Евдокия Савельевна выбрали один из двух возможных, пожалуй, путей в воспитании: они двигались от начертанных задач воспитания к человеку. Но есть и другой путь: вместе с человеком, понимая его индивидуальность и разделяя его интересы, — к задачам воспитания.



А теперь вернемся к школе на Безьянке и ее директору.

Кнохинову нет еще и пятидесяти, но уже исполнилось четверть века его педагогической работы. Значит, было это двадцать пять лет назад: выпускник Куйбышевского педагогического института поставил в кузов полторки ящик с книгами, впрыгнул сам и поехал учительствовать в деревню Новый Буян.

Молодого учителя поместили в дом бабушки Киреевой. Стояла там медицинская кушетка, которую и продал начинающему учителю его предшественник. Через год Кнохинова назначили директором школы в селе Узюково. Многое можно рассказать о том, как учительствовал он в тех местах. Вспомните, например, как правдами и неправдами достал движок, привез его в село, где не было электричества. Осветил школу не только изнутри, но и снаружи повесил лампочки. И стала школа тем местом, куда каждый вечер тянулся народ...

Минуло десять лет, и вот она, школа на Безьянке, где учится тысяча ребят. А он, Кнохинов, — директор. Здесь всё и все незнакомы. О своем первом впечатлении рассказывает так:

— Поднялся на этажи, прошелся по коридорам. Ходят молодые люди и девицы, нет им до меня дела, признаюсь, и меня они не слишком занимают.

В сельской школе молодой педагог был все время с ребятами — на уроках, работая в поле, собирая цветы на лугу, купаясь в речке. И не было нужды прилагать особые усилия, чтобы дотянуться до каждого ученика, услышать его и убедить послушать тебя. Теперь он искал нити, которые объединили бы сложный коллектив городской школы, и обратился к самоуправлению.

Рассказывая обо всем этом, Кнохинов не противопоставляет одно время своего директорства другому. Многое из того, что постиг он в сельской школе,

помогло, очевидно, при новом назначении. Но звучала и такая мысль: как часто, узнав об опыте, скажем, талантливого воспитателя в сельской школе, мы торопимся перенести этот опыт словно с кальки на чертеж, повторить его повсеместно. Между тем школы отличаются одна от другой — в городе и в деревне, в столице и на далекой окраине...

Здесь, на Безымянке, Кнохинов обратился к ученическому самоуправлению. И сделал это не потому, что вернулась на него мода. Он шел от убеждения: без самих учеников, без того, чтобы пришли они на помощь, он, директор, вряд ли сможет чего-нибудь добиться. Впервые заговорил о самоуправлении, собрав старшекласников. На этом теперь уже давнем собрании директор произносил тоже, очевидно, известные всем слова: ребята должны быть хозяевами в школе. Новыми оказались последующие действия — появился клуб «Лунник». Это был клуб воскресного дня, когда школа полностью переходила в распоряжение ребят.

Но так ли велико новшество, на которое решился директор? Знакомый преподаватель, узнав от меня о «Луннике», посоветовал:

— Не пишите об этом, все равно никто не поверит, что ребята не разнесли школу...

Ученикам надо доверять, убеждаем мы друг друга. Но разве редко бывает, что, называя их хозяевами, оставляем без хозяйства? Особых оправданий при этом искать не приходится, обычно они лежат на поверхности: тут и забота якобы о государственном добре (ответить за него не им, а мне придется), и кажущиеся такими резонными опасения, как бы чего с детьми не случилось. Но истина остается непреложной: всякий раз, оттирая младшего от дела, которым он занят, мы заботимся прежде всего о своем покое — сделать самим и проще и надежней. Лишая доверия тех, кого беремся воспитывать, мы в той же мере лишаем себя возможности сознательного воздействия на их убеждения. Доверие — путь к воспитанию самостоятельности, без него не может зародиться чувство ответственности, оно свидетельствует о признании личности того, кому верим. В знаменитой «Путевке в жизнь» есть эпизод, который всем запомнился: воспитатель отпускает на станцию одного из беспризорников, да еще доверяет ему деньги на покупку провизии. Эпизод этот стал давно уже хрестоматийным, но он и сегодня отражает основы основ нашего воспитания, как бы ни усложнялись его задачи, как бы ни менялась жизнь...

Насколько мне известно, и первое и последующие заседания клуба воскресного дня обошлись без чрезвычайных происшествий. А если бы они и были? Создавая простейший механизм, мы психологически подготовлены к тому, что неминуемы промежуточные неудачные варианты. А в воспитании чуть не заладится — бьем отбой.

Поднимаешься в этой школе на третий этаж и словно попадаешь в картинную галерею. Здесь постоянно демонстрируются работы куйбышевских художников, не репродукции — оригиналы, картины, стоящие больших денег. Гости школы обычно удивляются: как вы не боитесь, могут же испортить. Конечно, могут. Во время одного из первых вернисажей нашелся хулиган — изрезал картину. Нужно было ехать к художнику, приносить извинения, смущенно путаясь в словах, просить понять и простить... Задумайтесь: пережив такое, согласились бы и дальше рисковать? Кнохинов рассуждал так: отказаться от выставок — признать победу за хулиганом, я не могу из-за выходки одного лишать радости всех учеников. Выставки продолжаются. Происшествий с тех пор не было.

...Традиции закладывает тот, кто создает новое. А путь к нему, к этому новому, открывает, как правило, нетрадиционный взгляд на окружающий нас мир. Если принять это за формулу, то она вполне применима к жизни школы на Безымянке. Многие годы ее коллектив занят педагогическим поиском, который уже сам по себе стал традицией. И Кнохинов всегда увлечен чем-нибудь новым. Наверное, на его пути не раз вставали преграды.

— Бывало, Ефим Михайлович?

Директор ответил сразу же, почти не задумываясь:

— Вроде бы нет.

Как же так? Если есть эксперимент, есть и тот, кто ему противостоит. Мы привыкли к этой взаимосвязи, она тоже стала чем-то вроде традиции. А здесь полная бесконфликтность! Быть может, запомнил директор, что было, то прошло, не держит камня за пазухой? Кнохинов еще раз порылся в памяти, словно карманы вывернул. Нет, начинания школы встречали поддержку и никто поперек дороги не стоял. И это в школе, где на каждом шагу встречаешься с необычным, оригинальным. Оригинальна организация ученического самоуправления, а ведь к нему и сегодня относятся порой с предубеждением.

Или возьмите другой пример: подумали и отказались от уныло-мышинных костюмов для учеников и девочек больше не заставляют носить коричневые форменные платья. Выбрали современные образцы молодежной одежды, а в школьном кабинете домоводства общими усилиями довели их, как говорится, до ума. Рекомендованные модели дают возможность, особенно девочкам, для различных вариаций. Школьная форма тоже стала творчеством, а значит, и изменилось к ней отношение ребят. Общее правило такое: нельзя появляться на уроках в крикливо-пестрой одежде, в нарядах, которые себе не могут позволить другие ученики, — последнее требование проводится особенно жестко.

Но кто же разрешил, кто позволил отказаться от известной всем нам формы, ввести свою? Кнохинов раскрыл передо мной положение о средней школе: в каждой союзной республике форма утверждается решением Совета Министров. Директор не поленился выяснить, существует ли такое ныне действующее постановление — оказалось, что нет.

А может быть, в этом эпизоде и заключена разгадка, почему, постоянно экспериментируя, Кнохинов не страдает от преград? Создавая новое, нужно обладать смелостью мысли, полетом фантазии. Но вряд ли можно так устроить нашу повседневную жизнь и сегодня и в будущем, чтобы для каждого нового веяния был бы заранее уготован благожелательный прием. Потому и важно, чтобы человек, утверждающий новое, имел не только благие намерения, но и качество, которое я назвал бы государственным мышлением, обладал осведомленностью, позволяющей безошибочно судить о возможностях времени, о путях для утверждения в жизни того, что ты предлагаешь. Это, конечно же, не означает, что тот, кто не располагает подобными качествами, не может предложить ничего нового. Может, предлагает, и очень ценное. Но для того чтобы вписать это новое в существующие возможности, а попросту говоря — пробить, он обращается за помощью к различным организациям, общественности, печати. Отсюда, пожалуй, и создается впечатление: если есть эксперимент — есть непременно и тот, кто ему противостоит. Кнохинова не приходилось брать на буксир. Он сам обосновывает, доказывает, убеждает.

* * *

Бывая в школе, я узнавал об изменениях, которые происходили со временем. Всякий раз их оказывалось немало. Подле школы вырос Дворец пионеров и Дворец спорта, построено два Дома культуры, по воскресеньям дает концерты своя музыкальная школа, и «Лунник» — клуб воскресного дня — прекратил существование. Кнохинов не бывает рабом своих же идей и построенный: легко отказывается от того, что когда-то сам придумал.

Но больше поражали не изменения, а скорее обратное, постоянство, последовательность педагогического коллектива в осуществлении идей самоуправления: здесь ни в чем не уступили и ни от чего не отказались. Однажды, беседуя с директором, я видел через окно ребят на школьном дворе: они то расчищали дорожки от снега, а то принимались толкать друг друга в сугробы. Был тихий зимний день, нехотя падал и падал снег, пока не растворился в ранних лиловых сумерках. Совсем уже стемнело, когда Кнохинов выскочил из школы, накинув на плечи пальто, стал придирчиво осматривать, хорошо ли убран двор.

— Шагая за ним по расчищенным дорожкам, понял: директор не ленится совершать такие прогулки изо дня в день, из года в год. Значит, всем известно: если участок, пусть самый небольшой, останется заснеженным, тотчас — именно

тотчас — это будет замечено. Мы полагаем обычно, что проверка исполнения подстегивает. Несомненно. Но она же убеждает: окружающим небезразличен твой труд, необходимы его результаты... Дня через два, оказавшись на собрании в восьмом классе, услышал, что мальчишки берут на себя уборку снега, освободив от нее девочек. Значит, директор сумел убедить мальчишек в важности этой работы, откуда бы иначе взялось такое благородство? Но сколько же времени надо было следить за уборкой двора, чтобы одержать эту, прямо скажем, не самую великую победу!

Тогда же я вспомнил о золотом ключике, который стараемся порой перенести из сказки в жизнь, а равно о схеме самоуправления, которую так любят перерисовывать гости школы. Удивительна бывает порой наша святая вера в схемы, системы, усовершенствования! Кажется, только изобрети или позаимствуй — и груз с плеч долой.

Было время, ездил я в один сельский район: в редакцию пришло письмо читателя — просил разобраться в затянувшемся конфликте. Там сконструировали машину, которая, по мысли ее создателя, должна была перерабатывать старую солому в первосортные корма. Денег на это ухлопали немало, но как ни бился изобретатель — солома оставалась соломой, а кормов по-прежнему не было. Вокруг неудавшейся машины разгорались страсти, ломались копыя, вместо того чтобы выращивать действительно хорошие корма, а солому употреблять по назначению...

Структура ученического самоуправления, которая так привлекает иных, отработана на практике. Но и она не несет облегчения в труде педагога в том смысле, что действовать в строгом соответствии с поставленными задачами куда труднее, чем плыть по воле волн. Поверьте, А. С. Макаренко с его блистательной системой воспитания жилось хлопотней, чем начальнику другой колонии, быть может и соседней, который «пас» своих воспитанников как бог на душу положит.

Пятнадцать лет руководит Кнохинов школой на Безымянке и каждый день не уходит до позднего вечера. Его жена, тоже педагог, и дочь, студентка педагогического института, давно смирились с этим.

— Не верю тем, кто утверждает, будто нашел удачный педагогический прием и сразу же все стало просто, — говорил мне директор. — В школе и самая малость легко не дается. Всегда приезжаю до начала занятий, встречаю ребят у входа. Каждый день напоминаю им: надо первыми здороваться со взрослыми, входя в школу, не забудьте снять шапку. И сегодня есть ученики, которые это не усвоили.

* * *

Признаюсь, я чертовски зол на Ефима Михайловича. Почти год прожил без курева, а побывал у него в гостях — и снова задымил. Попробуй удержишься, когда твой собеседник смолит одну сигарету за другой. Впрочем, курение и для самого Кнохинова стало почти неразрешимой педагогической проблемой. Он противник запретов и приказаний, стремится убедить учеников, старается так построить жизнь школы, чтобы исключалась сама возможность неприятных инцидентов. Убедить же старшеклассников не баловаться табаком никак не удастся. Читали лекции о вреде курения, травили мух никотином — не производит впечатления. В минуту откровения Кнохинов посетовал:

— Никак не могу убедить их: табак — это вред. Не получается. Наверное, потому что и сам без сигареты часу прожить не могу.

Решил изменить задачу: добиться, чтобы не курили именно в школе. Здесь и доказывать особо не приходится: старшие курят на перемене, а малыши непременно начинают подражать им — это уж никуда не годится. Директор попросил зайти к нему учеников, тех, кто покуривает. Отозвались, пришли. Кнохинов признал свое поражение, так и сказал им — убедить вас никак не могу. А потом заключил: «Всякий раз, закуривая в школе, считайте, что на неделю освободили себя от занятий. Давайте так договоримся, чтобы не было обид и никаких неожиданностей».

А как же с отказом от административных мер воздействия? Мне же так хотелось, чтобы герой мой был во всем и до конца последователен: наметил себе путь — и шагай по нему, никогда не сбиваясь с ноги. Но Кнохинов и думает и поступает по-иному.

Да, он стремится не совершать ничего по привычке, как бы вхолостую, хочет, чтобы каждое решение подводило итог педагогическим раздумьям, совпадало с сознательными действиями учеников, а не было лишь указанием, переданным сверху вниз — от старшего к младшему. Но такое не всегда удается. Как же быть тогда? Тогда он использует обычные права и возможности директора, честно признаваясь — этот подъем мне пока не одолеть. Важно, что дает себе отчет, значит, имеет мужество признаться и все время думает, чем же все-таки заменить административный запрет...

Одно из правил Кнохинова — не вступать в единоборство с учеником. Он всегда испытывает тягостное чувство, когда приходит к нему ребята с извинениями: что заставило, не страх ли перед директором? Всякий конфликт должен быть решен однажды и не иметь продолжений. А общее настроение в школе веселое, приподнятое, как говорит сам Кнохинов — мажорное.

Был он как-то в командировке и не поспел домой к началу экзаменов на аттестат зрелости. Представил себе испуганные лица ребят, вспомнил, какими тягостными бывают эти последние минуты перед началом экзаменов, и отправил телеграмму. Вот такую:

Чтоб сочиненье написать,
Рецепт один старинный есть.
Должны вы четко представлять,
Кому и с кем удобней быть.
А пожелание всерьез:
На свете нет почетней миссий,
Как с честью всем перенести
Любые пытки госкомиссий.

Телеграмму директора прочли в актовом зале, и ребята, уже склонившись над сочинениями, еще продолжали улыбаться.

...Очень беспокоит меня, что складывается помимо моей воли портрет директора, приятного во всех отношениях. Тогда я грешу против истины. Кнохинов вспыльчив и, наверное, как всякий человек, бесконечно увлеченный своей работой, может наговорить резкостей. Был я, например, свидетелем, когда он пробирал ученика, оскорбившего мерзкой выходкой учительницу. Выражений директор не выбирал, нажимал на то, что говорит как мужчина с женщиной. К тому же добавил:

— Ты далеко от школы живешь, каждый день на автобусе едешь, так и учишь себе по месту жительства.

Парень, однако, и сегодня продолжает заниматься в этой школе.

Не всегда бывает лицеприятен директор и с педагогами. Но никогда не слышал (говорил со многими), чтобы жаловались на него. Спорят, возражают часто, а вот подводных течений не замечал.

Здесь давно уже сложился коллектив единомышленников. Впрочем, такое не всегда ставят в заслугу руководителю. Слышал, как укоряли при мне редактора журнала: вы все время стремитесь подобрать своих единомышленников. Тот удивленно повел плечами и ответил: «Я же не представительное вече собираю, а коллектив, с которым работать». Так бы, наверное, мог ответить и Кнохинов. Да и кто сказал, что коллектив единомышленников — это люди, как пятаки похожие друг на друга. Важно, чтобы каждый занимался своим делом и была общая цель, к которой движутся все вместе.

Став директором школы на Безымянке, Кнохинов пригласил заведовать учебной частью Александра Александровича Столярова. Доброжелатели принялись отговаривать и того и другого.

— Вам такой завуч не нужен, его не творчество занимает, а одна лишь дисциплина.

И Столярова предостерегали:

— В этой школе директор самоуправлением балуется, а мы на эксперименты еще в молодости, слава богу, насмотрелись.

Союз, который казался доброжелателям противоестественным, был все же совершен.

Столяров кончал школу в Симбирске еще в 20-е годы, когда, по свидетельству очевидцев, ученическое самоуправление представлялось безбрежным. О той поре он вспоминает тепло — чего в юности не бывает. Когда же сам стал преподавать, о самоуправлении уже не вспоминали. С каждым годом задачи школы определялись все строже, за выполнение их отвечал учитель, он и только он. Учитель был ваятелем, его подопечные — материалом. В меру своих сил Столяров старался, чтобы материал был послушным и дисциплинированным. И приняв предложение Кнохинова, он принялся наводить порядок. Учебный процесс — святыня, Столяров никому не разрешит нарушать его — ни себе, ни другим учителям, не позволит, скажем, опоздать на урок или закончить его раньше времени. Но и в ученическом самоуправлении многое пришлось ему по душе.

— В конце каждой четверти у нас очень интересно проходят ученическо-учительские конференции, — рассказывал Столяров. — Ребята свободно высказываются по всем вопросам, сами анализируют результаты учебы, часто говорят о том, о чем мы, педагоги, даже не подозревали. И на родительских собраниях школьники сами характеризуют занятия каждого ученика. На родителе это производит большее впечатление, нежели беседа с классным руководителем.

Александру Александровичу нравится все, что помогает учебе. Однако ученическое самоуправление имеет не только обязанности, но и права, и вся атмосфера в школе не похожа на ту, к которой за многие годы привык Столяров. И все-таки он говорит:

— Мы многого не смогли бы добиться, если бы не дали инициативу самим ребятам. — Правда, тут же, блеснув глазами из-под седых бровей, проводит рукой по такому же седому бобрику и строго добавляет: — Само собой разумеется, не каждую инициативу надо поддерживать и не во всем идти на поводу за учениками...

Александр Александрович Столяров — Герой Социалистического Труда. Теперь он на пенсии, а порядки, которые утверждал в школе, действуют и сегодня.

* * *

Несколько лет назад Кнохинов стал кандидатом педагогических наук. Его диссертация — «Воспитание ответственности у учащихся старших классов в деятельности ученического самоуправления». В ней развивается мысль о такой организации жизни детей, которая обеспечивает им постоянные упражнения в ответственном отношении к тем или другим видам полезной деятельности. Ответственное поведение, утверждает автор, перерастает в ответственность как черту характера: человек больше не нуждается во внешнем воздействии, а сам определяет линию поведения, отвечая за свои поступки перед обществом, коллективом, своей совестью. Удастся ли добиться этого в школе, на материале которой и строилась диссертация? Я встретился с ее выпускниками, сперва с Людой Пятовой, потом и с другими. Всем им (цитирую диссертацию Кнохинова) была предоставлена возможность для постоянных упражнений в тех или иных видах общественно полезной деятельности — в школе, в своем микрорайоне, в летних лагерях.

Люда была первоклассницей, когда забралась однажды на парту и запела что было мочи «Санта Лючию». Вошел Кнохинов, взял ее за руку и привел в актовый зал — там занимался вокальный ансамбль. «Спой-ка, а ансамбль тебе поможет». Люда занималась пением, позже увлеклась хореографией. Когда училась в старших классах, стала заводилой у малышей.

Встреча первоклассницы с директором была случайной, в порядке вещей иное: захотела девочка петь — и оказалась в ансамбле, потом увлеклась чем-то другим, третьим — и всякий раз находила применение своим силам.

Директор никогда не стремится облегчить ту задачу, которую решают ребята. Они не только, например, убирают школьный двор, но, закончив работу, складывают лопаты в сарай, запирают на ключ. Однажды ключ был потерян. Случилось это под вечер. Наверное, в школе нашелся бы и другой замок. Но директор оставил на ночь сарай незапертым. Утром ребята принесли новый замок.

Входит Кнохинов в класс, видит, что он не убран, и никогда не спрашивает: «Почему?» Мне он признался: только спроси — и уйдешь измочаленный, так ничего и не добившись, — найдется тысяча причин. Вы занимаетесь в этом классе, значит, должен быть порядок.

Школьники постигают навыки организаторов, а вместе с этим укрепляется и чувство ответственности сперва за выполнение учеником поручения, а потом и за общий ход школьных дел. Но может ли ученик отвечать за жизнь школы? В какой мере может и должен принять на себя юный гражданин ответственность за происходящее в окружающей его жизни? Вопрос этот не праздный. Решение его лежит в основе коммунистического воспитания, формирования человека — хозяина своей страны.

Самостоятельность суждений и поступков утверждается лишь там, где нет запретных ситуаций, о которых нельзя высказать свое мнение. И работая над положением о самоуправлении учащихся, Кнохинов записал в нем: «Представители органов ученического самоуправления, а через них все учащиеся имеют право обращаться в учебную часть, партбюро, местный комитет школы с пожеланиями, предложениями и критическими замечаниями по любому вопросу жизни школы и использовать для этих целей свою газету». В школьной стенной газете читаем, например, заметку в адрес учебной части: бывают дни, когда в старших классах проводятся контрольные работы сразу по нескольким предметам, это мешает хорошо к ним подготовиться.

Кому-то может показаться: только открой шлюзы для критики — и начнется наступление учеников на учителей. Пожалуй, так может случиться, если никак не регулируется само течение жизни школы. Здесь оно направлено на воспитание самостоятельности, и критические замечания обычно бывают в этом русле. На совещании у директора десятиклассники говорили о классном руководителе — молодой учительнице. Свои замечания она предпочитает высказывать родителям. Ребята не согласны: можно подумать, что учимся не мы, а родители.

Кнохинову дорога обстановка взаимного доверия, откровенности. Видит он в этом и большее. Если мы хотим воспитать людей, которые отвечали бы за поступки перед своей совестью, то они должны быть готовы и к тому, чтобы постоять за свои убеждения. Гражданская решимость, как и другие качества характера, не появляется сама по себе, ее надо воспитывать. Хорошо, когда это делают со школьной скамьи, говорят учителю то, что думают, не остерегаясь житейской мудрости — как бы не испортить отношений.

Студент авиационного института Алеша Мазурмович, недавний десятиклассник и секретарь комитета комсомола, вспоминал, какие нелегкие решения приходилось ему принимать в школьные годы. Вот один лишь случай. Учительница была груба с ученицей. На защиту обиженной поднялся ученик, наговорил еще больше грубостей педагогу и покинул класс. Парень не должен был так себя вести, это ясно. Но и поступок его не беспричинный. Алеша настаивал — надо осудить поведение парня на комсомольском собрании. В конце концов так и сделали. Единодушно вынесли взыскание... Прервав свой рассказ, Алеша лукаво посмотрел на меня:

— Удивляетесь, что единодушно? Я не сказал вам: еще до начала обсуждения учительница извинилась перед ученицей.

Не знаю, возможно, директор беседовал с педагогом, подвинул его на этот шаг, но скорее всего сказались те отношения учителей и учеников, о которых прежде говорил Кнохинов. Они все те же, отношения, которые мы утверждаем в нашей жизни: и руководитель и подчиненный — люди пусть и находящиеся на разных ступенях общественной лестницы, но относящиеся друг к другу с взаимным уважением единомышленников, равно занятых общим делом...

Если педагогика не стала твоей профессией, то, бывая в школе, всегда вспоминаешь ту, которую сам кончал. Признаюсь, мне бывало грустно, что не удалось учиться на Безымянке. В кабинете директора моей школы стояло мягкое кресло. Оно лишь и осталось в памяти из всей обстановки. На ручке обивка потерялась, проступила маленькая дырочка. Я ковырял ее пальцем, не поднимая головы, всякий раз, когда меня пробирали в этом кабинете. За время моей учебы дырка катастрофически разрослась.

* * *

Еще одна фраза, которую часто повторяет директор: «Самоуправление может служить любым целям — важно, чем оно наполнено». Кнохинов прав. Хорошо, когда у ребят формируются, скажем, волевые качества характера, но вместе с этим может развиваться и честолюбие, желание непременно командовать товарищами. Воспитывать организаторов, людей, умеющих отвечать за свои поступки, прекрасно. Но каков этот самостоятельный человек? Волевые качества характера помогут ребятам в будущем, а принесут ли они пользу окружающим, если скуден человек в своей духовной жизни, не прошел школы воспитания чувств? Научить гражданина не только умению активно действовать вопреки себе, но и всегда чувствовать, слышать отзвук в самом себе — разве это не задача педагога, занятого гармоническим формированием личности?

Студент Куйбышевского юридического института Дмитрий Завершинский рассказывал мне, как в школе его избрали одним из руководителей, а вскоре сместили. Почему? Ответ в том выводе, который сделал для себя Дмитрий из этой истории: она научила доброжелательно (он сказал — «лояльно») относиться к людям. После, возглавляя школьный туристический клуб «Эдельвейс», занимаясь в фотокружке, он не бывал ни высокомерен, ни груб с товарищами. То, что произошло с Завершинским, случается не только с ним. Но далеко не всегда запоминающийся на всю жизнь урок мы получаем в юности. Убеждение в необходимости доброжелательного отношения к людям приходит порой много позже, когда уже трудно что-либо изменить и в своей судьбе и в жизни тех, кто связан с тобой...

Теперь-то, пожалуй, и настала пора рассказать о том, зачем потребовалось Кнохинову обосновывать и доказывать необходимость соединения общеобразовательной школы с музыкальной.

Директор и многие педагоги — поклонники хорового пения. Был здесь энтузиаст-хормейстер. И славилась школа своими хорами. Однажды, приехав в Куйбышев, встретился с ребятами известный композитор, неутомимый организатор детского музыкального образования Дмитрий Борисович Кабалевский. С тех пор, уже много лет, он бывает в этой школе, помогает педагогам, слушает ребят и выступает вместе с ними. Со временем при школе появилась музыкальная студия. Но чем больше увлекались здесь пением, тем становилось яснее: немногого можно добиться с учениками музыкально не образованными, которые разучивают песни на слух. Все это и подвело к мысли о музыкальной школе. Она появилась — вечерняя музыкальная школа № 13 с хоровым уклоном. Разместилась в том же помещении, потеснив общеобразовательную, а Кнохинов стал директором двух школ. Ребята начинают заниматься музыкой с первого класса и заканчивают обучение к восьмому.

Слились усилия педагогов: вместе с классным руководителем работает и хормейстер. Каждый ученик занимается шесть часов в неделю с преподавателем на инструменте. Не первый год уже существует соединение двух школ, и выигрыш от этого стал очевиден. Но меня занимало несколько иное — хотелось понять, почему именно здесь, где утвердилось ученическое самоуправление, так увлеклись идеей музыкального всеобуча. Совпадение или закономерность? Немало вечеров провели мы в беседах с Кнохиновым.

Городская школа позвала его к самоуправлению. А в памяти были живы времена, когда учительствовал в деревне, проводил все время с учениками, мог

раскрыть перед ними мир прекрасного, повлиять на развитие чувств. И беспокоило, не давало покоя: как добиться того же здесь, на Безымянке? Появилась картинная галерея. Школьники регулярно ходят в театр, на этом настаивает директор. И наконец, музыкальная школа. Все это не цель, а средство — средство гармонического воспитания личности.

Добиваясь открытия музыкальной школы, сталкиваясь с трудностями организационными, педагогическими — какими угодно, Кнохинов думал о формировании личности и активной и постигшей прекрасное. Не случаен был выбор музыкальной школы именно с хоровым уклоном. Занятия, скажем, по классу рояля направлены на развитие индивидуальных способностей ученика. Хор же укрепляет те качества, воспитанием которых заняты педагоги общеобразовательной школы, — коллективизм, чувство общей ответственности. Кнохинов бесконечно увлечен музыкальным всеобучем, но в такой же степени безразличен к тому, станут ли в дальнейшем его ученики продолжать музыкальное образование. Более того, я хотел было поговорить с одной из активисток общешкольного хора, ученицей десятого класса, Кнохинов попросил этого не делать: девочка — прирожденный математик, а теперь увлеклась музыкой и все остальное забросила.

— Это наши издержки, — сказал директор.

С Ирой Молчановой, ученицей четвертого класса, я встретился лишь однажды. А говорила она со мной так свободно и откровенно, словно самый близкий тебе собеседник. Я спросил Иру, что дают ей занятия музыкой. И она говорила:

— Заниматься одной музыкой — это смешно и бессмысленно. Чтобы сыграть, надо представить, а для этого нужно очень многое знать... Я не представляю себе жизнь без музыки. Это пришло ко мне еще во втором классе. Музыку все любят — как это жить без музыки? Но вот хотеть ее делать — это еще не все поняли. А ведь в каждой безделушке, даже в обыкновенных этюдах, можно найти свое...

Честное слово, я робел перед этой девчужкой с белыми бантами и щеками-булками. В том, как она говорила, чувствовалось умение, которое и не каждому взрослому дано. Умение, ставшее привычкой, — во всем сверяться с самим собой, легко и просто передавать вслух то, что ты чувствуешь. Мне говорили, что подобное переживают порой и педагоги общеобразовательной школы и родители. Ребята хотят говорить с ними о музыке, о тех чувствах, которые она вызывает. Удивительно, однако, устроена наша жизнь — она словно вновь предлагает те же задачи, но на ином витке и в другом качестве. Когда-то первые пионеры принимали обязательство обучить грамоте своих родителей. Те пионеры давно стали бабушками и дедушками, и тот разрыв между родителями и детьми — достойные истории. Но вот он вновь дает о себе знать — теперь в познании прекрасного, богатстве мироощущений.

И еще я думал о Безымянке. Бывал здесь мальчишкой во время войны и уехал, когда она еще не кончилась. Впервые вернулся в Куйбышев спустя три десятилетия. По пути из аэропорта, проезжая кварталы новостроек, был занят чем-то своим, и лишь когда миновали этот огромный район, вдруг вернулось название Безымянка в своем первоначальном звучании: раньше и правда не было ей нужды в имени. Безымянка без конца и края. В войну здесь работали в любые морозы. Пускали станки раньше, чем сладят крыши цехов. Здесь размещались в бараках тысячи, десятки тысяч людей, объединенных для многих прежде незнакомым словом «эвакуированные».

Теперь на Безымянке передо мной стояла девочка с белыми бантами и говорила:

— Я не представляю себе жизнь без музыки...

* * *

Больше всего, пожалуй, меня поражает в школе постоянная смена поколений. В моей жизни был лишь однажды первый класс и лишь однажды десятый, всего лишь один выпускной вечер. А в школе это происходит каждый год: уходят

одни и приходят другие. И ребята ждут от учителя, что всякий раз он разделит их переживания. Для них все происходит впервые, и это их жизнь.

А время идет. И наступает минута, когда педагог понимает, что ученик в чем-то перешагнул его — реже в опыте, знаниях, чаще в остроте ощущений, свежести и оригинальности взглядов на окружающий мир. Какой вывод из этого будет сделан — мерило совести учителя. Помните Евдокию Савельевну из повести Алексина? Если подобное происходит с человеком, кто лишь по должности числится воспитателем, он видит в этом поражение. Истинный педагог — победу. Заложённые им зерна дали победы, на которые он и не рассчитывал.

В одной из своих книг писатель С. Соловейчик рассказывает о коммуне при фрунзенском Доме пионеров Ленинграда. Создал ее лет пятнадцать назад кандидат педагогических наук Олег Иванович. Коммуна была его педагогическим экспериментом, вот и собрал он ребят, шаг за шагом развивая самоуправление. Им пришлось по душе демократические начала коммуны, они доказали, что готовы жить по законам самоуправления, всегда и во всем уважая мнение коллектива. Не готов оказался... сам Олег Иванович. Не заметил, как окрепло его детище, научилось мыслить. Теперь надо было убеждать, отстаивать свою точку зрения, а Олег Иванович распорядился, не считаясь с общим мнением. Конфликт стал неизбежен. И создателю коммуны пришлось уйти из нее. «С тех пор прошли годы, — писали сами коммунары. — И только теперь мы понимаем, что, быть может, это поражение Олега Ивановича и было самой важной, самой полной его победой. Олег Иванович все время учил нас быть принципиальными во всем и перед всеми... Если бы мы подчинились Олегу Ивановичу, мы тем самым предали бы его».

Нечто подобное (правда, не столь драматичное) пришлось испытать и Кнохинову. С Сергеем Ярославцевым, учеником, который написал сочинение на тему «Почему Печорин не нашел счастья в дружбе и любви?». Директор рассказывает об этом не стыдясь и не скрывая:

— Сережа учился в седьмом классе, когда начались первые трения с преподавателями — то истории, то литературы. Учитель дает тему сочинения, а Сергей комментирует, да так, что камня на камне не остается. Мне приходилось обычно разбирать эти конфликты. И всякий раз ловил себя на том, что, разговаривая с учеником, словно на цыпочках тянусь: очень многое успел прочесть парень, мыслит самостоятельно, судит обо всем по-своему. В его сочинениях присутствовало неминуемое позерство молодости, но было и не только это...

Окончив восьмой класс, Ярославцев решил уйти из школы: посмотрел программу девятого и десятого классов — все я это уже прочел, мне неинтересно. Кнохинов подтверждает: так оно и есть, пожалуй, Сережа выдержал бы экзамен в любой гуманитарный вуз. Он захотел уехать в другой город, поступить в геологоразведочный техникум: хочу увидеть страну, раньше понять жизнь. Директор долго отговаривал его. Потом согласился. В его власти было лишь убедить Сергея не уходить из школы. А сделать этого не смог. Так, может быть, прав ученик?

Стопку тетрадей — сочинения Сергея — Кнохинов хранит дома в письменном столе. Лишний раз напоминают, что появляются и такие ученики. Это не огорчает, а напротив. Ефим Михайлович и трудится во имя того, чтобы Сергей, многие и многие другие ребята пошли дальше его, дальше нас с вами.

По-разному складываются судьбы выпускников этой школы, но есть и общее — серьезность в выборе жизненных путей. Алеша Мазурмович хорошо закончил школу. Не было преград для поступления в институт. Кроме одной — не утвердился в выборе специальности именно той, в которой сможет проявить себя, а значит, и быть полезным людям. Поступил на авиационный завод, работал, пока не пришло решение стать конструктором двигателей.

И Дима Завершинский не торопился с поступлением в институт. Хотелось позаниматься самому, прочесть то, что не успел в школе. Днем работал, вечера проводил в библиотеке. Служил в армии и постоянно получал из школы посылки с книгами. Теперь студент. Почему выбрал юридический институт? Отвечает

примерно так: у нас в стране много хороших законов, надо, чтобы их выполняли, этому и хочу себя посвятить.

А Люда Пятова после десятого класса осталась в школе. Была пионервожатой. Потом танцевала в ансамбле, объездила всю страну, бывала за границей. Сейчас учится в Институте культуры. Снова захотелось вернуться к своим малышам — мечтает преподавать им хореографию.

Выбрать именно ту профессию, которая позволит приносить пользу людям. Бороться за осуществление законов своей страны. Учить детей танцевать. Здесь меньше всего заботы о своем благополучии. Забота об обществе, в котором тебе жить и трудиться. Или, как говорили мы уже прежде, четкие представления о социальной задаче бытия.

Путь их оказался длиннее того, который мы подчас наблюдаем: школа — институт — дальше видно будет. Но это путь в самостоятельную жизнь, а он просто не дается, путь ответственных решений перед самим собой. Хочется верить, что они станут такими требовательными людьми и к себе и к жизни, о которых писал когда-то В. И. Ленин, — ни слова не возьмут на веру, ни слова не скажут против совести.

Взялся рассказывать о директоре, а больше говорил о школе, учениках. Но портрет каждого из них, если это, конечно, не фотография, — отношение к делу, которым ты занят.

Не раз приходилось задаваться вопросом: что же определяет постоянное стремление к новому, готовность человека отказаться от того, что еще вчера давалось нелегко, и снова идти вперед? Материальная заинтересованность? Она никому не безразлична. Права руководителя, открывающие возможности для эксперимента? Тоже немаловажно. И все-таки уверен — определяет характер. Знакомство с Кнохиновым вновь утвердило в этом.

Директора школы на Безымянке отличает искреннее и бескомпромиссное стремление поставить на службу воспитанию тот багаж, который накоплен не одним уже поколением советских педагогов. Но что же тогда нового в его работе, в чем суть эксперимента, с какой стати, наконец, эти слова — искренне, бескомпромиссно? Они всегда кстати, когда идет речь о человеке, который поступает так, как считает для себя правильным и нужным. В педагогике, как известно, не существует готовых рецептов, и чтобы идеи прошлых лет сегодня, в нынешней жизни, оказывали глубокое влияние на формирование убеждений школьников, необходимо новаторство, нужен эксперимент и поиск, не обойтись, пожалуй, и без педагогического мужества. Ни в чем не сбываясь с намеченного пути, Кнохинов занят воспитанием гражданина, для активной деятельности которого будут полезны знания, полученные в школе.

«Если из круга моих наблюдений, из сферы действий, в которой вращаюсь я, — писал Н. Г. Чернышевский в своей знаменитой статье «Русский человек на Rendez-Vous», — исключены идеи и побуждения, имеющие предметом общую пользу, то есть исключены гражданские мотивы, что останется наблюдать мне? в чем остается участвовать мне? Остается хлопотливая сумятица отдельных личностей с личными, узенькими заботами о своем кармане, о своем брюшке или о своих забавах».

Идеям и побуждениям, имеющим общую пользу, служит Кнохинов. И это же стремится передать своим ученикам. Не может же человек передавать другим то, чего сам не имеет.

...Ранним утром в густых зимних сумерках Кнохинов подъезжает на своих «Жигулях» к школе. Идет открывать ворота. Руки засунуты в карманы выдавшего виды демисезонного пальто, нахлобучен кроликовый треух. Шагает чуть сутулясь, поднимая плечи, утопив в них голову. И ростом не выше своих учеников и в плечах не шире — ничем не отличишь. Только несется отовсюду: здрасте, здрасте, здрасте. Случается, что и сообразят ребята — откроют директору ворота.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЕКАТЕРИНА ЛОПАТИНА



В БАБОЛНЕ

Собираясь в командировку в Венгерскую Народную Республику, в Баболну, я попыталась разыскать материалы о своем будущем объекте. Вчитывалась в печатные источники, выспрашивала сведущих людей. Однако блокнот мой заполнялся туго: факты, внесенные в него, были малочисленны, разрозненны, подчас даже противоречивы.

Судите сами: Баболна разработала собственную систему производства кукурузы и распространила ее на значительную часть Венгрии. В то же время ею выведены высокопродуктивные породы кур. Она строит птицекомбинаты для всей Венгрии и далеко за ее пределами. В Закарпатье по ее технологии и на ее оборудовании работает фабрика, дающая более миллиона бройлеров в год. И с нею же обмениваются племенным материалом наши прославленные конезаводы. Баболну связывает с миром почти 700 авиарейсов в год — в США и Вьетнам, Кувейт, Аргентину и другие дальние края. Трудно представить себе хозяйство такой многогранности и такого масштаба, да к тому же самостоятельно ведущее внешнеторговые операции...

Вместе с тем, углубляясь в тему, я узнала, что есть в Венгрии и другие прекрасные хозяйства, во многом отличные от Баболны, ищущие свои пути и методы развития отраслей. Например, Байя. Вот бы побывать еще и в ней! Но командировка у меня именно в Баболну. С нее и начнем. А там, глядишь, повезет — и с Байей познакомимся.

Так что же такое Баболна? Научно-исследовательский институт? Генетический центр? Строительный трест? Внешнеторговая фирма? На месте оказалось, что Баболна и то, и другое, и третье, и четвертое. А по статусу всего-навсего госхоз, или — с недавних пор — сельскохозяйственный комбинат. Возглавляет Баболну Роберт Бургерт, присланный сюда партией для того, чтобы превратить этот госхоз в подлинно социалистический.

Разумеется, Баболна началась не с Бургерта и славилась задолго до его появления на свет. Год рождения Баболны — 1789-й. К чести коллектива, здесь чтут свою почти двухвековую историю и гордятся ею. Недалеко от старинной каменной арки — центрального въезда в усадьбу — на мраморной плите золотыми буквами высечены имена основателя Баболнинского конного завода и последующих его директоров. В глубине двора под огромной стовосьмидесятисемилетней акацией — другая, совсем небольшая плита: здесь погребен арабский жеребец Обаян, родоначальник баболнинского племенного коневодства. В одном из музеев госхоза (всего их здесь три) — написанные арабской вязью племенные книги других лошадей, чья родословная исчисляется пятью-шестью столетиями, и раскидистые генеалогические древа их баболнинских потомков; и статуэтки, картины, фотографии прославленных скакунов, побеждавших на самых почетных мировых дерби; ну и, конечно, портреты знаменитых наездников, их амуниция.

Лошадь для Баболны — освященная временем традиция, национальный престиж, известная всему миру торговая марка. Но это еще и романтика! В том же главном дворе близ Круга Почета висится скульптура лошади, здесь ее называют Символом Верности. Я слышала два варианта легенды, связанной с нею. Первый: в одном из сражений с наполеоновской армией погиб венгерский гусар, остался бездыханный на поле

боя, а лошадь сама нашла дорогу, прискакала в родную, взрастившую ее конюшню. Второй: гусар был только ранен, лишился сознания и лошадь доставила его на родину.

Да разве она только в прошлом, коневодческая романтика? Видели бы вы, как при встрече особо почетных гостей выезжают на парадный плац красавцы горнисты на кипенно-белых лошадях под алыми попонами, как молодецки держатся они в седле, как звонко трубят в сияющие на солнце трубы. И как вслед за ними совершают круг почта белые, серые в яблоках, золотисто-коричневые лошади, как по-балетному грациозно кланяются они гостям, как элегантно приподымают свои шапочки статные наездники в красных, синих и зеленых мундирах. И как затем вырываются на круг черные коляски, запряженные одной, двумя, тремя, четырьмя, наконец пятериком белоснежных арабов. Слышали бы вы рассказы бывалых конюхов об их питомцах — какие это умные, чуткие, преданные, благородные животные...

Стоит ли удивляться, что при очередных наборах в баболнинскую школу наездников сюда устремляются подростки со всех концов Венгрии и число претендентов на одно вакантное место достигает нескольких десятков человек?

Но романтика романтикой, жизнь жизнью, трезвый расчет трезвым расчетом.

В 1960 году, когда Бургерт принял Баболну, коневодство здесь пришло в полный упадок. На то было много причин. Лучших племенных коней, родоначальников династий, во время войны захватили гитлеровцы. Огромный табун перед приходом народной власти угнали на запад бывшие баболнинские «спецы». Богатство и гордость Баболны оказались в американской оккупационной зоне Германии, и советским военным властям пришлось путем долгих и сложных переговоров возвращать этих коней законному владельцу.

Жизнь на какое-то время обесценила лошадей в глазах общества: в армии на смену коннице пришла техника, в деревне живое тягло заменили тракторы и автомашины. И на гордых скакунов чистых кровей спроса почти не было. Нашлись в Венгрии горячие головы, которые предложили Бургерту: ликвидируй-ка ты эту разорительную отрасль, начиная новое дело, более современное, более рентабельное!

Бургерт, человек мыслящий, умеющий считать, подумал-подумал и... оставил лошадей. (Заметим в скобках: они и до сих пор приносят убыток, но что такое 6 миллионов форинтов в год при нынешних-то доходах!) Дело было не в форингах. Сохранив лошадей, он сохранял коллектив и его лучшие традиции.

Я подчеркиваю — л у ч ш и е. Потому что были в Баболне и такие традиции, с которыми новое руководство с первых же дней повело решительную борьбу. Баболна ведь около полутора веков была не просто конным заводом, а заводом военного ведомства, она поставляла лошадей в основном для австрийской армии. И порядки в ней были соответствующие: строжайшая субординация, гипертрофированное чинопочитание. Не то что господин майор или господин доктор — дипломированный ветеринар, но и «госпожа майорша», «госпожа докторша» требовали к себе особого отношения. К 60-м годам никаких господ в Баболне, естественно, не осталось, но в психологии, во взаимоотношениях людей явно ощущалась эта иерархическая лесенка — каждый знал только свою ступеньку. А социалистическому хозяйству нужны были люди в полном смысле р а в н ы е — равно заинтересованные в успехе дела, равно за него ответственные. Воспитание таких людей, такой атмосферы было первым звеном в длинной цепочке трудностей, сложностей и огорчений, с которыми столкнулся Бургерт в Баболне. Не только первым, но и главным, уточняет Бургерт, потому что нет ничего важнее и ничего сложнее работы с людьми.

Убыточных лошадей сохранили, чтобы сохранить коллектив и его лучшие традиции — дисциплинированность, пунктуальность, преданность делу. А она, эта преданность делу, то есть лошадям, вступила в противоречие с тем, что начало осуществляться в Баболне. Конюхи и наездники сочили себя оскорбленными, когда им (не всем, конечно) предложили перейти в птицеводство. «От умных лошадей — к глупым курам?! От выхоженных, выхоленных любимцев, каждый из которых знаком по голосу и в лицо, — к тысячам кудахтающих безликих несушек?!» Даже перспектива двойного заработка не всех соблазнила.

Всякое бывало. В чем-то упирались рядовые работники, что-то встречали в штюки специалисты. Кое-кто, признавая на словах необходимость перемен, не хотел брать на

себя лишних забот, испугался ответственности. Кого-то удалось переубедить и увлечь, с кем-то пришлось расстаться.

Время показало: операция «пересадка» прошла хотя и болезненно, но с пользой для всех. Неутомимые исполнители успешно обосновались там, где нужны как раз эти их исполнительские качества. Тех же, кто еще был способен перестроиться, перемещение заставило мобилизовать свои силы, чтобы доказать, что и они могут работать по-новому.

И еще такая сложность: некоторые ветераны не очень-то охотно принимали молодое пополнение — энергичное, напористое, исполненное решимости все перетряхнуть, переиначить. Бургерт пошел, как он признался, на маленькую хитрость — всем главным специалистам, руководителям отделов объявил: ваша деятельность будет оцениваться прежде всего по тому, сколько вы вырастите способных молодых работников, сколько к уходу на пенсию подготовите учеников.

С другой стороны, многие способные ребята не были готовы к работе в условиях новой Баболны. Из них ведь готовили узких специалистов (ветеринар — так леги!), а тут им пришлось столкнуться с проблемами становления крупного индустриализованного хозяйства, с вопросами организации высокомеханизированного труда, а впоследствии с необходимостью реализации продукции, с поисками партнеров внутри и вне страны. Таким молодым приходилось доучиваться и переучиваться в процессе работы.

Так складывался коллектив баболнинских энтузиастов, единомышленников, соратников, бойцов. Это не громкая фраза, не ради красного словца. Впереди ждала упорная борьба и риск. Рисковал в какой-то мере каждый, кто брался за новое, малознакомое или совсем неизвестное дело. Но прежде всех и больше всех — Бургерт. И не только потому, что он директор.

Есть люди, чья судьба (если угодно, назовите ее «обстоятельства») и чей характер постоянно ставят их в положение начинателей. Бургерт именно таков. Молоденьким агрономом-практикантом он делил между крестьянами землю, скот и сельхозинвентарь из брошенного хозяйном поместья. Потом — одним из первых в свободной Венгрии — кооперировал крестьян для совместной обработки земли. Позже — тоже одним из первых — организовал госхоз. Еще позже начинал венгерское промышленное птицеводство. В другом хозяйстве, до Баболны. И — потерпел неудачу. Неудачу объективно закономерную, неизбежную: там и у него не было должных знаний, и специалисты оказались не на уровне.

Ту же задачу — поставить птицеводство на индустриальную основу — решал Бургерт и в Баболне. Но теперь и у него был, пусть горький, опыт. И опора надежная была: молодые знатоки своего дела — проектировщики, конструкторы, инженеры-строители, технологи, генетики, селекционеры, специалисты по кормам, по влиянию микроклимата на животных, по охране их от болезней. Они изучали по научным изданиям и в натуре опыт зарубежных птицеводческих фирм, переосмысливали его, пытались приспособить к венгерским условиям.

Вторая половина 60-х годов в Венгерской Народной Республике была временем решительных преобразований. Страна искала более гибкие формы планирования и управления промышленностью и сельским хозяйством, более эффективные методы организации производства. Новшества предлагались, испытывались, отвергались или завоевывали право на существование. Мнения подчас скрещивались, как клинки. В частности, и мнения о том, что затевалось, что осуществлялось в Баболне. Нашлись ведомства, для которых превыше всего был престиж: почему какой-то там госхоз занимается несвойственными ему функциями — проектирует, селекционирует, когда есть мы, специально созданные и давно признанные? Иные ура-патриоты считали недостойным для социалистической страны перенимать какой бы то ни было опыт Запада. И каждый полагал, что истина на его стороне, что именно он стоит на страже государственных интересов. Так, например, Бургерт и его специалисты доказывали, что на площадях госхоза можно содержать не 20 тысяч, а 110 тысяч голов птицы. В ту пору, по тем меркам это количество казалось фантастическим, а сама затея прожекторской. Даже многие доброжелатели не верили в реальность подобной программы. Даже друзья

заботливо предупреждали: ой, Роберт, не заносись! С большим трудом — и то при поддержке высоких инстанций — удалось ему пробить цифру 80 тысяч.

И никто из спорщиков, да и сам Бургерт, не мог тогда представить себе, что новое дело столь перспективно, что жизненные потребности страны придадут ему поистине космическое ускорение: в 1975 году Баболна будет содержать почти 2,5 миллиона кур, производить 190 миллионов яиц и цыплят, из них 135 миллионов отправит на экспорт.

В баболнинских птичниках я не была — туда постороннего не пускают во избежание инфекций. Через широкое стекло тамбура можно видеть, в какой подлинно аптечной чистоте содержатся куры, как автоматика их кормит и поит, собирает яйца и убирает помет, регулирует температуру и освещение. Что касается наружного вида, то это аккуратные, даже, пожалуй, красивые домики из гофрированного алюминия, их легко монтировать и легко дезинфицировать. Они совершенно не имеют окон: естественная смена дня и ночи, времен года снижает яйценоскость, сдвигает ее циклы. При скоростном промышленном птицеводстве в определенные периоды свет дается только на восемь часов в сутки, зато в другие — электрические «солнца» светят чуть ли не полные двадцать четыре часа, побуждая кур к интенсивной яйцекладке.

Эти идеальные с точки зрения биологии и технологии условия некоторыми критиками Баболны были объявлены на первых порах... издевательствами над птицей. Поднялась письменная и устная шумиха. Сейчас, конечно, об этом можно вспоминать только со смехом, но тогда потребовались объяснения, разъяснения, выступления...

Чтобы превзойти своих учителей, выбиться на внешний рынок и быть на нем вполне конкурентоспособным (такую задачу поставила перед собой Баболна), требовалось вывести кур, которые обладали бы целым рядом достоинств. Если это бройлерные цыплята — чтобы они набирали нужный вес в наиболее короткие сроки и с минимальной затратой кормов; если несушки — чтобы были спокойны, менее подвержены стрессам, давали больше яиц, причем крупных, с крепкой скорлупой (и к тому же скорлупой модного нежно-коричневого цвета).

Кроме того, нужно было научиться торговать. Бургерт пригласил к себе на работу специалистов из республиканских внешнеторговых организаций. Это, рассказывал он, были солидные люди с солидными портфелями, они прекрасно владели иностранными языками, безукоризненно держались на «протокольных» приемах, безупречно с юридической точки зрения оформляли торговые сделки. Но они не умели отличить араба от дончака или англичанина, боялись даже подойти к лошади, не то что эффектно ее продемонстрировать. Они абсолютно не разбирались в птицеводстве и не могли толково объяснить партнеру, в чем преимущества баболнинской тетры перед курами, скажем, западногерманской фирмы «Ломани». Более того, они и не считали нужным вникать в такие «детали» — для того, мол, имеются специалисты по коневодству и птицеводству. «Правильно! — согласился Бургерт. — Тогда зачем рядом с ними держать еще и чиновников? Будем торговать сами!» Они начали торговать сами. И своей продукцией. И своими услугами. Только два примера.

Сегодня фермеры из ФРГ, издавна занимающиеся промышленным разведением яйценоской птицы, приезжают в Баболну, чтобы договориться о закупках родительских пар тетры. Потому что тетра, считают они, лучше, чем знаменитая канадская порода несушек шавер, с которыми работает фирма «Ломани».

Баболна вышла победительницей в международном конкурсе, объявленном правительством Ирака, на сооружение десяти птицефабрик общей стоимостью 57 миллионов долларов.

Внешнеторговое предприятие Баболны получило название «Агрария». Ему доверена вся внешнеторговая деятельность ВНР по лошадям и птице. Обороты «Агрария» растут с каждым годом, пополняя валютные фонды страны.

Торговыми операциями Баболны занимаются ветеринары, овладевшие искусством коммерции. Возглавляет их директор по внешней торговле Габор Надь, невысокий, круглолицый, по-мальчишески живой и смешливый.

Его деловая карьера типична для того поколения «мальчиков с дипломами», которые пришли сюда десять—двенадцать лет назад, а теперь стали директорами отраслей или даже заместителями генерального директора. Разница между ними, пожалуй, лишь

в том, что Надя не рвалась сюда. Ему, разбитному пареньку, выросшему на шумном, праздничном курортном Балатоне, Баболна при первом знакомстве показалась по-деревенски тихой, скучной, лишенной романтики. Но вскоре убедился: есть здесь и фантазия и размах в работе. И загорелся, увлекся, полюбил.

Сперва он работал в отделе профессиональной консультации — учил баболнинскому методу промышленного птицеводства венгерских партнеров. Потом был назначен начальником этого отдела. Потом годичная командировка на Кубу, где Надя приобрел еще большую самостоятельность и уверенность в себе, изучил испанский язык (немецкий хорошо знал со школы). Когда вернулся, Бургерт предложил ему возглавить всю внешнюю торговлю (это заставило его изучить еще и английский). Надю не было тогда и тридцати, а весь его трудовой стаж составлял четыре года.

Ласло Папоча, однокурсник Надя, прошел здесь стремительный путь от заведования лабораторией до заместителя генерального директора, возглавляющего ныне всю биологическую службу Баболны. Службу, цель которой — создать для животных и птицы самые благоприятные условия, обеспечивающие их наибольшую продуктивность. Папоча, по его словам, нашел здесь максимум того, о чем может мечтать исследователь: возможность совместить широчайшую динамичную практику с чистой наукой.

Бела Каллаи тоже пришел сюда с вузовской скамьи. Бургерт тут же отправил его на стажировку за границу. А по возвращении сделал — новичка! мальчишку! — начальником бройлерного цеха. Сейчас Каллаи — директор по разведению птицы. В его распоряжении 15 ферм, 300 тысяч кур, картотека из трех миллионов данных.

Бургерт радуется: он омолодил старую Баболну — средний возраст работающих здесь тридцать четыре года. И теперь сюда, в эту академию современного хозяйствования, мечтают попасть не только новоиспеченные специалисты. В конкурсах на вакантные места принимают участие и люди с большим опытом, занимающие видное положение. Так перешел сюда Золтан Матраи, возглавивший всю экономическую службу Баболны, а это более 50 цехов, предприятий и отделов (есть отделы, равные предприятиям) и у всех планы (которые должны стать оптимальными!), у всех резервы (которые надо помочь изыскать!), у всех показатели (миллионные цифры!). По инициативе Матраи в Баболне создан крупный вычислительный центр, внедряется научное программирование и прогнозирование.

Но нельзя сказать, что здесь все командные посты заняли новички. Только недавно ушел на заслуженный отдых Ено Сабо, сорок три года проработавший в Баболне главным ветеринаром («Я первый из старых специалистов поддержал все нововведения», — не без гордости говорит он).

Правой рукой Бургерта стал Миклош Эрдеи — здешний уроженец, бывший ученик слесаря, бывший начальник механических мастерских, а теперь заместитель генерального директора по организации производства (он окончил заочно аграрный факультет университета). Про них говорят так: Бургерт — голова, Эрдеи — сердце. Еще его называют «баболнинский мотор» и даже «бульдозер», вкладывая в эти слова максимум уважения. Без спокойной крестьянской напористости Эрдеи многие идеи Бургерта, возможно, не дошли бы до претворения или внедрялись бы гораздо медленнее. Бургерт все это прекрасно понимает и ценит. И когда он узнал, что ему собираются дать Государственную премию за успехи в развитии Баболны, он настоял, чтобы эту премию поделили на четверых. Лауреатами, кроме генерального директора, стали Ено Сабо, Миклош Эрдеи и молодой специалист Янош Тот, занимавшийся в те годы кукурузой и лесоразведением (они посадили на неудобных землях две тысячи гектаров сосны, березы, тополя; там баболнинцы проводят теперь свои выходные дни, можно даже поохотиться).

История новой Баболны — это не только промышленное птицеводство. Это и промышленное, тоже племенное, свиноводство, правда не очень масштабное — около 23 тысяч свиной, и промышленное овцеводство — пока только 36 тысяч голов.

Свинья, как известно, не курица, ее нельзя содержать в безоконном помещении, без движения, при непрерывной ротации. Традиционные венгерские свиньи не выдержали бы этих условий. Но Баболна создала такой гибрид, который сочетается с «куриной» технологией. И даже продает его на экспорт.

Что же касается овцеводства на промышленной основе, то для Венгрии это пока еще совсем дело темное. Здесь все пришлось начинать почти с азов. Баболинцы уже добились, что на 100 овцематок стали выращивать не 80, а 235 ягнят. Теперь работают над тем, чтобы мясная овца, кроме плодовитости, приобрела еще и прочную теплую шубу (ценнейшее сырье для промышленности!). К слову сказать, для улучшения венгерской породы используется и знаменитая русская романовская овца.

Однако животноводство без собственных кормов — это, как образно выразился Бургерт, птица с одним крылом: машет, а взлететь не может. Кормов Бабольне требовалось все больше и больше, прежде всего кукурузы (сейчас Баболна потребляет ее почти 79 тысяч тонн в год). «А где ее столько взять?» «На своих полях, — сказал Бургерт. — Не покупать же за границей». «Но поля заняты в основном другими культурами». «Мы их вытесним».

И этот шаг поначалу вызвал споры. Возражали некоторые специалисты в самой Бабольне. Возмущались многие ученые и практики районного, областного, республиканского масштаба. И не потому что были закоренелыми ретроградами. Согласитесь, не просто это — так вот враз изменить веками складывавшиеся севообороты, перейти к монокультуре. Нелегко взять на себя ответственность и благословить человека, рискнувшего на эксперимент с самой землей-матушкой, землей-кормилицей.

Кем только в ту пору не называли Бургерта: и безумцем, и авантюристом, и дилетантом, и просто неучем. В самом деле, до освобождения Венгрии он успел окончить только среднюю агрошколу. Чтобы устроить туда сына, его отец-батрак продал свою последнюю корову, а мать отдала ему свою лучшую шаль (теплой одежды у Роберта не было). Бургерт не обиделся, что ему это припомнили. Впоследствии он не только окончил вуз, но и защитил кандидатскую диссертацию. Теперь готовится защищать докторскую, «чтобы иметь право спорить с учеными мужами на равных». Он вообще не обижается на нападки. Напротив, радуется им. Неприятные и даже порой болезненные для него лично, они оказываются полезными для дела («А дело, не правда ли, важнее наших эмоций»). Они подхлестывают азарт, заставляют мобилизоваться до предела, чтобы доказать свою правоту. Похвалы же усыпляют. Он и друзей, приезжающих в Баболну, просит: пожалуйста, не восхищайтесь! Оглянитесь придирчивым взглядом, подскажите: что упустили, до чего не додумались? Он даже студентам-практикантам дает задание: посмотрите внимательно и напишите, что в нашем хозяйстве вам не нравится...

Однако продолжим наш разговор о кукурузе. На первых порах баболинцы пытались наращивать урожай традиционными методами — добились кой-какой прибавки, но удвоить, утроить сборы зерна не могли. Решили изучить и применить самое передовое, самое лучшее в мире.

Баболинские специалисты побывали в СССР: во Всесоюзном научно-исследовательском институте кукурузы в Днепропетровске, в Кубанском институте испытания сельхозмашин познакомились с комплексной механизацией возделывания кукурузы. Внимательно изучили другой зарубежный опыт. И родилась своя, баболинская система производства кукурузы на промышленной основе. Абсолютно без применения ручного труда. Мощный трактор с набором прицепных машин готовит почву, сеет, обрабатывает междурядья, убирает урожай, проводит послеуборочную обработку стеблей, вносит удобрения, ведет снегозадержание и снова готовит почву, сеет... Настоящий заводской конвейер в поле, и занято на этом конвейере в течение года всего 12 человек на каждые 800 гектаров.

В их систему поверили, их поддержали. И предложили кредит на десять лет. Баболинцы пообещали: рассчитаемся за три. И — рассчитались за год!

В 1968 году, до применения новой системы, они засевали кукурузой 4 тысячи гектаров (до Бургерта ее было всего 209 га) и получили сухим зерном чуть больше 43 центнеров с гектара. За последующие пять лет площади выросли до 6200 гектаров (весь пахотный клин Бабольны!), а урожай подскочил на 22 центнера. В 1975 году урожай на баболинских полях составил уже 72,5 центнера, а на отдельных участках до 90 центнеров с гектара. Без полива!

Чудо? Нет, абсолютно никакого чуда. Только эффективность и качество. Буквально во всем. На всех этапах. Во всех операциях. Качественная, мощная техника позво-

ляющая все работы выполнять на высоком уровне и в кратчайшие сроки; качественные, интенсивные сорта семян и такая же, рассчитанная именно на эти сорта технология производства; эффективные удобрения и гербициды, вносимые в нужное время, в должном количестве, в потребном ассортименте. И все это в неразрывном единстве; при любом отступлении (чуть-чуть опоздали, сделали чуть-чуть не то) вся система нарушится, урожай немедленно покатится вниз.

Маленькая справка. Средний урожай кукурузы по Венгрии 50,3 центнера с гектара. В два с лишним раза выше, чем до второй мировой войны. И очень близко, почти вплотную подбирается к урожайности самых развитых европейских стран. Занимая в Европе одиннадцатое место по размерам сельскохозяйственных площадей, по производству кукурузы Венгрия вышла на пятое место.

За пятнадцать лет коллектив Баболны увеличил валовое производство продукции в 29 раз, вывел госхоз в число самых передовых и высокодоходных в Венгрии (в 1975 году получено прибыли более 257 миллионов форинтов), превратил его в крупнейшую птицеводческую фирму и ведущий генетический центр, сделал Баболну известной во всех частях света. Но заслуга его не только в этом.

Всем своим опытом баболнинцы щедро делятся с теми, кто желает его воспринять, и распространили его по всей республике. Вот хотя бы бройлеры. Мы, разъясняя баболнинские специалисты, выращиваем их за 52 дня до 1400 граммов, затрачивая на килограмм мяса по 2,3—2,4 килограмма корма. На каждом квадратном метре мы содержим 20 цыплят (начинали, между прочим, с 14, а сейчас пробуют размещать и 25 и 27), стало быть, за год с каждого квадратного метра получаем 168 килограммов мяса, или 362 форинта чистого дохода. Каждый наш птичник — тысяча квадратных метров. Это 168 тонн мяса, это 362 тысячи чистого годового дохода. Устраивает вас? Прекрасно! Мы вам построим птичники. Сколько? Десять? Великолепно! Мы вам завезем гибридных цыплят. Стоимость последующих консультаций входит в цену цыпленка... Так примерно приобретались внутренние партнеры. Их сейчас у Баболны более 200. Как признанный лидер отрасли, Баболна учит их не только методам промышленного разведения птицы, но и высокой культуре производства, строжайшей технологической дисциплине. Без этого на конвейере, на потоке никак нельзя.

Мне довелось побывать в кооперативе имени Йокаи, одном из первых партнеров Баболны. Когда-то он имел на паях с другими девятью хозяйствами птицефабрику, где старыми методами разводились куры старой венгерской породы. Падеж был огромный. Чтобы вырастить цыпленка до килограмма, затрачивали 12 недель и 3,2 килограмма корма. От несушки получали за год 100—120 яиц. И хотя цены на яйца и птицу в ту пору были почти вдвое выше нынешних, еле сводили концы с концами.

С тех пор как перешли на баболнинский метод, стали собирать от несушки по 250 яиц (в Баболне 280!) и получать с яиц около 20 процентов прибыли. Прибыль на бройлерах достигла 9—10 процентов. Чистый годовой доход хозяйства подскочил до 10 миллионов форинтов. Это дало возможность кооперативу имени Йокаи вместе с кооперативом «Красная звезда» выкупить птицефабрику у остальных восьми пайщиков. А в будущем году он намерен возвести еще 12 птичников — уже свои собственные, причем без государственного кредита. Как все это сказало на членах кооператива? А они вместо 18—19 тысяч форинтов в год стали зарабатывать по 38 тысяч, построили за десять лет 200 домов со всеми удобствами, с жилой площадью 100—120 квадратных метров, купили 150 легковых автомашин.

Еще одна маленькая справка. Производство мяса домашней птицы в Венгрии значительно превышает внутренние потребности. По производству яиц на душу населения она намного превзошла все европейские страны. Экспорт яиц и битой птицы растет с каждым годом.

Сегодня Венгрия занимает одно из первых мест в мире и по потреблению этих продуктов, обогнав по калорийности пищи на одного жителя такие страны, как Италия, Австрия, Англия, Франция и Швейцария.

А ведь до прихода народной власти Венгрия была одной из самых отсталых стран Европы. В период между двумя войнами по доходу на душу населения она занимала

шестнадцатое место на европейском континенте. Геза Фейя отмечал: «Биологической трагедией венгерского народа была прежде всего нехватка хлеба». Хлеба насущного! А уж курица-то попадала на стол крестьянина лишь в двух случаях— когда она была больна или когда кто-то в семье серьезно болен. Венгрию называли «страной трех миллионов нищих».

В музее, посвященном сегодняшнему дню Баболны, висит огромное полотнище: «Всеми нашими успехами мы обязаны социализму». Эти слова с полным основанием могут повторить трудящиеся в любом уголке Венгерской Народной Республики.

Ну а как происходило распространение баболнинского метода промышленного возделывания кукурузы?

Успех Баболны был столь красноречив, что в 1971 году постановлением Совета Министров ВНР она была превращена в производственное предприятие по возделыванию кукурузы на промышленной основе. Был выделен кредит на приобретение тракторов, плугов, культиваторов, комбайнов, автомашин, семян, удобрений, гербицидов уже с учетом нужд всех возможных партнеров. Началось строительство зерносушилок (Баболна доставляла партнерам готовое, высушенное зерно), складов запчастей и ремонтной базы (все обслуживание, весь ремонт техники Баболна брала на себя), складов для удобрений, агрохимической лаборатории.

Что требовалось от партнера? Отвести под кукурузу землю и подготовить ее для обработки. Выделить механизаторов для работы на предоставленных Баболной тракторах и машинах (обучала их, разумеется, Баболна). Все! Больше у него с кукурузой не было никаких забот. Высвободившиеся рабочие руки (много рабочих рук!) стало возможным направить в другие отрасли.

В 1971 году Баболна выращивала кукурузу на 30 тысячах гектаров, в 1972-м — на 60 тысячах, в 1973 году перешагнула за 100 тысяч. Урожайность на этих полях за три года поднялась с 30—35 до 64 центнеров.

А партнеры все прибывали и прибывали. В Баболне почувствовали: если и дальше так пойдет, будет ущерб главному, на чем она специализирована,— животноводству. И сделали с кукурузоводством то, что делает отец с выросшим и получившим образование сыном,— выделили его: живи и работай самостоятельно. А заодно и сами избавились от всяких «кукурузных» забот — вновь созданное хозяйство по промышленному производству кукурузы (сокращенно ИКР) для них и сеет и убирает.

Побывала я и у этого «сына». Хозяйство возглавляет Янош Тот, который молодым специалистом овладевал вместе с Бургертом секретами промышленного кукурузоводства и вместе с ним получил Государственную премию. Как и положено, дети идут дальше своих отцов. ИКР сейчас имеет 150 партнеров, выращивает кукурузу на 260 тысячах гектаров. А кроме того, пшеницу на 20 тысячах гектаров, столько же сахарной свеклы, 9 тысяч гектаров подсолнечника. Здесь так — буквально до дня! — рассчитали время, необходимое для возделывания кукурузы, что смогли втиснуть в образовавшиеся окошки и работы с другими культурами. Теперь два трактора с набором машин и 20 механизаторов обслуживают две тысячи гектаров. Без всякого ущерба для какой-либо из культур ежегодно наращивая урожай.

И последняя справка. Ученые подсчитали: в индустриальных системах по возделыванию кукурузы производительность труда примерно в 10 раз выше, чем в среднем по госхозам и кооперативам.

В докладе на XI съезде ВСРП в марте 1975 года товарищ Янош Кадар отмечал: «Индикаторами и примером внедрения в сельское хозяйство индустриальных производственных методов являются госхозы в Баболне, Агарде и Байе, а также сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная звезда» в селе Надьудвар. Они сыграли выдающуюся роль в том, что в прошлом году в растениеводстве, главным образом в выращивании кукурузы, современные производственные методы применялись на площади в 576 тыс. га, а в текущем году эта площадь возрастет уже до 900 тыс. га. Выдающиеся результаты достигнуты в отдельных отраслях животноводства, особенно в птицеводстве. Используя этот опыт, мы будем продолжать распространение передовых производственных методов».

Все-таки оно существует на свете, журналистское везенье (если, конечно, обеспечить его «золотым запасом» терпения и настойчивости)! С опытом Байи я тоже немало познакомилась, повстречав в Москве заместителя генерального директора этого сельскохозяйственного комбината Имре Немета.

Судьбы этих двух руководителей, Бургерта и Немета, удивительно схожи. Они приблизительно одного возраста; Немет, к слову, родился в Баболне и там начинал трудовой путь на полевых работах. Они почти в один и тот же год вступили в партию, в одно время по призыву партии начали создавать госхозы.

В Байе Немет с 1946 года. Он ее организовывал, он ее поднимал до нынешних высот (получив за это 15 правительственных наград) и лишь в прошлом году после преобразования госхоза в комбинат отошел на второй план, передав «первую скрипку» более молодому товарищу.

Байя — огромное многоотраслевое хозяйство, по объему производства третье в стране (чуть меньше Баболны). Ведущая отрасль его — промышленное свиноводство: в 1976 году оно вырастило и продало 80 тысяч свиней, в основном на экспорт. У Байи тысячи гектаров виноградников и свой винзавод, около половины продукции которого идет в СССР, ЧССР, ПНР. Здесь 600 гектаров яблоневых садов и свои первоклассные хранилища, позволяющие реализовать продукцию в оптимальные сроки по оптимальным ценам. На 13 тысячах гектаров пашни — пшеница, люцерна, кукуруза. Свой комбикормовый цех, обеспечивающий внутренние нужды и дающий 20 тысяч тонн на продажу.

Но главное, чем славится Байя, — собственная система промышленного кукурузоводства. В Баболне ИКР, здесь БКР. Байя разрабатывала свою систему позже, чем Баболна, она уже имела возможность более широко опереться на достижения отечественной науки и науки братских стран, она осуществляла техническое перевооружение с помощью стран — членов СЭВ, в первую очередь Советского Союза, которые к этому времени производили сельхозмашины, способные конкурировать с техникой США и других западных государств.

Баболна строила свою систему на завозных гибридах кукурузы, Байя создавала новые гибриды — раннеспелые, среднеспелые, позднеспелые — преимущественно на основе венгерских сортов, в тесном содружестве с венгерскими научно-исследовательскими институтами и институтами братских стран.

Бабалинская ИКР работает на полях партнеров своей техникой, своими семенами, удобрениями и химикатами и выдает им конечный продукт, получая определенную сумму за вложенный труд и за прибавку урожая. Партнеры Байи все работы выполняют сами, Байя только консультирует их и осуществляет контроль за точным соблюдением технологического цикла. За свои услуги Байя получает 15 процентов от каждого центнера добавочного урожая.

Сейчас БКР охватывает 126 партнерских хозяйств с общей площадью 200 тысяч гектаров. Несмотря на более поздний старт, многие ее показатели уже приближаются к показателям ИКР. Средний урожай в партнерских хозяйствах за четыре года вырос на треть и достиг 62,2 центнера с гектара.

Что привело Имре Немета в Москву?

— Чистые формальности, — сказал он. — Надо подписать договор между вашим Министерством сельского хозяйства и нашим Министерством сельского хозяйства и пищевой промышленности. Юридически оформить то, что уже существует на практике.

А на практике существует вот что: Байя в одном из совхозов Молдавии внедряет свою систему возделывания кукурузы. В одном из госхозов Венгрии испытывается советский метод выращивания сахарной свеклы. В прошлом году Немет побывал у своих молдавских партнеров, выбрал участок в 800 гектаров, познакомился и подружился с руководителями и специалистами хозяйства («Хорошие ребята!»). Всю осень и зиму там находились консультанты Байи, обучали тех, кто непосредственно будет работать по новой технологии, наблюдали за качеством зяблевой вспашки, внесения удобрений. В свою очередь, советские специалисты выполняли аналогичные функции у венгерских партнеров. Маленький, но примечательный факт делового контакта представителей двух братских стран. Один из множества видов нашего сотрудничества в рамках Комплексной программы социалистической экономической интеграции.

И тут, пожалуй, самое время хотя бы коротко сказать вообще о советско-венгерских экономических связях. О связях бескорыстных и взаимовыгодных, связях все более углубляющихся, принимающих все более совершенные формы.

Мне припомнилось, как западная печать, привыкшая превращать белое в черное, комментировала принятие в 1971 году Комплексной программы. Не довольствуясь привычными байками об «экономических трудностях», которые якобы переживают страны СЭВ, «Таймс», например, сочла возможным написать о «посягательстве на национальный суверенитет».

А товарищи там, в Венгрии, в Будапеште и Баболие, и здесь, в Москве, говорили мне с благодарностью о десятках тысяч советских тракторов, комбайнов и других сельхозмашин, работающих на венгерских полях. О том, что около 90 процентов площадей зерновых культур и почти 75 процентов масличных засеваются в Венгрии прославленными советскими сортами. О том, что большая часть калийных удобрений, используемая в сельском хозяйстве ВНР, завозится из Советского Союза, а сырье для производства фосфорных удобрений почти исключительно покрывается поставками из СССР. И тут же с вполне понятной гордостью добавляли, что это поток не односторонний, что партнерство идет на равных: в Советском Союзе на десятках тысяч гектаров возделываются венгерские гибриды кукурузы, венгерские сорта озимого ячменя, вики и ржи. Успешно идет взаимный обмен племенным скотом, высокопородной птицей, посадочным материалом плодовых культур и винограда.

Товарищи подчеркивали в разговоре, что Советский Союз неоднократно выручал венгерскую экономику. Так, например, в 1974 году, когда некоторые западные страны вдруг отказались от огромной партии выращенного для них скота, СССР закупил его по выгодным для партнера ценам.

Но еще более весомы долгосрочные соглашения, создающие основу для притока капиталов и для дальнейшего развития всех отраслей венгерского сельского хозяйства. Так, в 1975 году подписаны соглашения, по которым поставки свежих фруктов в СССР возрастут с 245 тысяч тонн в 1976 году до 330 тысяч тонн в 1990 году, значительно увеличатся поставки в Советский Союз зерна и мяса.

Если выйти за рамки села, там картина еще более впечатляющая. В результате кооперации с народным хозяйством СССР в Венгрии возникли совершенно новые для нее отрасли промышленности — алюминиевая, нефтехимическая, транспортное машиностроение, электроэнергетическое машиностроение, производство вычислительных машин.

Советские заказы превратили завод «Икарус» в крупнейшее предприятие Европы (не считая советских автобусных заводов). В десятой пятилетке наша страна получит с «Икаруса» 32 тысячи комфортабельных машин, поставив ВНР большое количество грузовых и легковых автомобилей (одних «Жигулей» 180 тысяч).

С каждым годом расширяются совместные исследования и разработки по различным проблемам. За последние тридцать лет Советский Союз передал венгерской стороне более трех тысяч комплектов научной документации и, в свою очередь, получил более двух тысяч комплектов. Аналогичный обмен происходит между всеми социалистическими странами. А что это дает нам, Венгрии и другим членам СЭВ? Один-единственный пример: только в области сельскохозяйственного машиностроения координация совместных усилий позволила каждой участвующей стране на 50—70 процентов сократить расходы, которые потребовались бы при самостоятельной разработке и организации производства этих машин.

И наконец, совсем новая форма экономических связей — участие в создании промышленных комплексов на территории братских стран. Вместе с пятью другими странами — членами СЭВ Венгрия участвует в сооружении высоковольтной линии электропередачи Винница—Альбертирш, в строительстве уникального газопровода Оренбург—западная граница СССР протяженностью 2750 километров. Венгерские юноши и девушки бок о бок с советскими молодыми энтузиастами трудятся на строительстве Усть-Илимского целлюлозного завода и Киембаевского асбестового горнообогатительного комбината. Так что наряду с привычными в нашей прессе терминами стройка «всесоюзная», «ударная», «комсомольская» полное право может получить и термин-стройка «интеграционная».

Однако вернемся в Баболну. Как там течет жизнь рабочего коллектива? Как налажен быт? Каков нравственный климат?

— О-о, у них там стро-огости! — предупредил меня один из собеседников в Будапеште. — У них гуманизм особый, требовательный. У них демократия не потекающая..

Бургерт, услышав это определение, хмыкнул. Подумав, ответил так:

— Сейчас модно кричать о демократии. Понапридумали терминов: демократия производственная, демократия кооперативная, демократия такая, этакая... А по-моему, демократия у нас одна — социалистическая. И она, если упростить, состоит из двух сторон: права и обязанности. Обязанность работающего — отдавать всего себя делу. Его незыблемое право — требовать в ответ, чтобы для него делали все возможное как в материальном плане, так и в духовном. Право руководителя — требовать от работающих безукоризненного выполнения своих обязанностей. Его долг — максимально удовлетворять запросы работающих. Чего проще? Что тут еще мудрить?

Всей своей практикой руководители Баболны подтверждают эти принципы. Они требуют. Они умеют требовать. С помощью общественных организаций они уже добились, что рабочий день в Баболне — это рабочий день. Здесь в рабочее время не устраивают перекуров и перекусов, не рассказывают анекдотов, не обсуждают последний футбольный матч и не делятся планами на предстоящий выходной. Для этого пятнадцатиминутные перерывы после каждого часа работы. Для этого часовой перерыв на обед.

— А почему, — спрашивают баболнянцы, — почему в социалистической стране работник должен быть ленивым, неисполнительным, разболтанным? Ведь у него двойная выгода работать с полным напряжением сил: этим он себе, своей семье создает материальные блага и одновременно своему народному государству, а не кучке капиталистов.

Эффективный труд — эффективная оплата. Средний заработок рабочего в Баболне на 10 тысяч форинтов выше, чем по стране. Обязанности каждого человека в Баболне точно и четко определены. Директор по кадрам и социальным вопросам Петер Элемер показал мне толстенный машинописный том. В нем не только по должностям, но и по имени указано, кто что делает, за что отвечает. Тут уж не отвертишься: я не я и хата не моя... Когда каждый сознательно и в полном объеме выполняет то, что на него возложено, тогда четко и слаженно работает весь производственный организм.

Как-то в Баболну прибыла группа — 25 экскурсантов. У них на руках было подписанное несколько дней назад разрешение министра сельского хозяйства посетить конюшни, осмотреть лошадей. Но юный конюх, дежуривший в это время, не пустил их на порог. Что это — недомыслие, самоуправство? Ни то, ни другое. Конюх только выполнял свою прямую обязанность, ибо, помимо ухода за лошадьми, ему предписано и охранять их здоровье, а сегодня, он слышал, передавали по радио: в республике появился сип. Вот она, заинтересованность в деле, полная за него ответственность!

Петер Элемер познакомил меня еще с двумя папками, уже рукописными. В одной тщательно подшитые личные обязательства и обязательства социалистических бригад — из них «версталась» программа Баболны на пятилетку. В другой — пока еще вразброс, их еще будут изучать — предложения рядовых рабочих, поступившие на конкурс. Заведен, оказывается, в Баболне такой ежегодный конкурс — на лучшее конструктивное предложение (в 1975 году в нем приняли участие 418 человек). Победители получают крупные премии. Их, несомненно, приметят для выдвижения.

Это предложения по коренным проблемам. Но и текущие вопросы решаются при широком участии коллектива. Нет, многолюдных собраний и всеобщего голосования в этих случаях не устраивают. Просто в рабочем порядке обращаются к мнению тех, кто непосредственно занят тем или другим делом. При мне на совете директоров (в который, кстати, входят и рабочие — представители каждой профессии) обсуждались дальнейшие усовершенствования птичников, поставляемых партнерам. Специалисты внесли свои предложения. Затем эти предложения были сведены воедино, отпечатаны в 200 экземплярах и розданы работникам птицеферм: им виднее, что хорошо, а что недостаточно продумано...

И еще об общественном мнении. Оно, как известно, бывает здоровым там, где есть широкая гласность, где ничего не делается келейно, где нет места шушуканью. В Бабол-

не коллектив информирует обо всех поощрениях (равно как и взысканиях), объявленных работникам. Баболнинская многотиражка сообщает даже о том, кто, когда, куда и на какой срок выезжал в заграничные командировки. В списке (не по должностям — по алфавиту!) указаны конюх и главный бухгалтер, наладчик и главный инженер, овчар и директор по экономике, оператор птичника и генеральный директор.

А теперь коротко, всего несколько штрихов, о второй стороне демократии — заботе о людях.

Внимание к людям здесь понятие всеобъемлющее, включающее многое: утренний телефонный звонок работнику «поздравляю с днем рождения» и заботу о повышении его деловой квалификации; огромный торт лично от генерального директора к семейному торжеству и строительство в горах баз отдыха, обменные путевки с партнерами из Чехословакии: сооружение (с необычайной любовью и вкусом!) детского дошкольного комбината и создание бесплатной школы верховой езды для детей рабочих и служащих. Это и прекрасная рабочая столовая, где получишь обильный и вкусный обед не дороже пачки сигарет и такой же ужин по цене бутылки газировки. Это и магазины, в которых можно купить все то же самое, что и в столице, а рядом первоклассный ресторан и уютное «эспрессо», куда молодежь приходит потанцевать под эстрадный оркестр. Это и выписанный на постоянное жительство из Будапешта знаменитый кондитер, и поиски самого лучшего (второго по счету!) дамского парикмахера, чтобы юным птичницам и женам конюхов не тратить много времени в очереди или на поездки в городские парикмахерские. Или такие весьма существенные моменты. Сселили людей с полусотни хуторов в центральный поселок, построив для них с рассрочкой на двадцать лет благоустроенные квартиры (по количеству ванн на тысячу жителей Баболна стоит на первом месте в республике, впереди Будапешта!). Помогали им на льготных условиях возводить собственные дома. Запретили своим работникам держать на приусадебных участках кур (чтобы инфекция не заползла от них в госхозные птичники). Но госхоз продавал им — по себестоимости, чистые гроши! — 30 яиц и три килограмма птичьего мяса на едока ежемесячно, а сейчас, когда все это в избытке появилось в магазинах, выплачивает разницу между госхозной себестоимостью и государственной ценой.

Вот почему оседают работники в Баболне, не уходит даже молодежь, хотя рядом, час езды, манят огнями три больших города — Дьёр, Татабания и Комаром.

Восемнадцатый год пошел с тех пор, как Бургерт принял Баболну. Он имел бы право с чистой совестью сказать: а ведь сделано-то немало! И с той же чистой совестью добавить: можно немного утомониться, дать себе передышку, как-никак пятьдесят четыре, валидол постоянно в кармане... Но он, как и прежде, остро не удовлетворен собой («Все это вчерашний день, пройденный этап, надо шагать дальше!»). Он, словно вулкан, клокочущий лавой, переполнен энергией, замыслами («Чем выше подъем — тем дальше видно»). Кто-то из ветеранов Баболны при Бургерте сказал, что начинает подумывать о смерти. Бургерт вскинулся, с живостью возразил:

— О ней чего думать? Думать надо о жизни. Как бы за свою жизнь успеть побольше сделать. Побольше хорошего, полезного стране и людям...

Таков он, Роберт Бургерт — современный деловой человек, руководитель нового типа, воспитанный партией и повседневно претворяющий в жизнь политику ВСРП, член ее Центрального Комитета.

Такова Баболна — гордость социалистической Венгрии.

Таковы некоторые пути исканий братской страны.

Баболна — Будапешт — Москва.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ,
ХЕЙНЦ ПЛАВИУС



ЧЕЛОВЕК И МИР. СЕМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Диалог

История публикуемой беседы такова: Хейнц Плавиус, один из ведущих критиков ГДР, приехал во Фрунзе, чтобы взять интервью для литературно-критического журнала «Веймарер байтреге» у одного из самых популярных в ГДР советских писателей. Можно сказать, что в этой стране произведения Чингиза Айтматова известны так же хорошо, как у нас. В одном только — самом крупном — издательстве «Фольк унд вельт» изданы восемь его произведений тиражом 438 700 экземпляров; среди этих изданий превосходно оформленный двухтомник. Кроме того, по лицензии «Фольк унд вельт» книги Ч. Айтматова вышли пятнадцатью изданиями в «Реklam», «Ферлаг гер национ», «Киндербух-ферлаг» тиражом 760 тысяч экземпляров.

Интервью превратилось в многочасовую (длившуюся несколько дней) беседу. Как увидит читатель, разговор касался не только творчества самого Айтматова — собеседники затронули широкий круг проблем, и не только литератур советской и ГДР, но и современной мировой литературы. Понять друг друга они могли легко: Хейнц Плавиус, автор ряда книг и статей по немецкоязычной литературе и эстетике, несколько лет учился в Советском Союзе, первую свою работу — о Гегеле — напечатал у нас же; и естественно, что он не только свободно говорит по-русски, но и прекрасно знает нашу литературу.

С магнитофонной ленты Х. Плавиус переписал беседу на немецкий язык для «Веймарер байтреге», где она в полном объеме публикуется в номере, посвященном шестидесятилетию Великого Октября. «Новый мир», сочтя эту беседу чрезвычайно интересной и для советского читателя, с разрешения участвующих сторон перевел ее с некоторыми сокращениями с немецкого на русский.

Хейнц Плавиус. В начале нашей беседы я хотел бы передать вам приветы и наилучшие пожелания от большой «общины» почитателей Айтматова в ГДР. Как наглядное свидетельство этого я привез ряд вопросов, к которым мы вернемся в ходе нашей беседы и которые попросили меня задать вам мои многочисленные коллеги, в том числе из редакции «Веймарер байтреге». Ссылаюсь на коллег, дабы подчеркнуть: много движет не поверхностный интерес, а убеждение, что общность культур и литератур между нашими странами настолько возросла, что ваши проблемы стали и нашими проблемами. Если в ходе бе-

седы мне хотя бы в небольшой мере удастся сделать наши проблемы вашими, то это будет к обоюдной пользе.

Позвольте мне сначала определить сам предмет нашей беседы: проблемы прозы, ее сегодняшнее состояние и факторы, которые влияют на нее в 70-е годы.

В наших литературных дискуссиях господствует мнение (или целый ряд оттенков этого мнения), что в современной литературе, в том числе, конечно, в прозе, наблюдается ряд существенных изменений. И хотя речь пойдет о совершенно различных художниках, я все же позволю себе назвать некоторые имена и произведения, что-

бы сделать наш разговор более конкретным. Из советской литературы рядом с вашими произведениями назову книги Трифонова, Распутина, Тендрякова, Гранина и Астафьева. Из литературы ГДР — Криту Вольф, Канта, Штриттматтера, Вельма, Пичмана и Кёлера.

Я не собираюсь объединять этих авторов в одну группу. Но на их произведениях отчетливо сказываются происходящие изменения.

Когда говорят о специфике текущих 70-х, то ссылаются обычно на поток информации, последствия научно-технической революции и т. п.

Однако более глубокими кажутся мне те последствия, которые повлекло за собой изменение характера труда, связанное с резким повышением удельного веса техники в рабочих процессах. В связи с этим происходят изменения и в образе жизни, возникает новая психология, что имеет непосредственное значение для литературы. Изменяется способ производства, и характерная для ручного труда непосредственная связь человека с осязаемой предметной реальностью превращается во все более опосредованную. Возникает необходимость в новых факторах-посредниках между личностью и окружающим живым миром.

Возможно, например, что туризм является неосознанной реакцией на эти процессы, так как в данном случае сказывается не только рост благосостояния и потребность в отдыхе, но и стремление приблизиться к предмету. Сходным образом искусство реагирует на эту новую ситуацию, в которую поставлен человек. Оно подсказывает человеку необходимость живых и тесных контактов и с нынешним широким миром и миром традиций, подсказывает, в частности через элементы рефлексии, использование мифов, частое обращение к искусству как к предмету изображения.

Другой комплекс проблем, повлекший за собой заметные изменения в прозе, вытекает из возросшей роли науки, которая все более погружается в специальные проблемы, недоступные для «непосвященных». Это относится и к большинству тех проблем, которыми занимаются философы, биологи и социологи. В результате подобного развития, как мне кажется, возник определенный пробел. Некоторые весьма капитальные вопросы, касающиеся жизни и смерти обыкновенного человека, остаются вне поля зрения. В средние века эти вопро-

сы решались религией, с наступлением эпохи Просвещения место религии заняла философия. У меня создается ощущение, что в нынешней ситуации резко возрастает подобная роль искусства, в частности прозы.

Чингиз Айтматов. Если мы поведем наш разговор в этом направлении, то он обещает быть небезынтесным, ибо современная литература, искусство включают в себя почти все, что волнует человека сегодня: его повседневность, его духовное бытие, его социальный мир. Мне кажется, что вы сделали правильное наблюдение относительно важных особенностей современной умственной жизни. Наука наших дней настолько специализировалась, что утратила качество общедоступности. В то же время возникла и все больше обостряется потребность увидеть мир в единстве, как нечто цельное, где даже отдаленные сферы взаимосвязаны, взаимообусловлены. Если раньше исследование такого рода протяженных связей было делом религии и философии, то сегодня это все больше и больше становится миссией литературы и прежде всего прозы, но не только прозы, разумеется, тут нельзя ставить узких границ, нельзя упускать из виду театр, кино, литературоведение, критику и прочее.

На первый план выходит задача осознания нашей собственной жизни: именно мы сами, а не те, кто придет после нас, должны ответить себе, кто мы такие и чем являемся в эти 70-е годы, что представляет собой человеческое сообщество, какова динамика этой целостности в условиях сосуществования двух противостоящих социальных систем, какова живая диалектика социализма. И наконец, что такое или кто такой человек.

Литература, впрочем, всегда стремилась мыслить широко, даже глобально, не забывая при этом, что центр ее интереса, ее точка кипения, ее краеугольный камень — отдельная человеческая личность. Это самая суть сути.

Отдельную человеческую личность можно сравнить с фокусом, в котором собраны все воздействия действительности, их изучение дает нам возможность познать через человека содержание, сущность и тенденции времени. Может быть, все сказанное звучит абстрактно, но умная, серьезная проза направлена именно на это. Основные, определяющие тенденции в развитии искусства особенно отчетливо заявляют о себе голосом больших художников. Таких, на-

пример, как Брехт. Я не случайно вспомнил о нем, потому что он воспринял новую эпоху, эпоху социализма, с глубоким человеческим пониманием и сумел отразить внутренний драматизм этой эпохи в своем искусстве.

Но я вначале хотел бы отвлечься от общих вопросов и сказать несколько слов о читателе из ГДР. Передо мной конкретный адресат, человек начитанный, книголюб. Он и я, мы оба, должны исходить из того, что ГДР представляет собой совершенно новое историческое явление как государство и как общество. ГДР находится на самой границе двух миров. Поэтому общий взгляд на мир имеет там свои специфические черты. С немецким народом, а значит, и с ГДР, связаны лучшие творения человеческого духа. Одновременно с возникновением ГДР начался период социально-исторического преобразования. Единая цель — построение нового общества — определяет сегодня нашу близость, мы стоим в общем строю. Но, с другой стороны, я бы не хотел, чтобы вы абсолютно походили на меня, а я на вас. Нам нужно различие, потому что оно обогащает нас и умножает наши духовные потенции.

Отсюда вытекает, что мы, художники, должны вместе очень серьезно подумать о том, каковы новые возможности нашего искусства и литературы, что может искусство и что можно от него ожидать, как и о чем оно должно говорить, чтобы осмыслить неповторимое значение нашего времени, а равно освоить то, что мы по тем или иным причинам не сумели освоить прежде.

Ни одно общество, в том числе и социалистическое, не может создать идеальных, безупречных условий для развития искусства. Творческую жажду пристало утолять естественной, живой водой, а не дистиллированной.

Нам ясно видны коренные различия между западной системой и нашим социалистическим обществом. Важнейшее среди них в том, что человеку у нас присуще развитое чувство собственного достоинства. Допустим, по уровню материального благосостояния он пока не сравнялся со среднеобеспеченным жителем развитой капиталистической страны. Но ему не надо пресмыкаться перед каким-нибудь боссом. И он знает, что общество держится в первую очередь на нем, что без него ни один директор, ни один шеф не смогут двинуть дело.

Вот это главное, и это хорошо.

Жизнеспособность литературы и искусства измеряется, кроме всего прочего, и тем, насколько глубоко они проникают в самую суть противоречий общественного развития, в том числе развития нашего социалистического общества...

Хейнц Плавинус. Позвольте мне здесь прервать ход ваших мыслей. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить вас за те слова, которые вы сказали о ГДР. И так приятно совпало, что наша первая встреча состоялась именно в годовщину образования ГДР.

Чингиз Айтматов. Тем это приятнее, примите мои поздравления.

Хейнц Плавинус. Мы говорили о связи между литературой и философией, точнее — о проникновении второй в первую. По моему впечатлению, у нас эта связь заметно ослаблена, что означает отступление от одной из наших хороших традиций. Между литературой и философией Просвещения, классицизма, романтизма существовали тесные контакты. Если же не отступать так далеко в историю литературы, сошлюсь на Брехта. Ведь он не только драматург или лирик, он еще и мыслитель. И не только в своих теоретических работах, но и в своих драмах и в прозе.

Если взять нашу социалистическую систему, то какой вам видится связь литература — философия?

Чингиз Айтматов. По-моему, пока рановато говорить об этом как о решенной проблеме. Насколько я понимаю, дело тут обстоит отнюдь не просто. Для того чтобы возникли прочные связи между художественной литературой и философией, требуется какое-то историческое время. С каждой революцией жизнь общества начинается на совершенно новой основе. Все перестраивается, национализируются земля, предпринятия и так далее. Начинают действовать новые закономерности, возникают новые взаимосвязи.

На этом начальном этапе литература, а в частности и проза, намного более эмоциональна, нежели философична, склонна к взволнованной, подчас плакатной описательности. Она следует за новым, восхищается разломом, героизмом, в котором смешиваются стихийное и сознательное, фиксирует разрушение старого и первые шаги строительства нового.

Всему этому — и реальным событиям и их литературному отражению — пока лишь

предстоит попасть в орбиту широких философских размышлений.

С другой стороны, в период, когда зарождается новое, многое яснее: вот друг, а вот непримиримый враг, которого нужно победить, перед тобой неотложная задача индустриализации, значит, ты должен строить заводы и фабрики...

Сегодняшний стабильный уклад сложнее. Взгляду открывается пестрое сплетение факторов, которые требуется анализировать, исследовать. Человек вновь и вновь приходит к вопросу о самом себе, к вопросу о том, кто он и как стал таким, каков он есть в эти 70-е годы.

Когда перед литературой встают подобные вопросы, она уже не может довольствоваться тем арсеналом художественных средств, которым располагала вначале. Я вовсе не хую тот начальный период, отлично сознавая его закономерность.

Хейиц Плавюс. Без него мы не были бы сегодня тем, чем мы стали.

Чингиз Айтматов. Вот именно, есть закономерности развития. Конечно, нами бережно сохранены идейные принципы, провозглашенные вначале, являющиеся основой нашего общества в целом. Сохранились и получили дальнейшее развитие дорогие каждому из нас социальные идеи, но на их фоне происходит дифференциация всей жизни, всех сфер общества. Сложнее становится и духовный уклад современника. Возьмем элементарный пример. Тридцать (я не говорю уже пятьдесят) лет назад не существовало термина «охрана окружающей среды». Никому такое и во сне не снилось. Природы, земли, воды — всего хватало. Человека еще не одолевали сомнения и беспокойство, которым он подвержен сегодня. А если взять школу, проблемы воспитания...

Хейиц Плавюс. В дороге я читал повесть Тендрякова «Ночь после выпуска».

Чингиз Айтматов. Она затрагивает именно эти вопросы. Сегодня все, что касается педагогики и воспитания, тесно переплетается, и даже воспитанник влияет на воспитателя. Пойдем дальше. Научно-технической революции сопутствует так называемый информационный взрыв. Такой высокой степени информированности еще не достигало ни одно поколение.

До сих пор мы не знали такой степени развития международных контактов. Только одия пример: до вас здесь был Антониони, до него венгры, до них японцы. Даже в

нашей маленькой республике мы день за днем чувствуем ритм современности, ощущаем нашу связь с миром и общаемся с ним.

Все это, конечно, не может не потребовать от литературы расширения ее философского диапазона. Сегодня литературе не обойтись без сложного мировосприятия, без развернутого, детального изображения психологии современника, человека наших дней.

Когда литературе, когда прозе это удается, она обретает подлинную власть над читателем. По моему мнению, произведения Томаса Манна — один из лучших во всей мировой литературе тому примеров.

Я должен сказать, что люблю читать не только его произведения, но и его письма. Томас Манн принадлежит к тем большим художникам, которые как бы выбиваются из всяких ранжиров. Казалось, что после него должен появиться художник, который встал бы еще выше. В духе, так сказать, прогресса. Но прогресс тут пока не ощущается. Я не хочу сказать, что сейчас происходит отступление назад, но и достаточно крупный шаг вперед еще не сделан, и сделать его способен художник такого же крупного порядка. Но он не будет Томасом Манном, он будет в корне от него отличаться.

Хейиц Плавюс. Несколько слов в связи с тем же кругом проблем... Я далек от попытки схематизировать, но, говоря упрощенно, существует литература разных уровней. С одной стороны, художники ранга Томаса Манна, выполняющие функцию мыслителей, первооткрывателей. Эта литература вспахивает целину. За ней следует — и это не связано с нравственно-эстетическими пороками — литература...

Чингиз Айтматов. За ней идут эпигоны в положительном смысле.

Хейиц Плавюс. ...да, литература, которая подхватывает эти большие открытия и работает о том, чтобы они стали общедоступными. Мне кажется, что такие «уровни» литературы не существуют один без другого.

И необходимо говорить об их взаимодействии, не восклицая в одном случае «осанна!», а в другом — «фрасни его!».

Чингиз Айтматов. Сказанное вами легко проследить в нашей советской литературе. Тут существуют вершины, как, скажем, Шолохов, Леонов, Пастернак, Маяковский. Среди писателей новых поколений подоб-

ных вершин у нас нет. Есть много интересных и превосходных прозаиков, поэтов, в основном перерабатывающих тот опыт, который стал доступен благодаря большим художникам.

Хейнц Плавниус. Другая причина дифференциации литературы связана с различием читательских запросов. Не каждый должен и будет читать Томаса Манна.

Чингиз Айтматов. Совершенно правильно. Я с этим полностью согласен. Это соответствует реальному положению вещей.

Но мы должны пойти дальше. Существует еще литература третьего и четвертого сортов. Это уже открыто «иллюстративная» литература, которая на Западе порождается стихией рыночного спроса. У нас литература этого уровня «выезжает» на актуальности темы. Я оставлю открытым вопрос о том, пользы или вреда больше от такой продукции. Но как в лесу с высокими деревьями не обойтись без кустарника, так и здесь.

Всегда наряду с настоящими, способными художниками существуют ремесленники. И они тоже делают погоду. Порой для них возникают — хотя никто не устраивает этого сознательно — благоприятные условия. В результате распространения средств массовой информации легковесные творения как наиболее «транспортабельные» для массовых средств коммуникаций, и в первую очередь для телевидения, широко распространяются, и вокруг них создается нечто вроде мнения. Что тут можно сказать? Это живая жизнь...

Хейнц Плавниус. Конечно, мы должны с этим жить, но мы должны и говорить об этом.

Чингиз Айтматов. Вот именно. Я за то, чтобы наша печать публиковала на своих страницах больше острых статей о текущей литературе. И не только тогда, когда появляется произведение, не удовлетворяющее нас по своим идейным качествам, но и о произведениях серых, спекулятивных.

Хейнц Плавниус. Из многих разговоров с писателями я извлек вывод, что существует два типа авторов. Одни совершенно не способны взяться за подкажанную кем-то «деловую» тему, другие могут. Это деление никак не связано с эстетической зрелостью художника или с художественной слабостью его творчества. Я хочу напомнить слова Фюмана, который в одном из своих обращений к молодым авторам посоветовал

им не начинать писать, если у них нет ощущения, что они должны писать на эту тему.

Чингиз Айтматов. У искусства, как, допустим, у любого толкового собрания, есть своя повестка дня. Если говорить о нашем социалистическом искусстве, здесь «первый пункт» — изображение рабочего класса. Так оно и должно быть, потому что речь идет о той части общества, трудом которой создаются материальные богатства и которая составляет основу нашей социальной организации. Но повестка дня — это одно, а ораторы — нечто совсем другое. В нашей власти утвердить повестку дня, но не выступления ораторов. Каждый сам решает, подготовлен ли он к этому первому пункту...

Хейнц Плавниус. Мы неоднократно наблюдали, что один лишь выбор темы, которая стояла первым пунктом повестки дня, уже позволяла критике делать автору большие авансы.

Чингиз Айтматов. Но ведь не выбор, а уровень решения темы важнее всего.

Хейнц Плавниус. Потому что при низком уровне есть лишь заявка на тему, но нет искусства. Мне кажется, что трудность воплощения «производственной» темы связана и с тем, что исторически сам предмет еще очень молод. Кроме того, с этой темой неизбежно связываются столь важные вопросы, как вопрос об исторической миссии рабочего класса.

Чингиз Айтматов. Да, если брать широкие масштабы времени, то наше общество и в искусстве находится на ранней стадии развития. Что такое с исторической точки зрения пятьдесят или шестьдесят лет? Конечно, за это время произошел невероятный прогресс. Но мы не должны никогда забывать, что начали нечто совершенно новое, чего никогда раньше не было. При этом мы хотим делать как можно меньше ошибок. Видимо, отсюда наша сугубая осторожность в тех случаях, когда нужно прямо сказать о художественной несостоятельности «актуального» по тематике произведения.

Чего нам часто не хватает в наших произведениях о современности, это действительно глубокого дыхания, попытки охватить великие идеи и процессы и показать их с художественной глубиной и многоплановостью.

У Томаса Манна есть статья «Любек как форма духовной жизни». В самом назва-

нии — исключительно емкий образ. Я не думаю, что «Любек» (в расширительном значении) обязательно должен быть географически определенным местом, хотя у меня, например, такое место есть — это мой родной аул Шекер. Но речь идет не о социальном или географически определенной форме жизни, речь идет о том, что под влиянием традиций, определенного социального уровня, накопления практического и духовного опыта, под влиянием изменяющихся мир процессов, свидетелями и участниками которых мы являемся, складывается именно духовная форма жизни, которая питает собой талант. Здесь у каждого автора разные источники и связи, и каждый должен работать в соответствии со своими возможностями.

Значительные произведения о рабочем классе возникают не благодаря нашим пламенным призывам, а только тогда, когда сама тема отвечает внутренним склонностям и опыту писателя.

Создание на эту важную тему серьезных произведений, полных глубокого реализма, зависит от культурного климата во всем обществе, в самом рабочем классе. Это значит, что, не ослабляя необходимых связей писателей с предприятиями, мы должны настойчиво развивать культурные и литературные потенции всего народа. Эту задачу трудно решить с помощью одних благих пожеланий. Я не случайно употребил слово «климат». Благоприятный климат как в большом, так и в малом является решающей предпосылкой для расцвета искусства.

Хейнц Плавнус. На одной встрече писателей Франц Фюман рассказывал о своих наблюдениях над жизнью шахтеров. Между собой они говорят на своем языке, когда же они входят в кабинет шефа или поднимаются на трибуну, язык, стиль речи сразу же меняются. Люди как бы переходят из одной среды в другую. Это как с палкой, опущенной в воду: там, где кажется, что она есть — там ее нет, а там, где она есть, кажется, будто ее нет. Не происходит ли в таких случаях некое вращение личности в готовый шаблон, дробление единого языка общения на два «рукава»? Крыстоф Теодор Теплиц в варшавском журнале «Культура» к аналогичным явлениям приложил антитезу — речь и антиречь, разумея, что речь — это язык официального общения, средств массовой информации, а антиречь — язык, который развивается параллельно, язык, например, молодежи.

Чингиз Айтматов. Мне кажется, что такая дифференциация в принципе естественна: и жизнь в этом смысле «разноязычна» и искусство. Никому не придет в голову идея использовать средства балета, чтобы показать, как рабочий входит в кабинет директора, чтобы рассказать о своих трудовых успехах. У балета своя сфера, своя стихия — легенды, сказки, выражение тех чувств, которые не могут быть конкретизированы со всей реалистической достоверностью.

В том, что вы говорили о Фюмане, нет ничего неожиданного. В повсечасном обиходе шахтеры разговаривают запросто, ругаются, посылают кого-то к черту. Все это нормально. По-иному, согласно общественному «этикету» они ведут себя, участвуя в важных общественных делах. В каждой сфере их поведение по-своему правдиво. Но, видимо, Фюман имел в виду и другое — что человек, поднимаясь на общественную сцену, держится там нарочито, надеясь создать о себе какое-то особое впечатление, зарекомендовать себя нужным образом. Такое существовало во все времена. В произведениях классики мы найдем немало подобных фигур.

Странно было бы отрицать живучесть подобного явления и в наших условиях. И не замечая его, игнорируя в своих произведениях, мы, разумеется, рискуем отойти от достоверности.

Хейнц Плавнус. Продолжая наши рассуждения, я хотел бы вернуться к вопросу об особенностях прозы 70-х годов. Может быть, мы попытаемся охарактеризовать их более определенно.

Чингиз Айтматов. Ну, если получится. Мне кажется, важно оценить наш литературный опыт с исторической точки зрения, исходя из того, что человечество и его духовная культура совершенствуются. В области литературной техники, мастерства движение и совершенствование особенно заметны. Но это относится и к художественному содержанию (вспомним, например, о манере старых прозаиков помещать в название или подзаголовок практически весь сюжет истории — после этого и читать необязательно). Когда мы говорим о современной прозе — я имею в виду прозу всего мира в лучших ее проявлениях, — мы должны признать, что она с возрастающей чуткостью улавливает непосредственное движение жизни, сложнейшую диалектику людских взаимоотношений, изображает

действительность точно и метко; стремится нащупать и выразить самое сокровенное в человеке.

Литература стремилась к этому и прежде. Но быть вполне естественной ей нередко мешали затверженные условности. Например, в драме мысли героя передавались с помощью ремарки «в сторону». Такого рода механические черты отличали и прозу. Сегодня мы знаем, как важна внутренняя работа, как важно скрытое.

Хейнц Плаввиус. Когда вы говорили о раннем этапе нашей литературы, вы употребили термин «описательность». Этот термин и у нас является предметом дискуссий. Я сам попытался использовать его в некоторых статьях, чтобы с его помощью охарактеризовать различие уровней в литературе. У иных это вызвало отрицательную реакцию.

Чингиз Айтматов. Но почему же?

Хейнц Плаввиус. Может быть, я действительно употреблял его недифференцированно. Описание — это, возможно, переходная стадия к настоящему углубленному реализму. Ленин, когда он говорил о познании новых предметов, указывал на то, что любой процесс познания начинается извне. Исследование внешних слоев, поверхности по необходимости оборачивается описанием.

Чингиз Айтматов. Возьмем такой пример. Мы все читали «Как закалялась сталь» Островского, и все мы ценим этот роман как произведение советской классики. На нем мы выросли нравственно и духовно. Каждый знает тяжелую жизнь Островского и то, в каких условиях он писал свой роман. Но если абстрагироваться от этого, если оценивать его как писателя, если говорить о точности языка, об образности, то литература тут пошла дальше. И так как речь идет о закономерном процессе, то нет никакой причины для «обид» за Островского, чье значение конечно же непреходящее! Однако для зрелого читателя традиционный способ последовательного описания, наверно, уже недостаточен. Ресурсы описательности ограничены, она не в состоянии дать нам почувствовать всю сложность нашей действительности. Отсюда в подходе современных писателей к человеку — многоплановый психологизм.

Недавно мне представилась возможность выступить на конференции молодых писателей Азии и Африки в Ташкенте. В своем докладе я попытался обосновать тезис о

неисчерпаемости человека как главного объекта искусства.

В части исследования сферы человеческого духа наши писатели должны очень многое сделать, многое познать, чтобы достичь высот, скажем, титанов критического реализма, чтобы сравняться с ними по силе и влиянию.

Хейнц Плаввиус. Я думаю, что нам надо уточнить, на какой стадии развития социалистического реализма, ставшего за десятилетия своего существования одним из важнейших направлений в мировом искусстве, мы сейчас находимся. Это очень важно и в связи с теми общими чертами, которые проявляются в развитии искусства социалистических стран.

Мы уже говорили о первом периоде в развитии нашей литературы и оба согласились с тем, что он создал предпосылки, без которых невозможно было дальнейшее развитие. Мне кажется, что сейчас мы находимся в середине второго периода, важные черты которого вы уже охарактеризовали выше. Я бы подчеркнул еще одну особенность, достаточно ясно определившуюся в искусстве ГДР за последние годы. — интенсивное использование художественного опыта и традиций прошлого.

Очевидно, реализм как художественный метод среди всех существовавших методов оказался наиболее способным к изменениям и усвоению предшествовавшего опыта. Этой способностью обладает и социалистический реализм. Может быть, современный этап его развития стоит определить так: на фоне своей возросшей эстетической уверенности он вбирает в себя опыт всей мировой культуры. И это, на мой взгляд, залог его дальнейшего подъема.

Чингиз Айтматов. Я хотел бы уточнить. Действительно, социалистический реализм имеет законное право стать наследником всего, что было до него. Но еще важнее — его собственный вклад в движение литературы, то, что он приобрел с помощью своего собственного опыта. И еще: всякая периодизация достаточно произвольна и многое схематизирует. Когда речь заходит об этапах, возникает ощущение, что процессы, происходящие в действительности параллельно или синхронно, протекают последовательно один за другим.

Хейнц Плаввиус. Мы, видимо, можем рассчитывать на то, что эти наши рассуждения вызовут резонанс и в результате найдутся более подходящие ответы.

Я вновь возвращаюсь к вопросу о специфике литературы последних лет. Недавно в интервью для «Вопросов литературы» (№ 8 1976 года) вы сказали: «...воспроизвести жизнь, историю может только проза. В особенности — реализм. Это венец всякого искусства».

Боюсь, что черты натурализма и посредственности, о которых уже говорилось, находят подкрепление в некоторых теоретических предположениях. Вспомните об определении реализма как отражения, воспроизведения жизни в формах самой жизни. Пользуясь термином «воспроизведение», не толкаем ли мы литературу к пассивной описательности?

Чингиз Айтматов. Ни один термин немислим вне определенной связи. Говоря «воспроизведение», мы подразумеваем и мыслительный, идейный момент. Невозможно механически воссоздать действительность. Я нахожу или придумываю мысленные образы. Вы читаете эти образные символы, и перед вашим умственным взором возникают картины реальной жизни. Если понимать дело так, то мы придем к выводу, что проза обладает наибольшими возможностями потому хотя бы, что не связана такими, например, заданными условиями «формы», как стихотворный размер и ритм. И, конечно, нужно учитывать, что проза очень близка человеческому мышлению, обычному, повседневному сознанию, близка к потоку сознания (не в модернистском, однако, значении этой формулы).

Хейиц Плавюс. В процитированной фразе сказано «только проза». Не звучит ли это слишком категорично?

Чингиз Айтматов. Хорошо, скажем: в первую очередь проза. Театр, например, обычно берет определенный разрез жизни. И фильм. Иногда он даже может показать то, что не удастся прозе. Но в конечном итоге, когда человек остается наедине с самим собой, ему нужнее всего книга как основа его духовного самопостижения, духовной ориентации в кругу сложнейших вопросов.

Хейиц Плавюс. Можно ли говорить в этом смысле о прозе как о матери всех искусств?

Чингиз Айтматов (после некоторого колебания). Да, сегодня это так. Она великая собирательница духовной энергии и одновременно великая поощрительница нравственной жизни человека. Я имею в виду реалистическую прозу. Вернее — тот идеал

реалистической прозы, который хотелось бы видеть воплощенным в движении наших социалистических литератур. Меня мало убеждают теоретики, которые стремятся изобразить дело так, будто социалистический реализм является совершенно определенной, законченной системой художественного восприятия и освоения мира. Метод нашего искусства находится в постоянном развитии. И если мы будем исходить из того, что социалистический реализм — основное художественное направление нашего века, то уже из этой «растановки» видно, что он должен многое впитывать в себя из других смежных, параллельно развивающихся методов и стилей.

Хейиц Плавюс. Что вы думаете в этой связи о новейших течениях в зарубежном искусстве?

Чингиз Айтматов. На мой взгляд, было бы неправильным делать вид, будто не существует опыта абстракционизма.

Ряд произведений абстрактного искусства, которые я видел за рубежом, показались мне весьма примечательными.

В Вашингтоне есть музей современного искусства с очень большим прилегающим парком. История искусства представлена здесь по эпохам, с разными эпохами посетитель знакомится в соответствующих залах или на открытых площадках. Перед входом в музей — скульптурное изображение пожилого человека в старомодном пальто. Прежде чем подойти к этой фигуре, я долго кружил вокруг другой скульптуры. Представьте себе конструкцию, составленную из обрезков газопроводных труб огромного диаметра; металлические кольца нарезаны косо, как кусочки колбасы. Эта конструкция, покрашенная в красный цвет и стоящая на гранитном постаменте, действовала на всю обстановку, на парк, на помещение, на мое настроение. Недалеко от нее как раз и стояла позеленевшая бронзовая фигура, изображающая грусть и усталость. Приблизившись к ней, я узнал роденовского Балзака. Сочетание, «переключка» этих фигур привели меня в состояние шока, открыли мне глаза.

Всем этим я хочу сказать, что когда мы говорим о реализме и о его правдивости, о его «границах», то мы должны понимать это творчески, не допускать прямолинейности и упрощенных противопоставлений. Я вспоминаю одну сцену из Кобо Абэ, в которой описываются «мысли» мертвого.

Преступник, убивший этого человека, хотел представить дело так, будто тот утонул сам. Убитый «комментирует» действия убийцы. Вот ход его рассуждений: я знаю, сейчас ты примешься вливать в меня воду, при этом ты будешь очень волноваться, ты попытаешься сделать все, чтобы исключить версию убийства. Но ты не учел, что когда утопающий захлебывается, планктон проникает до капиллярных сосудов легких. Если судебно-медицинская экспертиза будет проведена тщательно, она установит, что в моих капиллярах нет планктона.

Может показаться, что реалистический художник не вправе так писать. Но у Кобо Абэ прием этот органичен и убеждает.

Хейнц Плаввиус. Нечто подобное мы найдем и в романе «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса, где давно умершие фигурируют в числе действующих лиц, что в данном случае является своеобразной формой осознания истории.

Чингиз Айтматов. Конечно. «Сто лет одиночества» — выдающееся явление, говорящее нам: друзья, оставьте позади все априорные правила и вообще все, что вас сбивает. Не всякий прозаик может воспользоваться подобной «находкой». Механическое перенесение «приемов» к добру не ведет. Я, например, никогда не буду так писать. Я должен писать в соответствии с моим образом мышления, с моим видением, я должен возвращать свою любовь к человеку.

Хейнц Плаввиус. Но вы способны понять и принять нечто далекое от вашей собственной манеры.

Чингиз Айтматов. Мне кажется, я непредвзято воспринимаю чужую манеру. Но есть и неперемное условие моего контакта с другим, «непохожим» художником: при всем различии у меня с ним должна быть важная точка соприкосновения — общее стремление использовать слово для защиты человеческой личности. Когда есть эта точка соприкосновения, во всем остальном может быть различие и все равно этот писатель не будет чужим для меня.

Хейнц Плаввиус. Какие тенденции современного развития мировой культуры кажутся вам особенно примечательными?

Чингиз Айтматов. По этому поводу я вряд ли скажу что-либо новое, неожиданное; есть специалисты, которые изучают мировое искусство. Мы живем в интересную эпоху. Сегодня невозможно обозреть

все, что пишут, и всех, кто печатается. В каждой стране множество издательств, больших и маленьких. Все они выпускают море книг. В Анкаре на одной улице расположено четыре издательства, и каждое вело переговоры со мной. Без книг нашу жизнь трудно себе представить.

В последние годы, по общему признанию, наблюдается книжный бум. Вчера я обратил ваше внимание на толпу людей. Ночью люди становятся в очереди перед книжными магазинами, где принимаются заявки на подписку. Раньше так стояли за картошкой.

Представьте себе, они не спят, составляют списки, раздают номера — все из-за книг. Я считаю это важным симптомом.

И литература сама сегодня очень активно развивается. Лет тридцать назад существовали английская, американская, французская, немецкая, итальянская, русская и испанская литературы. Ими определялось понятие мировой литературы. Сегодня ее границы раздвинулись.

В связи с революционным процессом, с национально-освободительным движением проснулись многие народы. У них обязательно возникает вопрос: «Кто мы такие?» Они стремятся осознать себя художественно.

Подумайте, сколько появилось новых африканских писателей. То же самое относится и к области кино. Сегодня не существует ни одной страны, бедной или богатой, которая не хотела бы сказать свое слово на экране.

Этот охватывающий мир поток, это в общем пробуждение художественного явления привело к различным результатам. С одной стороны, мы наблюдаем разрыв «массовой», или рыночной, культуры, которая используется определенными политическими силами с целью отвлечения от насущных жизненных проблем. С другой стороны, в мировом литературном процессе мы наблюдаем усиление и рост подлинно художественных сил. Так, например, латиноамериканская проза представляет собой совершенно новый феномен. Подобные явления в конечном итоге свидетельствуют о том, что в этом процессе преобладает позитивное начало.

Вот за этим столом, где мы сейчас беседуем, несколько дней назад сидел Микеланджело Антониони. Вместе с ним приехал итальянский писатель, сценарист Тонино Гуэрра, соавтор Феллини по сценарию

фильма «Амаркорд». Наш разговор касался различных предметов. Антониони выразил свое глубокое беспокойство по поводу состояния молодого киноискусства. На Западе, говорил он, молодые режиссеры одиноки, замкнуты. Для того чтобы сделать фильм, нужны деньги. Молодой режиссер снимает развлекательный фильм, детектив, порнографию, считая, что вырученные деньги дадут ему возможность сделать серьезный художественный фильм. Но это, по словам Антониони, замкнутый круг. Уступки антиискусству не проходят даром. И молодой режиссер, попробовав сладкие плоды легкого труда, далее просто плывет по течению.

Очень редко удается сильным одиночкам, талантам выбраться из этого болота. То же самое происходит и в литературе.

Хейнц Плавнус. Когда я рассматриваю прозу последних десятилетий, возникает ощущение, что масштаб уменьшился, такие глубокие эпические произведения, как романы Хемингуэя, Фолкнера или Томаса Манна, теперь являются реже.

Чингиз Айтматов. Мне кажется, что на Западе нет сегодня писателей этого ранга. Конечно, они не могут возникать каждый день. С другой стороны, мое впечатление от того, что я читаю, что мне доступно, — внутри художественного творчества происходит сильная специализация.

«Кусочки» становятся все меньше, хотя очевидно, что растет тщательность, с которой они пишутся. Писатель выбирает себе маленький участок, который тем тщательнее обрабатывает. И пока ему не удается достичь масштаба Томаса Манна и Фолкнера. Во всяком случае пока. Кстати, Хемингуэй сказал, что для того, чтобы стать большим писателем, нужно долго жить. Этого хотел бы каждый, но это сказано не зря. Зрелость приходит с возрастом. Особенно в прозе, задача которой — охватить весь мир.

Хейнц Плавнус. Не сводя наш разговор к частностям, я хотел только заметить, что на те же мысли меня навел путь развития, пройденный Бёлем. Если вспомнить «Бильярд в половине десятого», то это эпически широко задуманное произведение, конечно, но масштаб Томаса Манна. В следующих произведениях масштаб сужается.

Чингиз Айтматов. Бёль, конечно, интересный художник. Может быть, он даже является собой пример той самой узкой специализации. Может, у него, сейчас как раз пе-

риод перестройки, может быть, он вновь достигнет больших высот.

Хейнц Плавнус. Еще немного о культуре Запада... Раньше в теоретических работах термины «модернизм», «декадентство» встречались на каждом шагу. Теперь они попадают гораздо реже.

Чингиз Айтматов. Чем это объяснить?

Хейнц Плавнус. Видимо, их употребляли так часто, что с их помощью стала невозможной дифференциация реальных явлений. Но сами явления все же существуют.

Чингиз Айтматов. Не надо бояться слов. Следует только отчетливо представлять себе, что за ними стоит.

Модернизм и декаданс отражают определенные позиции, которые можно оспаривать, критиковать, избегая при этом излишней размашистости. У этих течений есть свой опыт, есть живые элементы...

Хейнц Плавнус. Если в них есть такие элементы, то это, мне кажется, связано с тем, что многие «измы» в начале века возникли из протеста против самодовольной буржуазности.

Чингиз Айтматов. Может быть, эти «измы» возникли не столько из протеста против существующего общества, сколько из протеста против застывших канонов культуры и искусства. Когда определенное течение в искусстве достигло своего апогея и идет на спад, оно застывает в догмах. Тут-то и возникает какой-нибудь «изм», который пытается преодолеть эстетическую инерцию, предлагая нередко эксцентричную систему условностей.

Хейнц Плавнус. Давайте задержимся на этом понятии — «условность».

Вот вы сослались на условный прием из романа Кобо Абэ. Если выразить это с помощью принятых у нас терминов, то речь идет о художественном средстве, которое основано на предположении, что мертвый может говорить. Если при использовании приема автором сохраняется момент реализма, то и к нашему конкретному случаю приложим выдвинутый вами тезис: в прозе должен присутствовать весь мир. Если я (что не совсем свободно от банальности) отношу этот тезис непосредственно к данному случаю, то получается, что сегодня, быть может, нетрудно совершить убийство, но трудно его замаскировать, ведь современный мир обладает широким набором средств и методов (хотя бы в сфере криминалистики) расшифровки того, что скрыто. И масса людей информирована о

существовании этих средств. Такие художественные приемы поэтому встречают у читателя понимание. Говоря в целом, эти средства не отвергаются, и они не вызывают отчуждения.

Литература ГДР широко использует такие средства, как «условность». В последнее время проза охотно прибегает к использованию легенд и сказок; к ситуации «как будто», широко применяя игровые элементы, символы, параболы и т. д. Иными словами, художники относятся серьезно к присущему любому искусству фиктивному моменту. Причем эти средства используются в последнее время форсированно. Если бы я стремился найти для подобных художественных средств апробированный термин, то в качестве немецкого соответствия термину «условность» я назвал бы брехтовское понятие «отчуждения»...

В своем уже упоминавшемся интервью Виктору Левченко для «Вопросов литературы» вы сказали: «Реализм дает большие преимущества, потому что другие методы в искусстве имеют много условностей (закключают с нами договор), и только реалистическая проза вне договора. В такой прозе нельзя говорить только о себе, всегда, даже исповедуясь, больше говоришь о мире».

Я согласен с вами относительно преимуществ реализма. Но разве реализм не использует условность? Ведь мы, кажется, соглашались, что наш реализм неуклонно расширяет свои возможности...

Чингиз Айтматов. Искусство вообще немислимо без условности, без отчуждения, без фикции. Возьмем балет, в котором очень силен элемент отчуждения, фикции. У него есть свои канонизированные особенности: пластика, грация, ритм, темп; страсть, грусть изображаются только через пластику движения. Все это я в состоянии воспринять, хотя постоянно осознаю, что в действительности люди не общаются посредством танца.

То же в драме. Ты приходишь в театр и знаешь, что это занавес, который поднимется и выйдут актеры и начнут играть, что-то представлять и т. д. Поэтому было бы глупо выступать против фикции, условности. Но возникает вопрос: с каким мастерством они используются?

Хейнц Плаввиус. И в какой художественной структуре.

Чингиз Айтматов. Правильно, в какой структуре. Если мы возьмем прозу, то форсированное использование символов, парабол и т. д. далеко не всегда ей на пользу. Я, например, в своей работе избегаю акцентировать эти средства. Потому что они «примитивизируют».

Хейнц Плаввиус. А если без их помощи невозможно осуществить свой художественный замысел?

Чингиз Айтматов. В этом случае искусство переходит на язык символов. Но если возможно без них обойтись, если художник находит другие решения, то мне кажется, что лучше обойтись без них. Сошлюсь на собственные ранние вещи — у меня нет причины от них отрециваться, хотя они написаны, ну, скажем, в романтическом плане. Сегодня я, без сомнения, их так бы не написал.

Мне известно, что у этих ранних вещей есть свой широкий читательский круг. Сегодня, когда я пишу в иной манере, у меня, судя по ряду признаков, меньше читателей. Не скажу, что я этим обескуражен: ведь мои последние работы и рассчитаны прежде всего на подготовленного читателя. Говоря о подготовленности, разумею не только определенную квалификацию в чтении книг, а в первую очередь жизненный опыт, знакомство с проблемами, которые волнуют мир.

Вот из каких соображений я пытаюсь обходиться без отчуждений, которые, усложняя текст, способны примитивизировать картину мира. В последней моей повести «Пегий пес, бегущий краем моря» (о ней, кстати, уже писал «Новый мир») действие происходит на море. Персонажи находятся в пограничной ситуации. Лодка — это мир. Для меня немислимо найти подход к элементарным проблемам этого мира с помощью символов и тому подобного. Я вижу свою задачу в том, чтобы подвергнуть нравственную основу героя максимальному испытанию.

В сущности, вся современная проза занята такой проверкой, ставя перед обществом вопрос о том, насколько наши собственные поступки соответствуют общим требованиям, нашей исторической миссии.

Хейнц Плаввиус. Я хочу обратиться к другим темам, которые приобретают все большее значение для будущего развития литературы. Как, например, обстоит дело с проблемой окружающей нас среды? Или — на другом тематическом участке литерату-

ры — как решается проблема фетишизации вещей, психологии потребительства?

Чингиз Айтматов. Обе эти темы очень важны для нашего искусства. Вы знаете о тех событиях, которые разыгрывались вокруг озера Байкал. Конечно, в защиту уникального озера сказали веское слово специалисты, ученые, но делом всенародным судьба Байкала стала лишь тогда, когда о ней заговорило искусство. Я сам несколько лет назад в интервью для «Литературной газеты» выступил за сохранение естественной красоты Ферганской долины. Мне кажется, защита окружающей среды — естественное и необходимое дело искусства.

Что же до проблемы потребительства, то у нее очень много аспектов. Конечно, мы не можем относиться нейтрально к алчности мещанина. Это не означает, что мы призываем к аскетизму. Те, кто производит материальные богатства, имеют право ими пользоваться. Но где граница, за которой начинается болезнь «вещизма»?

Во многих странах вопрос об удовлетворении материальных запросов населения стоит еще достаточно остро. Какая дисциплина должна ставить подобные вопросы на духовном уровне? Я вовсе не хочу поднимать литературу над всеми остальными, но ее специфическим средствам вполне подвластны такие проблемы.

Что может литература избрать критерием, определяющим односторонность аскезы и фетишизм благосостояния? Мне кажется, что только разум. Под разумом я в данном случае понимаю строгую меру и четкий принцип, отвергающий нищету запросов, ставящий преграду ожирению. С какой бы стороны мы ни подходили к этой проблеме, повсюду наталкиваемся на новые требования и новые возможности современной прозы.

Хейнд Плавбус. В нашей литературе до сих пор потребительскому фетишизму уделялось мало внимания, в то время как я знаю, что в советской литературе, особенно в драматургии, а в прозе, скажем, у Трифонова, эта тема занимает важное место. Конкретные художественные решения, по моим наблюдениям, чаще всего полемичны по отношению к мелкобуржуазным взглядам, которые распространились при ситуации роста благосостояния. Диалектика отношений индивидуума и общества зачастую нарушается не в пользу общества, порой происходит самоизоляция индивидуума, утрата им интереса к обще-

ственной и политической жизни, возникает престижное мышление, и тогда в конечном итоге это ведет к стиранию ярко выраженной индивидуальности. Вы справедливо говорили о критерии разума...

В настоящее время у нас появились некоторые произведения, авторы которых занимаются исследованием человеческой совести. Думаю, что при ближайшем рассмотрении это понятие вовсе не расплывчато. У Маркса есть определение, которое подкрепляет ту мысль, что современная проза должна охватывать все современное состояние мира. Маркс говорил, что совесть связана со знанием и со всем образом существования человека.

Если, творя прозу, автор думает обо всем мире, если понятие совести возникает из всего образа жизни человека, то проза, следовательно, не может обойтись без попытки исследовать эту сферу.

Чингиз Айтматов. Но, может быть, было бы неправильно обозначать проблему совести как специальную в литературе тему. Ведь, собственно, о чем бы ни говорило искусство, оно говорит об этом. Совесть, если формулировать обобщенно, есть внутренний стимул и внутренний тормоз: что разрешается и что запрещено? Что прекрасно, а что отвратительно? Если у тебя есть совесть и ты убьешь человека, то потом ты убьешь себя. Если у тебя нет совести, то ты будешь спокойно спать. И так во всех вопросах. Ты можешь кого-нибудь обидеть необдуманным словом. Если у тебя есть совесть, ты утром извинишься. Это элементарные формы проявления совести. А над этим возвышаются иные категории: социальная, гражданская совесть.

Но вот что удивительно: все мы понимаем, что такое совесть, все мы за нее, однако постоянно происходят потрясения, после которых человечество испуганно спрашивает себя, куда же девалась совесть. Совесть — это «я». Мое «я» — это совесть. Это «я», вступая в контакты с окружающими, руководствуется совестью. По сравнению с отправными нормами человеческого «я» вещественные отношения кажутся вторичными, производными. Производными от совести являются и другие качества, как, например, принципиальность или уклончивость, скромность или самодовольство. Литература и искусство с самого начала сделали вопросы совести основным предметом своей заботы. Главный пафос

Достоевского, например,—сострадание и участие, пробуждаемые к униженным. Его взгляд постоянно обращен на тех, кто подавлен в силу исторических и социальных причин, кто должен доказывать свое право считаться человеком. Чтобы сохранить человеческое достоинство в себе самом и в других, нужно понимать, что это достоинство существует только благодаря законам общения. Когда я раню достоинство другого человека, я не должен воображать, что мое собственное достоинство осталось незадетым.

Все это принадлежит к сфере совести, и утверждение ее высоких норм — святой долг социалистического реализма.

В прошлом году в «Литературной газете» был помещен большой очерк моего друга Аркадия Ваксберга под названием «Смерч». Группа молодых туристов отправилась в горы. В повседневных условиях это были порядочные люди, инженеры, лаборанты и т. д., веселые, доброжелательные друг к другу. Высоко в горах их застигла буря, ударил мороз, пошел снег. Среди туристов — двое давних друзей. Во время бури один из них оказался на узком уступе над пропастью. Он был человеком с совестью. Он попросил всех остальных застраховаться и после этого прийти ему на помощь. Но остальные, в том числе его друг, думали только о себе, они забыли о своем товарище, и он замерз. Когда туристам наконец удалось разжечь костер, сильные оттолкнули слабых от огня. Здесь совесть потерпела поражение.

Наша совесть подвержена постоянным испытаниям. Нужно только ясно осознавать это. И если взять большие масштабы, например взаимоотношения между народами и общественными системами, то результаты «испытания» приобретают особый вес. Иногда человечество с достоинством выходит из положения, но часто оно терпит поражение.

Хейнц Плавюс. Вы говорили об этом с особенным внутренним участием. Но так как наше время ограничено, позвольте мне почти без перехода перейти к следующему вопросу.

Бехер требовал от писателей самовыражения не в одном, а во многих жанрах. Ограниченность в диапазоне творчества, считал он, может повести за собой ограниченность в глубине. Кстати, и Горький говорил о том, что профессиональный писатель должен уметь все.

Мы знаем, что вы пишете прозу, публицистические произведения, эссе, но не чуждаетесь и драматургии, работаете для кино. Как обстоит дело с лирикой и как вы относитесь к этому высказыванию Горького?

Чингиз Айтматов. Я думаю, что Горький и Бехер были правы, потому что в идеальном случае было бы, конечно, очень хорошо, если бы писатель мог выражать себя в разных жанрах, если бы, как многорукий Шива, он мог бы одной рукой творить прозу, другой драматургию, публицистику, а третьей эссе, мемуары и т. д. Это сопоставимо с положением человека, который знает много языков. С увеличением их числа растет возможность воспринимать мир и выражать себя. Но «многожанровость» хороша при одном условии. Писатель не должен допускать снижения уровня. Если же «наш пострел везде поспел», но «поспел» за счет качества, то лучше сосредоточиться на чем-нибудь одном и делать это основательно. Что касается меня, то не могу сказать, чтобы я был особенно склонен варьировать виды творческой работы и отличался искусностью в этом. Но то, за что я берусь, стремлюсь делать основательно.

Еще раз хочу подчеркнуть, что для автора это только преимущество, когда он владеет многими жанрами, в том числе и лирикой...

Хейнц Плавюс. Вы не писали стихов?

Чингиз Айтматов. Нет, никогда. К каждой вещи нужно относиться серьезно, нужно знать свои границы и возможности. Я не пишу стихов и не стремлюсь к этому.

Хейнц Плавюс. Я видел вашу пьесу «Восхождение на Фудзияму» в постановке московского «Современника». От спектакля у меня осталось ощущение, что он ниже уровня пьесы.

Чингиз Айтматов. Не скажу, что мое вступление в «ранг» драматурга было безоблачным. Материал предназначался первоначально не для пьесы, а для повести. Но когда театр в лице Галины Волчек и Олега Табакова убедил меня, что мой сюжет более всего подходит для сцены, я рассказал сюжет своему другу казахскому драматургу Калтаю Мухамеджанову, который потом стал моим соавтором. Он написал на казахском языке первый вариант, который я перевел на русский. Мы дополняли друг друга, и так появилась пьеса.

Уже позднее, во время работы над постановкой, когда возникли всевозможные ор-

ганизационные трудности, я решил больше этим не заниматься.

Однако позднее, во время моей поездки в Америку, мне пришлось побывать в Вашингтонском театре «Арена Стейдж» на премьере нашей пьесы, и когда я увидел, как люди такой далекой страны, чужого мира принимали пьесу, как она их волновала, сколько вызывала мыслей, я решил, что это дело стоит того, чтобы им заниматься. Хотя пока на это не хватает времени.

Хейнц Плавиус. Я отчасти знаком с теми за и против, которые высказаны были по поводу пьесы и ее героев. Намеренно употребил термин «герой», чтобы перейти к следующей проблеме. В ходе дискуссии о пьесе были высказаны сожаления, что вашему произведению недостает героического звучания.

Но я бы сейчас хотел поговорить не о самой пьесе, а о проблеме героя. Пользуясь этим словом, невозможно забыть его семантику, абстрагироваться от понятия героического, и поэтому речь почти автоматически заходит о положительном герое.

Чингиз Айтматов. Путаницу в терминах должны решать теоретики. Я могу здесь лишь высказать некоторые мысли.

Невозможно прийти к герою лишь путем чистого разума. И если говорить о методе, то мне сегодня кажется, что самый зрелый метод — описание героя в третьем лице. Если героя описывают в первом лице, возможности ограничиваются. На моего героя воздействуют самые разные силы, в нем происходит сложная борьба. Поэтому мне кажется, что задача литературы состоит не в том, чтобы показывать хорошего агронома, или плохого председателя колхоза, или передового рабочего, или разоблачать отвратительного пьяницу, или расхваливать своего героя для всеобщего назидания.

То, что критики понимают под термином «положительный герой», нередко оказывается огрублением. Я не хочу затевать ссору с критиками, но мне мешает избитость термина, как бы отнимающего жизнь у того, что ты, писатель, выстрадал.

Если герой не является личностью, он может обладать многими хорошими качествами, но он не вызовет симпатии: в лучшем случае возникнет красивая икона. Герои серьезной литературы — противоречивые, сильные, внутренне богатые личности. Мы должны исходить из того, что наряду с несомненными, или, как говорится, идеальными

героями существовали и существуют люди, которые по той или иной причине не сумели реализовать полностью заложенных в них возможностей. Литература призвана исследовать личность как центр жизни общества в комплексе всех социальных и экономических условий.

В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов об эволюции героя. Для первых лет революции характерным было отражение в литературе романтического накала страстей, погрязения всех прежних представлений. С развитием нашего общества мы перешли к строгому реализму. От дидактики, от демонстрации идеальных образцов — к аналитическому характеру повествования, к постижению сложного.

Хейнц Плавиус. Мы уже неоднократно обсуждали вопрос о различных этапах развития социалистического искусства и неотделимую от него проблему прогресса. Со словами «движение вперед», «прогресс» мы всегда связываем нечто позитивное. Как вы смотрите на гуманистический аспект современного научно-технического прогресса?

Чингиз Айтматов. Мы знаем, что научно-техническая революция влечет за собой не только переворот в науке и технике, но и в других сферах, внося в нашу жизнь очень сильную дозу рационализма. Должны ли мы этому подчиниться? Должны ли мы лишиться чувств и эмоций и отдать себя на милость рационализму? Вот какой возникает вопрос. Во-первых, научно-техническая революция выявила наше нравственное отставание. Человечество в нравственном отношении не поспевает за теми достижениями, которые оно создает с помощью своего разума и своих рук. Тут возникает разрыв. В наш космический век, когда человек ступил на Луну, когда автоматические станции достигли самых далеких и неисследованных планет, когда мощь человека невероятно выросла, все развивается необычайно быстро. Казалось бы, не должно больше существовать преступлений, своекорыстия, чувства злобы или мести. Люди должны чувствовать себя как боги. Но на самом деле во многих странах мира растет число уголовных преступлений, наблюдается падение нравов. Все это рождает немалое беспокойство.

Хейнц Плавиус. Подобное состояние мира — предмет острой заботы литературы. Это заставляет меня сразу же перейти к другому вопросу. Как вы думаете, можно и нужно ли требовать от нее, чтобы она со-

здавала модели завтрашней, лучшей реальности? Я не имею в виду утопии, но разве не дело литературы, когда речь идет о нравственности, создавать определенные модели, изображать желаемые ситуации, которые должны быть вынесены на обсуждение всего народа, разве не дело ее подчеркнуть те стремления и желания, которые могут быть включены в программу будущего общества?

Чингиз Айтматов. Литература всегда должна касаться общих вопросов и заглядывать в завтра, без «моделей» ей, пожалуй, не обойтись.

Только благостно-прекраснодушные картинки будущего, возникающие под пером иных беллетристов, способны потешить разве лишь детское воображение. Серьезному, зрелому читателю прежде всего интересен человек завтрашнего дня, взятый в системе человеческих отношений. Эта система, мне кажется, и должна быть предметом художественного прогнозирования, или, если перейти на предлагаемый вами термин — «моделирования».

Хейнц Плаввиус. Что вы думаете в этой связи о перспективах сближения и сотрудничества между культурами разных народов мира?

Чингиз Айтматов. Идея всемирной культуры вообще принадлежит к самым значительным идеям человечества. Подходить к ней нужно творчески. Художественная культура, равно как и создаваемые ею «модели», не может быть и не будет повсюду одинаковой.

Речь должна идти о взаимопонимании на основе принципов гуманизма и веры в лучшее будущее человечества. С разных сторон мы все стремимся к этой цели, социалистическое содружество — это начало, главная сегодня сфера социальной, духовной солидарности, откуда исходят инициативные действия по созданию подлинно прогрессивной общечеловеческой культуры.

Хейнц Плаввиус. Теперь мне хотелось бы перейти к вопросу не столь масштабному, но отнюдь не второстепенному в нашей литературной жизни.

Речь идет об общественном резонансе произведений искусства, о борьбе мнений вокруг них. Мы у себя опубликовали дискуссию о «Белом пароходе», которая велась на страницах «Литературной газеты». Эта дискуссия встретила у нас горячий отклик как пример профессионального делового обсуждения, участники которого относи-

лись друг к другу с пониманием и уважением. Мне кажется, что когда о произведении искусства хотят установить единое непрерываемое мнение, это противоречит самой сути искусства.

Чингиз Айтматов. Дискуссии, столкновения различных взглядов — естественное условие развития искусства. Это не исключает того, что в результате, когда все уже высказались, кто-нибудь — редакция или авторитетный критик — возьмет на себя задачу подведения итогов.

Когда же произведение оказывается за чертой критических схваток, приобретает репутацию бесспорного, даже эталонного, то оно постепенно становится музейным экспонатом. Такая канонизация пойдет во вред даже самому гениальному произведению.

Хейнц Плаввиус. Я хотел бы вас спросить о вашем отношении к критике вообще.

Чингиз Айтматов. Прежде мое отношение было почти спокойным. Это, очевидно, определялось и уровнем попадавшей мне критики, где господствовала обзорность и поверхностная оценочность. Сегодня, когда я стал старше и зрелее, чтение серьезных работ по критике стало для меня необходимостью, работ, в которых глубокий анализ сочетается с серьезными обобщениями, в которых говорится не только об отдельных произведениях, но и о процессах и тенденциях. Такие работы заставляют меня думать. Может быть, вы знаете мою небольшую повесть «Лицом к лицу» — о дезертире? Он в эшелоне проезжает через свои родные места, опаздывает на поезд во время остановки и т. п. Когда я писал эту вещь, у меня был небольшой писательский и малый жизненный опыт. Недавно появилась повесть Распутина «Живи и помни» с похожим сюжетом. Между этими двумя вещами — двадцать лет. Конечно, литература за это время развилась, художественный опыт ее обогатился.

Если бы я сегодня взялся за тот же сюжет, то решал бы его совсем по-иному. За минувшие с тех пор годы я многое научился понимать. Причем не без помощи литературоведения и критики. Она дает пищу для таких мыслей и рассуждений, которые позволили бы мне написать эту повесть сильнее.

Хейнц Плаввиус. Насколько повлияли условия вашего воспитания на созданные вами образы?

Чингиз Айтматов. Я уже говорил об этом

в упомянутом вами интервью... Действительно, детские и юношеские впечатления очень важны в творческой жизни писателя. Это тот святой родник или колодец, из которого ты постоянно черпаешь мысли, картины, лики людей. Детство и юность — пора, предрасполагающая запечатлевать и воспринимать красоту мира... Впрочем, о том, как важны для писателя детские годы, писали много, здесь мы не откроем Америку. Детские впечатления остаются на всю жизнь. Я бывал в экзотических странах, в которых мечтал побывать еще мальчишкой — в Африке, в Индии, — и старался как можно больше увидеть и понять. Но теперь, пытаясь рассказать об увиденном, напрягаю свою память, восстанавливаю картины. Конечно, и это чужое, увиденное мною в зрелом возрасте, могло бы стать родным, но оно должно было окружать меня с детства. Должно было быть родиной.

Сейчас, как только я слышу слово «родина», в моем сознании невольно всплывает моя детская родина. Сразу же и непривольно. И детская моя родина мне никогда не надоедает, и я всегда вспоминаю о ней свободно, без усилий.

Особенно наглядно образы моего детства встали передо мной при работе над повестью «Ранние журавли». Все, что переживают ее молодые герои, находится в той или иной связи со мной, с моим жизненным опытом. Правда, это не относится к конкретным ситуациям «Ранних журавлей». Они у меня были иными. И все же источник рассказанного — мое детство. Если на то пошло, если взглядеться повнимательнее, то детство мы всегда несем с собой. Оно формирует будущую личность. Все, что человек познает в детстве, все, что он выстрадал, узнал, все горе, вся боль и все открытия — все это сохраняется в нем навсегда, является питательной средой для фантазии, воспоминаний... Только что, по дороге сюда, я видел на улице молодую пару, девушку и юношу, они были счастливы. Они были наедине друг с другом, а день был чистым и ясным. Я порадовался за них, но одновременно мне стало жаль моей юности, когда я не понимал истинной ценности этой поры, наслаждения этой интимностью, этой отдаленностью от всех. Я подумал об этом юноше, о том, что ему еще много придется пережить, чтобы впоследствии оценить неповторимость таких минут.

Хейнц Плавиус. Как вы работаете? Планируете ли свои произведения задолго,

нуждаетесь ли в подготовке, систематизации фактического материала? Прислушиваетесь ли вы к толчкам извне или работаете спонтанно, интуитивно, следуя своим внутренним побуждениям?

Чингиз Айтматов. Каждое новое произведение автор начинает по-новому. Кто-то очень правильно сказал, что каждый писатель — это всегда начинающий писатель. У него может быть большой опыт, он может только что закончить большое произведение, и все-таки в каждой своей новой повести он новичок. Потому что каждое новое произведение возникает по-своему. Иногда оно рождается как бы спонтанно. Один случайный факт, одно впечатление порождают цепочку образов, заслоняющих собой все остальное. Иногда поэтическая идея возникает из размышления, анализа действительности и стремления вскрыть ее глубокое внутреннее содержание. Я не могу сказать, что лучше — то или другое.

Хейнц Плавиус. Позвольте мне несколько варьировать этот вопрос. Процесс писания многими авторами воспринимается как процесс познания. Всегда ли вы в начале знаете, что будет в конце?

Чингиз Айтматов. Нет, не всегда. Конечно, в процессе писания возникают изменения, коррективы. Но в принципе автор должен знать, почему и для чего он пишет. Я должен знать, куда я попаду, оттолкнувшись от данной точки. Это не исключает зигзагов или отклонений от первоначально намеченного пути, которые могут быть связаны с накоплением нового опыта.

Хейнц Плавиус. Как вы оцениваете воплощение ваших произведений на экране? И не собираетесь ли вы работать непосредственно для кино без «промежуточной инстанции» прозы?

Чингиз Айтматов. Многие мои произведения были экранизированы. У меня дифференцированное отношение к результатам экранизации: я радуюсь, когда они удачны, и огорчаюсь печальным срывам. Но я убежден, что нужно предпринимать многократные опыты. Это как в спорте. Пока прыгун сумеет преодолеть определенную высоту, он должен пробовать сотни раз. С увеличением числа попыток растет опыт, и это приводит к успеху, а иногда ожидания бывают превзойдены. Так, например, произошло с «Белым пароходом». Снятый режиссером Болотом Шамшиевым, этот фильм, по моему убеждению и по мнению многих людей, стал большим достижением

киргизского кино. Конечно, если бы мы не пробовали, не перебирали варианты, а только ломали себе голову над тем, получится фильм или нет, надо нам пробовать или нет, тогда он наверное нам не удался бы.

Нужно бить в одну и ту же точку, нужно пробовать, стремясь найти эквивалентный способ перевода литературы на язык кино. Тогда литература обретает свою вторую жизнь, жизнь на экране.

Хейнц Плаввиус. Так как речь зашла об отношении литературы и кино, я хотел бы привести, на мой взгляд, важную цитату из вашего интервью в «Вопросах литературы». Там сказано: «Если современный кинематограф — это корабль, у которого есть свои мачты, свой руль, оснастка, то литература — это двигатель корабля». Я нахожу это сравнение очень метким.

Но вы еще не ответили на вопрос, создаете ли вы оригинальные произведения непосредственно для кино?

Чингиз Айтматов. Это пока еще не входит в мои планы. Такую работу я представляю лишь в форме сотрудничества с моими друзьями. У нас есть отнюдь не простой замысел создать фильм о Чингисхане. Его можно себе представить только как гигантский многосерийный фильм. Наша идея состоит в том, чтобы показать, что ни один великий полководец или завоеватель не был в состоянии достичь своей цели, ибо оказывался во власти сил зла, на которые делал ставку, и превращался в игрушку этих сил. Излагаю сейчас, конечно, поверхностно, я хотел только сказать, что существует идея, концепция, мы думаем над ней. Это будет оригинальный материал, сделанный именно для кино.

Хейнц Плаввиус. Что, по-вашему, означают литература для кино и кино для литературы?

Чингиз Айтматов. Это интересный вопрос. Я уже много раз говорил: литература и кино находятся сегодня в очень тесной взаимосвязи. Дальнейшее развитие, видимо, приведет к тому, что их контакт упрочится. Одно не может обходиться без другого. Это относится к кино, которое находится в сильной зависимости от литературы. Ведь истинное киноискусство стремится стать искусством, богатым мыслями. Оно не хочет просто копировать движения, оно стремится раскрыть внутреннюю жизнь человека. Для этого необходима большая литература. Опыт всемирного кино свидетельствует о том, что именно это правильный

путь. Лучшие достижения кино связаны с литературой как с источником. И мы можем предположить, что такие связи станут усиливаться.

Хейнц Плаввиус. Наша кинопромышленность создает много экранизаций презы, которые ничего не добавляют к первосточнику, являясь не более чем иллюстрацией. Поэтому часто возникает ощущение, что таков закон жанра, что фильм должен только иллюстрировать, показывать лишь внешнее, поверхностное.

Чингиз Айтматов. Да, это происходит слишком часто, хотя режиссеры оправдываются ориентацией на массового читателя. Но кино, так же как и литература, может иметь разный уровень. Конечно, должны существовать фильмы и для развлечения зрителей. Но во всех сферах искусства — кстати, и в области теории — должны существовать передовые силы, которые серьезно ищут новые пути, те самые пионеры, о которых мы уже говорили.

Умственная жизнь — так называли в старину все то, что входило в круг интеллектуальных, духовных интересов человека, от политики до музыки. Этот круг интересов в наше время неуклонно расширяется и в «акватории» отдельной личности, и в особенности охватывая широкие слои масс. Умственная жизнь, таким образом, уже не привилегия элиты, а неотъемлемое достояние всех народов. Это, несомненно, выдающееся революционное завоевание двадцатого века. Однако у медали есть и обратная сторона. Я имею в виду повсеместный культ стереотипов, стандартизацию умственной жизни, вызываемые в значительной степени расцветом современных средств массовой информации, и прежде всего телевидения. Речь идет не о том, чтобы ограничить эти средства, нет, наоборот, всемерно используя достижения научно-технической революции, необходимо придать умственной жизни черты высокого творческого мышления. И в этом, по моему убеждению, главенствующая роль принадлежит художественной литературе, литературоведению и критике.

Сегодняшняя литература — в лучших своих образцах — культивирует те качества современника, те черты личности, которые отвечают нашим социальным и этическим идеалам, а равно совокупному опыту всех времен, то есть идеалам общечеловеческим. Да, в этом было и остается истинное, вековечное назначение литературы.

Я понимаю, такой подход к задачам литературы наших дней может на первый взгляд показаться несколько упрощенным, и тем не менее именно это — извечные и общечеловеческие идеалы — остается коренной проблемой литературы и искусства. Ибо могут изменяться и изменяются функции литературы, но ее первооснова — отражение человеческой сущности — остается неизменной. И, быть может, сейчас важнее чем когда бы то ни было прежде всего способность литературы сделать узнаваемыми чувствами другого человека, научить каждого из нас думать о другом как о самом себе, заставить увидеть, что он, другой человек, так же любит жизнь, ненавидит смерть, страдает, переживает, отстаивает свое место под солнцем.

Из того, что первооснова литературы ос-

тается неизменной, не следует, однако, что неизменны ее формы. Напротив, развитие и углубление наших представлений о человеке, об обществе, о мироздании в целом и нашем месте в нем требуют неперменного движения, совершенствования форм в реалистическом русле, потому что реализм среди всех способов образного отражения действительности есть вершина нашего художественного мышления. Реализм современной мировой литературы отличен от реалистических повествований прошлого, как геометрия Лобачевского от Евклидовой. Как никогда прежде литература занимает главенствующее место в духовной жизни человека. И одно это нас ко многому обязывает.

Перевела с немецкого И. ЩЕРБАКОВА.

Фрунзе.



АНДРИС ЯКУБАН



ВКЛАД ХУДОЖНИКА

Об Андрее Упите в день его столетия

Писать об Андрее Упите трудно. И не потому, что нет материала. В нашей республике два мемориальных музея Упита, издано собрание его сочинений — двадцать с лишним толстых томов. Чтобы прочитать написанное им, потребуется немало времени, а чтобы изучить его наследие, не хватит, наверное, и целой человеческой жизни.

Писать об Андрее Упите трудно потому, что диапазон его личности настолько широк, что его невозможно исчерпать в юбилейной речи или журнальной статье. Вклад Андрея Упита в латышскую культуру и культуру всех советских народов столь значителен, что его хватило бы даже на семейных умных и талантливых писателей, с тем чтобы со всеми положенными почестями отпраздновать их столетие.

Андрей Упит — выдающийся общественный деятель. В 1919 году он входит в состав правительства первой Латвийской советской республики, руководит культурной жизнью, создает новые театры, советскую оперу, музеи, университет. В своих воспоминаниях он писал, что так вдохновенно он не работал никогда в жизни. Редкие фотографии той поры запечатлели Упита с усами и строгим взглядом. Ему сорок два года, на снимках он удивительно похож на латышских стрелков, сражавшихся за советскую власть. Тот же строгий взгляд и понимание, что их фотографируют для того, чтобы они навсегда вошли в историю.

После 1940 года Андрей Упит — заместитель председателя Президиума Верховного Совета Латвийской ССР. В 1946 году он основывает Институт латышского языка и литературы, который теперь назван его именем. В Латвийском государственном уни-

верситете заведует кафедрой истории литературы, читает лекции — доктор филологических наук, профессор. Уже седой, но держится молодцом — не выпускает изо рта папиросу, на все смотрит с ироническим прищуром. Все ему интересно, и чем бы он ни занимался, постоянно думает, заботится о развитии и процветании латышской советской культуры.

Андрей Упит — выдающийся публицист своего времени. Его биография — в его публицистических статьях, рассеянных по периодике и только потом, в собрании сочинений, сведенных воедино. Страстные и боевые документы эпохи. Порою статьи написаны насмешливо, но всегда в них ощущается железная логика и истинная партийность. Он член большевистской партии с 1917 года, и публицистика его служит делу трудового народа в буквальном смысле этого слова.

Андрей Упит — выдающийся литературный теоретик и критик, человек редкой образованности. Он писал как-то, что прочитал все вышедшие на латышском языке книги. Даже в девяносто два года он помногу читал. В квартире его можно увидеть книги и журналы, вышедшие незадолго до смерти писателя, а на их полях — пометки, подчеркивания, восклицания и вопросы. Интересовался он не только латышской литературой. Вместе с Рудольфом Эгле он написал историю всемирной литературы в двадцати томах, после чего взялся за историю романа (эта работа осталась незавершенной).

Об Андрее Упите как критике написаны книги, он получил республиканскую премию за труд «Вопросы социалистического реализма в литературе». Хочет привести

один несколько парадоксальный факт, который ярко характеризует значение Андрея Упита — критика и его роль в развитии культуры латышского народа. В 1919 году по Риге разошлась весть, что при наступлении немецких войск Упит погиб. В одной реакционной газете даже появился некролог, кончавшийся следующими словами: «Подвизался Упит и в качестве литературоведа, создав «Историю новейшей литературы» (1885—1911). Если не считать некоторых произведений, все творчество Андрея Упита носит яркий пропагандистский характер. Наша словесность потеряла в нем сильного литератора, а писатели новейшего периода — своего выдающегося противника, присутствие которого будет ощущаться и в дальнейшем, потому что в литературе критика безжалостного противника приносит больше пользы, чем рукоплескания трусливых прихлебателей».

И сейчас еще в редакции латышских газет поступают письма примерно такого содержания: «Где Андрей Упит с его «прополкой сорняка»? Почему никто не выступает, как он, резко с критикой слабых рассказов и романов?»

А. Упит перестал писать рецензии лет двадцать пять — тридцать назад, но они все еще живы в памяти читателей в своем первоначальном виде — небольшие, остроумные, часто даже сатирические газетные выступления.

Много сделал Андрей Упит и как переводчик. Он познакомил латышских читателей с Гоголем, Грибоедовым, А. Н. Толстым, Гейне, Флобером, Франсом и многими другими писателями. Трудоспособности его можно только поражаться. После фашистского переворота Ульманиса А. Упит был объявлен вредным и запрещенным автором. И он переводил книги под другим именем. Говорят, что это была работа ради куска хлеба. Но и сейчас перечитывая его переводы, видишь, на каком высоком профессиональном уровне они сделаны.

Вклад Андрея Упита в драматургию объем и значителен. Написано им свыше двадцати пьес различных жанровых видов. Наиболее популярны исторические трагедии «Жанна д'Арк», «Мирабо» и «Спартак». Это широкие повествования, поднимающие проблему «выдающаяся личность и народ». В трагедиях ярко выписаны не только исторические знаменитости, но и представители народа, образы эпизодические, ничем, казалось бы, не выдающиеся. Перед зри-

телем в пьесах предстает не обычная толпа, а состоящее из многих ярких характеров общество. Именно в этом и заключается значительность драматургии Упита. Хотя такая особенность создает и определенные трудности для постановки пьес на сцене. Писал Упит и комедии, и они сохранили популярность. Во время летних представлений на открытой сцене часто можно увидеть афиши с комедиями Упита. Но по-настоящему глубоко, по-современному остро его пьесы пока еще не поставлены. Почти неизвестная зрителям других народов нашей страны, драматургия Упита еще ждет своего воплощения. С пьесами его, мне кажется, может произойти то же, что происходит с драматургией Чехова.

Но прежде всего Андрей Упит — прозаик, автор рассказов, новелл, романов и эпопей. Луи Арагон считал его одним из выдающихся мастеров мировой литературы. Имя А. Упита Луи Арагон ставил рядом с именами Ромена Роллана, Михаила Шолохова и Лиона Фейхтвангера.

С творчеством Упита был хорошо знаком Александр Фадеев. 19 сентября 1953 года он писал ему:

«Своими романами Вы точно сказали читателю всех наций: «Не глядите на то, что народ мой численно не так уж велик, жизнь его так же значительна, полна такого же великого содержания, как и жизнь любой из наций. В купели человеческих страданий и среди побед человеческого духа его слезы и муки, его мечты, его борьба тоже оставили свой глубокий след. Из собственного мира с его искаженными отношениями, унижающими душу человека, к миру свободному и счастливому мой народ выходил такими же трудными, сложными путями, как выходили и еще идут другие народы земли, и на этих путях он рождал людей большого гуманистического духа и проявлял все величие героизма. Вот почему я считаю прошлое моего народа не менее значительным, чем прошлое любого другого народа, большого или малого. И вот я вам показываю во всех проявлениях жизнь наших крестьян и рабочих, нашей передовой интеллигенции, показываю весь тот собственный мир, все те гнетущие силы и все те силы непонимания и колебания, которые стояли препятствием на пути исторического прогресса моего народа, и теперь вы вместе со мной, автором, будете так же любить наши села и города, наших переломных людей, нашего рабочего и крестьянина»

труженика, и это и есть мой вклад, писателя Андрея Упита, в художественную сокровищницу человечества»...»

Илья Эренбург сказал об Андрее Упите следующее:

«В творчестве Упита нет ни сусальной красоты, ни отчаяния, он умеет сочетать страсть с художественной правдой, и какой бы эпитет ни подбирали критики к его реалистическому мастерству, деля путь писателя на различные этапы, Упит всегда был верен и народу и совести художника.

Андрей Упит прекрасно выразил характер латышского народа: душевную стыдливость, нежность и вместе с тем мужество, упорство, трезвую голову и страстность натуры. В его книгах видишь зеленую Латвию с ее трудной и подчас жестокой историей».

Эти высокие слова были заслужены художником, свои сочинения самодельной ручкой с прикрепленным к ней пером на простой белой бумаге писавшим без всяких исправлений. Рукописи Андрея Упита удивительно чистые, почти без вычерков и поправок. Писатель считал, что править себя нельзя, иначе читателю не передастся то первозданное чувство, которое было у писателя. Править значит портить.

За три месяца тюрьмы в буржуазной Латвии А. Упит написал сборник новелл и часть романа «Северный ветер». Кажется невероятным, что можно писать так быстро и вместе с тем так хорошо.

Разумеется, Упит был человеком необычайных способностей. Свой роман «Земля зеленая» он создал во время Отечественной войны в Кировской области. Писал о том, что происходило на его родине лет пятьдесят — шестьдесят назад, писал вдалеке от родины. Но если с романом «Земля зеленая» обойти окрестности Скривери, то увидишь, что «совпадают» все дороги, все речушки, вся география «сходится» до метра. Та же удивительная точность описаний поражает и в романе «Просвет в тучах».

Способность закреплять жизнь посредством слова просто удивительна у этого писателя. В своих рассказах и романах он запечатлел не только детали, жанровые зарисовки, человеческие судьбы, но и нечто большее — он художнически изобразил, как через человеческие судьбы проходят эпохи,

как феодализм сменяется капитализмом, как капитализму приходит на смену социализм, как двадцатый век сменил девятнадцатый. Думается, это умение художественно передавать смену веков в людских характерах и есть самое существенное, самое ценное в творчестве А. Упита.

Большой вклад внес А. Упит в теорию нашего советского искусства, четко провозгласив его творческие принципы. В статье «Пролетариат и искусство» (1919), звучащей и сегодня очень современно, он писал:

«Воспитание и совершенствование психики пролетариата — главная задача искусства. Это такое важное дело, что в будущем ему будет придаваться самое важное значение... Необходимо создавать такое искусство, которое учит не только социалистически мыслить, но и социалистически чувствовать... Социалистическая убежденность должна быть не только в голове, но и в сердце... Идеиное теоретизирование, голая революционная фраза в художественном произведении лишены жизни и потому излишни. Художественную ценность имеет только то, что зритель и слушатель воспринимают как органическую жизнь, правдоподобную и убеждающую...»

Как ни странно, в Союз писателей Латвии продолжают поступать письма, адресованные Андрею Упиту. Приходят они из Японии, Италии, Греции. Читатели благодарят за написанные им произведения, желают писателю здоровья, долголетия и дальнейших творческих успехов.

Хотя что тут странного, разве так уж обязательно в тех далеких странах знать, что писатель вот уже восемь лет как умер, что нынче отмечается его столетие? Главное, что Андрея Упита читают, что книги его нужны.

В юбилей мы обычно как бы заново оцениваем наследие великого писателя и почти всегда убеждаемся, что его творчество приобретает для нас еще большее значение. То же произошло, мне кажется, и с Андреем Упитом. Год от года его наследие становится все значительнее и весомее, становясь непреходящей ценностью нашей советской многонациональной культуры.

Перевел с латышского Ю. АБЫЗОВ.
Рига.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Трефилова. Протяженность луча.— С. Овчинникова. Остановиться, оглянуться...

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Кирин. Идейный арсенал американской внешней политики.— Н. Эйдельман. После юбилей декабристов.

Литература и искусство

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЛУЧА

Тимур Пулатов. Владения. Повести. Рассказы. М. «Известия». 1976. 364 стр.

В начале было слово... Был смутный лепет, шелест, гул — невыраженный метр неназванных стихий. «Мученье материи», наделенной способностью мыслить, — не в том ли оно состояло, чтобы дать безмерному меру, объять его и расчлениить; не для этой ли работы межеванья возник из хаоса еще безгласный, витающий над водами дух, различивший свет и тень, песок и туман, камень и ветер, лозу и зарю? А когда нелегкое бремя ревизии вселенских первооснов легло на плечи живого смертного создания, тогда-то, наверное, сквозь косноязычье гортанных проград прорезался звук самого первого имени как угаданный способ «все сущее увековечить» и в опознанном виде удержать как свое владение. Этот путь от немоты и невнятицы к звучащей органической речи вновь и вновь повторен каждым младенцем и каждым поэтом, обретающим свой язык...

Быть может, не столь уж странно, что однотомики избранной прозы Т. Пулатова — пять рассказов и пять небольших повестей, запечатлевших черты конкретной историко-литературной эпохи вплоть до особенностей ее движения от 60-х к 70-м годам XX века и содержащих то явные, то стертые следы недавнего паломничества автора в заповедные края Э. Хемингуэя («Фиеста», «Старик и море»), Ф. Кафки («Замок», «Пре-

ращение»), Т. Манна («Иосиф и его братья»), — побуждает к библейской давности ассоциациям, извлекаемым из «колодцев времен». Это свойство сборника «Владения» определяется прежде всего способом бытия его героев, бытия, отмеченного напряженной духовной работой постижения мира и своего предназначения в нем, рассказано ли нам о раздумьях старого рыбака из повести «Второе путешествие Каипа», или о прозрениях маленького Душана, поглощенного (в повести «Хор мальчиков») живым созерцанием «души» предметов, явленной в языке (созвучие душа — Душан, скорее всего нечаянное, что-то все же в этом образе уясняет), или об уверенности доброй бабушки Душана в нестойкости мирового равновесия, пусть и осененного божественной благодатью, но всегда чреватого то большим, то малым катаклизмом из-за вечных козней нечистой силы, а она-то уж требует и догляда, и своевременного заклятия, и покаянной молитвы, и всяческой осторожности.

«Пугала Каипа смертная суета. Знал он, что просто уходит в другой, долгий и утомительный мир. Станет ветер трепать его и разбрасывать по острову, сползет он в море, и рыбы проглотят его и будут носить песок в утробе и между плавниками. А от туда попадет он в чужие города и оазисы

и будет кружиться в вечном стремлении обрести покой, но так и не найдет его до конца мира».

Конечно, корни подобных, вполне уникальных, Теогоний и Космогоний, сотворенных героями Т. Пулатова, обретаются где-то в древнейших пластах человеческого мышления, в свободной игре народной фантазии, способной в немыслимо сложном конгломерате совместить анимизм первобытных верований, реликты языческих культов и антидогматику пестрых религиозных ересей.

Но вот направленность размышлений писателя, столь заразительная для его персонажей, — не от нашей ли она вопрошающей современности, чуждой пренебрежения к жизнетворным истокам культуры нынешних, больших и обновленных, человеческих сообществ; не от нашего ли она «бегущего дня» с его какой-то маниакальной жаждой обрести свои концы и начала, вместить в себя всю бездну своего вчера и завтра, найти верный способ хозяйственно расположиться в самой бесконечности, да еще и разместиться в ней хотя бы с минимальным, пусть только эстетическим комфортом?

«Знал Каип, что змеи были корнями деревьев. Сползли они в землю и зарылись в песок, где больше жизни, чем на воздухе. А из песка этого и появился первый на острове человек»...

Прорыв литературы 70-х годов к «последним вопросам» взыскующей человечности как всесильный дух времени ворвался в книги многих популярных, широко читаемых прозаиков — Солоухина и Бондарева, Личутина и Тендрякова, Гранина и Сулейменова, Санги и Трифонова, Друцэ и Распутина, Слуцкиса и Айтматова, Конечкого и Евдокимова. Он оставил меты и в сборнике «Владения», где, на свой страх и риск, автор постепенно приходит к эстетическим решениям, принципиально сходным с начинаниями С. Залыгина («Оська — смешной мальчик»), Ю. Рытхэу («Когда киты уходят»), Г. Матевосяна («Буйволица»), В. Астафьева («Царь-рыба»), Ч. Айтматова («Пегий пес, бегущий краем моря»). Поэтическая стилистика этого массива прозы извлекла уже немалый запас художественной энергии из столкновения архаических элементов народно-фольклорного происхождения с изысканно-книжной, культурно-преемственной традицией письменных литератур но-

вого времени, взбодренной революционными сдвигами истории XX века.

Если исходный творческий импульс автора внезапно дает себя опознать в ударном образе-молнии, образе-озарении, то книгу Т. Пулатова хорошо резюмируют три особенно ярких ее эпизода. В повести «Владения» это маленькое приключение коршуна, дряхлеющего аристократа пустыни, когда он разрешил себе насладиться теплой кровью летучей мыши, обреченной ему на заклание, но до поры запретной, за что и был вскоре наказан неудачами своего полета.

Во «Втором путешествии Каипа» как память о раскаянье в незамоленном грехе посягательства на непрерывную цепь естества — странный предсмертный поступок охотника, всю жизнь промышлявшего убийством зверя и рыбы: на глазах подростка-сына он врачует лапу своей последней добыче, неказистому зайцу, вынужтому из силков, поит его в безводной пустыне собственной слюной и отпускает на волю, чтобы, догадывается Каип, «хоть что-то восстановит в природе, сделать так, как было до него, будто он, отец, никогда и не был среди нас, людей».

Наконец, разящий пример вины искупительной, вины человека перед миром и самим собой в повести «Окликни меня в лесу». Эта лирико-психологическая повесть из эпохи Великой Отечественной войны самая ранняя в сборнике (1964). Она контрастно оттеняет остальные определенностью места и времени действия, индивидуализацией персонажей и обнаженно-эмоциональной формой рассказа от первого лица.

Теперь, почти полтора десятилетия спустя, нам легко рассмотреть эту повесть в широком литературном контексте «исповедальности» 60-х годов, способствовавшей утверждению жанра нашей лирической прозы. С тех пор в творчестве Солоухина, Гамзатова, Лихоносова, Конечкого, Астафьева он одержал немало побед. Но, как всякий другой, и он оказался подвержен эрозии, выхолащиваясь часто до ремесленного набора широко эксплуатируемых малоэффективных приемов.

В повести Т. Пулатова «Окликни меня в лесу», вполне убедительно демонстрирующей свое типологическое родство да и прямые идейно-композиционные переклички с «Джамилей» Ч. Айтматова, этот жанр еще пребывает в состоянии юности, полной надежд. Имея в виду задачи, которые писа-

тель поставил перед собой в дальнейшем, можно понять его вскоре возникшее желание выйти за пределы избранной им вначале повествовательной манеры, обязывающей рассказчика вполне простодушно доверить другу-наперснику изливания своей потрясенной впечатлительности.

Герой Т. Пулатова, юноша Магди, уже будучи взрослым, вспоминает о тонких, деликатных отношениях, связавших некогда его отца-фронтовика, его мать — врача в ташкентском госпитале и раненого солдата, взятого ими в дом на излечение; о том, как эти отношения стали предметом обывательской вивисекции, злобной ненависти религиозных ханжей.

Отец рассказчика был тогда на войне, ребенок хотел узнать о ней у солдата всю правду, но что будет правдой в глазах семилетнего мальчика? Так возникает вполне достоверная и все же в жути своей чем-то схожая с аллегориями старых мастеров-живописцев — Гойи, Брейгеля — картина ночного леса, где в крошечном мраке долго и притаенно навстречу пушкам, пулеметам и танкам врага движется отряд пехотинцев и где боец, может быть еще неопытный новобранец первых месяцев войны, уже не от страха или трусости, а от черного отчаяния, от поруганной веры в добро, тепло и свет жизни кричит: «Мама, мама, оклики меня в лесу! Помоги мне, мама!» Нет тишины: она убита яростью ответного грохота смерти. Здесь автор подсказывает солдату единственное из возможных в искусстве средств патетического преодоления трагедии, то, к которому несколько позже обращаются и Ч. Айтматов в «Белом пароходе» и Б. Васильев в повести «В списках не значился». «И тогда, — говорит солдат, — командир вырывает из своей груди сердце, горящее, ослепительное сердце, и, высоко подняв над головой, ведет нас по лесу уже не страшному и светлому... И звали этого командира Данко». Жестокая военная боль преобразуется в героинку легенды, проникнутой романтическим пафосом Горького и Гайдара.

Это самый значительный в книге Т. Пулатова эпизод противостояния разнужданных сил вероломного зла и превозмогающего их подвига самоотверженного добра, снова и снова жизнью и кровью оплачивающего чужие счета ради связи времен и возвращения истории ее человеческого смысла.

Отсюда, от духовной связи с опытом

всенной эпохи, от опаленности ею даже и самого раннего, тылового детства, — основная общая направленность и ряд мотивов книги Т. Пулатова, впоследствии значительно видоизмененных и словно ушедших под спуд. А потому, какой бы горьковатой шуткой ни звучало в повести «Окликни меня в лесу» предупреждение о том, что поколение, к началу 40-х годов еще в значительной своей части «сидевшее на горшках», тоже хотело бы называть себя военным, есть в этом притязании нечто разделяемое писателями близких автору возрастных групп — Семиным, Аксеновым, Распутиным, Коцедем, Матевосяном, А. Кимом и многими другими, над кем спуска десять, двадцать, тридцать лет еще простерта гигантская тень пережитого.

Мотивы противостояния человечности вероломству и малодушному предательству не раз встречаются в рассказах и повестях Т. Пулатова. Старый грузик разменивает свою гордость борца-силача на цирковую подачку; лихоимец ветеринар, совершив должностное преступление, готовит убийство; подросток участвует в унижительной поимке школьной подруги, сбжавшей из домашнего вертепа. Наконец, «второе путешествие» старца Каипа на остров Зеленый также связано с давним, целую жизнь назад, оскорблением бывшей невесты.

Во всех этих случаях писатель настойчиво отыскивает опорные силы противодействия, вызывая к «последнему сроку», последнему аргументу — поступку, слову, хотя бы внутреннему движению души, которые сам человек-виновник мог бы предъявить суду собственной памяти. Постепенное усложнение этико-эстетических заданий, суровый труд обращения к «неготовой», ожесточенной или враждебной душе чем далее, тем более вынуждает повествователя разнообразить свою художественную стратегию, осваивать элементы новых для него жанровых структур. Вероятно, поэтому книга «Владения» представляет собой как бы небольшую профессиональную лабораторию: в ней воспроизводятся некоторые моменты внутренней эволюции литературы последних лет в той ее части, которая, отталкиваясь от конкретного историзма «лирических автобиографий», приходит к «художественной метафизике», характерной для широкого, колоссальной притягательности течения в современном социалистическом и демократически ориентированном искусстве многих стран мира.

Как одна из возможностей этого искусства возникает и та форма объективированного повествования, свободного от обертонных пылкой субъективности, которая представлена в книге «Владения», начиная со «Второго путешествия Каипа», где конфликт полярных нравственных начал перенесен в психологию субъекта, превратившись в конфликт совести: правдоискатель Магди и старая злая ханжа Медина могут иногда немирно гнездиться и в одной душе. То же относится и к повести «Сторожевые башни». Особые обстоятельства добровольного соблюдения устава караульной службы, совершенно вымороженной в опустевшем замке, отделенность отставной команды охранников от жителей ближнего поселка, бессмысленный побег трех уголовников из колонии в пустыню — скольким условиям надо было совпасть, для того чтобы после долгих размышлений и диспутов с инженером Мусаевым в сознании темного, но честного стражника Вали-бабы заколебались и рухнули основы его прежней веры в собственную непогрешимость. В финале повести команда истовых стражников-пенсionеров станет бригадой грузчиков. Замок окончательно опустеет. А когда-нибудь вообще уйдет в землю («Они ели, пила и в землю ушли...» — говаривалось в старинных тюркских сказках). Бесстрастность этой отрешенной констатации способствует совмещению в одном художественном «владении» как бы двух систем эстетической упорядоченности, подсказывая нам возможность мысленного перехода от индивидуального казуса к его универсальному значению и от социально-психологической типизации к ее нравственно-этическим основаниям.

Отсюда понятны и нередкие авторские реминисценции, мельком адресующие нас к устоявшимся жанрам народной, в данном случае узбекско-таджикской, словесности — повести-диспуту, повести-путешествию, сказке о животных, притче об отвергнутом и неимущем.

Можно ли угадать географическое местоположение сторожевых башен и маршруты путешествия Каипа? Ничем не маскируемые, они все же не определяются однозначно, будь то море, остров, городской дворик, пустыня. Действующие лица охарактеризованы достаточно подробно, и все же Каип — это явно собирательный образ человека из простонародной среды «пастухов, охотников и рыбаков», это странник,

старец, «готовый к отплатилю». Биографическая история его ухода из отчего дома и бытовой факт последней поездки на родину — это и мотив непрощенной вины, возвращения блудного сына, и обрядовый элемент расставания с землей. Молва о том, что старик не умер, — это и зарождение легендарной версии его бессмертия.

Рисунок повествования приобретает объемность через совмещение плана непосредственно наблюдаемой действительности с планом культурно-историческим, как он воспринят и преломлен в обыденном сознании «человека массы». Наложение поэтики иносказания на поэтику социально-бытового реализма превращает повесть Т. Пулатова в одну из разновидностей философско-дидактической прозы, тяготеющей к жанру параболы.

Этим объясняется целый ряд преобразований «внутренней формы» повестей Т. Пулатова. Прежде всего в них меняется точка зрения повествователя: он дистанцируется от происходящего и, выделив крупным планом основную фигуру, обособляет ее локально и психологически. Производится также своего рода «демографический переворот»: прежнему типу подчеркнuto деятельного героя теперь отводится более скромная, более служебная роль и, напротив, на первый план выдвигаются бывшие маргинальные персонажи: дитя, старик, «меньшой брат», какая-нибудь «тварь дрожащая» вроде осмотровального хлопотливого суслика во «Владениях». Таким образом, композиционная периферия и центр меняются местами. Остраивающий эффект, связанный с предпочтением окраинных местоположений и крайних точек жизненного цикла, высвобождает в личности героя то, что М. Цветаева называла некогда «космическим чувством природы». Особая предрасположенность к нему нередко выступает как одна из граней эстетического идеала в литературе современности, когда этико-философский запрос общества к искусству делается особенно настоятельным. Ведь не кому-нибудь другому, а литератору, романисту Ю. Бондареву в марте этого года в Москве на встрече с читателями был задан вопрос: «Почему все-таки нужно быть хорошим человеком?» («Литературная газета», 30 марта 1977 года). Инстанция в данном случае, видимо, была избрана верно. Иное дело, что роковые «вопросы века» не утоляются даже и бурным потоком «романов века», а не то что одной устной репли-

кой писателя. Тем не менее эти-то вопросы, обретая статус общезначимой нравственной проблемы, вынуждают литературу должным образом мобилизоваться, отважно настраиваясь на поиск философских, антропологических и социальных опор, составляющих основу наших представлений о том, зачем быть «хорошим человеком», если это порой так хлопотно и накладно.

В повестях Т. Пулатова главный герой взаимодействует лишь с несколькими фигурами ближайшего окружения и с беспредельным фоном, вмещающим всю мировую необъятность. Промежуточная прослойка ближайшего социального окружения дается разреженно и размыто, в общих чертах и нескольких деталях (например, в «Путешествии Каипа» есть такие сравнительно немногочисленные слова-указатели, как *бригада, путина, председатель, ракета, рация, рыбнадзор* и т. д.).

При этом реальные скалы, деревья, змеи, смерти все более вовлекаются в действие. Сквозь них простирается оживляющая природа — «люди», как понимал ее таежный обитатель Дерсу Узала в книге Арсеньева, с той, однако, существенной разницей, что этот «гилозоизм» уже не символ веры, а принцип стиля. И, словно обретая душу, лунный луч строит через море от острова к островам светящиеся мосты, чтобы связать «всех живущих на земле вечным братством». В двух последующих повестях сборника, «Владениях» и «Хоре мальчиков», активность фона уже настолько значительна, что вызывает новые тектонические смещения центра и периферии: природные явления — солнце, облако, туман, злак — сами превращаются в дееспособных персонажей, дополняя этическую аргументацию, обращенную к субъективно-психологическим ресурсам человека, объективной аргументацией «с точки зрения вечности». Недаром бабушка Душана заражает внука беспокойным желанием попросить у кого-то прощения за то, что «рядом с этим вечным сама она оказалась случайной гостьей, пришедшей ненадолго, обманувшей это вечное и не сумевшей показаться величественной».

В сущности, уже в «Путешествии Каипа» разомкнутость просторов, преисполненная великих и малых проявлений жизни, безобманной в своей красоте и в своей фатальности по отношению к единичной человеческой судьбе, самым своим присутствием изменяет масштаб, казалось бы, клю-

чьевого эпизода с обещанной девушкой Айшой, так что он выглядит уже как несколько затянутая и неловко рассказанная вставная новелла. В повести «Владения» грандиозный театр стихий распаивает перед автором перспективу подлинного царства духа, как бы открывая сознанию его предназначение, а человеку — подобающее место в мире, где он возглавляет длинную вереницу однопородных существ. Старый коршун, индивидуалист и стойк, потрепанный в битвах за пищу, самку, гнездо и территорию, предстает в этом произведении воплощенным оком природы, созерцающим лицо пустыни, изменчивое и прекрасное, как лик возлюбленной. Воистину и пустыня, когда она родина, земля, судьба, находит своего поэта, как лес и степь — реалистов, море и горы — романтиков.

В «Хоре мальчиков» феерия бытия вбирает в себя и окружающую человека предметность сотворенных им вещей. Для маленького пантеиста Душана живы и старая койка под олеандром, и заветная музыкальная шкатулка, и заболевший виноградник; он обнаруживает в них ту же силу тайного воздействия на людей, какую астрологи пытались приписать отдаленным светилам.

Можно было бы счесть все эти субъективные представления пулатовских героев не более как ступками темных суеверий да играми неумейной фантазии, воссоздающей каких-то своих «кабасов» почти до степени осязаемости. Но автору вольно дышится в этой стране воображения. Он уверенно ориентируется в сложной системе ритуалов, обычаев, обрядов, церемоний, связанных с принятием младенца в дом, семейным чаепитием, освящением жилища, выбором имени, правилами соседской учтивости, песенками хора мальчиков во время рамазана, пытаясь нащупать здесь способы приобщения «одинокое сознания» индивида к сознанию коллективно-историческому, этническому и родовому, полагающему себя, в свою очередь, изначально природным. Он исходит при этом из инстинктивного народного неверия в мировое сиротство человека и в то же время стремится обрести поддержку в современных научных представлениях о подвижности границ живой, чувствующей и мыслящей материи.

Попытки укоренения личности в природе и в истории предпринимаются автором на одном из классических путей обмирщения

и гуманизации мифа, в полемическом преодолении абсурдистских гипотез человеческого существования, предожженных выдающимися создателями художественных «антиутопий» и «антимиров». Здесь, в обращении к символической сфере народных представлений, запечатленных в многовековом наследии фольклорного эпоса, кроется и приверженность Т. Пулатова к счастливым развязкам его последних повестей.

Бессмертен легендарный командир, сжигающий свое сердце, как Данко.

Но поживет и бабушка, заговорившая смерть по крайней мере еще лет на десять не без помощи глиняных шариков любимого

го внука, брошенных в сердце зловещего смерча. И булочник, уронивший на землю хлеба, не будет распят. И бродит где-то на своем прекрасном Зеленом острове неуемный Каип вместе с Айшой, закликающей змей. И не умолкнет хор мальчиков, поющих древнюю песню о Юсуфе прекрасном на осеннем сентябрьском празднике, который возвращается каждый год и в каждый дом приносит «ощущение тихой, благодной жизни дворов, этого вечера с коротким дождем, смехом женщин, что подарила всем жизнь для полноты счастья»...

Г. ТРЕФИЛОВА.



ОСТАНОВИТЬСЯ, ОГЛЯНУТЬСЯ...

Откровения телевидения. М. «Искусство». 1976. 271 стр.

Книга хорошо и точно названа — «Откровения телевидения». Непростая архитектура сборника, в котором собраны статьи и интервью с их «героями» — авторами и исполнителями рецензируемых передач, оставляет при всей индивидуальности компонентов ощущение целостности, а каждый из двадцати «материалов» является безусловной самостоятельной искусствоведческой и литературной ценностью.

В «Кюхле» Тынянова о директоре лица Энгельгарде говорится как о человеке, непременно желавшем дать всякому явлению исчерпывающее определение. Без этого не было ему покоя... В отношении к сборнику «Откровения телевидения» я испытывала подобное чувство, пока не попало слово простое и привычное, но определяющее книгу, пожалуй, наиболее точно: к у л ь т у р а. Культура разговора, манеры его ведения, культура подачи материала, высокая культура полиграфии.

Оформление книги художником А. Троянкером и фотохудожником А. Дорофеевым требует особого профессионального разговора. Ибо оформление здесь выполняет те же функции, что и декорация в спектакле, — создает образ. А если учесть, что книга состоит из множества отдельных статей-спектаклей, собранных в единое зрелище, и каждый «спектакль» решен по-своему, а все вместе сохраняют единый стиль и образ, понимаешь, какую сложнейшую задачу решили оформители книги. Например, точный монтаж кадров к разговору о документальном фильме из «Летописи полу-

века» здесь по безупречности и емкости сродни прекрасному монтажу самого фильма.

Составитель сборника театральный журналист Александр Свободин включил в книгу рецензии на фильмы, спектакли, передачи, с которых начиналось открытие телевизионных жанров. Вернее, тех, в которых произошла взаимная адаптация уже много лет существующих жанров кино, театра, эстрады и телевидения.

Книга начинается с рецензии на один из 50 фильмов телесерии «Летопись полувека» — «Год 1946-й», сделанный теледокументалистом Игорем Беляевым. Критик Ю. Ханютин в своей статье скрупулезно анализирует приемы монтажа, использованные режиссером, и на этом строит рассказ о фильме. То есть говорит о делах сугубо специальных, но понятных самому неискушенному читателю. И уже в этой первой статье проявляется та удивительная увлеченность, которая делает материал особенно интересным для чтения. Кстати сказать, бесстрастных статей в книге вообще нет. Авторы не боятся эмоций. И это не мешает серьезному, деловому, научному разговору о множестве проблем, рожденных непростым искусством — телевидением. И не уменьшает информационной емкости статей. Просто в книге властвует закон: интонация рецензии должна соответствовать интонации рецензируемого произведения...

Книга очень разнообразна. И не только тем, что собранные в ней статьи посвящены разным жанрам — документальному фильму

и балету, многосерийному спектаклю и детективу, фортепьянному концерту и фантастике... Но в первую очередь потому, что в статьях о проблемах жанра идет разговор и о проблемах драматургии, режиссуры, актерской манеры исполнения на телевидении. О проблемах, рожденных каждым жанром, но единых для всех видов искусства.

Одна из таких проблем — степень достоверности телевидения. И разговор об этом идет практически в каждой статье —

А. Юровский по поводу «Операции «Трест»: «Зритель привыкает, сознательно или подсознательно, что телеэкран ему показывает жизнь, а не изображение жизни»;

Г. Троицкая в статье «Гилельс открывается снова»: «...рухнула невидимая преграда, что в концертном зале отделяет пианиста от нас, и музыкант, столько лет казавшийся недоступным, вдруг явил поразительный пример самораскрытия. Так возникло еще одно чудо телевидения»;

Т. Марченко в рецензии на спектакль «Следствие по делу Чернышевского»: «Да, произведение искусства остается произведением искусства. Мир, творимый в нем, вторичен и автономен от жизни. Он подчиняется законам искусства. И телевидение не составляет здесь исключения. Спектакль нельзя приравнять к уличному репортажу, актеры — не прохожие. Но телевидение недаром возлюбило прохожего — человека, захваченного камерой врасплох. Человека, которому до камеры нет никакого дела, он от нее внутренне свободен и поэтому позволяет себе роскошь оставаться самим собой»...

Цитаты приведены с целью подтвердить единство позиций авторов, их понимание глубинных процессов, рождающих своеобразие жанра. Об этих процессах говорится и в рецензиях и в интервью с создателями передач (каждую рецензию они комментируют и сопровождают). Вопросы ставятся лобово. Например: «Что самое трудное для вас в телеспектакле в жанре фантастики?» Или: «Ваше мнение о документальности и телевидении?» — и так далее. И из суммы ответов вырисовывается не написанный пока «свод законов» телевидения, конкретизируются сколь популярные, столь и расплывчатые прежде в своих трактовках слова «телевизионная специфика». Художественная книга становится по емкости поднятых в ней проблем словно бы равнозначной научному труду. Собственно гово-

ря, решались проблемы — в передачах. Книга констатировала и суммировала эти решения.

Интересно в сборнике то, что независимо друг от друга к одинаковым выводам приходят, например, и режиссер и актер. Постановщик «Соляриса» Б. Ниренбург на вопрос о самом трудном в телеспектакле отвечает: «Актер. И самое трудное, и самое интересное, и... неожиданное. Телеспектакль с его непрерывно развивающимся действием, с обилием крупных планов лишен условностей театра и кино — никакого обмана, все настоящее, неподдельное, искреннее». А вот что говорит актер С. Юрский об отличии техники игры на телевидении: «Телевидение — искусство без дубля. Кино живет дублями и их отбором, театр живет повтором, рядовым спектаклем. На телевидении играешь единственный раз, сегодня, сейчас...»

Сказанное можно было бы принять за аксиому, но в те годы, когда появились «Солярис», «Кюхля», «Непобежденный узник»... Сегодня техника телевидения шагнула вперед. Телеспектакль приобрел дубли, монтаж. И, приобретая, что-то потерял. Потерял, может быть, одно из самых дорогих своих телевизионных чудес — сиюминутность импровизации.

Потеря эта, как нам кажется, ощутима не только в спектаклях, но в передачах самых различных планов — от «Театральных встреч» с так трудно найденной когда-то интонацией и до, например, интересно задуманной, но, увы, ни разу в полной мере не воплощенной достойно передаче «В добрый путь». Они оказались лишены ощущения искренности происходящего. А ведь атмосферу доверия, как известно, так трудно создать и так легко разрушить! Книга не говорит впрямую об этой потере телевидения. Но, рассказывая о предыдущих удачах, о первооткрытиях, она вызывает на продолжение разговора. О судьбе открытий. А судьбы эти складываются по-разному.

Первая проба пера у балетмейстеров Н. Рыженко и В. Смирнова в соединении кинематографа и балета получила успешное развитие именно на телевидении. Вспомним хотя бы «Вешние воды»... Именно телевидение позволило Ираклию Луарсабовичу Андроникову «прочитать» свою «Тагильскую находку», потому что, как сказано им в книге, «телевидение требует соблюдения своих, особых законов, ибо перед ка-

мерой вы со всеми наедине». Это «наедине» позволило произнести вслух то, что можно было, казалось, читать лишь глазами. В этом признается сам Андроников. А вот что пишет в статье о телепередаче «Татильская находка» А. Свободин: «Жанр Андроникова, соединенный с телевидением, оказался на редкость современным. Но в этом жанре решает не профессиональная выучка, а человеческая индивидуальность рассказчика, его исключительность, его собственный образ».

Разговор об индивидуальности — это ключ к удачам таких передач, как «Очевидное — невероятное», «От всей души», «Клуб кинопутешествий», «Кинопанорама» времен Каплера: там индивидуальность ведущего — львиная доля успеха всего дела. И не случайно от передачи к передаче мучительно ищут создатели цикла «У театральной афиши» своего ведущего, чтобы перестало весть с телеэкрана казенностью, так же противопоказанной телевидению, как любому виду искусства.

И. Россомехин в статье «Как создается телевизионный спектакль-расследование» пишет: «Телевидение тяготеет к действиям локальным, к действиям не внешним, а, так сказать, внутренним, психологическим и оттого тем более интенсивным». Сегодня, снимая театральный спектакль для телевидения, уловившие эту одну из основных специфических черт жанра режиссеры не-

пременно «акцентируют детали», работают более всего на крупных планах — так было с «Мещанами» АБДТ или «Милым лжецом» МХАТа.

А кое-какие «открытия» претерпели изрядные метаморфозы. Произведения, о которых говорится в книге, — «Татильская находка», «Непобежденный узник», «Операция «Трест» — явились удачными примерами художественного осмысления документа.

Сегодня «документальность» на телевидении накопила огромный арсенал средств и приемов подачи: материалы, произведения «просто» художественные пытаются овладеть четкостью документального языка. Спектакль «Человек со стороны» и фильм «Премия» тому примеры. И нет ничего удивительного в том, что телевидение уже не только учится, но и учит. «Наш век — не время границ, а скорее время синтеза в искусстве» — как пишет Ю. Аксенов в книге, о которой идет речь. Книга анализирует произведения, являющиеся непреходящей ценностью, вошедшие в ранг «открытий», «откровений». Но время идет, и уже новые открытия, новые удачи и неудачи требуют своего анализа, столь же глубокого и заинтересованного. И хотелось бы, чтобы книга «Откровения телевидения» стала как бы томом первым. И чтобы не очень долго пришлось ожидать второго тома.

С. ОВЧИННИКОВА.



Политика и наука

ИДЕЙНЫЙ АРСЕНАЛ АМЕРИКАНСКОЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

В. Ф. Петровский. Американская внешнеполитическая мысль. Критический обзор организации, методов и содержания буржуазных исследований в США по вопросам международных отношений и внешней политики. М. «Международные отношения». 1976. 335 стр.

Как ни сложна картина современного мира, в ней четко прослеживаются осевые линии, притом отнюдь не воображаемые, а материально ощутимые. Это линии взаимоотношений двух социальных систем в мировой политике, отражение их противоборства, которое со времени Великой Октябрьской революции стало стержнем международной жизни.

Верным ориентиром советской внешней политики служит ленинский принцип мирного сосуществования государств с различ-

ным социально-экономическим строем. Усилия Коммунистической партии и Советского правительства, направленные к утверждению этого принципа в международных отношениях, создали условия для поворота к разрядке, определившегося в начале 70-х годов. Процесс разрядки всем своим содержанием свидетельствует о продолжающемся воздействии ленинских идей, преобразующих мир, в том числе и характер взаимоотношений между государствами. Вместе с тем он еще раз подтверждает, какое

огромное значение имеет в наше время борьба идей, столкновение теоретической мысли на международной арене.

В письме немецкому социал-демократу Конраду Шмидту Фридрих Энгельс говорил о философах, которые «образуют самостоятельную группу внутри общественного разделения труда... их произведения, включая и их ошибки, оказывают обратное влияние на все общественное развитие, даже не экономическое». За истекшие десятилетия общественное разделение труда ушло далеко вперед — самостоятельную группу ныне образуют уже не только философы, но и внешнеполитические теоретики. Во всяком случае, таким представляется положение в США, где специалисты по теории внешней политики действительно образуют обособленную группу, занимающую видное место в американской общественной структуре.

Если судить по печатной продукции, то действует эта группа весьма активно. Хватает и ошибок, кои в выдвигаемых ими рецептах допускают американские внешнеполитические маги. Приходится также, к сожалению, констатировать, что их теоретические блуждания нередко находят свое практическое отражение в зигзагах и просчетах американской внешней политики, наносящих ущерб процессу нормализации международных отношений, налаживанию добрососедства и сотрудничества между странами. Вопрос о состоянии американской внешнеполитической мысли, направление ее развития поэтому представляет жизненно важную тему. Она интересует не только специалистов, но и широко читающую публику — сейчас не может быть равнодушных к проблемам, имеющим непосредственное отношение к перспективам развития международной обстановки. В свете этого привлекает внимание монография советского американиста В. Петровского, содержащая обстоятельный анализ американской теоретической мысли в области международных отношений.

Подходя с марксистских позиций к раскрытию темы, автор указывает, что среди многих причин, побуждавших американских внешнеполитических теоретиков корректировать и видоизменять свои концепции и представления, решающее место принадлежит факту возникновения социалистических государств, оказывающих возрастающее влияние на ход международных событий. В дооктябрьскую эпоху дела у американских буржуазных политиков шли куда

лучше, а главное, легче. Они могли довольно успешно вводить в заблуждение публику и обеспечивать политические интересы США, используя смесь прагматизма с идеалистическими мифами об «исключительности» США, «предначертании судьбы» и т. п.

Рождение Советского государства, предложившего принципиально новую внешнюю политику, опирающуюся на научную основу марксизма-ленинизма, поставило правящие круги США перед необходимостью изыскать более действенные средства обоснования и оправдания своих дипломатических акций и целей внешней политики. В историческом плане вовсе не случайно, что именно американская буржуазия стремилась противопоставить ленинскому «Декрету о мире» собственную программу в лице «14 пунктов Вильсона». Эта обширная программа послужила отправным моментом, своеобразным сигналом для разработки в США общей теории международных отношений. Нельзя умолчать, что среди американских историков существует течение, считающее, что «холодная война» США против Советского Союза была начата не в 1946 или 1947 году, а значительно раньше — уже в первые годы советской власти. Не историческая aberrация, а факт, что США были последним крупным буржуазным государством, признавшим республику Советов. Однако и впоследствии отставание в признании политических реальностей оставалось характерной чертой внешней политики Вашингтона.

Вступая в идеологическую борьбу, американская буржуазия считала необходимым противопоставить марксизму-ленинизму свою общую концепцию, ставила перед теоретиками задачу опровергнуть марксизм, доказать «несостоятельность» сути марксистского подхода к объяснению закономерностей мирового развития. Такого рода «изыскания» были предприняты, а в целях придать им вящую убедительность американские теоретики усиленно рекламировали мнимую научную объективность проводившихся в США исследований международных отношений и самостоятельность их выводов.

Автор творчески применяет указание В. И. Ленина, что «беспристрастной» социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Сложившись в самостоятельную, обособленную группу, американские внешнеполитические теоретики не в состоянии были порвать пу-

повину, связавшую их с классом, к которому они принадлежат. Рассматривая политико-академический комплекс как систему взаимоотношений администрации, бизнеса и науки, В. Петровский показывает широкий набор средств, которыми пользовались правительство и монополии США, чтобы закрепить за наукой роль служанки, благоприсойно прикрыв это рассуждением насчет «высокой» роли науки в современном обществе. В реальной жизни из конгломерата ученых в результате целенаправленного курса выделяется научная элита, допущенная к правящей верхушке и обслуживающая ее узкие интересы. Факты последнего времени говорят о том, что под давлением новой международно-политической ситуации, возникающей ввиду воздействия прогрессивной внешней политики социалистических стран, буржуазия считает целесообразным допускать некоторых представителей научной элиты до уровня принятия политических решений и их практического осуществления. Суть происходящего выразительно иллюстрирует приводимое в книге замечание американского социолога, что в условиях США ученый постепенно превращается «из независимого судьи в клиента и весьма пристрастного агента».

Наряду с выдвижением обоснований общего идейно-теоретического характера перед американской наукой международных отношений ставится задача непосредственного обслуживания текущих нужд внешней политики США. Обращая внимание на эту сторону дела, видный американский теоретик Г. Моргентау утверждает, что теории «активно вмешиваются в конкретные политические ситуации с целью изменения их через посредство действий». То, что говорит Моргентау, скорее относится к области желаемого. Ни крупные ассигнования на внешнеполитические исследования, ни множественность течений и школ в США (автор указывает, что, согласно схемам американских теоретиков, насчитывается 12 основных школ) не сумели обеспечить выполнение социального заказа американских правящих кругов. Ни одна из существующих в США школ буржуазной науки международных отношений не смогла создать сколько-нибудь удовлетворительную общую теорию, которая объяснила бы сложное взаимодействие различных факторов в сфере внешних сношений. В итоге кончились крахом все попытки сконструировать «грандиозную схему» международ-

ных отношений. Как показывает автор, это означало вместе с тем кризис претензий американского правящего класса на переустройство мира по американскому образцу.

В монографии приведен обстоятельный обзор теоретических изысканий наиболее крупных школ, наложивших свой отпечаток на внешнюю политику США. В послевоенный период идеи «реалистической школы» стали неотъемлемой частью внешнеполитического мышления правящих кругов США. Эти идеи использовались как ориентир для анализа состояния международных отношений дипломатическими, военными и разведывательными ведомствами, пропагандистским аппаратом США. Исходная посылка «реалистов» состояла в том, что важнейшим фактором международных отношений является вполне конкретная и осязаемая борьба за власть. Соответственно, в совокупности элементов, составляющих государственное могущество, сторонники реалистического направления отводили определяющее место военной силе. Утверждение примата силы дало им удобный предлог освободиться от каких бы то ни было моральных принципов во внешней политике. Вмешательство во внутренние дела других стран, бряцание оружием, угрозы применения военной силы — таково наследие «политического реализма» в американской внешней политике послевоенного времени.

К «политическим реалистам» примыкает школа стратегического анализа, основанная так называемыми гражданскими стратегами, которые сами были порождены политизацией военной стратегии государств. Именно они пустили в оборот понятие «устрашение». Накопление оружия массового уничтожения изображалось ими как фактор, действующий в пользу мира. Эти теоретики разглагольствовали о том, что наличие в руках государств огромных запасов ядерного оружия (средств устрашения) удерживает их от нападения друг на друга из-за боязни расплаты, иначе говоря, возникает равновесие страха, которое якобы производит «миротворческое» воздействие на международные отношения. Концепция равновесия страха до сих пор служит удобным прикрытием политике гонки вооружений, проводимой американскими правящими кругами. Мир, построенный на страхе и взаимном подозрении, не может быть прочным — таков неопровержимый вердикт истории. Путь к устойчивому миру лежит только через прекращение гонки

ядерных и иных вооружений, которое, как подчеркивал Л. И. Брежнев, положило бы «начало постепенному сужению материальной основы военной конфронтации».

Анализируя так называемые модернистские теории внешней политики, одно время пользовавшиеся значительной популярностью в США, автор затрагивает попытки американской политологии разработать методологию прогнозирования международных отношений. Серьезный порок американских установок в этой области заключался в том, что они следовали в основном формальной логике и ориентировались главным образом на механическую экстраполяцию уже имевших место фактов, оставляя вне поля зрения динамические многоплановые процессы, происходящие в мировой политике под воздействием изменяющегося соотношения сил. В то же время было бы неправильно закрывать глаза на определенные достижения американских ученых в области прогнозирования. Автор справедливо выделяет среди наиболее перспективных разработанных американскими специалистами методика «Дельфи», названную по имени дельфийского оракула. Основываясь на обработке с помощью ЭВМ совокупности мнений экспертов, она лежит в русле главной тенденции развития аналитических методов — сотрудничества между человеком и машиной.

Наибольший интерес читателя, несомненно, вызовет глава, раскрывающая концепции, которыми правительство США руководствуется при проведении внешней политики, то есть глава, показывающая, как внешнеполитические теории перекладываются на язык дипломатической практики. Предлагавшиеся американскими учеными теории самым непосредственным образом сказывались на становлении официальных доктрин, сыгравших важную роль в истории американской внешней политики и дипломатии. «Доктрина, — пишет профессор Вирджинского университета У. Джонстон, — аналогична карте и компасу, которые позволяют государственному деятелю и народу придерживаться своего направления, когда они прокладывают путь по сумеречной и зачастую опасной области международной политики».

Проследившая эволюцию концепций и доктрин, автор отмечает как положительный факт усиление в них за последнее время умеренно-реалистических тенденций. Это приспособление носит вынужденный ха-

рактер и вызвано необходимостью найти такие политико-идеологические ориентиры, которые позволяли бы американскому руководству с наименьшими издержками достигать намеченных целей в новой международной обстановке. Американские теоретики продолжают свои изыскания, и причина этого заключается прежде всего в том, что в силу объективных закономерностей и под воздействием революционизирующих сил нашего времени, главным образом под воздействием роста могущества социалистического содружества, изменились и продолжают изменяться условия, в которых осуществляется американская внешняя политика.

Разрядка международной напряженности уменьшила опасность военной конфронтации, способствуя тем самым перемещению центра тяжести в область политической и идеологической борьбы. Новая американская администрация считает, что было бы ошибкой недооценивать силу пропаганды и распространяемых ею идей. Полагая, что американское общество уже оправилось после сокрушительного внешнеполитического провала во Вьетнаме и после утергейтского скандала, вскрывшего всю глубину падения буржуазной демократии, новая администрация предприняла попытку перейти в своего рода идеологическое наступление, используя в качестве платформы «защиту прав человека». Цель этой вылазки состоит в том, чтобы ослабить влияние социализма и его идей, по мере возможности приукрасить облик капиталистического общества и, таким образом, подкрепить свое пошатнувшееся влияние на ход развития в освободившихся странах.

Несмотря на крикливый фасад кампании «защиты прав человека», выпады в адрес Советского Союза, выдержанные в стиле психологической войны, за всем этим скрывается внутренняя неуверенность в своих силах и воздействии своих идей. Буржуазные общественные отношения, особенно в эпоху империализма, всецело основаны на попрании прав человека, и нынешняя кампания — всего лишь диверсия, призванная отвлечь внимание от вопиющих пороков буржуазной демократии, ее коренной неспособности разрешить острые социальные проблемы.

Подводя итог критическому обзору идейного арсенала внешней политики США, автор приходит к выводу об исключительной

актуальности в нынешних условиях ленинского указания о необходимости борьбы против буржуазной идеологии, в какие бы модные одежды она ни рядилась. В этой связи весьма уместно напомнить высказывание Л. И. Брежнева о том, что «в борьбе двух мировоззрений не может быть места

нейтрализму и компромиссам. Здесь нужна высокая политическая бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская работа, своевременный отпор враждебным идеологическим диверсиям».

И. КИРИН.



ПОСЛЕ ЮБИЛЕЯ ДЕКАБРИСТОВ

Н. А. Рабкина. Отчизны внемлем призыванью... М. «Советская Россия». 1976. 256 стр.

«С ообщил *entre nous* Льву Николаевичу, что по случаю болезни своего брата М. А. Фонвизину было разрешено возвратиться в Россию в 1854 году. Михаил Александрович заезжал в Ялуторовск, чтобы проститься с образцовой колонией, так называлась Ялуторовская колония нашими товарищами. Когда наступил час расставания, М. А. нас всех дружески обнял. Ивану Дмитриевичу Якушкину поклонился в ноги за то, что он принял его в наш Тайный Союз. После долголетней ссылки, особенно отягченной, поступок М. А., человек он был положительный, дает понятие о Тайном Союзе».

Эти необыкновенные слова были записаны девяносто девять лет назад престарелым декабристом Матвеем Муравьевым-Апостолом о двух своих покойных друзьях; нашла же их в наши дни среди непрочитанных рукописей, хранящихся в Государственном историческом музее, и опубликовала Н. Рабкина, автор данной книги.

В ее работе немало архивных сносок, и, таким образом, пополняется пласт новых находок о декабристах, особенно мощно поднявшийся наружу в связи с недавно праздновавшимся столетием восстания. Рассматривая одно из многих юбилейных изданий, постараемся увидеть некоторые типические черты, относящиеся к другим работам этого рода и к некоторым нашим важнейшим суждениям о первых русских революционерах.

Культурно, изящно изданная работа с интересными фотопортретами, с именным указателем (без которого, увы, выходит так много «слепых» научных книг); фактические ошибки, неточности — в «пределах допустимого»: большая их часть относится к разряду «вторых открытий», принятых автором за первые (к сожалению, это самая

частая оплошность в большинстве последних работ о декабристах). Например, давно известно, а не «теперь оказывается», что Чаадаев переписывался с находившимся в сибирском заключении Якушкиным (стр. 135); также давно обнародована и не требует сегодняшнего розыска в архивах география служебных перемещений А. Н. Муравьева. Самым досадным упущением является цитата из «Пиковой дамы» Пушкина, которая легковерно оценена Н. Рабкиной как «воспоминание одного из внуков Голицыной» (стр. 188).

Однако достоинства работы существенны. Прежде всего новые материалы, причем сосредоточенные преимущественно вокруг отдельных декабристов и помогающие пристальнее рассмотреть их «духовные портреты».

Несколько деятелей движения 1825 года, переживших сибирскую каторгу и сумевших найти свое место в новых освободительных битвах 1860—80-х годов, в мире «детей и внуков», — вот главные герои книги. При всей огромной разработанности декабристской темы именно биографии отдельных революционеров, именно подход к общему через личное — все это было и остается важным неосвоенным резервом науки. При сегодняшнем особом интересе к проблеме научной биографии материал книги становится еще более современным.

Много живых, запоминающихся строк впервые предлагается читателю на основе биографических материалов Г. С. Батенькова. Н. Рабкина сообщает, что среди 15 тысяч листов, составляющих архив знаменитой в истории русской культуры семьи Елагиных, находится 224 послания декабриста; да еще 7358 листов — документы личного архива Батенькова — также сосредоточены в отделе рукописей Ленинской

библиотеки. Этот декабрист, после приговора на двадцать лет запертый в крепости (и до сих пор нет единого мнения — почему?), человек, почти одичавший и утративший после длительного заключения дар речи, — он едет к задушевым друзьям юности, предвывая свое появление волнующими строками, впервые публикуемыми и комментируемыми в книге: «Какое-то испуганное шепчет мне, что я сам буду тебе противен, как означающий появлением своим время, страшность лишений и неспособный к утешению по крайней близости сочувствия. Поколебался даже в том, как быть, как тебя увидеть, как обнять вас всех. Вещное сердце всю дорогу мешало спешить, и остаюсь здесь на три дня, чтобы собраться с силами».

Мудрость, скептицизм и в то же время особый светлый душевный настрой рождаются под пером Батенькова неожиданные резкие образы, содержательные политические формулы. «Бюрократия наша, — замечает он однажды, — стала чудовищно плодотворна... взять любое гражданское дело, оно в нескольких томах на тысяче листов. И что же в нем? Главный предмет совершенно заслонен... Просто разговаривать с народом — дело трудное... Мы не имеем нигде такой убедительности, которая не требовала бы карательной поддержки».

Несомненные удачи имеются и в главах, посвященных Свистунову, Матвею Муравьеву-Апостолу. Пользуясь достигнутым при изучении личности революционера, автор движется к общему, общественному. Интереснее всего понять, отчего столь разные, совсем не похожие по характеру, темпераменту, воспитанию люди принимают участие в одной борьбе, в одном деле и вместе оказываются в революции, на площади, в ссылке. Вот Александр Николаевич Муравьев, по определению Н. Рабкиной, «губернатор-революционер». Человек, сосланный в Сибирь, но не лишенный чинов и дворянства, а затем сделавший своеобразную карьеру: Николай I назначает его гражданским губернатором в Крыму, в Вятке — губернатором поднадзорным, без права въезда в столицу; затем, в годы реформ, нижегородский губернатор Муравьев стремится «получше» освободить крестьян (и в книге содержатся впечатляющие факты о его борьбе с крепостниками). Казалось бы, все ясно с губернатором-революционером, все, если не учесть фактов, говорящих против «идеального образа». Можно ли забыть,

например, что блестящий полковник, один из создателей первых тайных обществ, А. Н. Муравьев за несколько лет до восстания вдруг почему-то резко отходит от заговора. Его, правда, не минула расправа за «прошлые грехи», но, очевидно, многое в его поздних letech можно понять, лишь разобравшись в прежних обстоятельствах. Служба... Но ведь губернатор, как бы он ни был хорош, все же «слуга царев», под ним исправники, местная власть, полиция; если он добр, то, конечно, может помещать разным проявлениям зла, но при том обязан исполнять, и хорошо исполнять, приказы из Петербурга (иначе не продержался бы он губернатором, да еще не одно десятилетие, при Николае II). Конечно, он хочет более быстрого и прогрессивного освобождения крепостных, и тут-то возникает острейшее противоречие чувства и долга, воспоминаний и сегодняшнего официального положения; серьезный конфликт, не только внешний, но и внутренний, который был тонко замечен В. Г. Короленко, и его слова об А. Н. Муравьеве цитируются в книге: «...это был уже не мечтатель... а старый администратор, прошедший все ступени дореформенного строя, не примирившийся с ним, изучивший взглядом врага все его извороты, вооруженный огромным опытом. Вообще противник убежденный, страстный и — страшный... научившийся выжидать, притаиваться, скрывать свою веру и выбирать время для удара».

Образ яркий, однако если бы точно такие действия осуществлял другой губернатор, не имевший декабристского прошлого (например, сходный с ним по направлению В. Арцимович в Калуге), вряд ли автор книги придавала бы большое значение совпадению некоторых формулировок в его речах со статьями Чернышевского или находила бы революционный смысл в цитатах вроде следующей: «Они (дворяне.— Н. Э.) воздвигают преграды благосостоянию крестьян, лишая их возможности некогда приобрести ту самостоятельность, которую дарует суд общечеловеческий... и свергают крестьян в несметное количество безземельных пролетариев.. По-сему прошу комитет обратить свое внимание на последствия, могущие произойти от подобных постановлений... Страшно может выразиться приговор и пробуждение народа, признавшего себя по одному произволу лишенным прав и надежды».

Это благородно, прогрессивно, но выхо-

дило из-под пера не одного либерального деятеля той эпохи, когда еще далеко не завершилось размежевание либеральных и революционных сил. Есть много примеров того, как трудно, порою невозможно выявить, кому, например, принадлежит та или иная анонимная статья в герценовских и иных изданиях — революционеру из круга Чернышевского и Добролюбова или умеренному прогрессисту, поклоннику Кавелина, Чичерина.

Впрочем, порой герои Н. Рабкиной в эти и более поздние годы ведут себя «не так, как следует». Например, Матвей Муравьев-Апостол, как сказано в книге, «растроганный демагогическим вниманием (Александра III.—Н. Э.)... не выдержал, заплакал, упал на колени и поцеловал руку императора». Авторский комментарий к этому эпизоду такой: «Увы, то, что писалось и делалось в 90 лет... не имеет никакого отношения к характеристике общественно-политических взглядов декабриста: как личность Матвей Иванович тогда уже не существовал». Однако, говоря о беседах, состоявшихся в те же годы между декабристом и Львом Толстым, Н. Рабкина в явном противоречии с тем, что сказанным соглашается с лестными отзывами писателя о своем собеседнике. Восторженный отклик Муравьева-Апостола на «Дневник писателя» Достоевского также рассматривается как доказательство радикализма поздних воззрений Матвея Ивановича. Между тем далеко не ясно, какие именно строки «Дневника» (произведения, как известно, чрезвычайно сложного по своей идеологической направленности) вызвали письменный отзыв семьи Муравьева: «Мы ждем с нетерпением продолжения «Карамзовых» и «Дневника». Последний особенно был бы полезен в данное время. Может быть, тут скрыт отнюдь не «левый», но даже охранительный смысл. Задача, очевидно, заключалась не в том, чтобы взять из биографии хорошее, отбросив неподходящее, но понять, как же одно сочетается с другим...

Юбилей декабристов прошел. Он показал, что этих людей, живших век-полтора назад, хорошо помнят и сильно любят, настолько сильно, что это даже требует известных объяснений. Заграничные наблю-

датели с удивлением отмечают огромную тягу миллионов граждан СССР к таким образам, как Пушкин, первые революционеры, вообще указывают на интерес к своему прошлому, кажется, больший, чем в какой-либо другой стране мира. Будущему историку нашего времени придется объяснять этот феномен — растущий, как лавина, спрос на исторические книги и сюжеты. В чем тут дело? Отдадим некоторую долю объяснений исконному человеческому любопытству к предкам, прошедшему. Добавим тягу жителя быстро изменяющегося мира к сравнительно большому отрезкам времени, которые не так бы «мелькали» в глазах, как стремительная повседневность, позволили бы осмотреться, задуматься, сравнить «век нынешний и век минувший»... Это существенно, но еще не объясняет всего феномена.

Жителей 1970-х годов очень сильно привлекают к декабристам проблемы нравственные. Ведь само это движение было необыкновенным по своим нравственным категориям: сотни богатых, преуспевающих дворян добровольно отрекаются от сладостного, безмятежного существования (а ведь была свобода выбора, возможность иных путей), их жены, невесты, нянек не обвиняемые, обрекают себя на добровольное изгнание...

Автор рецензии был свидетелем одной неудачной лекции, когда докладчик, стараясь подольститься к массовой аудитории, всячески подчеркивал богатство, барство, изнеженность декабристов и их жен, сопоставлял ужасающие условия заключения революционеров из народа со сравнительно сносным житьем Волконских, Трубецких, Муравьевых на каторге и поселении... Рабочая аудитория, однако, не приняла этой линии: «Да, конечно, они были князья, но ведь сами отреклись от своего жития, их нужда не заставляла, молодцы!»

Нравственные узы, протянувшиеся через века, соединяющие сердца и мысли прадедов и правнуков, — вот что было очень заметно во время последнего декабристского юбилея, вот что проходит через большую часть новых работ, посвященных декабристам.

Н. ЭЙДЕЛЬМАН.

КОРОТКО О КНИГАХ



Набережные Челны

ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ. Стихи и рассказы. Казань. Татарское книжное издательство. 1977. 143 стр.

Первое знакомство всесоюзного читателя с рабочими-поэтами КамАЗа состоялось в прошлом году на страницах январского номера «Нового мира», где были опубликованы стихи Евгения Кувайцева, Инны Лимоновой, Юрия Малкова, Руслана Галимова и Владимира Потапова. И вот новая встреча, на этот раз в книге «Город моей мечты», вышедшей в Казани. Книга заметно обогащает наши представления о творчестве рабочих-поэтов КамАЗа прежде всего благодаря широкому охвату авторов (в нее вошли стихи и проза более 20 членов литобъединения «Орфей»). Читатель впервые познакомится с творчеством несомненно одаренных Николая Алешкова, Валерия Хатюшина, Татьяны Тищенко, Павла Юлаева и некоторых других. Голоса рабочих-поэтов порой ломки, неуверенны, авторам зачастую не хватает опыта, но они подкупают юным задором, темпераментом, искренностью.

Живите век, прилизанные улицы.
Живите долго, только без меня.
Я уйду. И снова мама хмурится,
И отступает горизонт, маня.

Я уйду туда, где за закатом
Сейчас же начинается рассвет,
Где только небо, сосны и палатки.
Дороги есть, а тротуаров нет.

В этом небольшом стихотворении Инны Лимоновой, пожалуй, наиболее полно отразился мист устремлений молодой камазовской поэзии — ее неуспокоенность, поиски непроторенных дорог, нравственный максимализм.

По своему размаху, дерзости, тугой сжатости времени и пространства КамАЗ созвучен молодым сердцам с их мечтой о романтической бригадине. Оттого так сильна в творчестве рабочих-поэтов романтическая струя, восходящая, скажем, к «лобастым мальчишкам невиданной революции» Павла Когана или «Синей весне» и «Новому году» Луговского. А еще дальше — к мятежному лермонтовскому парусу...

Мы в этот мир приходим не затем,
Чтоб у судьбы на солнышке погреться.
Я снова жгу заплаканную темь
Костром бунтующего сердца!

(Нина Грязнова, «Высокий век»)

В сущности, о том же пишут и Валерий Хатюшин в стихотворении «Голос времени», Евгений Кувайцев в стихотворении «Даешь

в четыре!», Георгий Сушко в «Белых верстах», Наталья Кандудина в «Необходимости».

Именно чувство причастности к осуществлению мечты, гордость за творение своих рук продиктовали Евгению Кувайцеву строки, знаменующие как бы взятие некоей высоты, откуда далеко видно и все пройденное хорошо обзревается:

След за спиной,
Выдавленный в граните
Город дарю вам,
Построенный мной,—
Живите!

К наиболее интересным стихотворениям сборника относится «Поэзии немеренные силы...» Инны Лимоновой, где внешне парадоксально, но психологически верно раскрыта сложная диалектика быта и идеала, прозы и поэзии, возвышающая, животворящая сила творчества:

Нет смысла говорить — бессильна проза,
Но вдруг как слезы потекут стихи...

«Город моей мечты», щедро показывающий разноцветье красок, весь спектр камазовской поэзии как бы в ширь, намного скупер в раскрытии ее движения в г л у б ь. Известно, что каждый новый шаг в искусстве дается намного труднее, чем предыдущий. Легко заявить — «я начинаюсь», неизмеримо сложнее найти свой путь и не сбиться с него. И сделать эти труднейшие шаги к глубине и зрелости невозможно без упорной, кропотливой работы, без освоения богатейших сокровищ мировой культуры. Видимо, это сознают и сами орфеевцы (трое из них — Кувайцев, Лимонова и Алешков — ныне учатся на заочном отделении Литературного института).

Во имя дальнейшего творческого роста рабочих-поэтов КамАЗа остановимся на некоторых характерных недостатках их произведений. Назовем здесь трафаретность, избитость образов (например, рыдающие мамы встречаются по меньшей мере в десятке произведений поэзии и прозы). Нередко также ритм, стихотворный размер не соответствуют содержанию, выбранной теме (например, «Работа» В. Хатюшина). Целый ряд стихотворений так и не поднимается над бытописательством, «не обретает крыльев».

Не случайно мы не затрагивали прозу, представленную в сборнике. По своему художественному уровню она заметно уступает поэзии. Среди удачных прозаических произведений назовем лишь очерк Валерия Сурова «Дорога», запечатляющий ряд драгоценных примет разных этапов жизни

КамАЗа, высветляющий некоторые черты облика прославленного бригадира строителей Галины Филяшиной.

Подътоживая, хочется еще раз сказать, что книга «Города моей мечты», несмотря на ее очевидную неровность, радуется свежестью и полнокровностью чувства, темпераментом и честностью. Сегодня, когда КамАЗ мужает, когда он успешно решает задачи, поставленные перед ним эпохой, также предстоит возмужать и рабочим-поэтам — членам литобъединения «Орфей». Пожелаем же им новых творческих удач, удач в постижении времени и себя.

Арво Метс.



ЮРИЙ ГРИБОВ. Семь домов у Кузь-горы. Повести и рассказы. М. «Современник». 1976. 395 стр.

Вышла новая книга писателя Ю. Грибова. В ней собраны лучшие его произведения, созданные в последнее десятилетие. Здесь и история маленькой деревеньки по имени Москва, что расположена на древней псковской земле, и лирический сказ о заповедном месте «Сороковой бор», и суровое повествование о партизанском отряде, действовавшем в окрестностях Пулковских высот. Истории эти трогают сердце, учат жизни, помогают лучше понять истоки мужества и героизма нашего народа.

Хочется мне особенно отметить здесь повесть «Сороковой бор». Автор, рассказывая об истории создания заповедного лесного участка, одновременно раскрывает нелегкую, но удивительно яркую человеческую судьбу егеря Сергея Васильевича Моисеева, «известного на всю округу человека».

Леонид Максимович Леонов, говоря о роли писателя в великой схватке за природу, в одной из недавних своих статей писал: «В нашей стране слышнее всего голоса таких лично известных мне современников моих и коллег по душевному влечению к живой природе, как Борис Рябинин, Олег Волков, Владимир Солоухин, Владимир Чивилихин — ученый-лесник к тому же. Память подсказывает мне имена также ныне здравствующих Игоря Акимовича, Гавриила Тропольского, Виктора Астафьева, Юрия Дмитриева, Юрия Грибова, Евгения Носова, Юрия Черниченко, Сергея Викулова, Виктора Бокова, Людмилы Татьяничевой...»

Большая честь быть упомянутым крупнейшим нашим писателем, академиком среди «талантливых певцов родной природы». Этой чести удостоен и Юрий Грибов. Его книги заставляют думать о главных ценностях нашего бытия, воспитывают любовь к трудовому человеку, подлинному хозяину земли, говорят о том, что все прекрасное вокруг нас создано руками людей и наш долг — беречь и умножать богатства свей Родины.

Своих героев автор, как говорится, в лицо знает. Все они из жизни — мастера урожая, партийные работники, лесоводы, храни-

тели природных богатств. Биографичность, однако, не мешает автору вести лирический рассказ о природе и людях, проникать в «самое сокровенное» своих героев.

Сочен и колоритен язык писателя. Не могу не процитировать хотя бы одно место из повести «Перелом лета»:

«Перелом лета... Я очень люблю это зрелое, наполненное ожиданием время. Все, что могли сделать природа и труд человеческий, сделано: уронили цветущую просинь льны, подхоят, набираются желтоватой спелости хлеба, последние стожки сена ставятся в дугах. На виду уже все дары земные, собери только, не растеряй, срока скоротечного не упусти...»

Страницы этой повести, как и другие произведения, вошедшие в книгу, рассказывают именно о том, что и как делают люди в будничной, но такой наполненной творческими поисками трудовой жизни. Есть в нашей напряженной, всегда кипучей жизни годы особенных человеческих подвигов. Такими наивысшими отметками в судьбе народа был Великий Октябрь и гражданская война, индустриализация и коллективизация страны, Великая Отечественная война и восстановление разрушенного войной хозяйства, борьба партии за построение коммунизма. Эти высокие отметки народного духа проходят красной нитью в книге писателя.

Алексей Овсянников.



АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ. Мой генерал. М. «Детская литература». 1975. 223 стр.

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ. Каждый год, в сентябре... М. «Правда». 1976. 64 стр.

Максимальное доверие к юному читателю — принцип, которому Альберт Лиханов следует во всех своих книгах. Показательно в этом смысле и новое его произведение — «Мой генерал». Автор так обозначил его жанр — «роман для детей младшего возраста». Младший возраст — и роман? Да, именно так! По глубине охвата событий, остроте действия, серьезности проблем произведение это из числа тех, что создают у читателя максимальное духовное напряжение.

Жизнь Антона Рыбакова, ученика четвертого класса, круто изменилась с того дня, когда в гости приехал дедушка, генерал в отставке. Немало столкновений и конфликтов — от вполне невинных, комических до весьма существенных (гордость за деда начинает перерастать у Антона в кичливость, сознание своего превосходства) — возникает в этой связи. Для проникновения во внутренний мир ребенка, для исследования текучих, быстро меняющихся качеств, из которых формируется характер юного гражданина, — ситуация в высшей степени благодарная и поучительная. К этому следует добавить, что Альберт Ли-

ханов и место действия избирает с таким расчетом, чтобы читатель его книги узнал как можно больше интересного и увлекательного не только о душевных волнениях героя — современного школьника, но и о той большой и сложной жизни, которой живет сегодня страна. Сибирь, строительство крупной гидроэлектростанции, уральская деревушка, наконец огромная многоликая Москва. Все эти географические «координаты» естественно возникают по ходу сюжета. Автору удалось точно воспроизвести характер, язык, образ мышления современного школьника, благодаря чему книга находит прямой и короткий путь к сердцу юного читателя.

С книгами Альберта Лиханова, адресованными подросткам (писатель был удостоен за них недавно премии Ленинского комсомола), любопытно сопоставить «взрослые» его произведения. В частности, недавно изданный сборник рассказов «Каждый год, в сентябре...». Они подтверждают, что доходчивость произведений А. Лиханова для детей, экономная простота и «легкость» почерка базируются на весьма надежном фундаменте: углубленном психологизме, умелом построении фабулы. Каждый рассказ А. Лиханова помимо внешнего сюжета (точнее — параллельно, наряду с ним) имеет и внутренний, подспудный сюжет, который я обозначил бы как пробуждение души человеческой, находившейся прежде в состоянии затянувшегося покоя, инерции. При этом событие, которое заставляет человека пристально и остро взглянуть на ход своей жизни, вовсе не обязательно должно быть исключительным, из ряда вон выходящим. Вовсе нет. Скажем, бывшему фронтовику Василию Лукичу («Осенняя ярмарка») достаточно было случайно услышать немецкую речь, даже одно только слово «ахтунг», чтобы в памяти его ожили события тридцатилетней давности, и вся последующая его жизнь, и непростые взаимоотношения с женой Ксешей. А для молодого инженера Макарова («Шаг в сторону») газетный некролог о смерти школьного учителя, встреча с одноклассниками явились тем толчком, который заставил критически взглянуть на свою жизнь, сложившуюся безалаберно и несладко.

Альберт Лиханов тяготеет к письму ретроспективному. И дело не только в объеме, пропорцияж прошлого и настоящего в жизни героев, но в стремлении «уплотнить» события, дать «конспект» человеческой судьбы. Добываясь впечатляющей, ударной концовки, А. Лиханов сторонится в то же время любой назидательности, находит те косвенные психологические детали, которые показывают перемены, происшедшие с героем, нагляднее, отчетливее, чем эффектные сюжетные ходы.

...Надеюсь, из этого беглого сопоставления заметно, что арсенал художественных средств А. Лиханова неодинаков, меняется в зависимости от того, взрослому или юному читателю адресована книга. Вместе с тем есть в его творчестве одна постоянная

величина: доверие к человеку, вера в человека, желание видеть его сильным, добрым и благородным.

Валерий Гейдеко.



А. И. КУПРИЯНОВИЧ. Биологические ритмы и сон. М. «Наука». 1976. 120 стр.

Биологические ритмы (суточные, сезонные, годовые, их более ста) свойственны всем живым организмам. Они являются непременным условием жизнедеятельности, отдыха, высокой работоспособности. Третью жизни человек проводит во сне. Ритмично работают сердце, легкие, кишечник (перистальтика), головной мозг (альфа, бета и другие ритмы биотоков).

В книге доступно изложена сложная теория биоритмов, согласно которой работоспособность, эмоциональная возбудимость и творческая активность каждого человека изменяются ритмично, возрастая и уменьшаясь. В определенные дни, когда спады эмоциональной, физической и интеллектуальной активности имеют критическую точку пересечения, возможны срывы деятельности. Эти «опасные» дни можно предсказать и избежать перенапряжения. С другой стороны, как указывает автор, в случаях, когда пики циклов умственной активности (от годичного до полуторачасового) накладываются друг на друга, возможны и периоды резкого повышения работоспособности, которые нужно использовать.

Суточный ритм сна у разных животных неодинаков. Например, обезьяны-гамадрилы ночью просыпаются и бодрствуют в течение получаса через каждые два часа. Домашние свиньи имеют многофазовый сон. У них наблюдается 14 фаз сна за сутки, в то время как человек спит всего раз — ночью.

Важно, чтобы человек спал не только глубоко, медленным сном, но и так называемым быстрым, то есть видел сновидения, составляющие в норме до 25 процентов общей продолжительности сна. Последнее считается необходимым условием полноценного отдыха.

Не преувеличивая можно сказать, что нормализовать сон значит вылечить больного. Сон — лучшее лекарство, говорили старые врачи. Сон должен длиться «бронированные 8 часов» (академик И. П. Павлов). Крупнейший клиницист Г. Захарьин писал: «Обязательно спросите, спит ли столько, сколько его клонит ко сну, или недосыпает». Ежедневно тысячи людей мучаются от бессонницы и принимают снотворные средства, обладающие определенным побочным, возможно, вредным воздействием.

Улучшение сна без помощи лекарств или электрического воздействия на кору головного мозга — одни лишь ритмическими зрительно-слуховыми сигналами, имитирующими обстановку процесса засыпания (курс до шести одночасовых сеансов), — замечательный успех созданного автором книги

прибора «Ритмосон». Ритмическими световыми и звуковыми сигналами, экспериментально подобранными с учетом ритма биотоков мозга, прибор «Ритмосон» нормализует ночной сон. Управление внутренними ритмами организма имеет большое значение также при лечении ряда нервных заболеваний (неврозов и т. д.).

Метод «ритмосна» абсолютно безвреден, пригоден взрослым и детям. У космонавтов, летчиков, моряков при переходе в другое время суток (местное время) нередко нарушается привычный биоритм. В перспективе прибор Л. Куприяновича поможет и здесь.

С помощью аппаратов, стимулирующих биологические ритмы, можно существенно укрепить память человека — повысить быстроту запоминания, степень удерживания, точность и готовность памяти. Одновременно и познавательные процессы, чувства и воля в перспективе могут быть совершенствованы тем же путем сознательного воздействия на биологические ритмы. Подобный вывод можно сделать, прочитав заключительный раздел книги.

Автор выдвигает ряд важных научных гипотез, приводит обширнейший фактический материал, способный заинтересовать широкого читателя.

Ю. Кожевников,
кандидат медицинских наук.



АЛЕКСЕЙ БАДАЕВ. *Ветер с Байкала.* Стихи. М. «Современник». 1976. 109 стр.

АЛЕКСЕЙ БАДАЕВ. *У подножья Саян.* Стихи. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 1976. 214 стр.

Названия обеих новых книг Алексея Бадаева способны навести на мысль, что перед нами образцы, так сказать, национально-экзотической поэзии, стремящейся подробно рассказать о красоте и своеобразии родного края. У Бадаева, конечно, много строки, вдохновенных и дышащих нескрываемой любовью к Бурятии, к ее людям, природе. Для поэта его родная сторона, как он сам пишет, «боль моя и страсть... честь моя и суть!».

И все-таки подобные откровенные высказывания для Бадаева не слишком характерны. Он больше тяготеет к сдержанному лиризму. Несмотря на то, что у него — особенно в улан-удинской книге — можно встретить и публицистические и даже «иронические строки» (так называется один из разделов книги, но ирония у Бадаева криглушенная), для него естественнее не ораторствовать, а петь. И недаром он гово-

рит: «Мне естественность в мире дороже всего». Бадаев стремится к тому, чтобы стихотворение, группа стихотворений, объединенных одной темой, книга стихов, наконец, сами подводили читателя к необходимому выводу, чтобы та или иная мысль не была просто вычитана читателем, а как бы возникла от соприкосновения авторского и читательского воображения.

Одна из самых устойчивых у А. Бадаева — тема природы. Образы проникнуты такой щемящей нежностью, в них такое ощущение кровного, неразрывного родства человека и природы, их необходимости друг для друга, обоюдной зависимости, что сыновние и братские чувства к земле, к населяющим ее растениям и животным поневоле рождаются в душе читателя. Немалую роль здесь играет и антропоморфизм, воспринятый Бадаевым из народной поэзии.

Конечно же, Бадаев — человек XX века и он понимает неизбежность каких-то порой невозвратимых «займов» у природы. Но достаточно прочесть, например, «Балладу о пнях», чтобы ощутить соединенные с этим пониманием и скорбь и благодарность природе за приносимые ею жертвы...

В большом и интересном цикле «Песни Сурхарбаана» (книга «Ветер с Байкала») поэт менее всего озабочен описанием экзотических подробностей летнего скотоводческого праздника. Он стремится схватить и выразить в стихе дух народов, его удаль, молодечество, мудрость, юмор. Мелодика, ритмика стиха передают то задорный лад девичьей песни, то неспешный ход мыслей старого стрелка, то напряженную патетику авторского обращения к мэргэну и его коню: «Так славьтесь впредь, Великий Конь, и ты, вода, и ты, трава, к копытам льнувшая всегда, и ты, родная наша степь в сиянье дня, и всадник, выхоловший этого коня».

Большинство лучших переводов в обеих сборниках принадлежит Ю. Ряшенцеву (книга «Ветер с Байкала» переведена им целиком). Ю. Ряшенцев, много сделавший для того, чтобы стихи Бадаева звучали порусски органично и свободно (иногда он даже переклещивает, употребляя обороты и идиомы, отдающие городским, московским просторечием), тем не менее избирателен в своих пристрастиях и переводит в основном стихи мягкого, акварельного звучания. И, видимо, есть резон в том, что более «громкие» стихи Бадаева в книге «У подножья Саян» пришли к читателю в переводах иных поэтов, в частности в хороших переводах В. Кострова, О. Дмитриева, Д. Долинского, Н. Матвеевой...

Ю. Болдырев.

Переславль-Залесский.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. О социалистической революции. В 2-х тт. Т. 2. 1917—1923. 350 стр. Цена 70 к.

Ф. Э. Дзержинский. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. 1897—1923. 494 стр. Цена 1 р. Т. 2. 1924—1926. 535 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ю. Шаронов. Ленин как читатель. 208 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Глебов. Избранное. Васни, загадки и отгадки. Перевод с украинского. 197 стр. Цена 5 р. 1 к.

Иредж-Мирза. Верность. Избранная лирика. Перевод с персидского. 182 стр. Цена 50 к.

М. Миршанар. Избранное. Стихотворения. Поэмы. Перевод с таджикского. 222 стр. Цена 1 р. 44 к.

Д. Николаев. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. 358 стр. Цена 1 р. 20 к.

Поэзия Европы. В 3-х тт. Т. 1. 859 стр. Цена 3 р. 80 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Б. Анашенков. Этот простой сложный человек. Научно-техническая революция — социальный прогресс — литература. 352 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Варшанндзе. Храм братства. Стихи. Перевод с грузинского. 94 стр. Цена 24 к.

А. Иванов. Вечный зов. Роман. Кн. 1. 623 стр. Цена 2 р. 70 к.

М. Исмаил. Зерна спелого граната. Стихи. Перевод с азербайджанского. 134 стр. Цена 39 к.

А. Кривицкий. Как ловят крабов в Сан-Франциско. Очерки, памфлеты, рассказы. 471 стр. Цена 1 р. 85 к.

К. Нулиев. Книга земли. Стихи и поэмы. Перевод с балкарского. 391 стр. Цена 1 р. 16 к.

Л. Славин. Арденнские страсти. Роман. 240 стр. Цена 1 р. 18 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Бондарев. Мгновения. Рассказы. 350 стр. Цена 1 р. 18 к.

Е. Дубровин. Эксперимент «Идеальный человек». 335 стр. Цена 1 р. 36 к.

М. Иовчук и И. Курбатова. Плеханов. («Жизнь замечательных людей») 351 стр. Цена 1 р. 59 к.

О. Кожухова. Тридцать лет и три года. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 1. 431 стр. Цена 1 р. 84 к.

Я. Смеляков. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 1. 430 стр. Цена 2 р. 5 к. Т. 2. 606 стр. Цена 2 р. 63 к.

А. Тишков. Дзержинский. («Жизнь замечательных людей») 384 стр. Цена 1 р. 70 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Р. Киреев. Неудачный день в тропиках. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 239 стр. Цена 98 к.

Д. Ковалев. Мечты и память. Лирика. 319 стр. Цена 1 р. 50 к.

А. Межиров. Очертанья вещей. Книга стихов. 158 стр. Цена 55 к.

Н. Рерих. Письмена. Стихи. Иллюстрации автора. 199 стр. Цена 14 р. 40 к.

Русские народные пословицы и поговорки. Предисловие М. Шолохова. 103 стр. Цена 6 р. 20 к.

ВОЕНИЗДАТ

История второй мировой войны 1939—1945. В 12-ти тт. Т. 8. 535 стр. Цена 2 р. 80 к.

М. В. Фрунзе. Избранные произведения. 479 стр. Цена 1 р. 8 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

А. Ахматова. Стихотворения. Составление и вступительная статья Н. Ванникова. 527 стр. Цена 1 р. 56 к.

М. Львов. Я вас любил... Лирика. 223 стр. Цена 83 к.

К. Тренев. Повести и рассказы. Составление и предисловие М. Чудаковой. 350 стр. Цена 1 р. 80 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1977 ГОД

Гимн Союза Советских Социалистических Республик. VIII—3.

Валентину Петровичу Катаеву. I—5.
К. А. Федину. II—3.
Набережные Челны — редколлегия журнала «Новый мир». II—5.
Сергей Наровчатов. Памяти К. А. Федина. IX—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Алесь Адамович, Даниил Гранин. Главы из блокадной книги. XII—25.
Юрий Бовдарев. Мгновения. VIII—157.
А. Бочкин. С водой как с огнем. Рассказ гидростроителя. IV—94; V—133.
Витаутас Бубинс. Цветение несезонной ржи. Роман. Перевел с литовского Виргилюс Чепайтис. VII—23; VIII—127.
Борис Васильев. Были и небыли. Роман. VIII—4; IX—16.
Ивня Гофф. Медпункт на вокзале. Рассказ. VII—162.
Александр Крон. Бессонница. Роман. IV—7; V—21; VI—8.
Александр Поляков. Море в ноябре. Повесть. Предисловие Виталия Семина. XII—163.
Мария Прилежаева. Осень. Повесть. I—11.
Михаил Рощин. Воспоминание. Повесть. V—106; VI—132.
Юрий Рытхэу. Конец вечной мерзлоты. Роман. X—15; XI—26.
Юрий Скоп. Техника безопасности. Роман. II—14; III—27.
Чарльз П. Своу. Хранители мудрости. Роман. Перевели с английского И. Гурова и О. Кругерская. I—141; II—136; III—112; IV—127.
Мюррелл Спарк. Аббатиса Круская. Повесть. Вступление и перевод с английского В. С. Муравьева. IX—139.
Мариятта Шагинян. Человек и время. Воспоминания. Часть пятая. I—79.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Павел Антокольский. Петербургская повесть. Стихи. VI—128.
Виктор Боков. Новые стихи: Зимняя песня; Вьюга белогривая; Солнце; Как переносите возраст преклонный...; Голосистый озорник; Притча; В шахтеры; После болезни; Ива; Чуть колышется штора... I—6.

Весенний день поэзии: Сергей Орлов. Из записной книжки. Владимир Жуков. И вновь, как рана ножевая... Николай Старшинов. Поспать бы еще немного. Борис Служкий. В сорок шестом. Юлия Друнина. Нужно думать о чем-то хорошем... Лев Ошанин. Михаилу Дудину. Константин Ваншенкин. Старики. Павел Антокольский. Колодец. Василий Федоров. Видение, бывшее мне в метро «Маяковская». Марк Максимов. Листовка. Лев Озеров. Мы пишем нынче крупно, без деталей... Николай Доризо. Светлов, Людмила Татьяничева. Электроток толкает грузы. Римма Казакова. Спасибо Печоре и Лене... Николай Новиков. Грибная полоса. Владимир Гришин. Воспоминания о войне. Евгений Антошкин. Век стремительный, век двадцатый... Олег Дмитриев. Фотографии на вкладке. Михаил Беляев. Человек идет. Яков Возменцев. Разведчики. Лариса Васильева. Ворвался ветер озорства. Новелла Матвеева. Подпись за мир. Ларина Дымова. В надежде постоянной. Владимир Сергеев. Дуб. Владимир Сорокажердьев. Калитка. Марина Тарасова. Над Киевом и над Смоленском. Владимир Туркин. И кто придумал эту ложку! Владимир Дагуров. Милая, хочется мне постоянства. V—3.

Андрей Вознесенский. Такое же — и все другое: Разлука; Реплика в дискуссии об экологии; Строители; Римская распродажа; Север; Пиета Микеланджело; Пароход влюбленный; Новоселье; Эпистола незадачливому критику К.; Когда звоню из городов далеких... Стихи. IX—127.

Юрий Воронов. Улица Росси. II—6.
Расул Гамзатов. Из новых стихов: Киноаппараты, телеаппараты, фотоаппараты...; Омар Хайям, кому ты дал зарок...; Ответь, куда ты держишь путь...; Я ехал к тебе, а мой конь ревновал...; Говорят мне птицы, говорят... Перевела с аварского Юнна Мориц. X—11.

Татьяна Глушкова. Валероламская осень: Я возьму этой осени дым...; Лазурью райской светится цикорий...; Я не забвения страшусь...; ...А ты меня покинешь, как поэма. I—138.

Олег Дмитриев. Город: Душа была чиста и молода...; Смеляков; На круги свои; Встреча. Стихи. XII—160.

Евг. Евтушенко. Из новой книги: Зашумит ли клеверное поле...; Забудьте меня; Сибирская сера; Агент по страхованью; Колумбиха; Лейб-камpanцы; Москву прозвали новым Римом...; Компот; Однажды мы спали валетом... Стихи. VIII—118.

Анатолий Жигулин. Четыре стихотворения: Немоощная улица...; Дорогие родители; Даль и душа прояснились...; Цветы сажают в торф... III—109.

ЗИЛ — Набережные Челны

Переключка. Ханиф Хуснуллин. Голубое мое ремесло; Сиротливые ворота. Перевел Александр Големба. **Салима Шарипова.** Короткая песенка о долгой радости; И вновь я за перо берусь... Перевел Александр Големба. **Махмуд Газизов.** Жаль, что время растянуть нельзя... Перевел Александр Големба. **Михаил Федосеев.** Комбат; Декабрьский ветер; Как солнечно нам на лугу... **Равиль Бухараев.** Экскурсовод; Ночная смена; Рассвет; Родник; Над Камой. **Николай Алмазов.** Горизонты. **В. Поздняков.** Как огромный корабль, уходя от причала... **Евгений Тихомиров.** В пути. **Виктор Крупенин.** Проводы. **Евгений Вакарин.** Из цикла «Музыка труда»; Грузенные рудой до отказа... **Александр Пахомов.** Сыновья. Стихи. XII—11.

Н. Злотников. Морозное облако; Тракай; Морозное облако в небе течет...; Я застал еще зиму в Калуге...; Я нес письмо поэту...; Не был я на виду...; Я запомню тот свет на Гамбори... II—9.

Из молодой поэзии: **Андрей Василевский, Вл. Вишневецкий, Леонид Вьюник, Сергей Суша, Ия Сотникова, Равиль Бухараев, Ольга Чугай, Григорий Кружков, Татьяна Веселова, Александр Шуплов, Ирина Путяева, Генадий Касмынин, Наталья Стельмах, Виктор Гофман, Сергей Каратов, Н. Басовский, Николай Шамсутдинов, Олег Маслов, Валерий Краско, Евгений Глушаков, Владимир Жижилев, Иван Киуру, Наталья Сидорина, Михаил Чердынцев, Вячеслав Куприянов, Римма Катаева, М. Шлаин, Татьяна Николаева.** VII—3.

Из эстонской поэзии: **Дебора Вааранди.** Гранатовый плод; Способ жизни. **Элаен Нийт.** Искать себя. **Арви Сийг.** Олшаники. **Владимир Бээкман.** Песнь о времени. **Бетти Альвер.** Из поэмы «Босая нога». **Пауль-Эрик Руммо.** Aits solatis; В белоснежный город туч...; Из «Песен Гамлета». **Яан Каплинский.** Мечта быть флибустьером...; Глаза. **Яан Кросс.** Автобиография вспять. **Матс Траат.** Сказка; Учебник; Из цикла «Этюды для зажигания». **Эин Ветемаа.** Одиноко прильнуть... **Хайдо Руннель.** Кристина. **Вийви Луйк.** Мольба. **Ли Сепель.** На моих скалах горит нынешнее солнце... **Александр Сууман.** Не убивай, не убивай меня!... Бледная желтизна березы...; Шараялся шум голосов...; Крутое небо пылью тмится...; С поля медленно шла. Вечерело...; Где ветер с соснами заводит...; Поэзия бежит в неизвестность...; Снег; Как ноги весело носили...; Травы дышат мирным летом...; Томь-река. II—132.

Римма Казакова. Набело. Стихи. VI—3.

Василий Казанцев. Дорога: Над плотной насыпью привстаю...; Шарахался шум голосов...; Крутое небо пылью тмится...; С поля медленно шла. Вечерело...; Где ветер с соснами заводит...; Поэзия бежит в неизвестность...; Снег; Как ноги весело носили...; Травы дышат мирным летом...; Томь-река. II—132.

М. Кудинов. Из французской поэзии. **Этьен Павийон.** Чудеса человеческого разума. **Жан Батист Шасинье.** Вдоль берега реки; Я странствовать хотел. **Теофиль де Вио.** Существовать в обличье странном. **Франсуа де Менар.** Прощай, Париж; Места пустынные; Стихи, посвященные Малербу. **Поль Скаррон.** Надгробья пышные; Париж. **Сент-Аман.** Трубка. **Шарль Вион.** Далибре. О судьбе; Большой и толстый; Ты смертен, человек; Я отслужил свое. **Пьер Мотэн.** От Жанны я ушел. **Гийом Кольте.** Осмеянные музы; Поэтическая жалоба. **Клод ле Пти.** Шоссона больше нет; Когда вы встретите... **Тристан Л'Эрмит.** Корабль. II—171.

Юрий Кузнецов. Новые стихи: Ты зачем полюбила поэта...; Озеро; Любовь Гулливера; Былинное. VI—162.

Ст. Кувяев. По северным звездам: По северным звездам угадывать путь...; На этих угрюмых просторах...; Вековые деревья сплелись...; Зброшенный хутор; Ворон каркал, и зябик насвистывал...; Увядают ягоды черники...; Не вчера ль я глядел в синеву... II—128.

Марк Лисянский. «Скорая помощь»: Летит сквозь осеннюю полночь...; Что-то, видимо, в мире сместилось...; Все тревожней мне теперь живется...; О тех, которых нет; Живем во всем живом; Листья шуршат под ногами... Стихи. IX—127.

Михаил Львов. Портрет: В молодости; Заботы; Дружьем. I—78.

Алексей Марков. Три стихотворения: Чем ветер злей — тем слаще тишь...; Мне сигналил утренняя печь...; Уходит весело она... VIII—171.

Мартовская книга А. Гюзель Элемова. Мой Алтай; Ты не по бровей надменным дугам...; Нет, я кроткою девочкой не была... Перевел с алтайского А.А. Големба. **Татьяна Кузовлева.** Стихи из новой книги: Какое великое счастье...; Мой ребенок, мой свет, мой пленец...; Земля просыпалась неспешно... **Людила Ципахина.** Ожидаящая девочка; Озеро памяти. **Надежда Кондакова.** Журавли; Заснеженным пространством Оренбуржья...; Эту женщину мамой зовут... **Вера Игельницкая.** Чаша; Ты зажег меня...; Природа борется в красках...; Непонимание — шаги к нему... **Ирина Снегова.** Черемуховый мед; Поэт; Тени; Игластая ветка...; Мне захотелось погордиться...; В приблизительноном свете... III—15.

Л. Овсанинкова. БАМ у костра. XII—198.

Поэтическая летопись Октября. **В. Маяковский.** Слово — полководец человеческой силы... **Сергей Есенин.** Весна. **П. Васильев.** Две песни. **Э. Багрицкий.** Итак — бумаге терпеть невмочь... **Тидиан Табидзе.** Здравница. **Джамбул.** Застольная песня. **Сулейман Стальский.** Из дагестанских рубай. **И. Эренбург.** О чем молчат арденские леса... **Константин Симонов.** Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины... **Расул Гамзатов.** Старшему брату. **Расул Рза.** Разные глаза. **А. Твардовский.** Из поэмы «За далью — даль». **Мустай Карим.** В дальний путь седлают непременно... **Петр Бреськи.** Да, мы живем в такое время...

Максим Таяк. Письмо, найденное плугом.
Давид Кугультинов. О Ленине. **Автас Вецлова.** Что значу я?.. **Платон Воронько.** Октябрь. **Емилиан Буков.** «Искра». **Аскад Мухтар.** Здесь даже время замедляет бег... **Микола Бажан.** Вечер 24 октября. **Борис Олейник.** Истина. XI—3.

Путем Октября. **Илья Фояков.** Народный праздник. **Николай Флеров.** Герои Октября. **Ст. Золотцев.** Музыка века; Трон; Камень; Этот город. **Альберт Кравцов.** Фронтвые поэты. **Николай Зиновьев.** Плечи. X—3.

Роберт Рождественский. Байкальская баллада. Стихи. IV—3.

Николай Савостин. БАМ: К северу...; У океана. Стихи. I—135.

Александр Челноков. Матери: Платок в руках немного волглый...; Стою у железной ограды...; Пусть поземка над могилой вьется... Стихи. VIII—155.

Борис Шахов. Пирсомани. Стихи. IX—137.
Игорь Шкляревский. Из книги «Неизвестная сила»: Тебя омывают двенадцать морей...; Утро летнего дня в небольшом городке...; Есть на родной земле места...; На слиянии Сожа с Днепром; Где-то степью пылят грузовик...; Свет одинокий в поле...; Отъезд; Когда шумят над лесом тучи...; На кургане; Хроника счастья; Когда тяжелый товарняк... Стихи. VIII—172.

В. Шленский. Из стихов о Севере. XII—159.

Степан Щипачев. Перевалы. Поэма. IX—5.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Мария Баланина. Устремленный к звездам. Литературная запись и примечания Александра Романова. I—215.

Геннадий Геродянк. Восточные университеты. VII—189; VIII—196.

М. М. Громов. Через всю жизнь. I—194; II—205; III—189.

Иван Гроцкий. 1917 год. Записки солдата. X—187; XI—199.

Иван Иванов. На пути к Октябрю. X—173.
Николай Лебедев. Смольный... «Известия». III—219.

Н. Михайлов. Мастер. VI—228.

М. Урнов. Огонь таланта. IV—237.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Сильва Капутикян. Меридианы карты и души. Авторизованный перевод с армянского Т. Смолянской. III—152; IV—192.

Мэлор Стуруа. Обитель Калипсо. IX—202.

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Азаров. Становление. II—182.

П. Бородин. На главных рубежах технического прогресса. I—184.

Валентина Елисеева. Так оно было. VI—164.

Великая Конституция великой страны. XII—3.

Аватолий Ивайский. Три дня в апреле. IV—209.

А. Коваленко. Шаги богатырские. III—3.

И. Кош. Открытие «я». Историко-психологический этюд. VIII—176.

В. Косолапов. Всею исток... По страницам трехтомника «Рассказы о партии». X—163.

Сергей Наровчатов. Навстречу славной годовщине. I—3.

Основной закон нашей жизни: **Мария Прилежаева.** Охранять духовные ценности; **В. А. Красильников.** Все во имя человека; **А. И. Арнольдов.** Документ революционного гуманизма. IX—180.

Егор Яковлев. Школа на Безымянке. XII—214.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ЗИЛ — Набережные Челны

Валерий Джалагония. Эстафета. VII—173.
Андре Ремакль. Легенда о КамАЗе. Главы из книги. Перевела с французского Л. Завьялова. XI—184; XII—199.

Владимир Ишимов. Хенритс Нутть, земля и биомашина. IX—192.

В МИРЕ НАУКИ

И. Забелин. Мы и мир, который нас окружает. V—207.

П. Федосеев. Наука об обществе и общественный прогресс. XI—160.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Владимир Лазарев, Ольга Туганова. Контркультура и личность. V—223.

Екатерина Лопаткина. В Баболне. XII—230.
Аватолий Медников. Побеждает дружба. IX—215; X—218.

Леонид Топорков. Открытый урок. VII—218.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

Андрей Толкунов. Отчуждение юности. IV—230.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Чингиз Айтматов, Хейиц Плавнус. Человек и мир. Семидесятые годы. Диалог. Перевела с немецкого И. Щербакова. XII—242.

Вадим Баранов. Жизненные корни. О труде современного литератора. VII—231; VIII—240.

Н. Гей. Слово полноценное и слово обесцененное. Размышления о стиле. III—230.

Горький и современность. Выступления С. Алешина, Бориса Бялика, Данила Гранина, Любомира Дмитерко, Мустая Карима, Вадима Кожевникова, Григория Коновалова, Александра Овчаренко, Юрия Рытхэу, Сергея Сартакова, Виталия Семина, Миколаша Слущкиса, Василия Федорова, Льва Якименко. I—230.

Н. Жегалов. Время зрелости. Идеино-художественный арсенал социалистического реализма и теоретическая мысль. X—234.

В. Каверин. Рассказы Шукшина. VI—261.

В. Камянов. По родословной линии. IV—245.

И. Крамов. Разговоры с Маршаком. К 90-летию со дня рождения. X—247.

Л. Лавлинский. На страже века. VII—240.

Молодые силы литературы. IV—244.

А. Нилов. С веком наравне. V—241.

Василий Новиков. Герой и труд. VI—251.

М. Пархоменко. Магистраль поисков. Эстетический идеал и нравственный пафос современного советского романа. VIII—224.

Иван Рахилло. Одна страница. III—245.

Е. Старикова. Жить и помнить. Заметки о прозе В. Распутина. XI—236.

М. Б. Храпченко. Литература и искусство в современном мире. IX—231.

Н. Шамота. Открытая человеку и человечеству. XI—224.

В. Щербина. Соотнесенная с жизнью. II—247.

Аидрис Якубан. Вклад художника. Об Аидрее Упите в день его столетия. Перевел с латышского Ю. Абызов. XII—260.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Максимилиан Волошин. «Войди, мой гость...» Публикация и предисловие Л. Евстигнеевой. V—235.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Письма Марины Цветаевой Максимилиану Волошину. Публикация, вступление и примечания Ирмы Кудровой. II—231.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

В. Абачиева. Остался молодым (Михаил Молочко. Жил-был мальчишка). V—266.

А. Анастасьев. Советский театр — в пути (Б. Алперс. Театральные очерки). XI—262.

Юрий Андреев. Эффект достоверности (Дмитрий Гусаров. За чертой милосердия. Роман-хроника). X—257.

Л. Аннинский. Цена синтеза (Игорь Золотусский. Час выбора). VIII—255.

Рамз Бабаджан. Творческая эстафета поколений (Рукопожатие. Сборник произведений писателей стран Азии и Африки). V—259.

П. Балашов. Логика трудных решений (Джеймс Олдридж. Горы и оружие. Роман. Джеймс Олдридж. Джули от-решенный. Повесть). I—266.

В. Баранов, В. Терехов. Книга и революция (А. С. Блинов, Т. А. Пострелова. Мария Малых. Очерк. С. Белов. Книгоиздатели Сабашниковы). X—254.

Виктор Боков. Поэзия мысли (Алексей Прасолов. Осенний свет. Стихи). IX—263.

Анатолий Бочаров. Увеличительное стекло публицистики (Шаги. Выпуск второй). II—262.

Ирина Винокурова. Живое движение стиха (Белла Ахмадулина. Стихи. Бел-

ла Ахмадулина. Цикл стихов в «Октябре». Белла Ахмадулина. Цикл стихов в «Дне поэзии»). II—259.

Ираида Вороница. Высокий костер (Люди-мила Татьяначева. Избранные произведения в двух томах). X—264.

Николай Ворозов. Правда человеческих отношений (Владимир Мирнев. Перелетное время. Повести и рассказы). IV—261.

Александр Гладков. Армейская юность (Константин Ваншенкин. Повести и рассказы). II—257.

У. Гуральник. Первая книга критика (Юрий Томашевский. Встречи. Юрий Селезнев. Вечное движение). I—257.

Вл. Гусев. Прошлое и будущее стиха. (Андрей Вознесенский. Витражных дел мастер). VII—263.

Юрий Домбровский. Начало пути (С. Родионов. Не от мира сего. Повесть. Т. Хлопьякина. Здравствуй, уважаемая редакция. Повесть. Н. Сафонов. Белка. Рассказ). IV—264.

Олег Ефремов. Уроки великого режиссера (И. Виноградская. Жизнь и творчество К. С. Станиславского. Летопись в четырех томах. 1863—1938). I—261.

Наталья Капиева. Верен пути (Алим Кешоков. Талисман. Стихи и поэмы. Алим Кешоков. Кубок неба. Стихи и поэмы. Перевод с кабардинского). VIII—253.

А. Коган. Линия огня (Л. Лавлинский. Не оставляя линии огня). II—266.

Г. Койранская. Новый роман Олеса Гончара (Олесь Гончар. Берег любви. Авторизованный перевод с украинского Михаила Алексеева, Ивана Карабутенко). III—257.

Михаил Кузнецов. Смертью храбрых (Строка, оборванная пулей. Московские писатели, павшие на фронтах Великой Отечественной войны). V—262.

Л. Лиходеев. Позволяет надеяться (Николай Булгаков. Я иду гулять. Повесть и рассказы). IV—271.

Алла Марченко. «Стал он кликать золотую рыбку...» (Виктор Астафьев. Царь-рыба. Повествование в рассказах). I—253.

Генрих Митин, Леонид Темин. «И, уйдя от слов случайных...» (Дм. Кикин. Кладень. Дмитрий Кикин. Высокогорье). III—261.

Дм. Молдавский. «Надо мечтаты!» (И. Эвентов. Пробуждение новых сил. В. И. Ленин о поэзии). XI—249.

А. Мясников. Горизонты научного поиска (М. Б. Храпченко. Художественное творчество, действительность, человек). XI—258.

Леонид Новиченко. Диалектика единства и многообразия (В. Оскоцкий. Богатство романа. Многообразие и единство. Проблемы. Наблюдения. Polemica). III—265.

С. Овчинникова. Остановиться, оглянуться... (Откровения телевидения). XII—268.

Евгений Осетров. Народная библиотека («Роман-газета». 1927—1977). VI—266

В. Оскоцкий. Из глубины веков к девятисот семнадцатому... (Сергей Алексеев. Повести. Сергей Алексеев. Октябрь шагает по стране. Рассказы). IX—260.

И. Питлар. Во власти впечатлений (Юрий Щеглов. Когда отец ушел на фронт. Пани Юлишка. Повести). IV—269.

В. Пронин. С любовью к человеку (Ингеборг Бахман. Три дороги к озеру. Перевод с немецкого). VII—267.

Д. Тевекелян. «...пишете то, что есть» (Вера Панова. О моей жизни, книгах и читателях). V—270.

П. Топер. «Победит везде» (Друзья Октября и мира. Издание 2-е, дополненное). XI—254.

Г. Трефилова. Протяженность луча (Тимур Пулатов. Повести. Рассказы). XII—263.

В. Турбин. За други своя (Чингиз Айтматов. Пегий пес, бегущий краем моря. Повесть). VIII—250.

Михаил Шур. У времени на поверке (Геннадий Фиш. Избранные произведения в двух томах). VII—261.

М. Эпштейн. От слова к жизни (Контекст-1972; Контекст-1973; Контекст-1974). VI—272.

Политика и наука

Г. Ашви, Р. Додельцев. Процесс разрядки и идеологическая борьба (Борьба идей в современном мире. Под общей редакцией Ф. В. Константинова. В 3-х томах). I—274.

Р. Баладин. Город глазами геолога (Р. Леггет. Города и геология. Перевод с английского). IV—275.

И. Бестужев-Лада. Образ жизни (В. И. Толстых. Образ жизни. Понятие. Реальность. Проблемы. Социалистический образ жизни. Социалистический образ жизни и современная идеологическая борьба. Проблемы социалистического образа жизни. Сборники статей). III—268.

Иг. Бубнов. Космос, общество, мысль (А. Д. Урсул. Человечество, Земля, Вселенная. Философские проблемы космонавтики). X—272.

Г. Водолазов. У порога подлинной истории (Г. Н. Волков. Истоки и горизонты прогресса). II—272.

И. Дрейцер. Планета у нас одна (Земля людей. Человек и природа). X—269.

В. Елисеева. Через всю войну (Софья Авричева. Дневник разведчицы). III—273.— Секретарь обкома (Н. С. Патоличев. Испытание на зрелость). IX—272.

Валентин Зорин. Не точка и не в конце (Александр Кривицкий. Точка в конце... Очерки). I—272.

Ю. Каграмаиов. О ясонах, тиресиях и других (П. Диксон. Фабрика мысли. Ch. Kaduchin. The American intellectual Elite). V—276.

И. Кирич. Идейный арсенал американской

внешней политики (В. Ф. Петровский. Американская внешнеполитическая мысль). XII—270.

Юрий Корольков. «Я не щажу себя никогда...» (О Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Воспоминания, статьи, очерки современников). IX—266.

В. Косолянов. Писатели на войне (Д. Ортенберг. Время не властно. М. И. Гордон. Невский, 2). II—269.

Вл. Кузнецов. Ленинским курсом мира (История внешней политики СССР. 1917—1975). VII—270.

А. Лавров. Советский Союз в борьбе за мир (Документы внешней политики СССР. Том двадцатый). II—276.

Б. Марушкин. Слово друзей Октября (Революция, изменившая мир. Слово прогрессивных людей мира о Великой Октябрьской социалистической революции). XI—268.

Мих. Матусовский. Записки романтика (Борис Изаков. В наш романтический век. Двадцатые, тридцатые, сороковые). XI—271.

Вадим Монахов. Поведение: механизмы его регуляции (Психологические проблемы социальной регуляции поведения). VII—278.

Н. Мор. Девять месяцев одного года (Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 7. Март—ноябрь 1919). VIII—259.

А. Пляц. «Минувшее меня объемлет живо...» (А. Грачев. Дорога от Волхова). VI—278.

Вадим Рабинович. Наука в человеческом измерении (И. Т. Фролов. Прогресс науки и будущее человека. Опыт постановки проблемы, дискуссии, обобщения). III—276.

Г. Резниченко. Проверено в космосе («Союз» и «Аполлон»). Рассказывают советские ученые, инженеры и космонавты — участники совместных работ с американскими специалистами). IV—273.

И. Роздорожий. Ленин, Октябрь, Финляндия (П. В. Московский, В. Г. Семенов. Ленин в Финляндии. Памятные места). XI—265.

Г. Федоров. Лампа Аладдина (О научно-художественных книгах издательства «Детская литература»). VIII—264.

Ан. Чирва. Очерки о русских издателях (С. В. Белов, А. П. Толстяков. Русские издатели конца XIX — начала XX века). VII—275.

Ю. Шаратов. Преемник первого чекиста (Михаил Барышев. Особые полномочия. Повесть о Вячеславе Менжинском). I—270.— Октябрь в Москве (А. Я. Грунт. Москва 1917-й. Революция и контрреволюция). X—267.

Н. Эйдельман. После юбилея декабристов (Н. А. Рабкина. Отчизны внемлем призыванию...). XII—274.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Из редакционной почты. IV—285,

Александр Перегудов. В те зоревые годы. X—277.

КОРОТКО О КНИГАХ

Лев Разгон.— Юрий Коринец, Володины братья. Повесть. Ст. Золотцев.— Вадим Ковда. Полустанок. Стихи. Н. Милова.— А. И. Шифман. Толстой — это целый мир. Очерки и рассказы. Н. Литвиненко.— Райнер-Мария Рильке. Лирика. Перевод с немецкого. А. Майкапар.— Ромен Роллан. Последние квартеты Бетховена. И. Верховский.— Основы марксистско-ленинской культуры. И. Забелин.— Воронежские дали. Под редакцией Ф. Милькова. А. Нуйкин.— Мир вокруг нас. Беседы о мире и его законах. Г. Резниченко.— А. П. Романов. Ракетам покоряется пространство. I—279.

Ю. Смелков.— Борис Сергуненков. Лесная лошадь. Повесть-сказка. Л. Таганов.— Владимир Жуков. Иволга. Лирика. Поэмы. Уран Гурадьник.— Виталий Коржев. Эстафета.— Д. М. Молдавский.— Вл. Орлов. Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. Сергей Львов.— Краткие замысловатые повести из «Письмовника» профессора и кавалера Николая Курганова. Л. Василевский.— Сергей Голяков, Владимир Позизовский. Голос Рамзая. С. Десятков.— А. Д. Чиквадзе. Английский кабинет накануне второй мировой войны. Юрий Дмитриев.— Ян Линдبلاد. Белый тапир и другие ручные животные. Ян Линдبلاد. В краю гоацинов. Вл. Кузнецов.— Ф. И. Новик. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения 1949—1974. II—280.

Евгений Винокуров.— Николай Тарасов. Впечатления. Книга стихов. К. Шоस्ताк.— Софрон Данилов. Красавица Амга. Роман. Перевод с якутского Николая Ершова. В. Бавина.— Даль Орлов. Сергей Баруздин. Очерк творчества. Вл. Воронцов.— В. Пискунов. Советский роман-эпопея (Жанр и его эволюция). Ирина Гитович.— А. Альтшюллер. Павел Свободин. П. Куприяновский.— Искусство советского Палеха. Библиографический указатель литературы. Л. Пинчук.— Александр Дунаевский. Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая. Д. Биленкин.— Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Составитель, автор предисловия и введений к главам Е. С. Лихтенштейн. М. Кривич.— С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гурвич. Экспертные оценки в принятии плановых решений. III—280.

Виктор Широков.— Михаил Синельников. Облака и птицы. Стихи. А. Любимов.— Анатолий Медников. Свет московских окон. Б. Пуришев.— Шарль де Костер. Фламандские легенды. Перевод, послесловие и комментарии М. Н. Черневич. Ю. Болдырев.— Николай Носов. Повесть о детстве. И. Пешкин.— А. И. Храмов. Уральская баллада. С. Сураат.— Виталий Корионов. Устремленные в будущее. Коммунисты в современном мире. Б. Розен.— К. Манолов. Великие химии. В двух томах. Перевод с болгарского. IV—279.

Ю. Амиантов.— Борис Яковлев. Из

реки по имени — «Факт»... Историко-революционные репортажи. Р. Романов.— В. Перцов. Мы живем впервые. О твердестве Юрия Олеши. V—285.

Г. Степанидин.— Быстрина. Рассказы писателей о друзьях-динамовцах. Евгений Букетов, Сергей Никитин.— Джубан Мулдагалиев. Дойду до горизонта. Новые стихи и поэмы. Нина Денисова.— Владимир Савченко. Тайна клеенчатой тетради. Повесть о Николае Клеточникове. В. Фальский.— А. Урсул, Ю. Школенко. Человек и космос. В. Замковой.— С. П. Трапезников. Интеллектуальный потенциал коммунизма. В. Война.— О. Степанова. 4 июля 1776. VI—281.

Борис Яранцев.— В. Померанцев. Зрелость пришла. Повести, рассказы, роман. А. Л. Михайлов.— Людмила Шипахина. Постоянство. Стихи. М. Анцыферов.— Ибрагим Кэбрили. Огненная судьба. Стихи. Нина Надъярнык.— Л. Теракоян. Миколас Слуджис. Очерк творчества. А. Турков.— З. Палерный. Записные книжки Чехова. А. Парфенов.— И. А. Дубашинский. Поэма Дж. Г. Байрона «Паломничество Чайльда-Гарольда». И. А. Дубашинский. Поэма Байрона «Дон-Жуан». Вера Маркова.— Н. С. Николаева. Японские сады. И. Дрейцер.— А. В. Рябушин. Развитие жилой среды. Проблемы, закономерности, тенденции. М. Аджиев.— Н. И. Михайлов. Природа Сибири. Географические проблемы. VII—281.

Г. Койранская.— Ольга Гуссаковская. Незабудки на скалах. Повести и рассказы. Марк Соболев.— Юрий Каменецкий. Возвращаюсь к тебе. Стихи. Н. Макарова.— Савва Кожевников. Статьи, воспоминания, письма. Вик. Ерофеев.— Ю. Карякин. Самообман Раскольниково. Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание». А. Василевский.— Анат. Горелов. Три судьбы. Ф. Тютчев. А. Сухово-Кобылин. И. Бунин. Анна Илупина.— В. Громов. Софья Гиацинтова. С. Овчинникова.— Н. Смирнов-Сокольский. Сорок пять лет на эстраде. Фельетоны, статьи, выступления. Леонид Утесов. Спасибо, сердце! Воспоминания, встречи, раздумья. Владимир Ломейко.— В. П. Мошняга. Всемирная федерация демократической молодежи. Я. Поварков, А. Бурсов.— Л. Е. Этинген. Человек будущего: облик, структура, форма. П. Черкасов.— Н. А. Ерофеев. Что такое история. Вал. Кирсанов.— Г. Максимович. Беседы с академиком В. Глушковым. О. Грудцова.— О. Резник. Встреча прошлого с будущим. Воспоминания и статьи. VIII—275.

К. Семенова.— М. Рольничайте. Я должна рассказать. К. Воробьев.— Марк Еленин. Добрый деловой человек. Васил Икономов.— Иван Скала. Утренний поезд надежды. Перевод с чешского. А. Старков.— Вл. Воронов. Чингиз Айтматов. Очерк творчества. Георгий Кубатьян.— Н. А. Гончар. Вильям Сароян и его рассказы. Вильгельм Левик.— Н. Т. Федоренко. Мелкость слова (Афористика как жанр словесного искусства).

ва), И. Евгеньева.— М. Ефетов. Письмо на панцире. Повесть. Е. Новочадова.— Юрий Окунев. Ответ. Лирика. С. Борисов.— В. Архангельский. Сердце, отданное людям. В. Левин.— И. Б. Литинецкий. Бионика. Д. Панков.— С. И. Руденко. Крылья победы. П. Черкасов.— Э. А. Поздняков. Системный подход и международные отношения. О. Добровольский.— Олег Волков. Чур, заповедано! Е. Полякова.— М. Кнебель. Поэзия педагогики. IX—276.

Г. Петрова.— Александр Вермишев. Избранное. Вл. Борщук.— В. С. Баратов. Искусство литературного портрета. Горький о В. И. Ленине, Л. Н. Толстом, А. П. Чехове. А. Окладников.— А. И. Алексеев. Хождение от Байкала до Амура. Ю. Амиантов.— Л. Л. Мураьева, И. И. Сиволап-Кафтанова. Ленин в Мюнхене. Памятные места. X—284.

А. Кузнецов.— Н. Страхов. Петр Замойский. Жизнь. Время. Книги. А. Панков.— Юрий Полухин. Заколдованные берега. Николай Евдокимов.— Франц Таурин. Без страха и упрека. Повесть о Николае Серно-Солсвьевиче. В. Косолапов.— Сергей Воронин. Камень Марии. Повести и рассказы. Марк Соболев.— Василий Субботин. Стихотворения. Ю. Болдырев.— Андрей Дементьев. Рядом ты и любовь. Владимир Куницын.— Нико-

лай Кучица. Просто дорога. Повесть и рассказы. Ю. Смелков.— Валерий Гейдеко. А. Чехов и Ив. Бунин. В. Сапогов.— А. Ф. Лосев. Проблема символа и реалистическое искусство. Вл. Кузнецов.— Б. П. Балугев. Ленин полемизирует с буржуазной прессой. В. Роговин.— А. И. Арнольд. Социалистический образ жизни и культура. Владимир Даненбург.— И. П. Донков. Антоновщина: замыслы и действительность. В. Френкель.— В. И. Рич, М. Б. Черненко. Неоконченная история искусственных алмазов. Д. Биленкин.— Л. Пирожников. Что такое голография? Вадим Монахов.— Григорий Медынский. Разговор всерьез. XI—275.

Арво Метс.— Набережные Челны. Город моей мечты. Стихи и рассказы. Алексей Овсянников.— Юрий Грибов. Семь домов у Кунь-горы. Повести и рассказы. Валерий Гейдеко.— Альберт Лиханов. Мой генерал. Альберт Лиханов. Каждый год, в сентябре... Ю. Кожевников.— Л. И. Куприянович. Биологические ритмы и сон. Ю. Болдырев.— Алексей Бадаев. Ветер с Байкала. Стихи. Алексей Бадаев. У подножья Саян. Стихи. XII—277.

Книжные новинки: I—287; II—288; III—288; IV—288; V—288; VI—287; VII—288; VIII—286; IX—286; X—288; XI—288; XII—281.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекеля**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Почтовый адрес: 103806, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 26/IX 1977 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 4/XI 1977 г.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 09866. Тираж 180.000 экз. Зак. 3205.

Отпечатано с матриц ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94. Зак. 05286.

Цена 70 коп.

70636